

М. Конопницкая • О. Пройстер • Дж. Крюс

Мария
Конопницкая

О тномах
и сиротке Марысе

Отфрид
Пройстер

Крбайт

Джеймс
Крюс

Мой прадедушка,
герои и я

О сиротке
Марысе,
Криване,
о героях
без труб
и франфар

—◆—
Москва
Издательство
«Прага»
1988



Мария
Конопницкая

—◆—
Отфрид
Лройслер

—◆—
Джеймс
Крюс

МАРИЯ
КОНОТНИЦКАЯ

О гномах
и сиротке Марысе

—◆—
ОТФРИД
ПРОЙСТЕР

Крбаати

—◆—
ДЖЕЙМС
КРЮС

Мой прадедушка,
Герои и я

84.4
К 64



Переводы с польского и немецкого

Вступительная статья

А. Исаевой

Иллюстрации

С. Крестовского

К $\frac{4703000000-1730}{080(02)-88}$ 1730-88



О СИРОТКЕ МАРЫСЕ, КРАБАТЕ, О ГЕРОЯХ БЕЗ ТРУБ И ФАНФАР



борник повестей-сказок, который вы открыли, начинается с рассказа о том, как холодно гномам зимой в их подземном дворце — даже у самого короля борода в сосульках, а стены покрыты изморозью от дыхания. Скорей бы, скорей бы пришла весна!

Но тот, кто не любит сказок, пусть не спешит откладывать книгу. Читайте дальше. И тогда вам откроется удивительная картина — не сразу, а постепенно, как будто вы вместе с гномом вышли из темного леса и понемногу приближаетесь к человеческому жилью. И вот перед вашими глазами возникает поэтичная, грустная и правдивая панорама человеческой жизни: «Стоит низенькая убогая мазанка, соломенная крыша скособочилась...»

Но, может быть, картина жизни людей в повести-сказке Марии Конопницкой «О гномах и сиротке Марысе» отошла в прошлое, имеет лишь исторический интерес? Крестьянин Петр Скарбек — угрюмый, потерявший надежду после смерти жены, опустивший руки («ребятишки, жалкая хатенка, кляча да телега — вот и все его богатство»); Марыся — босоногая деревенская девчушка, за корку хлеба она пасет чужих гусей, а заболит — и никому не нужна, и пропала бы, если б ее не подобрала малолетние сыновья бедняка Скарбека и не упростили отца взять в семью...

Да, автор этой повести-сказки, польская поэтесса Мария Конопницкая (1842—1910), посвятила свое творчество страданиям народа, трагическим судьбам детей, гибнущих от холода, голода и черствости окружающих, стала вдохновенным защитником обездоленных и суровым обвинителем современных ей общественных порядков, взывающим к людям и к небу.

Но, хотя книги ее были написаны в 80-х годах прошлого столетия, многое в них удивительно актуально и для нас, людей конца двадцатого века: ее любовное, полное острой жалости отношение ко всем, кто обижен, к детям, лишенным сердечного внимания взрослых, ее страстный протест против равнодушия.

Какой же она была, эта женщина-писательница, мать шестерых детей, воспитывавшая их в одиночку, прожившая нелегкую жизнь, знавшая нужду и горе?

Марию Конопницкую воспитывал овдовевший отец, провинциальный адвокат, любитель поэзии, человек добрый и просвещенный. Он сам занимался образованием дочери, и лишь недолгое время Мария обучалась в Варшавском пансионе при монастыре, где на всю жизнь подружилась с Элизой Ожешко, будущей известной польской прогрессивной писательницей.

В двадцать лет она вышла замуж за помещика Ярослава Конопницкого, а в тридцать пять приехала вместе со всеми своими детьми в Варшаву, не выдержав бездуховной атмосферы праздной помещицкой жизни и характера мужа — любителя шумных оргий и барской охоты. Но отец ее вскоре умер, и, оставшись почти без средств к существованию, она дает уроки и переписывает конторские бумаги, чтобы прокормить детей.

В конце 70-х — начале 80-х годов Конопницкая печатает в журнале и в двух своих первых книгах стихи из цикла «Картинки» — полные боли и сострадания описания эпизодов из жизни крестьян и городской бедноты. Чаще всего герои их — дети. Вот девочка с золотой косичкой шагает пешком в город, посланная овдовевшей матерью искать свою долю и кусок хлеба («Погибнет ли?»). Вот больной малыш, не дождавшись весны, умирает от голода и холода в сырой, нетопленной комнате («Ясь не дождался»). Вот малолетний преступник:

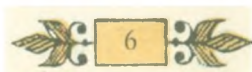
Как птенчик без гнезда, немой, дрожащий,
Стоял в суде сиротка пред решеткой...¹.

И всякий раз поэтесса обращает недоумевающий взор к читателю: как можно глядеть на все это и оставаться спокойным?

Уже эти стихи дают представление о направлении всего творчества Марии Конопницкой. Однако во многих ее произведениях слышится не только боль, но и надежда. Ее стихи для детей и стихи о лугах, полях и лесах полны радости жизни. Творчество ее во многом близко к фольклору, песни ее стали народными. Не случайно еще при жизни поэтессы ее произведения получили горячий отклик и в Польше, и в России, и за границей. Похороны ее во Львове превратились во всенародную манифестацию. И в наши дни пользуются любовью детей и взрослых ее стихи, рассказы и сказка «О гномах и сиротке Марысе», которая объединила в себе все стороны ее творчества — поэзию и фантазию, боль за простой народ и суровый реализм неприукрашенных описаний его жизни, веру в добрые силы, таящиеся в человеке и в самой природе, которую она воспевает как животворный фон человеческой жизни.

Реальность и фантастика нерасторжимы в книге. Реальность подтверждает фантастику, фантастика остраниет реальность. Вместе с крестьянином Петром Скарбеком мы видим гномов воочию — ведь он очевидец. Отсюда удивительной силы впечатление, которое производит на читателя изображение гномов, грузящих на телегу свои ларцы и сундучки. А вместе с гномом Хвоцем, который ша-

¹ Перевод Н. Чуковского.



рит по избам в поисках крошки хлеба, мы видим крупным планом целую деревянную Голодаевку, где в амбарах и в чуланах шаром покати, в квашне вместо теста отруби, в горшках пусто, а люди худы, как скелеты.

Люди в сказке Конопницкой совершенно реальны, хотя мы и смотрим на них чаще всего глазами гномов. У нерадивых и равнодушных гномы куролесят. Крестьянка недобра, Цыган хочет нажиться на представлении с гномами — таких гномы уж знают, как проучить! Но добрым они помогают — об этом и сказка.

И Марыся, главная героиня книги, тоже вполне реальная девочка. Правда, она такая же, какой обычно бывает отцова дочка в народных сказках — та, что и мышку кашкой накормит, и яблоньку потрясет, и ничего ей не надо, ни нарядов, ни драгоценностей — ничего, кроме аленького цветочка. Но и сама Марыся, и ее беды описаны здесь не так лаконично, как в народной сказке, с большими бытовыми и психологическими подробностями, хотя и в духе сказки по поэтической интонации. Как грустная сказка звучит ритмичный реалистический рассказ о тяжелой Марысиной трудовой жизни: «Трудилась она не покладая рук, чтобы за чужой угол отплатить, за охалку соломы, на которой спала, за ложку похлебки, которой кормилась, за холщовую рубаху, в которую одевалась. Зимой хозяйского ребенка нянчила, в лес за хворостом ходила, воду из колодца носила, а летом гусей пасла».

Беда Марыси не только социальная — бездомность, голод, недетский труд. Это и вечная горькая беда сироты — некому пожалеть, оградить любовью от холодного мира.

Но героиня книги не просто одинокая девочка, лишенная тепла и защиты. Она тонко чувствует природу, ее настроение, горячо переживает судьбу птиц и зверей. Единственное, о чем она просит царицу Татр, забыв о себе, — оживить гусей. И думает она не о том, что ей влетит от хозяйки, а оплакивает их гибель. «Хочу, чтобы гусаньки мои ожили, которых лиса задушила... Чтобы они опять травку щипали и паслись на лужайке». А в доме у Петра Скарбека она «все порядком убрала», как царевна в тереме семи богатырей в сказке Пушкина. И стала родной сестрой его ребятишкам.

С образом Марыси в книге связана тема природы. Природа здесь не только одушевлена, как в народной сказке, — в едином порыве сочувствия она ведет Марысю к царице Татр, персонифицирующей саму суровую красоту и доброту Природы.

Гномы тоже пришли в сказку Марии Конопницкой из фольклора. Традиционный образ гнома, широко известный в западноевропейской мифологии, сохранив свой внешний облик и свое чудесное свойство — тайно помогать людям, получает в ее сказке дальнейшее развитие. Гномы здесь активизированная, говорящая, осмысляющая сила природы, это «человечки природы», ее маленькие представители. И имена у них соответствующие: Светлячок, Сморок, Букашка, Хвощ, Василек. Но и это не все. Каждый гном у нее своеобразная личность и в то же время социальный характер, современной писательницы, но не потерявший актуальность и по сей день. Вот ученый летописец Чудило-Мудрило — живая маленькая пародия на ученого, далекого от реальной жизни. Не чувствуя, что уже насту-

пила весна, он рассчитывает ее путь по глобусу, и по его расчетам выходит, что весна вообще не придет. Так Конопницкая противопоставляет живое чувство жизни абстрактным размышлениям о ней. Гном-летописец еще и «фальсификатор истории», поскольку приравнивает живую жизнь в своих летописях к известным историческим образцам: облаву на лису принимает за борьбу с татарским нашествием, а вход в лисью нору — за «древний языческий храм наших предков». Есть у него и другие слабости и недостатки — он тщеславен, кичится своей ученостью, презирает «необразованных воробьев», но по натуре он добр, простодушен, легковерен, как и все гномы, и в конце книги глубоко раскается в своей невольной помощи лисе-разбойнице, которую принял за «безукоризненно честное животное». Он раскается и в своей подделке истории и захочет написать «живую книгу».

Но гномы в этой книжке не только шаржированные портреты разных человеческих типов; они несут многообразную художественную нагрузку: они еще и посредники между человеком и природой, с которой говорят на одном языке (гном то к грибу в гости придет, то рассказ старого дуба слушает), они шепчутся людям ее «песни», ее поэзию и, переводя ее на человеческий язык, поднимают их дух; они и хранители преданий старины, осуществляющие связь настоящего с прошлым, и воплощенная мечта о действенной помощи в беде, об облегчении тяжелого труда. В них слиты добрые силы природы и доброе начало, заложенное в человеке. Это «обыкновенные люди», но «люди добрые» — образно выраженная мечта о том, каким может и должен быть человек.

И всякий раз Мария Конопницкая подкрепляет, поддерживает свой фантастический образ реальными бытовыми деталями: вот дети кормят гномика кусочками печеной картошки, вот он «раскурил свою трубочку»... Приключения гнома Хвоща связаны с деревенским бытом. Это забавные острожетные истории — то он на аисте летит, то на коте скачет. И все время мы видим его в натуральную величину, ведь он сопоставлен и с аистом, и с котом — маленький живой человек. А гном Петрушка делает печку из раковины с трубой из глины. Эта «кукольная деятельность» гномов близка к детской игре и кукольному театру, только куклы здесь действуют сами да еще и людям помогают. Благодаря хорошо знакомым предметам в масштабе гномов достоверность их существования становится предельно убедительной.

Иногда в этом сказочном кукольном театре роль людей разыгрывают звери, земноводные, насекомые, пародируя — и далеко не безобидно — их смешные черты и неблагоприятные поступки.

Широко известный в мировом фольклоре и в русской народной сказке образ хитрой лисы, обманщицы и ханжи, Конопницкая превращает в ярко современный. У нее это пройдоха и разбойник в маске «коллегии ученого», играющего в «скромность великого человека».

И вот перед нами в малом масштабе модель преступления. Действующие лица: коварный разбойник под личиной бескорыстия и порядочности — Лиса; его легковерный невольный пособник, пойманный на крючок тщеславия, — гном Чу-дило-Мудрило; равнодушный к чужой беде свидетель, не предотвративший пре-

ступления из нежелания нарушить свой покой и привычный ход благополучной жизни, — Хомяк. Беззащитные жертвы — семерка гусей и Марьяся, трагически переживающая их гибель и свою вину. Разве эта схема хоть сколько-нибудь устарела сегодня?

Не устарел и «образ» Хомяка. Философия его — извечная философия обывателя: «Предупредить их, что ли? Мне это ничего не стоит. А может, это даже мой долг? Но тогда мне на горку придется лезть в такую жару... И выгоды никакой! Нет уж, пусть каждый сам о себе заботится. Иначе не проживешь!» И преступления Лисы, и Марысиной трагедии могло бы не быть, если б не эта философия Хомяка, не его безразличие к чужой беде.

Все эти образы строятся по законам народной сказки — от внешности и «повадки» животного к его «человеческой сути». Но, используя этот прием, Конопницкая всякий раз включает в характеристику злободневные (еще и сегодня) штрихи. Вот, например, два типа представителей искусства. Серенький кузнечик, гениальный музыкант, виртуоз, маэстро Сарабанда. «Такая знаменитость — и такой простак, робкий, неловкий, даже говорить стесняется! — рассуждает о нем «ценитель искусства» гном Василек. — Если такой серячок сумел прославиться, то наш Вродсбарин с его ростом, фигурой, осанкой далеко пойдет!» Не так ли примерно рассуждают и сегодняшние «ценители искусства», привыкшие судить обо всем, и в том числе о таланте, по внешним приметам престижности.

А ведь Вродсбарин — просто надутая зеленая лягушка. Но весь монолог его звучит до удивления знакомо: «Какой-то проходимец, бродячий музыкант будет срывать аплодисменты, отнимая у меня заслуженную славу?! С каких это пор первому встречному разрешается портить своей стрекотней вкус публики и отбивать у нее охоту к серьезной музыке?! Нет, это просто возмутительно!» Не монолог ли это и нынешних маститых, надутых, бездарных?

Противопоставленный ему в книге тип истинного художника маэстро Сарабанды и современен, и вечен. «То, чего здесь не хватает, — говорит он про ноты, — надо спеть самому. О, это совсем не трудно! Только взглянуть на угасающий закат... прислушаться к величественной музыке затихших полей. Это очень просто!» Вот почему музыка его «будила эхо не только в поле, но и в душе»: «Слушал, слушал Петр и вдруг ощутил в себе силу небывалую...»

Это и есть переломный момент в главной сюжетной линии книги — в судьбе Петра Скарбека и его русоголовых голодных ребятишек. Психологическое состояние бедняка Петра Скарбека знакомо и современному человеку: «Оглядит Петр хату — и руки у него опускаются...» Но гномы помогли ему поверить в себя, преодолеть отчаяние, а маэстро Сарабанда силой своего искусства вдохновил на подвиг — корчевать пни, вспахать пустошь.

Актуально и отношение писательницы к богатству: гномы берегут сокровища земли, «чтобы они не попали в руки лиходеям и не причинили зла». Вот какое нравственное объяснение находит Конопницкая фольклорной функции гномов — стеречь богатства недр земных. Драгоценности для гномов не имеют продажной цены, не служат обогащению: в них — только красота, как в бликах солнца, цветах, осенних листьях. В шутовском монологе гнома Петрушки Конопницкая противопоставляет богатству иные ценности: «Заря светит сквозь крышу! Гля-

дите, сколько алых и золотых роз она по хате рассыпала! А вон в разбитое окно заглядывает куст сирени... весь в алмазах, в каждом листочке — алмаз. И в каждом алмазе — радуга!..» И, несмотря на ироничную интонацию беспечного гнома, это гимн красоте природы, которая одаряет своими богатствами всех, кто способен видеть и чувствовать.

И совсем маленькие эпизоды, и комические портретные зарисовки, и все сюжетные линии книги, все многообразие ее тем и мотивов от лирической песни до острой социально-психологической сатиры сливаются в гармоничное единое целое. Обе главные линии повествования — горькая доля Марыси и судьба бедняка Скарбека, — объединившись в конце книги в одну, кончаются счастливо — надеждой на урожай, ладом в доме: мальчики обрели сестру, в хате появилась работающая маленькая хозяйка. Волшебные ли силы — гномы и царица Татр — сыграли здесь роль или доброта человека и окружающей его природы одержала победу — в этом загадка книги. Но есть и разгадка: победили силы добра.

О Доброте (с большой буквы) Мария Конопницкая говорит и образами своих героев, и всем пафосом повествования, и впрямую: «Что такое могущество без доброты? Ничто».

* * *

Но могущество без доброты нередко оказывается и чудовищно злой силой. Может ли ей противостоять человек? Об этом размышляют в своих книгах два других писателя, произведения которых вошли в этот сборник: Отфрид Пройслер в фантастической повести «Крабат» и Джеймс Крюс в своем «учении о героизме», которое он назвал «Мой прадедушка, герои и я». Этот вопрос поставило перед ними время.

Джеймс Крюс и Отфрид Пройслер (ФРГ) — наши современники. Они посвятили свое творчество формированию новых представлений и чувств у подрастающего поколения немецких детей. Книги их, однако, заслужили признание и у взрослых и давно уже переведены больше чем на тридцать языков; оба они лауреаты международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена.

Джеймс Крюс родился в 1926 году на Гельголанде, омываемом волнами Северного моря, — острове рыбаков и мореходов, переходившем в течение последних столетий то от Дании к Англии, то от Англии к Германии. Эта необычная историческая судьба да и вечный гул моря, его опасности во многом определили особый склад населения острова. Суровой поэзии моря и независимым характерам островитян, чуждых национальной ограниченности, посвящено в книгах Крюса немало страниц.

Крюс мечтал стать учителем. Но захватнические замыслы Гитлера помешали осуществиться его планам. Девятнадцатилетний курсант летного училища к моменту капитуляции Германии, он, так и не успев дойти до фронта (в известном

подразделении, без винтовки), пешком возвращается в Гамбург, где на пристани узнает, что Гельголанд разрушен американскими бомбами.

Крюс — писатель послевоенного поколения. Он ненавидит войну, и девиз его творчества — надежда. Надежда на возрождение и торжество гуманистических ценностей, поставленных под угрозу фашизмом.

Его читательская аудитория очень обширна. Книги свои он пишет «для девочек, мальчишек, их родителей, а также для членов городского магистрата», ибо «каждый ребенок когда-нибудь будет взрослым и каждый взрослый был когда-то ребенком».

Среди многих книг, написанных Джеймсом Крюсом, есть известная во всем мире фантастическая повесть «Тим Талер, или Проданный смех», не раз переиздававшаяся и у нас. Это история мальчика-сироты, который по неведению променял свой веселый, заразительный, искренний мальчишеский смех на право выигрывать любое пари, заключив контракт с неким господином в клетчатом, оказавшимся впоследствии «бароном Тречем» (а если прочесть эту фамилию в зеркале, получается «Черт»). Барон Треч, глава всемогущего мирового концерна и король маргарина, обладает демонической силой, и сила эта направлена на порабощение человека, на подавление его доброй воли и человечности, на подмену его сердечного контакта с людьми материальными благами. Фантастические силы, персонифицированные в образе Треча, — это уже не добрые силы природы, как в сказке «О гномах и сиротке Марысе», а враждебные человеку социальные силы современного общества в демагогической маске человечности (вот тут-то и сослужил службу купленный у Тима смех!). Смысл повести в том, что человек, сохранивший лучшие человеческие чувства и качества, способен одержать, пусть трудную, победу над чудовищным социальным злом. Эта мысль, как мы еще увидим, найдет свое отражение и в книге Отфрида Пройслера «Крабат».

Победа Тима и его друзей над всемогущим «бароном» (друзья, помогая Тиму, терпят вполне реальные беды: их всех выгоняют с работы!) — это победа бескорыстной дружбы, деятельной взаимопомощи, нетерпимости к несправедливости, короче говоря — победа мира, где истинные отношения между людьми ценятся выше материального благополучия, над миром, где царят законы купли-продажи, выгоды и циничного расчета. Книга вызывает горячее сочувствие к наивному бедняге Тиму, мальчику без улыбки, променявшему по неопытности величайшую ценность — свой смех, залог единства с людьми, — на богатство, которое не может принести ему счастья.

Не только в книге, но и у читателя торжествуют добрые чувства. Это сознательная задача Джеймса Крюса. И он остается ей верен во всех жанрах.

Все книги Крюса для «взрослых завтрашнего дня», будь то книжки-картинки для дошкольников, веселые стихи для младших школьников, прозаические книги для среднего школьного возраста, имеют одну антимещанскую, антибуржуазную, антимилитаристскую гуманистическую направленность.

Поэтическая стихия Джеймса Крюса сродни поэтической стихии Чуковского и Хармса: юмор, искрящаяся шутка, многоцветная фантазия, игра, и в том числе

игра со словом, ритмом, созвучием. Здесь на каждом шагу перевертыш, полная смысла бессмыслица, веселая абракадабра.

В своей шуточной утопии «Счастливые острова по ту сторону ветра» Крюс рассказывает о группе плавучих островов, на которых люди, звери и растения живут в мире и дружбе. Родители, гуляя по улицам, сажают малышей на спины прогуливающихся тут же тигров и львов. Здесь ставят памятники героическим животным, например, некой свинье Анастасии, которая прорыла во многих странах Европы «ходы в подземелье» и «освободила невинных людей».

Большинство «толстых» книг Крюса («Мой прадедушка и я», «Мой прадедушка, герои и я», «В доме тети Юлии», «Маяк на омаровых рифах», «Лето на омаровых рифах» и др.) связаны между собой некоторыми общими героями, а главное, тем, что все они как-то соотнесены с островом Гельголандом. Для всех этих книг характерна и одинаковая композиция: повествование представляет собой как бы рамку для «вставных новелл» — здесь и шуточная сказка, и реальный случай из жизни, и стихи.

В своей книге «Мой прадедушка, герои и я» Джеймс Крюс утверждает, что для современного героя важнее всего мотив действия, внутренняя причина подвига. Важно не то, что он совершил своим мечом, а что он совершил для общества, в котором живет.

Кто же в этой книге истинные герои? Прадедушка-поэт помогает правнуку-поэту научиться отличать героический подвиг, совершаемый для спасения людей, от «гусарства», лихачества, бравады, поисков опасности ради самой опасности. «Ставить свою жизнь на карту без всякого смысла — это еще не героизм». Настоящий герой — старый клоун Пепе, сумевший своим веселым мастерством отвлечь от паники пассажиров корабля, попавшего в аварию. Ибо сохранять юмор и присутствие духа в минуту крайней опасности — это и есть героизм.

Выдержка, упорство, терпение — вот чего требует подлинный героический поступок. Для «Старого» герои — солдат-испанец из времен завоевания Мексики, защищавший своего друга индейца, несмотря на угрозу смерти и презрение соотечественников; паренек «Генрих-Держись», проявивший удивительную выдержку, спасая ребят от обвала песка; мальчик Блаже из Черногории, у которого хватило мужества скрыть тяжелое ранение, чтобы не нарушить мир между двумя родами, погибающими из-за кровной мести; свободолюбивый крестьянин с петлей на шее, сохраняющий спокойствие и презрение к господам, даже стоя под виселицей.

Так, приводя примеры из разных эпох, обращаясь к самым различным жанрам — к историческому рассказу, притче, басне, балладе, сказке, где участвуют то люди, то звери и вещи, — прадедушка передает правнуку свою мудрость. Маленькая Мышка, не струсившая перед котом, Белка, заставившая извиниться Медведя, в шуточном стихотворении, — тоже герои, и героизм их называется гражданским мужеством. «Не склонять головы перед сильными мира сего» — его суть. Таковы герои прадедушки — герои без труб и фанфар.

Когда в Германии у власти находились фашисты, в школьных учебниках и в книгах для юношества прославлялись подвиги завоевателей — «героев», которые убивают. Молодежная фашистская организация «Гитлерюгенд», основанная еще в 1926 году (в год рождения Крюса), внушала немецким детям идеи агрессив-

ного героизма. Действие книги «Мой прадедушка, герои и я» происходит в 1940 году (Малому 14 лет, а книга носит автобиографический характер) — фашисты уже начали свою захватническую войну. Прадедушка в книге Крюса противопоставляет свою философию человеколюбия, подвига во имя людей, подвига сопротивления безжалостности и жестокости, философии ненависти и презрения к другим народам, пропагандировавшей фашистами.

В гротескных сатирических стихах Джеймс Крюс развенчивает героев-агрессоров — «рыцаря Зеленжута», «ландскнехта во Фландрии».

«В мраморе и бронзе, Малый, — говорит прадедушка, — слишком часто прославляют мнимых героев. Те, кто совершает настоящие подвиги, не зарятся на славу. А памятник им — то, что о них вспоминают с благодарностью».

Не геройство — умирать за несправое дело. Геройство — отстаивать правое дело, даже если на карту приходится ставить жизнь. Геройство — идти наперекор всеильным правителям. Геройство — забыв в минуту опасности о себе, спасти других. «Героические поступки — маяки в мире, полном несправедливости и произвола. Их свет вселяет мужество в других».

Но не только о современных героях идет речь в этой книге. Речь в ней идет и о современных тиранах. «Во времена Геракла, — объясняет прадедушка правнуку, — тиран был просто жесток. И заставлял убивать всех, кто был ему не по нраву.

Тирану покорялись потому, что он обладал властью, но каждый знал, что он не прав и несправедлив. В наши дни тираны подходят к делу более тонко. Они обеспечивают себе официальное разрешение на каждое убийство: ...неправоту переряжают в право, а произвол — в законность. И отравляют души».

Тухлое яйцо Адольф Бякжелток в его сказке подогревает ненависть сырых яиц и яиц всмятку к крутым. Железный Щелкун в сказке Верховной бабушки грозит «стереть в порошок» все орехи.

И «внешность» железного Щелкуна («несгибаемые железные ноги», «раззавет железную пастю») и «поведение» (раскалывает орехи) дают основание его очеловечить, включают «социальный» конфликт. Из этого и исходит фантазия Крюса-сказочника.

Мысль этой сказки идет в том же направлении, что и мысль других сказок, рассказов, стихов и бесед в книге «Мой прадедушка, герои и я»: героизм нашего времени — это героизм сопротивления замыслам, направленным на подавление, «раскалывание», «стирание в порошок».

Современен и сам образ «железного Щелкуна» с его железной поступью и железной всеперемалывающей пастю, с его склонностью к «ржавматизму», с его бесславным концом на помойке.

У сказки счастливый конец: Щелкун сам кувырнулся вниз головой с подоконника в сад. Да и тухлое яйцо Адольф Бякжелток кувырнулся вниз с балкона (того, правда, слегка подтолкнули). Само движение жизни, по мысли Крюса, — против таких и им подобных. Они, по сути, уже устарели (тот подвержен «ржавматизму», а этот протух). Надо только помочь этому движению — проявить стойкость. И герой здесь — «орех Греса»: «скольким орехам продлил он короткий век своей смелой выдумкой и присутствием духа!»

Джеймс Крюс — борец. Он вступил в нелегкий бой с многовековой традицией в сознании нового поколения Германии. Палочной дисциплине и всем тем исконным чертам «немецкого воспитания», которые не раз высмеивала сатира, противостоит в его стихотворении новый учитель Унтермаер — вместо традиционного с линейкой в руке. Этот учитель воспитывает ребят веселой шуткой.

Но в книге «Мой прадедушка, герои и я» есть и еще одна, главная, мудрость в запасе у Старого: «Любовь к людям хоть и выглядит часто беспомощно и совсем не героически, в конце концов всегда побеждает. Ненависть может быть хороша и целительна. Тот, кто любит людей, должен ненавидеть тиранов. Но человеколюбие, просто любовь, больше, величественнее и прекраснее ненависти».

В октябре 1972 года Крюс побывал с делегацией писателей в Советском Союзе. В Московском кукольном театре он смотрел спектакль «Тим Талер, или Проданный смех», в Центральной московской детской библиотеке встречался со своими читателями. Беседа была удивительно оживленной, веселой и непосредственной. Крюс рассказывал ребятам, что живет уже много лет на Канарских островах. Ребята задавали ему самые разные вопросы, и он отвечал на них с большой эрудицией, юмором и пониманием аудитории.

Крюс был радостно взволнован, узнав, что в Советском Союзе любят его книги.

* * *

Отфрид Пройслер родился в 1923 году. Вернувшись после второй мировой войны из русского плена, он больше двадцати лет проработал учителем и директором школы в Баварии. Есть у него сказка про учителя Клингсора — младшего брата знаменитого волшебника. Этот учитель то на одну минутку превращает ребят в кривулек, похожих на их каракули, чтобы они поняли, каково приходится бедным буквам, то заставляет фантастического Чертенка — Кляксенка слизывать кляксы. И мы можем легко догадаться, каким учителем был Пройслер, сколько фантазии, выдумки, юмора вкладывал он в воспитание и обучение младшеклассников. Он и был наверняка тем самым «учителем Унтермаером» из стихотворения Джеймса Крюса, который учит детей не с линейкой в руке — вечным орудием немецкого «шультмайстера», а с веселой шуткой.

И первые книжки Отфрида Пройслера, написанные им в годы учительства, — «Маленький водяной», «Маленькая Баба-Яга», «Маленькое привидение» — построены на шутке про традиционные образы немецких сказок: из-под сказочной маски всякий раз здесь выглядывает лукавое и ничуть не страшное лицо современного ребенка.

Пройслер часто обращается к известным фольклорным сюжетам и, обрабатывая их в современном духе, утверждает в новых «антитрадиционных» образах такие непреходящие ценности, как справедливость, верность в дружбе, стойкость и силу духа. Его маленькая Баба-Яга, которой всего лишь 127 лет, нарушая все сказочные правила, наказывает только злых и помогает добрым. Пройслер по-новому пересказывает смешную немецкую народную сказку о городе дураков Шильде

и книжку чешского писателя Йозефа Лады «Кот Микеш». Сказочник Пройслер пишет также фантастическую повесть «по мотивам» русского фольклора, и хотя в этой книге, к сожалению, немало путаницы в отношении хорошо знакомых нам всем образов русской сказки (Баба-Яга, например, скачет у него на печке, а печка бежит на куриных ножках), герой ее, богатырь, или, как называет его Пройслер, «Сильный Ваня», совершает все свои подвиги только из благородного желания помочь тем, кто в беде: переносит на плечах через реку тяжело нагруженного коня, тянет один баржу, впрягается в плуг вместо старого крестьянина... Сильный Ваня всегда готов «впрячься за другого», поделиться едой с солдатом, приложить свою силу к доброму действию, направленному на благо простого народа. Так понимает Пройслер «русский дух» и умышленно делает его движущей силой повествования о подвигах Сильного Вани. «В силу особенностей моей биографии я испытываю большую привязанность к России. Я люблю вашу страну и ее людей», — говорил Пройслер, приехав в 1979 году в Москву на Международную встречу детских и юношеских писателей.

Свою лучшую книгу «Крабат, или Легенды старой мельницы», намного превосходящую по художественным достоинствам, а также по глубине и многогранности содержания все остальное, написанное им, Отфрид Пройслер создал по легендам лужицких сербов (или сорбов) — небольшой славянской народности, проживающей на территории ГДР по берегам реки Шпрее. Издавна рассказывали здесь предания о юноше Крабате, победившем Черного Мельника, колдуна и чернокнижника, и освободившем народ от его злого могущества. Пройслер, однако, дает в своей книге совсем новую интерпретацию этой темы. Он рассказывает старинную легенду в интонации реалистической повести о судьбе мальчика-сироты, жившего в определенную историческую эпоху (в конце XVII века), в то же время сохраняя ее фантастический и углубляя психологический план. Черной магии он противопоставляет «другое волшебство», идущее «из глубины любящего сердца», могуществу зла — преданность, непреклонность и действительную помощь. И, главное, он вносит в свою повесть острое современное звучание. Но если в «Сиротке Марысе» Марии Конопницкой действие и в самом деле происходит в старину и актуальность ее образов свидетельствует о художественном прозрении поэтессы, то у Пройслера, наоборот, «старина» — художественный прием для широкого обобщения нынешних актуальных проблем. И вот перед нами опять голодный, бездомный сирота — мальчик Крабат... Но книга не об этом. Книга как раз о том, что крыша над головой, сытный обед и даже волшебное облегчение труда могут, наоборот, стать средством полного духовного закабаления. Книга о том, способен ли человек противостоять этому закабалению, этой атмосфере обреченности любого протеста.

Но кто же такой таинственный Незнакомец с польхающим петушиным пером, которого сам Мастер величает Господином и которого он боится? Это само Зло, персонифицированная фигура мирового Зла, представитель ада, а может быть, и сам его владыка. А Мастер и страшная мельница — лишь один из его «филиалов» на Земле, в которых процветает Власть Зла, стремящаяся заставить каждо-

го подавить в себе все доброе из страха за свою жизнь — любовь, доверие, сочувствие к беде — и вместо этого насадить властолюбие, предательство, слежку, доносы. Придет время, когда Мастер предложит власть над своим «филиалом» Крабату, решит передать ему эстафету зла. Но тот откажется. И мельница, оплот зла, рухнет — доброе начало в человеке победит Власть Зла.

Но пока она не рухнула, Мастер творит зло не только на мельнице, а, разъезжая по всей стране, сеет его повсюду. Злая сила направлена и против мира, на поддержку войны: Мастер выступает в роли советника Августа, курфюрста Саксонского, убеждая его продолжать войну.

И тут в фантастическое повествование вступает сатирическая антимилитаристская тема. Сцена во дворце курфюрста, где «полковники и другие офицеры» кричат: «Лишь бы война! Все равно, победа или поражение!», и глава «Военный оркестр» созвучны по карикатурной манере письма с изображением солдафонов у Джеймса Крюса («Рыцарь Зеленжуть», «Ландскнехт во Фландрии»).

Мастер сознательно «работает» над воспитанием подмастерьев «в духе зла». Чему он учит их в школе чернокнижия? Злому волшебству, дающему власть. «Это искусство высушить колодец... Так, чтобы уже на другой день в нем не было ни капли воды...» Мастер провоцирует Крабату, предлагая ему «как следует наказать Юро», выместить на нем свою боль. Но Крабат на это не поддается. Так и Михал, когда его терзал Мастер, не захотел жестоко мстить доносчику Лышко. В этом отказе от цепной реакции зла их сопротивление злу.

Когда-то Мастер погубил своего лучшего друга Ирко — вот она, вершина зла! И он утверждает, что в его положении так поступил бы каждый. Волшебство на сей раз заключается в том, что он ставит (в буквальном смысле) на свое место Крабату, чтобы доказать это. Но он ошибается. Крабат сумел оказать сопротивление, казалось бы, в безвыходной ситуации — не выстрелил в друга. В этой истории еще раз находит свое выражение главная мысль книги: человек, сохранивший лучшие человеческие качества, в том числе и преданность дружбе, способен противостоять всемогуществу зла. Хотя иной раз это стоит ему жизни, как Тонде и Михалу. Мысль эта, как уже говорилось, была и в книге Крюса «Тим Талер, или Проданный смех», но в «Крабате» расплата за право оставаться человеком более жестока и беспощадна.

Власть Мастера над подмастерьями безмерно велика. Она распространяется даже на сны. Он может превращать подмастерьев в воронов, может сам превращаться в кота, в лису, в старуху, в кого угодно, и следить за каждым. Может водить по кругу, и этот заколдованный круг возвращает всякого, кто хочет вырваться и уйти, снова на мельницу.

Но и в этих условиях полного подавления личности люди ведут себя по-разному: Тонда помогает Крабату, берет на себя все трудности, и остальные подмастерья этому сочувствуют. Только Лышко усмехается, и — нам ясно — он донесет. А Юро, прикидываясь дурачком, обливает Лышко помоями.

В какой мере удастся каждому из них не подчиниться, остаться самим собой, внутренне противостоять этой власти? Вот как стоит вопрос в этой книге. В какой мере может человек сохранить свою личность, не поддаться тотальному психологическому порабощению? Тот, кто сохраняет эту внутреннюю самостоятельность,

не входит душой до конца в Тайное Братство Зла, сохраняет сострадание, как Тонда, тот, кто хочет передать другим свой горький жизненный опыт и попытку сопротивления, рискует жизнью. Его Мастер (Власть) физически уничтожает, чтобы сохранить власть над душами.

Добрые гномы в «Сиротке Марысе» облегчали работу Петру Скарбеку и его ребяташкам, чтобы помочь им. Здесь облегчение работы с помощью волшебства — прием порабощения. Но Тонда пользуется колдовством, чтобы и вправду помочь Крабату, за что и наказан Мастером смертью. Употреблять волшебство на благо людям, им в помощь здесь строго запрещено. И только Юро удаётся это делать, используя хитрость.

Следующий кандидат — Михал. Он заступает за Витко, и Лышко доносит. Михал помогает Витко, а значит, как и Тонда, употребляет волшебство на доброе дело. С такими Мастер расправляется.

Юро тоже направляет волшебство на добро: лечит раны Крабата, посылает снег на поля крестьян, чтобы не погиб урожай, знает, как проучить злобного и злорадного Лышко.

Крестьяне просят о милосердии, просят сжалиться, но Мастер грубо им отказывает, а Лышко травит их псами — это его злое колдовство. И Мастер его хвалит: «Хорошо придумано, Лышко!» Здесь уже тема добра и зла поставлена более широко — это доброе или злое отношение к народу, к его бедам и нуждам. Крабату жаль крестьян, жаль старосту и его спутников, а ведь именно чувство жалости прежде всего пытается вытравить Мастер у своих подмастерьев.

И первый сон Крабата о невозможности побега, о безвыходности тоже, как видно, насылает Юро. Но он же и подсказывает в этом сне Крабату: «Что не удалось одному, может, еще получится, если взяться вдвоем. Давай попробуем вместе». Однако, прежде чем довериться Крабату, Юро проверяет его возможности сочувствия, дружбы, помощи, и тот выдерживает проверку: превращается вместо Юро в вороного коня. И хотя Мастер строго наказывает за каждый добрый поступок — чуть не до смерти загнал он Крабата-Вороного, — эстафета добра не прерывается: Крабат, в свою очередь, будет помогать Лобошу.

Эстафета доброго отношения тайне передается от одного к другому, несмотря на слежку, запреты, преследования, наказания, угрозу смерти. Михал вступился за Витко и заплатил жизнью. Но Крабат перенимает эстафету, и как когда-то Тонда тайне кивнул ему за столом в первое утро на мельнице, так и он чуть заметно кивнул Маленькому Лобошу. И тот понял: «здесь, на мельнице, у него есть друг!» И как Тонда помог когда-то Крабату справиться в первый день с мучной пылью, так Крабат помогает Лобошу.

В этой повести-сказке многое построено на сказочных троекратных повторах. Повторяется гибель одного из подмастерьев под Новый год и сцена с одиннадцатью «призраками» у постели новичка. Повторяется день в каморке с мучной пылью. Повторяется ритуал приема в подмастерья и сцена приезда Незнакомца с огненным петушиным пером, сцена у костра в пасхальную ночь и многое другое. Но повторы эти не точные, а с вариациями, в них есть движение, развитие, и движение это не по кругу, а в развитии есть предчувствие перемен. Эти же повторы одновременно и веши на путях реальной жизни и на путях эстафеты добра.

Таким образом, это сказка не только по своим фантастическим образам, но и по своей композиции, и по своему счастливому концу — победа добра над злом. И в то же время это реалистическая повесть о мальчике-сироте, о подневольном труде на мельнице, о закрепощении не только физическом, но и духовном, о реальных людях с различными характерами и разным поведением в одинаковой ситуации. Но и это не все. У этой фантастической и в то же время реалистической повести есть и еще один план, делающий ее актуальной сегодня: противостояние всеподчиняющей власти — внутренний отпор ей всех тех, кто сочувствует и помогает даже под страхом смерти. «А разве помогать запрещено?» — спрашивает Лобош Крабата. — А что тебе будет, если кто узнает?» «Не думай об этом, — отвечает Крабат... — Как-нибудь я расскажу тебе о моих друзьях — о Тонде и о Михале. Обоих уже нет. Если ты меня выслушаешь, это и будет благодарность». Крабат хочет лишь одного: передать Лобошу эстафету добра.

Эта повесть-сказка художественно закончена и не является лишь внешней оболочкой, маской своего «тайного смысла». Но целая цепь глубоких ассоциаций делает ее фантастической параллелью эпохи фашизма, власти Гитлера и тоталитаризма вообще. Тем отраднее широкий оптимистический вывод о возможности человека, пусть не с первой попытки, а ценой опыта многих погибших, освободить себя и других от его мертвой хватки — вывод о том, что эстафета добра и сопротивления злу, спроецированному на душу человека, приводит к счастливному концу.

Три четверти века отделяют повесть-сказку Марии Конопницкой от фантастической повести Отфрида Пройслера и от рассказа о героях сопротивления злу Джеймса Крюса. Но не случайно оказались их книги под одной обложкой. И дело не только в том, что у всех у них в творчестве, пусть по-разному, переплетаются, накладываются один на другой, сливаются в гармоничное художественное целое сказочно-фантастический и реалистический планы повествования, но и, главное, в том, что у всех у них один и тот же стимул обращаться именно к этому жанру: вера в доброе начало в человеке и в его победу над реальным злом, даже если оно принимает фантастические размеры и формы. В жизни такая победа во много раз труднее, и это тоже отражено в их произведениях.

Но их вдохновляет надежда. И закон народной сказки — «добро побеждает зло» — мог бы послужить эпиграфом ко всему этому сборнику. Авторы его передают друг другу из книги в книгу эстафету добра.

А. Исаева





МАРИЯ
КОНОПНИЦКАЯ

О гномах,
и сиротке Марысе

Повесть ~ сказка.







Перевод с польского
Н. ПОДОЛЬСКОЙ

Стихи в переводе
А. ИСАЕВОЙ



равда это или байка —
Так суди иль по-иному,
Верь, не верь, а все ж узнай-ка:
Есть народец малый — гномы.

Как ему не подивиться!
Невелик росточком вышел —
Войско в тыкке уместится:
Каждый семечка повыше.

Где ж они? А на пригорке,
И под камнем, и в чулане,
В каждой ямке, в каждой норке —
Вот спроси у старой няни!

И в запечке, и под печкой,
В узкой щелке половицы —
Уж найдет себе местечко,
Всюду может примоститься!

Глядь — готовит за кухарку,
Сахарку слизнул немножко,
С сковородки стянет шкварку,
Под столом подымет крошку...

Щелкнул кнут в конюшне глухо —
Знать, коню сплетает гриву...
Шепчет сказку детям в ухо...
Ну и чудо! Ну и диво!

Знают выходы и входы,
Все увертки, все уловки!
Нет проворнее народа —
Ну и прятки, ну и ловки!

Так суди иль по-иному,
Верь, не верь, вини в обмане —
Только есть на свете гномы!
Вот спроси у старой няни!





Глава первая

Как придворный летописец короля Светлячка узнавал, когда придет весна

I



Зима была такая долгая и студеная, что его величество Светлячок, король гномов, примерз к своему трону. С его седой бороды, посеребренной инеем, свисали сосульки, обледенелые брови сердито и грозно топорщились. Замерзшие капли росы жемчужинами сверкали на короне, а пар от дыхания изморозью оседал на ледяных стенках Грота. Королевские подданные, проворные гномики, надвинули на самый нос свои длинные колпачки и плотно закутались в красные плащи. А некоторые сделали себе шубы и кафтаны из бурого и зеленого мха, собранного в лесу еще осенью, из трута, шишек, беличьего пуха и перышек, что обронили птички, улетая за синее море.

Но королю не годится одеваться как попало. Он и зимой и летом носил пурпурную мантию. С незапамятных времен служила она королям гномов и уже порядком поистерлась и прохудилась — ветер продувал ее насквозь. Но, будь эта мантия даже новой, она ничуть бы не грела — сотканная из паутинок, которые весной протягивают по пашне красные паучки, она была не толще макового лепестка.

Вот и дрожал королишка в своей мантии, зуб на зуб не попадал, и все дышал на руки: они до того окоченели, что еле удерживали скипетр. В ледяном дворце огня ведь не разведешь. А не то и пол и стены потрескаются.

Оставалось согреться сиянием золота и серебра, лучистым пламенем брильянтов, крупных, с яйцо жаворонка, переливами солнца в хрустальных стенах тронного зала да сверканием длинных мечей, которыми размахивали храбрые гномы, чтобы удаль свою показать, а заодно и разогреться. Но тепла от всего этого было мало, и бедный старый король только лязгал немногими уцелевшими зубами, с нетерпением поджидая весны.

— Сморчок, мой верный слуга! — позвал он одного из придворных. — Выгляни-ка наружу, не идет ли весна?

Но Сморчок ответил смиренно:

— Государь мой и повелитель! Не время мне вылезать из-под земли, пока не зазеленела крапива под плетнями. А до той поры еще далеко!

Кивнул король головой и подозвал другого придворного: — Синичка, может, ты выглянешь?

Но Синичке тоже неохота было высовывать.

— Государь мой и повелитель! — ответил он. — Мое время придет, когда защечечет трясогузка. А до той поры еще далеко!

Помолчал король; но, видно, холод пробирал его не на шутку, и он опять сказал:

— Букашка, мой верный слуга, хоть ты выгляни!

Но и Букашке не хотелось вылезать на мороз.

— Государь наш и повелитель! — с поклоном ответил он. — Мое время придет, когда мушка проснется под прошлогодним листом. А до той поры еще далеко!

Опустил король бороду на грудь и вздохнул, да так тяжело, что в Гроте поднялась метель и ничего не стало видно.

Прошла неделя, прошла другая, и вот в одно прекрасное утро сделалось светло-светло. Закапало с сосулех на королевской бороде, подтаял снег на королевских волосах, расправились смерзшиеся брови, и по усам, словно слезинки, покатались капли.

На стенах тоже начал таять иней, а лед трескался с таким грохотом, будто Висла вскрывалась. Стало так сыро, что король и все придворные принялись оглушительно чихать — словно пушки запалили.

И то сказать — носы у гномов знатные!

Сами-то они народец мелковатый: увидит гномик крестьянский сапог, остановится, разинет рот и дивится, думает — башня. Забредет в курятник и спрашивает: «Это что за город такой и далеко ли до заставы?» В пивную кружку свалится — и ну верещать: «Спасите! В колодец упал!»

Вот такая мелюзга!

Зато носы у них что надо. Такие бы носищи любителям табачок понюхать! Как расчихались да начали друг дружке и королю здоровья желать — земля задрожала.

На ту пору крестьянин в лес по дрова ехал. Услыхал, как гномы чихают, и говорит:

— Ого! Гром гремит! Значит, весна зиму поборола!

Подумал, что это весенний гром, и немедля повернул к корчме: чего зря деньги на дрова переводить. Так и просидел там до вечера — все рассчитывал да прикидывал, как бы с работой справиться вовремя.

Меж тем и вправду потеплело. К полудню у всех гномов оттаяли усы.

Начали они совещаться, кого послать посмотреть, пришла ли весна.

Судили, рядили, наконец король Светлячок стукнул об пол своим золотым скипетром и молвил:

— Пусть наш ученый летописец Чудило-Мудрило пойдет и проверит, пришла ли весна.

— Вот мудрое королевское слово! — наперебой закричали гномы и уставились на ученого по имени Чудило-Мудрило.

А тот сидел, как всегда, над огромной книгой, в которую записывал историю королевства гномов с древнейших времен: откуда они ведут свой род, какие у них были короли, с кем они воевали и кого победили.

Он описывал без прикрас все, что видел и слышал, а чего не видел, сам придумывал, да так складно, что заслушаешься, как начнет читать.

Этот он первый доказал, что гномы, хоть ростом с вершок, на самом деле — великаны. Просто они съезжились, чтобы сукна выходило поменьше на плащи да кафтаны: больно уж нынче все дорого.

Гномы очень гордились своим летописцем. Попадутся им цветы — тут же сплетут венок и возложат ему на макушку. Последние волосы этими венками повеятели, и голова у него стала голая, как колено.

II



от стал Чудило-Мудрило собираться в дорогу. Запасся целой бутылкой черных-пречерных чернил, очинил большое гусиное перо и вскинул его на плечо, как ружье, чтоб нести легче было. Потом привязал книги за спину, подпоясался ремешком, надел колпак, сапоги, закурил свою длинную трубку — вот и в путь готов.

Друзья сердечно простились с ученым летописцем. Кто знает, не приключится ли с ним беды и доведется ли еще увидеться?

Сам король хотел обнять его на прощание — очень уж он ценил своего летописца за ученость, — да не тут-то было: мантия накрепко примерзла к трону, и его величество никак не мог приподняться. Тогда король Светлячок простер свой золотой скипетр над ученым мужем. Тот приложился к его руке, и несколько замерзших слезинок прозрачными жемчужинами скатились из королевских очей, зазвенев на хрустальном полу.

Королевский казначей Грошик подобрал их, положил в драгоценный ларчик и отнес в сокровищницу.

Целый день карабкался наш ученый, прежде чем выбрался на поверхность земли. Дорога, вся в узловатых корневищах вековых дубов, круто поднималась в гору. Гравий, камни, обломки скал с глухим шумом осыпались из-под ног в пропасть. Замерзшие водопады блестели, как ледяные зеркала, и ученый путешественник скользил по льду, с трудом подвигаясь вперед.

В довершение всех бед он не взял с собой никакой еды. Силенок хватило только книги тащить, да большую чернильницу, да большое перо.

И совсем бы выбился из сил Чудило-Мудрило, не попадись ему по дороге домик одного хомяка, запасливого и богатого.

Кладовая у хомяка ломилась от зерна и орехов. Он накормил голодного странника и даже позволил ему отдохнуть на сене, которым был устлан пол, но с условием, что тот никому в деревне не проболтается про его жильё.

— Там такие сорванцы! Пронюхают, где моя нора, — прощай, спокойная жизнь!

Приободрясь и подкрепившись, Чудило-Мудрило поблагодарил гостеприимного хомяка и пустился в путь.

Шагал он теперь легко и весело, поглядывая из-под темного колпака на крестьянские поля, на луга и рощи. Зелень изо всех сил тянулись вверх; в низинах пробивалась молодая травка, над разлившимся ручьем краснели ветви ивняка, а высоко-высоко в туманном небе курлыкали журавли.

Любой другой гном сообразил бы по этим приметам, что весна не за горами. Но наш ученый просидел всю жизнь, уткнувшись в книги, и, кроме них, ничего на свете не знал и не видел.

И все-таки даже у него стало легко и радостно на душе, и, размахивая своим большим пером, он запел старинную песенку:

Прочь, прочь, прочь беги, грусть, тоска и хворь!
Ну-ка, трубку разожги да бутылку раскупорь!..

Но не успел пропеть и куплета, как услышал чириканье воробьев на плетне, огораживающем поле, и сразу замолчал, чтобы не

уподобляться этому сброду. Нахмурив лоб, с важным видом прошествовал мимо — пусть знает эта голытьба, что ученый им не товарищ.

Вот уж и деревня показалась. Свернув на тропинку, наш путник под прикрытием прошлогодних сорняков незаметно подобрался к первой хате.

Деревня была большая. Вся в садах, черневших голыми деревьями, она широко раскинулась среди полей, упираясь одним концом в темную стену густого соснового леса.

Из труб свежевыбеленных ладных хаток поднимается сизый дым; во дворах скрипели колодезные журавли, батраки поили лошадей и мычащих коров; по дороге, обсаженной тополями, с криком носились стайки ребятишек, игравших в прятки и сачочки.

Но весь этот гомон перекрывали удары молота и лязг железа, доносившиеся из кузницы, возле которой причитала толпа крестьянок. Увидев их, Чудило-Мудрило осторожно прокрался вдоль забора и, притаившись за терновым кустом, стал слушать.

— Ах, злодейка! Ах, разбойница! — кипятилась одна. — Ну разве убережешь теперь от нее кур, коли она к самому кузнецу не побоялась забраться!

— Да что все твои куры против этой! Не курица, а золото! — перебила другая. — Каждый день яйца несла с кулак! Другой такой во всей деревне не сыщешь!

— А у меня кто петуха задушил? Не ее разве проделки? — жаловалась третья. — Как увидела я перышки разбросанные, так и обмерла. Да у меня его за пять золотых с руками бы оторвали — еще грошей пятнадцать прибавили бы.

— Вот пролаза! Вот злодейка! Эдакую дыру в курятнике проделала! — подхватила первая. — Да тут когтищи железные нужны. Мужик лопатой и то лучше не выроет. Неужто управы нет на нее, разбойницу?

Тут из лачуги без зипуна выскочила кузнечиха, остановилась на пороге, поднесла фартук к глазам и заголосила:

— Ах ты пеструшечка моя милая! Пеструшечка златоперая! И что я без тебя, сиротиночка, делать стану!

Недоумевая, слушал ученый летописец этот плач. Он прикладывал руку то к одному уху, то к другому, но никак не мог взять в толк, о чем тужат женщины. Вдруг он стукнул себя по лбу, уселся среди сорняков под забором, откупорил чернильницу, обмакнул перо, стряхнул его и, раскрыв огромную книгу, записал:

«На второй день странствия пришел я в несчастную страну, на которую совершили набег татары и перебили, передушили

или угнали в полон всех кур и петухов. Кузнец ковал мечи для похода, а перед кузницей раздавались плач и стенания».

Не успел он кончить, как на пороге появился кузнец и рявкнул басом:

— Слезами горю не поможешь! Горшок с жаром надо взять да выкурить злодейку из норы! Кто же не знает лисьи норы на опушке! Выкурить ее оттуда или нору раскопать. Живей, Ясек! Собирайся. Стах! Кликните ребят, берите лопаты, и айда. А ты, мать, чем слезы лить, лучше бы горшок углей приготовила. Я бы и сам пошел, да работа срочная!..

Сказал — и воротился в кузницу, и оттуда снова послышался звон железа.

А двое подмастерьев, бросив раздувать мехи, помчались по улице с криком:

— На лису! На лису!

Женщины тоже разошлись по домам — снарядиться в поход.

Тут летописец, внимательно следивший за событиями, снова обмакнул перо в чернильницу и записал:

«Возглавляет орду хитрый и неустрашимый хан, по прозванию Лиса. Татары скрываются в лесных пещерах, а местное население выкуривает их оттуда пороховым дымом».

Едва успел он поставить точку, как до слуха его донесся оглушительный шум. Глядь — по деревенской улице валит толпа женщин, детей, подростков с лопатами, палками и горшками, а за ними с яростным лаем мчатся Шарик, Жучки и Барбоски.

Еще раз обмакнул перо Чудило-Мудрило и сделал такую запись:

«В этой стране с татарами сражаются не мужчины, а женщины, дети и безусые отроки. Войско с криками и шумом мчится по деревне, а за ним несется целая свора псов, яростным лаем возбуждая в воинах отвагу.

Все это видел я собственными глазами и собственноручной подписью удостоверяю».

Ученый гном склонил голову набок, прищурил левый глаз и расписался внизу страницы: «Придворный Историк Его Величества Короля Светлячка Чудило-Мудрило», изобразив в конце замысловатую закорючку.

Вдруг откуда-то из-за забора пахнуло можжевельным дымком, а гномы очень любят этот запах.

Чудило-Мудрило потянул своим носищем раз, другой, потом раздвинул сухие стебли и стал озиаться: где горит? На опушке леса заметил он синюю струйку дыма, а протерев хорошенько очки, увидел костер, а вокруг него — пастушат.

Добрый старичок очень любил детей. И вот напрямик через пашню, смешно перескакивая через борозды, направился он на дымок.

Пастушата очень удивились, увидев маленького человечка в плаще, в колпаке, с книгой под мышкой, с чернильницей на поясе и пером на плече.

Юзек подтолкнул Стаха и шепнул, показывая пальцем:

— Гномик!

А Чудило-Мудрило, который подошел уже совсем близко, кивнул им и улыбнулся приветливо.

Ребята смотрели на него разинув рот, как зачарованные. Они не то чтобы испугались, а просто онемели от неожиданности. Бояться тут нечего — ведь даже малые дети знают, что гномы никому не делают зла, а бедным сиротам еще и помогают.

Стах вспомнил, как позапрошлой весной вот такой же малюсенький человечек помог ему найти и пригнать на пастбище убежавших в лес телят. А на прощание насыпал полную шапку земляники, погладил по голове и сказал:

«На вот тебе, не бойся!»

Подойдя к костру, ученый летописец вынул трубочку изо рта и сказал вежливо:

— Здравствуйте, дети!

— Здравствуй, гномик, — серьезно ответили пастушата.

А девочки, вытаращив на пришельца голубые глазенки, съжились, натянули на лбы платочки — только носы выглядывают, как пуговики.

Чудило-Мудрило, улыбаясь, посмотрел на них и спросил:

— Можно мне у костра погреться? Холодно что-то!

— Почему ж нельзя? — рассудительно ответил Ясек.

— Места не жалко! — прибавил Стах.

— Присаживайтесь! Гостем будете! — сказал Юзек, подбирая полы своего серого зипуна и освобождая местечко у огня.

— Картошка испечется — и поесть можете, коли захотите, — радушно предложил Куба.

— Конечно, кушайте на здоровье! Картошка почти готова, по запаху слышно!

Ученый летописец уселся у костра и, ласково глядя на разрумянившиеся лица, сказал растроганно:

— Милые вы мои детки! Чем же я вам отплачу?

Только он сказал это, как Зоська, заслонясь рукавом, выпалила:

— Расскажите нам сказку!

— Ну ее, сказку! Быль интересней сказки! — с важностью сказал Стах.

— Конечно, интересней, — согласился гном. — Разве сказка может с правдой сравниться?

— Ну, коли так,— весело воскликнул Юзек,— расскажите, откуда взялись гномы!

— Откуда взялись? — повторил ученый муж и уже открыл было рот, готовясь начать рассказ, как вдруг с громким треском начала лопаться картошка.

Дети кинулись выгребать ее палками из золы и углей.

Неожиданный треск не на шутку напугал ученого. Отскочив в сторону, он спрятался за камень и из этого укрытия стал наблюдать, как дети едят какие-то круглые дымящиеся ядра: таких ему никогда прежде не доводилось видеть. Раскрыв книгу, он положил ее на камень и написал дрожащей рукой:

«Народ в этой стране столь воинствен и отважен, что малые дети прямо в горячей золе пекут шрапнель, которая потом рвется с грохотом, подобным громовым раскатам. Тогда мальчишки, с колыбели презирающие смерть, и даже слабые девочки выгребают эту оглушительно рвущуюся шрапнель и еще дымящейся отправляют в рот. Будучи свидетелем этой героической отваги, не мог ей надивиться, а посему записываю в назидание потомству. Дано в поле, на пашне, вскоре после полудня».

Затем следовала подпись с завитушкой, еще более замысловатой, чем в первый раз.

Но печеная картошка пахла так вкусно, что у нашего ученого потекли слюнки и в животе заурчало. Видя, что «шрапнель» не причиняет детям ни малейшего вреда и они знай себе уплетают да похваливают, он вылез из своего укрытия и осторожно приблизился к костру.

Зоська отломил кусочек картошки и, нацепив на палочку, протянула ему попробовать. Не без опаски взял он его в рот, но, распробовав, протянул руку за новым.

Девочки разламывали самые пропеченные картофелины и давали ему по крошечке. Под конец они так осмелели, что последнюю Кася сунула ему прямо в рот. Все девочки запищали от восторга, а громче всех сама Кася.

III



одкрывшись, Чудило-Мудрило опять подсел к костру, а когда пастушата подложили хвороста в огонь и сухие ветки весело затрещали, рассыпая искры, начал свой рассказ:

— В прежние времена мы не ютились под землей, в скалистых пещерах, под корнями старых деревьев, как сейчас, а жили в хатах по деревьям, вместе с людьми. Только давно это было. Тогда княжил над теми местами Лех, который основал город Гнезно. Он увидел там гнездовья птиц и ска-

зал себе: «Раз птицы нашли себе здесь пристанище, значит, это край покойный и благодатный».

Так и оказалось.

О птицах тех молва гласит, будто это были орлы; но в наших старинных книгах написано, что аисты; они гнездились там и бродили в лугах. Так или иначе, край этот стал называться Лехией, по имени князя Леха, а народ, заселивший те земли, называл себя лехитами.

Соседи же прозвали их полянами, потому что они нахали поля и сеяли хлеб. Все это записано в наших летописях и скреплено печатью.

— А лесов тогда совсем не было? — тоненьким голоском перебил Юзек. — И речки тоже? Только все поля да поля?

— Что ты! — ответил Чудило-Мудрило. — Еще какие леса были! Не то что теперь — дремучие, без конца без края. И водились в них звери, свирепые, огромные. Как станут реветь — деревца пополам переламываются. Но мы, гномы, все только с медведями сталкивались. Прадедушка моего прадедушки рассказывал мне такой случай. Раз медведь выбирал мед из липового дупла да вместе с медом и пчелами вытащил и его. Взял к себе в берлогу и заставил день и ночь сказки сказывать. А сам лежит, подремывает да лапу посасывает. Только когда морозы ударили и медведь заснул крепко, сбежал от него прадедушка моего прадедушки. Семь лет странствовал, пока к своим воротился.

Дети смеялись, а Чудило-Мудрило продолжал:

— Да, славное было времечко!.. Над полями, ручьями шумели липовые рощи. В рощах древний бог Световит жил и на три стороны света поглядывал — землю сторожил. Гномики — их за малый рост еще карликами называли — стерегли хаты, крестьянское добро, скотину.

«Нет дома без гнома», — говаривал в старину народ. Жилось нам хорошо, весело, во всем мы помогали хозяевам: овес проведем, золотое зерно лошадям зададим, сечки нарубим, подстилку перетряхнем, кур на насест загоним, чтобы яйца не оставили в крапиве, масло собьем, сыров наделаем, детей укачаем, пряжу смотаем, огонь раздуем, чтобы каша быстрее варилась. И по дому и в хлеву — никакой работой не гнушались. Но трудились мы не задаром. Не хозяин, так хозяйка никогда не забудет оставить для нас хлебных да творожных крошек на лавке в горнице, а в кувшине — медку или хоть молочка на доньшке. Голоду не знали.

Пойдет, бывало, хозяйка огород полоть или в поле жать, в дверях обернется, возьмет горсть проса из кадки, бросит на пол и скажет:

Гномики, гномы,
За детьми, за домом
Пригладите, присмотрите!
А вот просо вам... Берите!

И уйдет со спокойным сердцем. А мы — прыг, прыг из запечка, из-под лавки, из-за расписного сундука, и за работу! Сказки сказываем ребятишкам, лошадок им мастерим, девочкам косички заплетем, кукол тряпочных поделаем. Протрем оконца, солнышко в хату впустим — по всем уголкам свет разнесем: так все и засверкает!

Работы, правда, много, зато благодарности от людей еще больше. Ни один праздник без нас не обходился.

Гномики, гномы,
На пир вас зовем мы!
На остатки пирога,
На оленье рога,
На жаркое из печи
Да на белые калачи! —

приглашали нас хозяева.

За стол мы, конечно, не лезли — наш брат, хоть и мал ростом, вести себя умеет. Зато как заиграем на гусельках, сперва один, за ним другой, третий, десятый — целый оркестр соберется под окном или под половицей, — народ слушает не наслушается: так весело, легко станет на душе от нашей музыки!

Эх, где те времена? Ушли безвозвратно.

IV



удило-Мудрило замолчал, посасывая свою трубочку, а ребятишки сидели, притихнув и не сводя с него глаз. Немного погодя он начал снова:

— Не знаю уж, долго ли так продолжалось: в наших книгах об этом не сказано. Только стали времена к худшему меняться. Род Лехов, что справедливо страной правил, прекратился, а новые князья все грызлись между собой, ведь княжило-то их чуть ли не двенадцать сразу. Наконец надоели народу их распри, и прогнал он прочь всех этих драчунов, а себе опять выбрал одного правителя.

Мир настал в стране, но солнышко, едва проглянув, снова спряталось за тучу.

Прозорливой саранчой налетели на лехитские земли полчища немцев: их князь задумал сесть королем над нами и взять себе в жены нашу королеву. Я говорю «нану», потому что в давние

времена все вместе держались — и люди, и гномы — и жили дружно, как братья. Но королева не хотела идти за него.

— Знаю, знаю! — пропищала Кася. — Это была королева Ванда.

— И я знаю! — еще тоньше запищала Зося.

И обе, спеша и перебивая друг друга, запели:

В земле нашей покоится Ванда,
Что замуж не шла за немца...

Чудило-Мудрило закивал головой и сказал с улыбкой:

— Верно, верно, не захотела!.. Знаю и я эту песенку! Она в наших книгах записана. Ведь это мы, гномы, с незапамятных времен учим деревенскую детвору петь ее. Да, да!.. Я и сам не меньше ста ребятшек научил. А вас кто выучил!

— Не знаем.

— Ну, значит, я. Вот иногда кажется, будто ветер напевает и нашептывает какие-то слова...

— Правда! — серьезно сказали мальчики.

— А на самом деле это мы, гномы, шепчем и поем! Мы — маленькие; спрячемся во ржи, в траве, среди листьев или под камень залезем — нас и не видно.

Ну, вот... Отказалась королева идти за немца, и началась война. Налетели стаи воронов, волки завывали, небо черными тучами заволочло.

Начался голод: ведь и хлеб, и сыр — все шло воинам, сражавшимся с немцами.

Обнищала страна, обнищали и мы. И королева Ванда измучилась, видя, как из-за нее бедствует народ. Бросилась она в Вислу и утонула. Тут немцы ушли восвояси, и наступил мир.

Но прежние времена уж не вернулись. Сильный обижал слабого, брат шел на брата, алчный сиротскую полоску норовил оттягать и припахать к своему полю. А где неправда да слезы, не может быть счастья. И стал править страной злой король Пóпель.

— Батюшки! — запищала Кася. — Попель!

— Ты что? Никогда не слыхала? — одернул ее Стах. — Его еще мыши съели.

— Ага! — поддакнул Юзек.

Чудило-Мудрило, затянувшись трубочкой, продолжал:

— Про мышей этих разные толки ходят. Одни говорят одно, другие — другое. Времена-то давние, поди разберись теперь, как оно на самом деле было. В наших книгах написано, что это не мыши были, а гномы в мышиных шубках, — тогда ведь зима стояла. Мочи не стало смотреть, как Попель свирепствует, вот они и высыпали из нор всем скопом, накинулись на него и растерзали.

Так в наших книгах написано. Правда это или нет — трудно теперь сказать.

Прапрадедушка говорил мне, что сам видел, пока еще не ослеп от старости, это страшное озеро и башню, где все случилось. Башня до сих пор называется Мышиной, а озеро — Гóпло.

Так-то вот!

Тут у него погасла трубочка. Он разгреб золу, нашел уголек, потянул несколько раз, выпустил клуб дыма и снова заговорил:

— С этими древними книгами тоже беда. Или нескольких страниц не хватает, или выцвели и пожелтели так, что слова не разберешь, или черное пятно во всю страницу. Не очень-то и прочтешь, что написал кто-то много веков назад.

Но зато сразу можно понять, хорошие были времена или плохие. Если хорошие — от страниц, самых ветхих, такое сияние идет, словно солнышко выглянуло. А плохие — потемнеет все, точно ночь настала и ни луны, ни звездочки...

Вот какие у нас, у гномов, летописи!

V



Хотите узнать, что было дальше? — спросил Чудило-Мудрило, раскурив трубку.

— Хотим, хотим! — запищали девочки.

— Ну так слушайте. После страшных страниц о Попеле — их откроешь, и тьма сразу кругом, — идут ясные, светлые про Пяста. О нем я хоть целый час рассказывать готов.

У Юзека глаза загорелись.

— Расскажи, гномик, пожалуйста!

— Расскажи, расскажи нам все! — наперебой закричали дети.

Чудило-Мудрило сдвинул колпак, почесал в затылке и начал рассказ:

— Сам-то я этого не видел, меня тогда еще на свете не было. Но старичку гному, который записал эту историю, рассказал ее старый дуб, а он хорошо помнил те времена. Голос у дуба был уже слабый от старости, но только он зашелестит, в лесу сразу тихо-тихо делается — слышно, как муха пролетит. Сосны, ели, буки, грабы, березы, даже трава, мхи и папоротники слушают затаив дыхание — ни один стебелек не дрогнет, ни один листок не шелохнется.

А старый дуб шелестит себе потихоньку, ведя неторопливый рассказ про времена своей молодости. И вот этот гном — а он в ту пору еще мальчонкой был, ростом с синичку, — придет к своему знакомому грибу в гости, сядет под шляпку и слушает. Он слово в слово запомнил рассказ старого дуба и потом записал в книгу.

А дело было так.

Рос этот дуб, тогда еще молодой дубок, в тихой дубраве, а неподалеку, в тени лип, вокруг которых гудели пчелы, стояла избушка из белых лиственничных бревен.

В избушке жили трое: Пяст, Репиха и сынок их, по прозванию Землян. Прозвали его так за любовь к родной земле — как выйдет, бывало, на порог, непременно скажет: «Здравствуй, земля родная!»

Жили у них в избушке и гномики, жили не тужили: отец, мать и сын никогда не забывали поделиться с ними и золотистым медом, и белоснежным творогом, и лепешками. Даже в королевском дворце не жилось бы гномам лучше, чем в этой тихой, светлой, пахнувшей смолой избушке.

Вот подрос Землян, и настало время в первый раз остричь ему золотые волосы. Стали собираться на праздник соседи — кто пешком, кто на телеге, кто верхом. Шумно во дворе у Пяста. Хлопочет хозяин, хлопочет хозяйка — всех надо угостить, всем угодить.

Немало дел и у гномов.

И вдруг в самый разгар веселья небо нахмурилось и налетел холодный ветер. Побледнели гномы и, бросив все, замерли на месте, лязгая зубами. Немного придя в себя, кинулись они в чулан, забились в самый темный угол и, съжившись, дрожали, как осенние листья. Еще давным-давно им было предсказано, что когда-нибудь, в один прекрасный день, солнце затмится тучами, дохнет холодом и гномам придется навсегда покинуть человеческое жилище, разойтись по горам, по лесам и пещерам.

Насыпала им Репиха мака, накрошила сладкого пирога, но гномы, хоть и проголодались, не вылезли из своего угла и к еде не притронулись. Много дней и ночей просидели они в чулане, в холоде и голоде.

А когда наконец отважились выглянуть, чтобы приняться за свою обычную работу, то увидели Пяста в сверкающей короне и парчовой мантии, накинутой прямо на холщовую рубаху. Он отправлялся во дворец, где уже не гномы стали ему прислуживать, а рыцари да вельможи.

Репиха сделалась королевой, а Землян — королевичем. Кончилась крестьянская жизнь в избе, началась королевская — в замке.

Вот о чем шептал, шелестел вековой дуб, а притихший лес его слушал.



удило-Мудрило замолчал. Дети сидели присмирив: в шуме леса чудился им голос старого дуба. Первым заговорил Юзек:

— А потом что стало с гномами?

Но ученый летописец не отвечал, погрузившись в думы о старине.

Пастушата стали дергать сго за плац и кричать:

— Гномик, гномик, рассказывай! Что дальше было?

Чудило-Мудрило очнулся от задумчивости и стал опять рассказывать:

— Правда, не сразу гномы решились уйти. Некоторое время они еще жили в деревнях с людьми. Но день ото дня становились все печальней и слабее. Их теперь редко звали на помощь. Пока жив был Пяст, никто не смел их обижать. Еще в царствование сына его, Земляна, у гномов был свой угол в каждой хате. Но при внуке Земляна, короле Мешко, настали для них трудные времена. Днем они даже на глаза боялись показаться людям и только в сумерки вылезали из своих убежищ — раздобыть какую-нибудь еду.

Крестьянки, уходя в поле, уже не сыпали им проса и не просили присмотреть за детьми.

Осталась на долю гномов самая черная работа: на конюшне, в хлеву, в риге, а в доме разве что лучины нащепают, горшки перемоют да мусор в уголок заметут.

Гномы и сами видели, что проку от них мало, работники они плохие: куда девалась прежняя сила и сноровка! Делать нечего: горько плача, высыпали они из хат и толпами потянулись из деревень в леса, в горы, в пустоши.

С той поры разве ночью случается увидеть нас людям, а днем мы только детям показываемся, вот как я вам. Больше всего гномов ушло в Карпаты. Там, в пещерах, мы стережем клады. В лесах тоже немало нашего брата. А зимовать в лесу холодно, вот мы и шьем себе красные плащи и колпачки. По ним нас сразу можно узнать. Мы и теперь хорошо относимся к людям и за крошку хлеба, за каплю молока всегда рады помочь доброму человеку. Но чуть подует осенний ветер, мы прячемся под землю.

Только сказал это Чудило-Мудрило, как со стороны леса слышались гомон, крики. Это бабы и ребятишки возвращались домой из похода. Но без успеха. Оказалось, у хитрой лисы несколько выходов из норы. Пока раскапывали тот, что на опушке, лиса через другую лазейку благополучно выбралась в поле и притаилась в терновнике.

Женщины бранились, что зря потратили время, дети кликали собак, которые с громким лаем рыскали по опушке, отыскивая следы.

Заслышав крик и лай, пастушата подняли головы, загляделись и позабыли про гнома.

А Чудило-Мудрило встал, натянул колпачок и, юркнув в борозду, исчез в прошлогоднем бурьяне. Так Зося и Кася, Стах, Юзек, Куба и Ясь никогда и не узнали, во сне им все это привиделось или на самом деле у костра сидел гномик и рассказывал чудесную сказку.

VII



Между тем Чудило-Мудрило крадучись добрался до леса. Было еще светло, но в чаще царил полумрак, и тропинка, по которой он шел, еле виднелась — такую густую тень отбрасывали сосны и ели.

Так шел он, может, час, а может, больше: устал, проголодался. И вдруг, споткнувшись, свалился в глубокую яму.

А в яме этой жила лиса Сладкоежка, известная на всю округу похитительница кур. Та самая, на которую ходила облавой деревня.

Лиса как раз сидела в норе и обглаживала жирную курицу. На полу повсюду были разбросаны перья.

Увидев непрошеного гостя, Сладкоежка тотчас прервала свою трапезу, проворно покопала лапкой, сбросила кости в ямку и присыпала землей. А сама села и смотрит как ни в чем не бывало.

Лису смех разбирал — уж очень неожиданно влетел Чудило-Мудрило в нору, да еще перекувырнулся через голову. Но притворница и виду не подала — скромнехонько встала и сделала шаг навстречу гостю.

— Вы, должно быть, дверью ошиблись, милостивый государь? — пропела она сладеньким голоском.

— Да, вы правы, — ответил летописец. — Темновато, знаете, и я не заметил входа. К тому же у меня вообще ослабло зрение от непрерывной работы над большим историческим трудом.

— Ах! — захлебываясь от восторга, воскликнула Сладкоежка. — Значит, я имею честь приветствовать ученого коллегу! Я тоже посвятила себя науке. Я пишу большое исследование о разведении в деревнях кур и голубей и даже предлагаю новый проект постройки курятников. Вот перья, которыми я пишу.

И она небрежным жестом указала на разбросанные по всей норе перья съеденной курицы.

Чудило-Мудрило остолбенел от удивления.

Если он одним-единственным пером завоевал себе столь громкую известность среди своего народа, то как же должен быть знаменит тот, кто извел целый пук таких превосходных золотистых перьев!

Сладкоежка подошла поближе и спросила:

— А у вас, любезный коллега, откуда такое замечательное перо и где обитает то милое создание, которому оно принадлежит? Я была бы счастлива с ним познакомиться.

— Это перо из крыла серой гусыни, которую вместе с другими гусями пасет сиротка Марьяся, — ответил Чудило-Мудрило.

— Вместе с другими гусями? — переспросила лиса, облизываясь. — И вы говорите, коллега, что пасет их малолетняя сиротка? Бедняжка! Нелегко ей, наверное, управлять с целым стадом гусей! Ах, с какой радостью я помогла бы ей! С каким удовольствием присмотрела бы за стадом вместо бедной милой сиротки! Надо вам сказать, дорогой коллега, что у меня очень мягкое сердце. Мягче масла!

В подтверждение своих слов она приложила лану к груди. Потом, подойдя вплотную к летонисцу, обнюхала перо и, смахнув слезу, сказала:

— Не удивляйтесь, дорогой коллега, моему волнению. Я почувствовала в эту минуту, в чем мое призвание. Наставлять заблудших гусей на путь истинный — вот мой долг! Помогать сироткам пасти их — вот высшая цель моей жизни! — И, воздев передние лапы к небу, лиса воскликнула: — О вы, невинные существа! О вы, дорогие создания! Отныне вся моя жизнь принадлежит вам!

С этими словами она поспешила к выходу, а за ней по длинному темному коридору засеменил Чудило-Мудрило.

Они прошли уже довольно много, когда лиса сказала:

— Не забудьте, любезный коллега, написать в вашей бесценной книге про сегодняшнюю встречу. Только, прошу вас, никаких похвал, никаких славословий по моему адресу! Напишите просто, что встретились с великим другом человечества Сладкоежкой — не забудьте, пожалуйста, моего имени, — с великим ученым, автором многих трудов — одним словом, с лисой во всех отношениях незаурядной и достойной доверия как пастушат, так и самих владельцев кур и уток. Вы понимаете, дорогой коллега, что врожденная скромность не позволяет мне хвалить себя. Поэтому я не буду распространяться о своих достоинствах и положусь на вашу пронизательность.

Они обменялись рукопожатием и двинулись дальше.

В подземном туннеле становилось все светлей и теплей: сюда уже проникали лучи румяного солнца.

А когда они добрались до выхода из норы, прорытого под трухлявым пнем, лиса одним прыжком очутилась снаружи и, крикнув своему спутнику: «До свидания!» — исчезла в густых зарослях.

От запаха сырого мха и молодой травки у нашего ученого закружилась голова. Он присел на прошлогоднюю шишку — отдохнуть перед дальней дорогой, — счастливый, что ему довелось познакомиться с таким добродетельным зверем.

VIII



Идет Чудило-Мудрило на шишке, глядь — крестьянин идет. В полушубке, в лаптях, в высокой барашковой шапке, на плече топор и котомка холщовая — заправский дровосек! Идет, насвистывает, по сторонам поглядывает — видно, весело ему.

Чудило-Мудрило и подумал: «Дай спрошу у него, когда весна придет».

Но, вспомнив про свою ученость, надулся как индюк и сказал себе: «Негоже мне, ученому, у простого мужика уму-разуму учиться».

А дровосек как раз мимо шел. Глянул случайно под ноги, видит — к шишке что-то круглое, как шарик, прилепилось. Он подумал, что это «волчий табак», наподдал ногой и пошел дальше. Хотя лапоть дровосека только слегка задел его, Чудило-Мудрило вместе с шишкой кубарем отлетел в сторону. Хорошо еще, что чернильница не разбилась и пробка не выскочила.

Скатившись в ямку, ученый летописец сел, ощупал бока и, убедившись, что все ребра целы, плюнул с презрительной гримасой:

— Тьфу! Мужик! А я еще хотел с этим невежей в разговоры пуститься! Только этого не хватало! Вот бы отличился! Нет, надо умнее за дело браться.

В раздумье стал он потирать свой длинный нос. Наконец хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Как же я узнаю, когда придет весна, если не измерю сначала, много ли ей еще идти до нас!

И он стал озираться: из чего сделать глобус, чтобы измерить по нему путь весны?

Глядь — еж спешит по тропинке. Мордочку выставил, иглы ошетилил — яблоко тащит. Обрадовался Чудило-Мудрило и, вежливо поздоровавшись, попросил у ежа яблоко. А у того совесть была нечиста: он это яблоко ночью украл у одной крестьянки и теперь нес в нору. «Это еще что за человек?» — подумал ежик.

испугался и пустился наутек, потом свернулся в клубок и, как мячик, скатился с пригорка.

— Стой! Стой! погоди! — кричал ему Чудило-Мудрило. — Я только путь весны измерю по твоему яблоку и сейчас же отдам обратно.

Но еж исчез в сумраке леса.

— Вот глупый еж! — пробормотал ученый. — Удрал с таким чудесным глобусом! Делать нечего, придется поискать что-нибудь другое.

И он отправился дальше, перепрыгивая через камни и рывины.

Скоро посчастливилось ему найти кусочек глины. Он сделал из нее шар, вкатил на кочку и еловой иглой нацарапал на нем материки, моря, горы, реки. Изобразив все части света, нацепил большущие очки и стал искать дорогу, по которой придет весна.

Тем временем в низинах за клубился туман. Белой пеленой заволакивал он овраги, а луга, поля и дубравы все еще стояли в золотом сиянии солнца.

И тогда на юге появилась юная красавица с простертыми над землей руками. Она шла босая, и, где ступала ее нога, расцветали фиалки и маргаритки; шла безмолвная, но навстречу ей с радостным щебетанием вспархивали птицы; шла с темным, как свежая пашня, лицом, но позади все загоралось яркой радугой; шла, опустив глаза, но из-под ее ресниц лилось сияние. Это была Весна.

Она прошла так близко от гнома, что задела его своей белой фатой, овевяла теплым ветерком и ароматом фиалок из венка, украшавшего ее белокурую голову. Но ученый летописец был так поглощен вычислениями, что даже не заметил ее. Потянул только своим длинным носом, вдохнул тонкий, нежный аромат и, склонившись над толстенной книгой, продолжал старательно записывать в нее результаты своих расчетов.

А по расчетам его выходило, что весна совсем не придет. Она заблудилась, осталась за морем и не найдет сюда дороги. Выходило, что жаворонки и соловьи потеряют голос и никогда больше не запоют — единственной песней на земле будет отныне карканье ворон; что ветер сметет все семена в бездонную пропасть и больше не зацветут ни роза, ни лилия, ни яблонька. Заря погаснет, солнце почернеет, дни превратятся в ночи, а луга и поля покроются не хлебами, не травой, а вечными снегами.

Окутавшись дымом своей огромной трубки и пыжась от гордости — вот, мол, какой я мудрец и пророк. — Чудило-Мудрило как раз записывал это в книгу, когда прилетели три громадных золотисто-черных косматых шмеля и ну виться над его блестящей лысиной! Громко, басовито жужжа, они сделали над ней

один круг, другой, третий, но ученый летописец, углубившись в работу, ничего не слышал.

И вдруг (он как раз поставил точку в конце своего пророчества) — бац! — что-то стукнуло его по лысине. Еще раз, еще и еще.

Чудило-Мудрило закричал не своим голосом, подумав, что настал конец света. Выронил трубку изо рта, бросил перо и отскочил в сторону, опрокинув на свою бесценную книгу огромную чернильницу.

Черные потоки хлынули на только что исписанные страницы. Увидев это, Чудило-Мудрило остолбенел.

Погибли все его предсказания и расчеты!

Чернильная река залила книгу.

Что теперь делать? Как явиться к королю?..

Так хорошо, так складно высчитал — и все насмарку!

Несчастный летописец ломал руки. От горя у него последний разум отшибло. Теперь уж он совсем запутался: пришла весна или нет?..

Наступил полдень, наступил вечер, а он все стоял да стоял на том же месте.

На небе, румяном от зари, загорелись первые звезды; над полями и лугами разлился аромат цветов. Юная красавица дошла уже до опушки леса, и под ее босой ногой расцвел первый ландыш.





Глава вторая

В поход отправляется Хвощ

I



ежду тем съестные припасы в Хрустальном Гро- те дошли к концу, и гномам стали выдавать в день всего по три горюхины на брата. Тут, конечно, пошли оби- ды, ссоры, даже потасовки, как всегда бывает, когда дойдут холод да голод.

Что ни день, то скандал.

То Сморчок с Букашкой сцепятся, то Петрушка с Кузовком, то Соломенное Чучелко с Волчьим Табаком, а то все вместе свалку устроят, пока не выскочат Хватай с Запираем и не засадят всю компанию в кутузку.

Но больше всех шумел, проклиная свою судьбу, Хвощ. Ел он за четверых, но все время ныл, что голоден.

С этим Хвощом приключилась однажды удивительная ис- тория.

Дело в том, что гномы не всегда под землей прячутся. Они не прочь и в деревне пожить, за печкой или под полом. И если нерадивая хозяйка горшка не накрыла, сора из избы не вымела, пряжу бросила где попало, творога не откинула вовремя, помоев не вынесла, цыплят не пересчитала, проказники гномы тут как тут: в борщ мух набросают, сор из углов по всему полу расшвыря-

ют, творог съдят, нити на мотовиле перепутают, кур из курятника выпустят, ведра опрокинут, набедокурят, накуролесят — и шмыг за печку!

А бывает и так. Оставит баба ребеночка в колыбели, а сама побежит к соседке лясы точить. Тут уж гномы не зевают — сейчас ребеночка своим подменят, к себе утащат, вырастят и заставят на себя работать.

Гном-подкидыш не растет, только голова у него пухнет да тяжелеет; зато прожорлив он — никак не накормишь досыта!

У одной крестьянки был сыночек Ясек, прехорошенький мальчик.

Волосы, как лен, глазки — василечки, губки — малинка. Здоровенький, веселый, резвится, как рыбка в воде. А уж заплачет — значит, неспроста. И хоть жил-то на свете всего полгода, а уже улыбался матери, тянулся к ней ручонками и щебетал, как птичка.

Но матери не сиделось дома, она то и дело к соседкам бежала — язык почесать. Тут постоит, там посидит и до того заболтается, что про все забудет: и про горшки немытые, и про белье нестиранное — про все на свете, даже про Ясека своего.

Вот однажды прокрались к ней гномы в избу, смотрят — дверь настежь, хозяйки нет, в углах поросята роются, а в колыбельке ребеночек плачет. Недолго думая схватили они ребенка и утащили к себе, а в колыбель Хвоща подложили, начисто сбрав ему бороду.

Воротилась мать — глазам своим не верит: что это с ребенком? Голова дынькой, личико в морщинах, пучеглазый, ножки коротенькие, как у утенка.

Испугалась баба.

— Тьфу! Сгинь, пропади, нечистая сила! — говорит, а сама глаза протирает, думает, может, привиделось.

А ребеночек ну орать:

— Есть хочу!

— Ясек! Ясечек! — уговаривает мать.

А он поглядывает на нее исподлобья и знай верещит:

— Есть хочу! Есть хочу!

Накормила она его, укачала — авось теперь заснет.

Но не тут-то было! Только отошла от колыбели — он опять в крик:

— Есть хочу! Есть хочу!

И так раз десять до вечера. Мать ума не приложит: что за напасть, почему Ясек таким обжорой стал?

Сунула ему в одну руку кусок хлеба, в другую — морковь, уснул.

На другой день спозаранку опять за свое:

— Есть хочу! Есть хочу!

«Волк тебя сглазил, что ли? Никак не наешься!» — думает мать. Кормит подкидыша, а сама удивляется: что с Ясеком? Бывало, меньше воробышка съест, а теперь никак не накормишь.

Ни на шаг от колыбели не отойти — стой да пихай ему в рот. А он чавкает, как старикашка, лягушачьи глаза выпучил, на себя не похож — словно подменили.

Прошел день, другой, прошла неделя. Стала крестьянка примечать: оставит что-нибудь в горшках, а сама из дому отлучится — кто-то все подчистую съедает: и горох и клецки.

— Вот чудеса! — охает она, теряясь в догадках.

Сначала на кота подумала. Отлупила его, заперла в чулан и ушла. Воротилась домой — горшки пустые, сковорода вылизана, заправки как не бывало. Отперла чулан — кот сидит, как сидел, только мяучит жалобно и бока ввалились от голода. Ну, если не кот, значит, Жучка!

Жучкой черную собачонку звали, которая хату сторожила. Схватила хозяйка палку — и ну ее отделявать. Лупит и приговаривает:

— Вот тебе! Вот тебе! Получай!

Собачонка визжит от обиды, от боли, скулит, извивается, а деться некуда — сени заперты. Наконец умаялась хозяйка и отшвырнула палку в сторону. Бедняга Жучка, поджав хвост, с жалобным визгом уползла в хлев и там до самого вечера бока зализывала.

На следующий день крестьянка заперла кота и Жучку в чулан, поставила горшки в печь и пошла к соседке.

Посидела, поболтала, вернулась — а дома сущий ад!

Кот с собакой в чулане дерутся — только шерсть клочьями летит; печь открыта, горшки пустые, сковородка блестит, будто ее вымыли, а младенец в колыбели орет, надрывается.

Схватилась крестьянка за голову. Но потом взяла ее злость, сжала она кулаки и говорит:

— Погоди ж ты, вор проклятый! Я не я буду, коли тебя не подстерегу!

И подошла с этими мыслями к подкидышу, который орал благим матом.

Кормит бедная мать ребенка, а у самой слезы градом катятся: не узнать Ясека! Раньше, бывало, сядет с ним на порог, и, кто ни пройдет, все на него любуются: другого такого мальчика во всей

деревне не сыскать! А теперь с таким страшилищем и людям на глаза показаться стыдно.

Не улыбается, не лепечет, ручонками к материнским бусам не тянется, лежит одутловатый, морщинистый, лысый, точно старикашка.

И расти не растет, одна голова наливается, большущая, тяжелая, как дыня.

Одно слово — урод!

Уж чего-чего она не делала, чтобы порчу отвадить: и три уголька раскаленных, три крошки хлебные в воду бросала; и в бузинном отваре его купала — верное средство от дурного глаза; и барашками с вербы окуривала, и щепой трухлявой ивы, что на распутье растет, — ничего не помогло. А тут еще и в хозяйстве убыток! Еды на двух мужиков наварит, а домой вернется — есть нечего.

— С ребеночка что взять, — говорила несчастная женщина. — Но уж вору этому я не спущу! Ни за что не спущу!

II



а другой день наварила она горшок капусты и горшок гороха, нажарила целую сковороду свиных шкварок, поставила в печь, закрыла ее, покормила ребенка, взяла с собой кота и Жучку и ушла.

Но ушла недалеко — схоронилась за углом и поглядывает в окошко.

Видит — приподнялся ребеночек, сел в колыбели, озирается по сторонам: нет ли кого в избе? Потом выкарабкался из колыбели — и шаст к печке! Подошел, открыл заслонку, потянул носом, жмурясь от удовольствия — очень уж вкусно шкварками запахло, — и стал искать ложку. А ложки были высоко, на полочке, никак не достать. Вот он влез на сундук, взял ложку побольше, выдвинул из печи горшок с капустой, шкварками заправил, добавил гороху и давай уплетать за обе щеки.

Тут крестьянка струхнула не на шутку, руками всплеснула и побежала за соседкой. Воротились обе, видят — в горшках уже на доньшке осталось, а он все сопит да уплетает.

Съел капусту, съел горох, поскреб ложкой по дну, наклонил сковородку, вылизал, задвинул горшки в печь и стал, как хозяин, по избе расхаживать, во все уголки заглядывать.

Крестьянка даже зубами заскрипела. А он себе похаживает, глазами шарит. Нашел яйцо под кошелкой. смотрит, как на невидаль, головой огромной качает.

— Семьдесят семь лет живу на свете,— бормочет,— а бочки без обручей не видывал!

Тут соседка сразу смекнула, что это гном.

— Что ж,— говорит,— сорви ветку березовую да угости его хорошенько и на помойку выкинь. Как начнет он там голосить, принесут тебе гномы Ясека, а этого урода назад заберут.

Крестьянке этот совет по душе пришелся. Кинулась она в березняк, сломила ветку, прибежала домой, схватила подкидыша за шиворот и давай стегать.

— Вот тебе, получай: за мои харчи, за Ясека, за обиду мою!

Тот орет — за версту слышно, а баба знай лунит его без устали.

Через хату от нее жила вдова Кукулина с маленькой дочкой Марысей.

На ту пору шла она как раз с дочкой на руках господское поле полоть. Услыхала, что у соседки вопит кто-то не своим голосом, остановилась и думает: «Не иначе, бьют кого-то. Надо идти выручать».

Тут и дочка ее, которая еще говорить не умела, заплакала жалобно: поняла, видно, что кого-то обижают.

Глянула Кукулина на дорогу, глянула на солнышко — а оно уже высоко поднялось. Женщина она была работящая, жалко ей было время терять, но ведь сердце не камень. И она завернула к соседке, но дверь оказалась заперта.

— Соседка! — крикнула она. — Кто это у вас так кричит?

А мать Ясека в ответ:

— Не твое дело! Ступай своей дорогой!

Но Кукулина не сдавалась.

— Соседка,— говорит,— никак вы своего сыночка бьете? Пожалейте его, ведь он еще совсем маленький!

— Такой же он мне сыночек, этот оборотень, как злой ветер, что по полю гуляет.

— Сын он вам или нет, все равно не бейте! Сердце надрывается от этого крика!

Тут и Марыся заплакала в три ручья.

Обозлилась крестьянка и крикнула:

— Ишь добрая какая! Наплась заступница! Проваливай, откуда пришла, да не суй нос не в свое дело, а то как бы тебе самой не попало!

Не очень приятно было вдове выслушать такую отповедь, но в хате стало тише, и она подумала: «Ладно, лишь бы угомонилась баба. Мало ли чего в сердцах не наговорит человек, нельзя на него за это обижаться».

И пошла своей дорогой.

А гномы тоже услышали крики Хвоца.

— Плохо дело! — говорят. — Надо на выручку идти.

И пошли в избе чудеса. Вылезли из подпечья карлики в желтых и зеленых плащах; у каждого красный колпачок в руке, все низко кланяются бабе и просят отпустить дружка, а взамен обещают полный фартук талеров насыпать.

Растаяла крестьянка, как про талеры услышала, но соседка ей на ухо шепчет:

— Не отпускай его, кума, а то без Ясека останешься. Талеры-то их — просто светящиеся гнилушки!

Как напугается на гномов крестьянка:

— Вон отсюда! Не нужны мне ваши талеры! Ясека моего отдайте! Убирайтесь, куда целы, не то вам несдобровать!

Повесили гномы носы — и шмыг под печь! А хозяйка схватила Хвоца за шиворот и выкинула на помойку.

Заорал Хвоц, как котенок, но больше от страха, чем от боли, потому что не знал, что теперь с ним будет.

Вдова оглянулась, видит — лежит бедняга на помойке и плачет. Не раздумывая, она вернулась, утерла ему слезы, приласкала, кусочек хлеба в руку сунула, потом сорвала пучок травы, подстелила, чтобы лежать было чисто и сухо. А так как солнышко уже припекало, сорвала большой лопух в канаве и заслонила его, как зонтиком.

Гном с благодарностью посмотрел на вдову и улыбнулся Марысе, и она даже в ладошки захлопала от радости, глядя, как он на траве под лопухом лежит. «Дай срок, отплачу добром», — сказал про себя Хвоц, когда вдова с девочкой на руках отошла от него.

Кукулина и с собой бы его взяла, да не посмела. Ведь у него своя мать есть, а родная мать хоть и выбранит и розгой отстегает, но потом все равно приласкает, приголубит.

Так рассуждала вдова, не зная, что гномы обманули крестьянку и это вовсе не ее ребенок.

Под вечер вышла баба посмотреть, что с гномом, а его и след простыл. Зато у порога лежит ее Ясек: волосы как лен, глаза — василечки, губы — малинка.

Это гномы принесли его матери, а Хвоца забрали.

То-то было радости и веселья! Поджарила крестьянка яичницу чуть ли не из дюжины яиц, пышки испекла и соседку пригласила — не знала, как ее и благодарить.

... Прошли годы.

Вырос Ясек крепким парнем, но людей дичился. Любил бродить один по горам, по лесам и все рассказывал, какие чудеса, ка-

кие сокровища видел под землей у гномов. Но в деревне ему не верили и считали дурачком.

А Хвощ, попав к своим, быстро поправился. Гномы знают много разных целебных зелий и чудодейственных мазей. Как принялись припарки ему делать, окуривать, растирать волчьими ягодами, комариным салом, паучьей желчью — мигом на ноги поставили.

Король Светлячок любил своего прожорливого подданного и благоволил к нему. Хвощ тоже очень любил короля и часто сиживал у его ног, наигрывая на свирели песенки, от которых словно теплей становилось в Хрустальном Гроте.

Но как только дело доходило до еды, Хвощ забывал обо всем на свете. Он первым мчался к миске, отталкивая всех. А если кто сопротивлялся, лез в драку. Вот и теперь, когда в Гроте стало не хватать еды, Хвощ даже поколотил королевского дворецкого за то, что тот выдал ему, как и всем, только три горошины на день. И мало того, что избил, — еще к королю отправился с жалобой, что его обижают.

Но король за него не вступился, а сказал, что закон один для всех. Тут Хвощ еще пуще разбушевался.

— Ах, так! — сказал он. — Коли здесь правды не добьешься, пойду на землю. Там в любой хате накормят лучше, чем за королевским столом!

— Иди, иди, обжора, — засмеялись гномы. — Одним ртом меньше будет. Все легче по нынешним временам.

Они думали, что он шутит.

— Вот увидите, уйду! — не унимался Хвощ.

Гномы опять смеяться:

— О весне нам весточку принеси, коли ты такой удалец!

— И принесу! — буркнул Хвощ.

Подпоясавшись ремешком, свирель за пазуху сунул, поклонился королю, набил трубку и пошел.

III



меркалось, когда Хвощ выбрался на поверхность земли. Сопя и отдуваясь, огляделся он по сторонам.

Слева было пустынно и дико. Чернел бор, на соснах каркали вороны, в ложбинах белел нестывший снег. Мокрая хвоя коричневым ковром устилала землю. От глухо шумевших деревьев, стоявших темной стеной, тянуло промозглой сыростью и холодом.

— Брр! Зима! — пробормотал Хвощ и посмотрел направо.

Там раскинулась веселая долина, где, звеня, сбегали к речке ручейки и пробивалась молодая травка. Над долиной угасала заря.

Хлопнул себя Хвоц по лбу и воскликнул:

— Весна!

Но тут из леса повеяло холодом.

Опечалился Хвоц и говорит:

— Поди разберись тут, весна или зима! Налево — одно, направо — другое!

Вдруг послышался шум крыльев.

«Ага! — подумал Хвоц. — Сейчас все узнаю. Это ворона или голубь? Ворона — значит, зима; голубь — весна».

Только подумал — перед ним летучая мышь промелькнула.

— Поди разберись тут! — буркнул Хвоц и стал вертеть головой в разные стороны.

Смотрит направо, смотрит налево, но ничего сообразить не может.

Лянул на равнину, а там все бело, будто серебром заткано.

— Ага! — крикнул Хвоц. — Теперь-то я узнаю! Это или снег или роса! Снег — значит, зима; роса — значит, весна.

Стоит тараниться. Вгляделся получше, а это, оказывается, не снег и не роса, а туман.

— Поди разберись! — пробурчал он себе под нос и снова стал вертеть головой с озабоченным видом.

Посмотрел в сторону леса, а там в кустах что-то светится.

— Ага! — крикнул Хвоц. — Теперь знаю! Это или светлячок или гнилушка. Гнилушка — значит, зима; светлячок — весна.

И побежал на огонек.

Прибежал, глядь — волчьи глаза горят.

Рассердился Хвоц не на шутку и говорит:

— Ты мне светишь, ну так и я тебе посвечу!

Высек огня, раскурил трубку, выпустил большой клуб дыма, отвернулся и забыл о волке.

Но вскоре ему страшно захотелось есть. Стал он озиаться — чем бы подкрепиться? Видит — лежит что-то круглое во мху. Хвоц подумал, яйцо. А то был глобус, по которому ученый летописец измерял путь весны.

«Чудное какое-то яйцо! — удивился Хвоц. — Кроты его, что ли, так исцарапали?»

Разбил — глина! Ну, это уж слишком! От злости и огорчения Хвоц растянулся на мху, подложил руки под голову и заснул.

До утра было еще далеко, и рассвет едва посеребрил небо, когда Хвоц услышал сильный шум над головой.

Проснувшись, он сел, протер глаза, смотрит — аисты из-за моря синего летят. Серебряные в свете зари, летели они на свои старые гнезда, широко раскинув крылья и точно повиснув в неподвижном воздухе.

«Вот повезло! — подумал Хвощ. — Лучше верхом, чем пешком!»

И вдруг аисты замедлили свой стремительный полет и снизились над кочкой. Недолго думая Хвощ вскочил на ближайшего аиста, обхватил его за шею, сжал пятками бока, пригнулся к спине, как заправский наездник, и вынесся вперед.

Пролетели они долину, речку, розовую в свете зари, и тут Хвощ стал как будто что-то припоминать. Выгон, пруд, межевой камень, груши при дороге, овины, хлева, домики, далеко протянувшиеся двумя рядами, — все это было ему знакомо.

Вдруг его охватил страх. Смотрит и глазам не верит. Хата на отшибе, вокруг березы, за хатой — мусорная куча, разрытая курами, у порога — новая метла. Хвощ протер глаза, сплюнул — не помогает! Хата, березы, куча, метла как были, так и остались на месте. У Хвоща мурашки по спине побежали.

Так и есть! Та самая хата, где он лежал в колыбели, а вон и помойка, куда его вышвырнули чуть живого.

— Тпруу!.. — закричал Хвощ на аиста, словно на лошадь.

Но аист, увидев свое старое гнездо на крыше, радостно взмахнул крыльями и, оставив далеко позади товарищей, устремился прямо к хате.

Скорчился бедный Хвощ, сжался в комочек и плотнее прильнул к его шее.

«Нелегкая меня сюда принесла!» — думал он, поеживаясь при воспоминании о крестьянке.

Он уже стал прикидывать, не лучше ли спрыгнуть вниз, чем подвергать себя ужасной опасности. Но прыгнуть с такой высоты значило сломать себе шею, и он раздумал.

Аист, спускаясь все ниже, описал широкий круг над почерневшей, замшелой крышей, потом второй, поменьше, и наконец, сделав только полукруг, с громким криком упал прямо в старое гнездо и от радости забил крыльями в тихом голубом воздухе.

Выглянул Хвощ из-за его длинной шеи — все по-старому: в хлеву теленок мычит, рябая курица кудахчет, на плетне сохнет перевернутая кринка, а за углом Жучка спит.

Дверь хаты скрипнула.

«Хозяйка!» — подумал Хвощ, и мороз подрал его по спине.

— Аист! Аистенушка! В добрый час!..

Узнав голос, Хвощ мигом спрятался за шею аиста, но поздно — она уже увидела его.

— Что за чертовщина? — вытаращилась баба.

И вдруг как всплеснет руками, как завопит:

— Спасите, люди добрые! Опять эта злая нечисть! Колдовство, да и только! — И в сердцах (женщина она была вспыльчивая) пригрозила: — Погоди ж ты у меня, урод! Сейчас я тебя кочергой достану!

И со всех ног кинулась в хату, а Хвоц — прыг с аиста в гнездо. Зарылся в солому, съежился, сидит и через щелку сбоку поглядывает, что дальше будет. Минуты не прошло — крестьянка уже бежит с кочергой обратно. Глянула на крышу, а там никого нет. Только аист стоит на колесе, расставив красные ноги.

— Куда же он девался? — ахнула крестьянка. — Или померещилось мне?

Но тут у Хвоца в носу зацекотало и, не в силах сдержаться, он чихнул — громко, как из пушки выпалил.

— Ага, попался! — крикнула баба и ну ширять кочергой. Но кочерга была короткая и не доставала.

— Погоди, оборотень! Сейчас лестницу притащу!

«Плохо дело!» — подумал Хвоц и стал озираться по сторонам, ища спасения. На лбу у него выступил холодный пот.

Глянул вниз — крестьянка саженную лестницу тащит. По таковой не то что на крышу, — и на колокольню влезть можно.

У Хвоца душа ушла в пятки, а баба уже лестницу приставила, с кочергой лезет.

Выскочил бедняга из гнезда — и на трубу.

«Прыгнуть, что ли?» — думает. Прикинул расстояние на глазок — куда там! Разобьешься с такой высоты, как пасхальное яичко.

А крестьянка уже на середине лестницы и кочергу протянула.

«Была не была, — думает Хвоц. — Уж лучше смерть, чем побори».

Зажмурился и прыгнул вниз. Голова у него закружилась, земля волчком завертелась, крыша, баба, кочерга — все словно опрокинулось. Он уж решил, что ему костей не собрать, но вдруг почувствовал, что упал на что-то мягкое, как на перину, и это «что-то» сразу пустилось наутек.

Хвоц вцепился обеими руками, чтобы не упасть, а тут на него вкусным запахом повеяло — будто грудинкой.

А это кот, стащив колбасу, как раз крался по двору, когда Хвоц свалился прямо ему на спину и вцепился в шерсть. Перепуганный Мурлыка, решив, что это хозяйка застала его на месте преступления и схватила за загривок, со всех ног бросился бежать.

Хата была уже далеко позади, деревня почти скрылась из виду. Тогда кот кинулся в густой репейник и крапиву и стал кататься по земле, норовя сбросить мешающую ему ношу.

Не тут-то было! Хвоц крепко держался за загривок. Крапива жгла его, репы царапали, но колбаса так приятно пахла, что он решил ни за что с ней не расставаться.

Кот метался из стороны в сторону и наконец выронил колбасу. Хвоц мигом соскочил, схватил колбасу, вытер лопухом песок и съел ее. Подкрепившись на славу, он выкурил трубочку, растянулся под кустом и, размышляя о своих необыкновенныхключениях, сладко заснул.

IV



олнце поднялось уже высоко и его лучи заглянули в бурьян, когда Хвоц, очнувшись от сна, сел и прислушался. Ему показалось, что его разбудил какой-то звук. Он насторожился, не понимая спросонья, спит он еще или бодрствует, тем более что вокруг никого не было. Но ветер действительно доносил какие-то звуки — не то мушиное жужжание, не то комариный писк, не то гудение пчелиного роя.

И вот эти звуки слились в какую-то странную песенку. Ни птичья, ни человеческая, ни тихая, ни громкая, ни грустная, ни веселая, она так хватала за душу, что хотелось плакать и смеяться.

Хвоц — а он был большим любителем музыки — весь обратился в слух. Сообразив, откуда доносится звук, он пошел прямо на него.

Скоро он выбрался из бурьяна на лесную полянку, окруженную соснами. Над полянкой тоненькой струйкой подымался дым от небольшого костра, на котором что-то варилось в котелке, распространяя соблазнительный запах.

Хвоц потянул носом и хотел подойти поближе — он ведь был охотник поесть, — как вдруг маленькая собачонка, шнырявшая по полянке, заворчала и залаяла. Услышав лай, цыган, лежавший у костра, — это он и играл на варганчике¹, уча танцевать обезьянку, посаженную на цепочку, — вскочил и быстро огляделся по сторонам. Хвоц, у которого утреннее происшествие отбило всякую охоту иметь дело с людьми, быстро юркнул за терновый куст и, притаившись, стал ждать, что будет.

¹ Варган — старинный народный музыкальный инструмент в виде лиры с продольным стальным язычком.

Не заметив ничего подозрительного, цыган опять развалился у костра и принялся дрессировать обезьянку. Зазвенит варганчиком, подергает за цепочку — и обезьянка прыгает то вправо, то влево. Но двигалась она так тяжело и неуклюже, что цыган то и дело награждал ее тумаками, чтоб шевелилась живее.

«Бедная зверюшка!» — подумал сердобольный Хвоц и осторожно высунулся из кустов.

Глянул и остолбенел. Да ведь это Чудило-Мудрило собственной персоной пляшет на цепочке под цыганский варганчик!

Не в силах побороть жалость и удивление, Хвоц шагнул вперед и воскликнул:

— Ты ли это, великий ученый?

Чудило-Мудрило тоже узнал его и закричал:

— Помоги, братец Хвоц, ради бога!

Они бросились друг другу в объятия и расцеловались.

Цыган разинул рот и выронил варганчик. Смотрит — и глазам не верит.

«Что за чертовщина? — думает. — Обезьяны — не обезьяны... Тьфу ты пронасть! Да они лопочут, как настоящие люди!»

Струсил цыган, чуть цепочку из рук не выпустил. Но тут его осенила счастливая мысль. Быстро стащив с головы шляпу, он накрыл ею обоих человечков. Потом привязал Хвоца на веревочку и, довольный собой, рассмеялся.

— Ну, теперь зашибу денег на ярмарке! — сказал он. — Не медью, а серебром да золотом буду брать за такое представление! Обезьяны, которые плачут, разговаривают и целуются, как люди, — да такое раз в тысячу лет, а то и реже бывает!

Он наскоро поел кулеши, который варился в котелке, засыпал угли золой и, посадив ученого летописца на одно плечо, а Хвоца — на другое, быстрым шагом двинулся в город.

Горько заплакал Чудило-Мудрило: до такого позора дожить — представлять обезьяну на ярмарке! Но Хвоц незаметно подтолкнул его и шепнул:

— Не горюй, ученый! Еще не все потеряно!

— Ах, братец! — простонал Чудило-Мудрило. — Прощай теперь моя слава! Что я значу без книги!

— А что с ней?

— Пропала!

— А перо?

— Сломалось!

— А чернильница?

— Разбилась!

— Н-да! — печально сказал Хвоц. — Это верно: какой же ты ученый без книги, пера и чернильницы. Но слушай, что я тебе

скажу. Позабудь, что ты мудрец, и выпутывайся из беды, как самый обыкновенный простак, вроде меня. Вот увидишь, все еще обернется к лучшему.

Тут он замолчал, потому что сзади послышался гомон догнавшей их толпы.

Это были цыгане — они тоже спешили в город на ярмарку. Шли загорелые, оборванные цыганки, неся в платках за спиной грудных младенцев; ковыляли старухи с трубками в зубах; шагали мужчины с котелками на палках; вприпрыжку бежали цыганята, полуголые, с курчавыми волосами и плутоватыми глазенками.

Цыган с Хвоцом и ученым летописцем присоединились к толпе. Дойдя до города, цыгане рассыпались: кто свернул налево, кто направо, и каждый стал своей дорогой добираться до базарной площади.

Ярмарка была уже в разгаре.

Денек был погожий, людей — видимо-невидимо; лошади, телеги, скот запрудили просторную, широкую площадь. Мужики толпились в рядах, где продавались сапоги и шапки, крестьянки торговали горшки да миски, девочки покупали ленты и бусы, а ребяташки, держась за материнские юбки, свистели в глиняных петушков или грызли пряники.

С телег, из плетеных коробов вытягивали шеи гуси и утки; толчея, суматоха, кудахтанье, гогот, гомон.

Но настоящее столпотворение было у балагана. Перед ним, подбоченясь, стоял цыган и орал во все горло:

— Эй, честные христиане, подивитесь на чудеса в балагане! Слушайте, смотрите — денжки платите! Две ученые обезьяны — прямо с луны на шарабане! Честное цыганское слово! Прямо с луны! Хлеб едят, как люди говорят, песенки играют, народ потешают! Эй, честные христиане, полюбуйте на чудеса в балагане!

Народ бросал медяки и протискивался к балагану, где Чудило-Мудрило бил в бубен, а Хвоц играл на свирели.

Пользуясь тем, что все обступили балаган, цыгане стали шнырять среди телег: где тулуп стянут, где платок, где кадучку масла, где яичек или курочку.

Никто ничего не замечал — все уставились на балаган, поглощенные удивительным зрелищем. Только Хвоц все видел.

Когда Чудило-Мудрило, всем на удивление, отбарабанил свой номер, Хвоц поднес к губам свирель, но, вместо того чтобы играть, запел:

Берегись! Воршице по телегам рыщет!
Берегись! Воршице по телегам рыщет!

Зрители переглянулись с недоумением, а Хвоц как ни в чем не бывало опять зашел:

Берегись! Ворище по телегам рыщет!
Берегись! Ворище по телегам рыщет!

Тут один крестьянин оглянулся на свой воз, а тулупа-то нет. У другого только что купленные сапоги исчезли. Не успели мужики взять в толк, что происходит, как женщины крик подняли: у старостихи узорчатый платок пропал. Народ бросился догонять воров, а цыгана поколотили так, что он и про цепочку и про веревочку забыл. Воспользовавшись суматохой, Хвоц и Чудило-Мудрило исчезли, будто в воду канули.

V



же за полдень перевалило, когда гномы, еле переводя дух, добежали до леса и бросились на траву — отдохнуть немного.

Особенно устал Чудило-Мудрило. Цепь, к которой приковал его цыган, немилосердно натирала ему ногу и мешала идти. Ученый стонал и охал от боли, пока Хвоц не разбил цепь камнем и не приложил к ноге свежую травку. Но лечить Чудило-Мудрилу было не так-то просто. Он отчаянно сопротивлялся, утверждая, что все эти простонародные средства годятся разве что для мужиков, но никак не для ученых. Однако, почувствовав облегчение, сразу умолк.

А Хвоц, внимательно оглядевшись, радостно воскликнул:

— Да ведь это та самая полянка, где нас цыган поймал! Ура! Значит, и кулеи тут!

И бросился искать потухший костер. Обнаружив его очень скоро, он разгреб золу, подложил хвороста и стал дуть изо всех сил. Угли разгорелись, повалил дым, по хворосту запрыгали искры, и наконец вспыхнул яркий, веселый огонек. Скоро в котелке забулькал вкусный кулеи. Друзья поели и закурили.

Посидев немного, они уже собрались было в путь, как вдруг Хвоц наткнулся ногой на что-то твердое. Нагнувшись, он поднял варганчик, оглядел его со всех сторон и заиграл.

На звуки варганчика, разбудившие лесное эхо, сразу отозвались из кустов дрозды, зяблики, синицы, пеночки и другие птицы, будто там был спрятан целый оркестр, который только и ждал сигнала.

Один щегол заливался так сладко, что дерево, где он сидел, все покрылось розовым цветом, а полевые маргаритки, шиповник и лиловые колокольчики зашептали: «Весна... Весна... Весна!..»

Опустив варганчик и опершись на палку, Хвоц с упоением слушал. Но вот к пению птиц и шепоту цветов присоединилась другая, печальная мелодия. Сначала она доносилась издалека, потом зазвучала ближе.

На опушку вышла изможденная, бедно одетая женщина. Она собирала лебеду, то и дело утирая рукой слезы, и пела, думая, что ее никто не слышит:

Ой, весна, весна в поле,
Ой, ты горькая доля!
В закромах ни крупики
И в хлеву ни соринки!

Жалобное эхо вторило ей, далеко разнося песню по лесу.

В доме хлеба ни крошки,
Деткам супу ни ложки!
Ой, дуга зацветают,
Детки слезы плывают!..

И снова из лесной чащи отозвалось эхо.

Ой, с росой солнце встало --
Мои слезы застало.
Ой, с росой закатилось --
Я слезами умылась!..--

все пела женщина, собирая лебеду.

Слушая Хвоц эту песню, и сердце у него сжималось от жалости. Представилась ему весна в деревне, когда у бедняков кончаются хлеб и мука, скот дохнет от бескормицы, матери кормят детей лебедой, а кто может испечь лепешку из отрубей, считается счастливец.

Когда песня смолкла, он сказал со вздохом:

— Теперь я знаю, что весна пришла! Птицы поют, цветы расцветают, а голодные плачут.

Тут он вспомнил, что сор из Хрустального Грота на земле превращается в деньги. И, прокраившись тихонько к тому месту, где женщина рвала лебеду, вывернул оба кармана и стал их вытряхивать. На земле сразу что-то заблестело.

— Клад! Клад! — закричала женщина, увидев серебряные монетки. — Слава богу! Теперь не помрем с голоду! Выбьемся из нищеты!

Глядя на нее, Хвоц тер кулаком глаза: лицо у него сморщилось — вот-вот сам заплачет.

Смирненно поцеловав землю, женщина поднялась и ушла в лес.

— Ну, больше нам тут нечего делать! — сказал Хвоц, когда женщина скрылась в лесу. — Весна на дворе! Надо скорее сообщить королю!

Но, едва сказал, на дороге послышались шаги. Глядь — а это цыган, который их на ярмарке показывал, за своим варганчиком и котелком воротился.

Не растерявшись, Хвоц поднял с земли суковатую палку — для защиты.

Чудило-Мудрило вскочил и хотел уже было дать тягу. Но Хвоц схватил его за рукав и сказал:

— Не бойся! Плясали мы под его дудку, теперь он под нашу попляшет! В твоей книге сказано, что в минуту страшной опасности мы, гномы, можем превратиться в великанов. Говори скорей, что для этого надо сделать?

Но Чудило-Мудрило только зубами щелкал от страха и не мог вымолвить ни слова.

— Ну говори же! — торопил его Хвоц.

А цыган уже добежал до полянки.

— На... на... надо, — заикаясь, лепетал Чудило, дрожа как в лихорадке, — на... назвать что-нибудь... большое! Самое большое...

Но тут цыган их заметил и закричал:

— Ага, попались, голубчики! Погодите, сейчас я расквитаюсь с вами!

— Гора! — поспешно воскликнул Хвоц дрогнувшим голосом.

Но не вырос и на полдюйма.

— М... м... мудрость! — пролепетал Чудило-Мудрило.

Но и это не помогло.

— Сила! — в ужасе заорал Хвоц, потому что цыган уже протянул к нему руку.

Но остался таким же, каким был.

И тут донесся тихий голос, словно листва занелестела:

— Добро!

Это сказала бедная женщина, которая шла по лесу, радуясь своему счастью, а эхо повторило за ней.

Цыган побледнел и остановился как вкопанный.

Крохотные гномики стали расти, расти у него на глазах, а он все пятился, пятился, щенча побелевшими от страха губами:

— Сгинь, пропади, нечистая сила! Сгинь, пропади!

Но гномы переросли его уже на целую голову, на две, на три; вот они сравнялись с соснами и предстали перед ним грозны-

ми, могущественными великанами. Теперь он сам рядом с ними казался карликом.

Цыган упал на колени и, сложив руки, взмолился:

— Простите, господа великаны! Я думал, вы обезьяны, а вы, оказывается, волшебники! Простите бедного цыгана, могучие чародеи!

Хвощ-великан нахмурил брови и сказал басом:

— Ладно, так и быть, помилую. Сегодня я добрый! Но за это ты отнесешь нас через лес и реку к Хрустальному Гроту. Только смотри, если хоть раз тряхнешь, или веткой оцарапаешь, или в воде замочишь, берегись! Мигом в водовозную клячу превращу! Да о еде позаботься! Корми нас посытней да почаще!.. А что это у тебя в торбе?

В торбе оказалась лепешка, которую цыган стянул с лотка на ярмарке, кусок колбасы и сыр.

— Мало! Очень мало! Никуда не годится! — ворчал Хвощ, выгребая припасы из торбы.

Цыган, не вставая с земли, захныкал:

— Уж лучше водовозной клячей быть, чем таких двух верзил, как ваша милость, на себе таскать, да еще кормить досыта! Все одно погибать!

И он начал стонать и всхлипывать.

Эхо постепенно стихало, замирая в лесу, и великаны стали уменьшаться.

— Не бойся, цыган! — сказал Хвощ. — Встань! Ты видел нашу силу и могущество. Теперь мы опять станем маленькими гномиками, и тебе легко будет нас нести. Только смотри, чтоб еды было вдоволь! Сколько нужно для двух великанов.

Поднял голову цыган, а перед ним два карлика. Смеясь и плача, кинулся он целовать им руки, а потом, когда они поели и закурили трубочки, посадил к себе на плечи и двинулся в путь.

Нес их цыган до вечера, нес всю ночь — полная луна ярко светила. Ноги у него уже подкашивались от усталости, но он не смел жаловаться, боясь, как бы эти могущественные волшебники снова не превратились в великанов.

Лепешки и сыра своего ему даже попробовать не пришлось: Хвощ то и дело лазил в торбу и уплетал за обе щеки. Он ел, ел, пока не раздулся, как пузырь. Цыган кряхтел от тяжести; плечо, на котором сидел Хвощ, совсем онемело. Не в силах терпеть, он все время менял гномов местами, пересаживая их с плеча на плечо.

На другой день к обеду они пришли к Хрустальному Гроту. Вход был завален камнем, но оставалось отверстие, достаточное, чтобы пролезть гному. Чудило-Мудрило легко прошел бы через

него: ученые ведь всегда худые. Зато Хвоц так растолстел за время путешествия, что ему и думать об этом было нечего. Попробовал он одним боком протиснуться, попробовал другим — не выходит. Тогда он крикнул цыгану:

— Эй, ты! Не видишь: камень вырос и завалил вход! Отвали-ка его!

Но цыган, видя, что путешествие подошло к концу, расхрабрился.

— Могучий господин! — сказал он. — Твое слово — закон. Но сначала мне хотелось бы взглянуть на мой варган. Цыган без варгана — все равно что нищий без клюки. Послужил я вам верой-правдой, теперь верните мне мое.

— Уж не можешь не выцыганить чего-нибудь напоследок! — сказал. Хвоц и вытащил варган. — Отваливай камень, да живо, я спешу к королю.

Цыган поднатужился, приналег на камень, да так сильно, что сам со своим варганом покатился вслед за камнем под горку. В Грот заглянуло солнце, залив его теплом и светом.

— Здорово, братцы! — крикнул Хвоц.

В ответ раздались сотни голосов:

— Солнце! Солнце! Солнце!





Глава третья

Король Светлячок покидает Хрустальный Грот



очь была тихая, теплая, еще не рассветало. Возвращаясь с ярмарки, Петр Скарбек вдруг увидел какой-то свет на горе, будто горит что-то.

«Что за диво? — думает. — Огонь не огонь... Может, клад? Старики говорят, в старину в этих местах разбойники жили и добычу здесь зарывали: серебро, золото... Не иначе, волшебный огонек горит, деньги в нем от крови и слез очищаются... Сто лет гореть будет. А если сиротский грош, то и все двести... Никому тот клад не дается, пока вся обида не выгорит... А нашел — с бедняками, с сиротами поделись, не то впрок не пойдет. Эх, кабы мне найти!..»

Подстегнул Петр кнутом свою клячу и поехал прямо на свет.

«Погаснет или нет? — думает. — Коли не вышел срок, обязательно погаснет».

Но свет не гас; наоборот, разгорался все ярче. Из-под камней лилось радужное сияние, словно солнце играло в каплях росы.

У Петра сердце заколотилось. Мужичонка был он бедный, как церковная мышь, а тут еще жена померла полгода назад, оставив ему сирот — двух белоголовых мальчуганов. Ребятишки, жалкая хатенка, кляча да телега — вот и все его богатство.

Хоть он и занимался извозом, скитаясь по дорогам в погоне за лишней копейкой, все равно в доме частенько не бывало хлеба. Ох, пригодились бы денежки, еще как пригодились бы!

Едет бедняга, а сам молится про себя и мечтает: «Вот куплю у соседа полоску, картошку посажу — ребятишки сыты будут...»

Вдруг видит — бегают, суетятся в этом сиянии малюсенькие человечки, от земли не видать; бороды длинные, одеты чудно, но вроде на людей похожи.

— Гномы! — прошептал Петр, и по спине у него забегали мурашки.

Он натянул вожжи, торопясь свернуть в сторону, чтобы на глаза им не попадаться.

Да поздно!

Толпа гномов окружила телегу и ну кричать:

— Эй, эй, хозяин! Подвези вещички!

И, не дожидаясь ответа, уже карабкаются на телегу.

Один за дрожину уцепился, другой — за грядку, третий по спицам взбирается, четвертый — по оглобле. Прямо напасть!

Стоит Петр, глядит, что дальше будет, а на душе кошки скребут: и страшно, и вроде стыдно бояться такой мелюзги. Как тут быть?

Но раздумывать некогда. Едва несколько гномов вскарабкались на воз, другие стали подавать им какие-то чудные ларцы, сундучки — от них-то и разливалось чудесное сияние, — швырять в телегу бруски золота и серебра, словно обыкновенное железо.

Вокруг стучало, звенело, сверкало. У крестьянина чуть в голове не помутилось — он уже и сам не понимал, во сне или наяву видит все эти чудеса.

То огнем полыхнут из ларца красные рубины — камни как на подбор, каждое с перепелиное яйцо; то даже посинеет все кругом от голубых сапфиров, ясных, как небесная лазурь; то зеленый отсвет упадет на лица от сундучка, полного изумрудов. Перстни, ожерелья — прямо глаза разбегаются, не знаешь, на что и смотреть.

И среди этих многоцветных сокровищ проворно хлопочут гномы, пестрые, как тюльпаны весной.

Вот уже телега нагружена чуть ли не доверху. Последние сундуки и ларцы вынесены из Грота. И вдруг засиял чистый, яркий свет, будто утренняя звезда взошла. Петр даже глаза рукой заслонил от внезапного блеска, а когда открыл, то увидел выходящего из Грота короля гномов в золотой короне, в пурпурной мантии и с золотым скипетром, в котором сиял огромный бриллиант. От него стало светло как днем.

Оробел Петр — отродясь не видывал такой важной персоны. Из царей он знал только Ирода, которого мальчишки на рождество показывали, обходя деревню с самодельным кукольным театром.

Растерялся он, не знает, что и делать: то ли поклониться маленькому королю, то ли удирать без оглядки.

Но король милостиво склонил свой скипетр и сказал:

Здравствуй, добрый мужичок!
Близок путь твой иль далек?
Подвези-ка, удружи.
Гномам службу сослужи!

И стал взбираться на телегу, в чем ему усердно помогали придворные, увиваясь вокруг, — каждому хотелось услужить королю.

Но влезть оказалось не так-то просто. Пурпурная мантия зацепилась за борт телеги, скипетр — за чеку, корона чуть с головы не упала, а красные златотканые туфли соскользнули с ног и провалились в сено.

Король изо всех сил старался вскарабкаться на телегу, но очень уж ему мешал его паж, по имени Колобок. Грузный, неповоротливый, как чурбан, он то на мантию наступит, то назад ее потянет, а как стал в сене туфли разыскивать, и вовсе на короля повалился. Никакого от него проку, только зря под ногами путается.

Увидев, что гномы ничего плохого ему не делают, Петр приободрился и даже прыснул украдкой в кулак, до того потешное было зрелище. Он не раз слышал, что с гномами надо хорошо обходиться, и того, кто им угодит, они не только не обидят, а еще и одарят.

Дед покойный сказывал ему, что гномы любят в хатах у добрых людей селиться — по запечкам, по мышиним норкам, а ночью вылезают и всякую работу по дому делают: масло за хозяйку собьют, тесто замесят, пряжу спрядут, да такую белую, ясную — прямо серебром отливают.

Но не всегда сидят они в избе. Случается, и на конюшню заглянут: лошадам гриву заплетут в мелкие косички, скребницей вычистят, да так, что шерсть как зеркало блестит...

А во время жатвы сядет гномик на меже и качает младенца, подвешенного в платке под ивой, чтобы спал крепко и не мешал матери жать.

Захнычет младенец — гномик ему песенки чудесные поет. Потом, когда подрастет ребенок, песенки эти всплывают у него в памяти, словно кто их нашептывает.

А люди, глядя на мальчика, только головой качают да приговаривают:

— Что за чудо! Пост и на свирели играет, будто кто его выучил!

И невдомек им, что он просто песенки вспоминает, которые пели ему гномы, баюкая в поле под ивой.

Рассказывал еще дед, что его самого гномы так же вот петь научили, и он всегда потом оставлял для них на краешке лавки хлебных да творожных крошек. С полу они подбирать не станут — брезгают.

А когда, бывало, в хате шла праздничная стряпня, дед отщипнет по кусочку от каждого кушанья — от пирога, от колбасы — и на лавку положит для своих маленьких помощников.

И дела у деда шли хорошо — кони были рослые, что твои лошади, шерсть на овцах пышная, как соломенная стреха, а таких дойных коров, как у него, во всей деревне не сыщешь. И не диво — покойная бабка всегда гномам молочка оставляла в ореховой скорлупке.

Так и шло, пока живы были старики и отец Петра. А после их смерти взял сирот под опеку дядя — новые порядки завел, хозяйство запустил, все, что только можно, себе тянул.

Обидел он сирот, разорил их вконец.

Тогда гномы среди бела дня, на виду у всех, вылезли из запечка, вышли из хаты и зашагали прочь. А с ними исчез и последний достаток. Ничего не осталось у сирот, но и дяде сиротское добро не пошло впрок.

Вот о чем думал Петр, стоя в сторонке.

А гномы тем временем погрузили последние сундуки и шкапулки, расстелили дорогой бархат, усадили на него короля, придворные уселись тут же, пониже, а вся остальная братия разместилась как попало и загалдела, закричала, торопя крестьянина:

На оглоблю, на дрожину
Влез король со всей дружиной,
Сел в телегу в добрый час!
Эй, вези скорее нас!

— А куда везти-то? — спросил Петр, уже совсем приободрясь и повеселев. — Направо или налево?

А гномы в ответ:

Камень справа — полевей!
Камень слева — поправей!
Поезжай-ка, да живей!

Петр опять спрашивает:

— Да куда везти-то?

А гномы в ответ:

На поля, в леса, к ручьям,
Ближе к солнечным лучам!

Почесал Петр в затылке.

— А велика ли будет плата?

Может, головка мака сухого,
А может, и просто доброе слово...—

отвечают гномы.

— Э, нет, так дело не пойдет! Не согласен! Лошадь моя, телега моя, и все добро на ней — мое!

Не велик у гнома рост.
Да не так-то гномик прост!
Умён, смышлен самый малый даже!
Твой конь, твой воз — не твоя поклажа! —

закричали гномы и забряцали саблями.

— Ну ладно, половину давайте!

— Слушай, добрый человек! — тихим голосом сказал король Светлячок. — Тебе не то что половины — миллионной доли этих сокровищ хватило бы, чтобы погибнуть. Богатство калечит хуже злой болезни. Тело становится немощным, дух слабеет, и человек сбивается с пути.

И гномы запели хором:

Эй, богач! Зачем живешь,
Коли хлеб чужой жуешь?

Когда они замолчали, король продолжал:

— Не все сокровища отдала мать-земля людям — она доверила их и нам, своим маленьким слугам. Мы стережем их, но не богатеем. Мы не превращаем слез бедняков в жемчуг, не покупаем и не продаем бриллиантов, не чеканим из золота монеты. Мы только любимся блеском драгоценностей, славим землю и верно храним ее богатства.

— Коли вы такой добрый, скажите, откуда же взялись эти сокровища? — спросил Петр.

— Из земли. Сокровища — это все, что потерял и чем пренебрег человек: пропавшая даром минута — сапфир; брошенный кусок хлеба — сверкающий жемчуг; сила, не послужившая на пользу людям, — чистое золото. Если бы люди не теряли своих сокровищ, они бы разбогатели. А так сокровища уходят в землю, и мы их стережем.

Петр разинул рот.

— Так, значит, вы, как слепые кроты, в земле живете? Что же вы там делаете?

А гномы хором ему в ответ:

Считаем, считаем
Песчинки в песке
И капли воды
В ручейке и в реке,
Капли росы,
Капли пота в жару,
Цветы на дугу,
Иголки в бору,
Заносим березкам
Итог на кору!

— Тыфу! — плюнул Петр. — Пойми тут! Велите, король, сидеть им тихо, а то у меня голова кругом идет! Ехать так ехать; только сперва скажите, в какую сторону и сколько вы мне заплачете.

Он взял вожжи в руки, собираясь идти рядом со своей клячей, потому что сесть ему было некуда.

— Будь покоен, добрый человек, — сказал король и поднял скипетр, — не обидим тебя, наградим за труды.

— Ладно! — отозвался Петр. — Положусь на твое королевское слово! Так куда же мы поедем?

Гномы законопились, загудели, как пчелы в улье. Один предлагал одно, другой — другое. Тихий голос короля тонул в этом шуме.

Тут встал Чудило-Мудрило и заявил:

— Ни одно государство не может обойтись без ученых и ни один ученый — без книг, а потому пусть этот добрый поселянин отвезет нас туда, где много гусей; там я найду себе новое перо и покрою себя новой славой.

Тут Хвоц, который по уни провалился в сено, вскочил и закричал:

— Ченуха это все! На что мне твои книги и твоя слава, если я голоден? Сырое брюхо важнее всего, а остальное выеденного яйца не стоит! — И, обернувшись к королю, продолжал: — Если вы хотите, ване величество, чтобы у вас в королевстве было спокойно, позаботьтесь, чтоб не было голодных. Вот мой совет: пусть крестьянин везет нас туда, где в горшках варится каша, а на сковородке шкварки шишат! Иначе я не согласен.

— Верно! Верно! — закричали остальные. — Мы тоже не согласны!

И зашумели в телеге, словно повздорившие горожане.

Король поднял сверкающий скипетр и, чтобы положить конец спорам, сказал:

— Раз нет меж вами согласия, слушайте мой приказ.— И обратился к Петру: — Вези нас, добрый человек, куда хочешь.

Петр ухмыльнулся, левый глаз прищурил, а правым на Хвоща покосился и подумал: «Ну погоди ты у меня, толстяк! Других уж, так и быть, свезу с королем туда, где посытнее. А тебя, я не я буду, коли в Голодаевке не высажу. Там небось похудеешь!»

Щелкнул кнутом и тронулся в путь.





Глаза Четвертая

Хвощ встречается с сироткой Марысей

I



о ли голубь где воркует —
Стонет пущею лесною,
То ль соловушка тоскует —
Все прощается с весною?

То ли лес шумит — вздыхает,
Черный лес шумит ночами,
То ли ветер где рыдает,
Воеет, плачет над полями?

Не соловушка горюет,
Ох, не лес, не вольный ветер —
Мать Марысю оставляет
Сиротой на белом свете!

Кто накормит? Кто напоит?
Кто укутает в морозы?
Кто присмотрит за чужою,
Приголубит, вытрет слезы?

В золотой ее качала
В тростниковой колыбели,
Ей теперь земля да лавка —
Две пуховые постели.

Убаюкивала песней,
Утром песенкой разбудит...
— Эй, вставай, — Марысе скажут,
Будет спать! — чужие люди.

Мать кормила хлебцем белым,
Золотистым медом вволю...
Черствой коркою, сиротка,
Заeday лихую долю!

Бела льна полотна ткала,
Чтоб бела была рубашка...
Попаси гусей сначала,
Оборванка, замарашка!

Скрылось солнце за горою,
Догорело небо зорькой,
Мать Марысю оставляет
Навсегда сироткой горькой.

II



День-деньской Марыся плачет,
День-деньской не молвит слова..
Вот и жаворонок вьется,
Ласточка щебечет снова...

Вот и жаворонок вьется,
Верба ветки распушила,
Поросла травой зеленой
Материнская могила.

Материнская могила,
Буйной травкой заросла ты!
Дочка слезы утирает —
Люди выпнали из хаты...

Ты пойдика в мир широкий,
Ты пойдика под вольно небо,
Эй, пойдика послужи-ка,
Сирота, за корку хлеба!..

Эй, пойдика походи-ка
С хворостиной за гусями,
Пусть-ка моют буйны ливни,
Солнце жжет тебя лучами.

Пусть-ка моют ливни буйны,
Пусть закружит буйный ветер.
Послужи за корку хлеба,
Коль одна на белом свете!..

III



от какая была у Марыси доля. Волосы у нее золотые, как солнце, глаза — лесные фиалки, а на сердце — печаль и тоска.

— Сиротка Марыся, — спросит, бывало, хозяйка, у которой она гусей пасла, — отчего ты не смеешься, как другие?

А Марыся в ответ:

— Как же мне смеяться, когда ветер в поле стонет?

— Сиротка Марыся! Почему не поешь, как другие?

А Марыся в ответ:

— Как же мне петь, как же мне веселиться, когда березы в лесу плачут?

— Сиротка Марыся! Что же ты не радуешься, как другие?

А Марыся в ответ:

— Как же мне радоваться, как же мне веселиться, когда земля слезами умывается?

Вот какая была сиротка Марыся.

Прилетят птицы, сядут на дерево и запоют:

Сирота, сирота,
Головушка золотá,
Синие очи,
Скажи, чего хочешь?

Подымет Марыся печальные глаза и ответит тихо:

Ничего не хочу — ни сѐребра, ни злата.
А ракита мне мила у родимой хаты...

А птицы опять:

Сирота, сирота,
Головушка золотá,
Синие очи,
Скажи, чего хочешь?

А Марыся в ответ:

Ничего не хочу — ни воды, ни хлеба,
А была б над головой крыша вместо неба...

Защечбечут птицы, крылышками затрепещут, головками за-
вертят, а одна запоет:

Сирота, сирота,
Головушка золотá,
Синие очи,
Проси о чем хочешь!

А Марыся в своей холщовой рубахе худые ручонки сложит
и скажет:

Об одном прошу я, птицы мои, птицы,
Пусть мне нынче ночью матушка приснится!..

И Марысе не раз, бывало, снилась покойная матушка. Тиха,
бела, как лунный свет, скользнет она по избе и склонится над спя-
щей.

А кажется Марысе, будто солнце светит и цветы благоухают.
Протянет она во сне руки и прошепчет:

— Это ты, матушка?

И в ответ, словно вздох, прозвучит ласковый, тихий голос:

— Я, деточка!

И матушка растает, исчезнет, как лунный свет, а Марыся про-
снется со вздохом и примется за дело. Трудилась она не покладая
рук, чтобы за чужой угол отплатить, за охапку соломы, на кото-
рой спала, за ложку похлебки, которой кормилась, за холщовую
рубаху, в которую одевалась. Зимой хозяйского ребенка нянчила,
в лес за хворостом ходила, воду из колодца носила, а летом гусей
пасла.

Так и звали ее в деревне — кто Марысей-гусятницей, а кто си-
роткой Марысей.

Прошел год, прошел другой — все и позабыли, что у девочки
есть фамилия, что она дочь Кукулины, той доброй женщины, что
за Хвоца заступилась, когда его била крестьянка.

И сама Марыся, когда ее спрашивали: «Как тебя зовут, девоч-
ка?» — отвечала: «Сиротка Марыся».

Лужайка, где Марыся пасла гусей, была возле леса, довольно далеко от деревни, прозванной с давних пор Голодаевкой, потому что земли там были тонкие, хлеб родился плохо и голод был частым гостем.

Десятина — песок, десятина — вода.
Год — урожай, а два — голодай!

На мокрых лужайках и паслись целые стада гусей. Как начнут гуси ввысь рваться, крыльями бить да гоготать — за версту слышно.

Всем деревенским ребятишкам находилась работа — гусей пасты. Пасли и в одиночку, и ватагами — как кому дома велели.

Вечером ватага рассыплется, и каждый сам гонит своих гусей домой.

Тогда по всей Голодаевке только и слышно:

— Тега, тега, тега!

Крики, щелканье кнутов, словно свадебный поезд едет.

И долго еще после захода солнца не смолкает гогот в хлевах и закутах. А иногда и ночью гуси вдруг ни с того ни с сего переполошатся, раскричатся на всю округу.

Марыся пасла своих гусей одна, на лесной опушке. У хозяйки было их только семь штук, и она берегла их, не позволяла пасти на общем выгоне. А Марыся даже рада была этому: дети смеялись над ней, потому что она ни в прятки играть не умела, ни в салочки, ни танцевать с девочками на лужайке.

То ли силенок было мало — на чужих хлебах ведь житье не сладкое, то ли о горькой доле своей забыть не могла, только она и вправду не любила бегать, играть и резвиться с другими детьми. Зато петь любила. И столько песен знала, что за весь день не перепеть.

И про то, как «Зосе ягод захотелось, а купить-то не на что», и как «коник сивый, долгогривый в чистом во поле могилку рыл хозяину копытом», и про волшебную свирель, которая говорила пастушонку человеческим голосом: «Ты играй себе, играй!..» И как «медведь косматый пришел к волчице сватом», и как «белые лебедушки за синь-море улетели», и «жил-был у бабушки серенький козлик»...

Но больше всего любила Марыся песенку про сиротку, что гусей домой гнала. Эта песенка словно про нее была сложена.

И когда над лесом гасла вечерняя заря, Марыся громко затягивала тонким голоском:

Вы подите, мои гусаньки, домой.
Вы по тропочке ступайте луговой.
Скоро ночь, а мне так боязно одной!



Грустная песенка хватала за сердце, и кто бы ни шел мимо — обязательно остановится и послушает, а у иного слезы навернутся.

Кто уж научил Марысю этим песням, неизвестно.

Может, темный бор, что так глухо шумит по вечерам. Может, травы или весенние рощи, что так тихо шелестят, будто переговариваются человечьими голосами. А может, сама тишина, что звенит и поет над полями и перелогам. Слушает Марыся эти голоса и до того заслушается, что ни голода, ни холода не чувствует. Вот и солнышко садится, домой пора, а она и не заметила, как день пролетел.

Ей и в голову не приходило, что из кустов следит за ней хитрыми горящими глазами разбойница Сладкоежка — та самая лиса, что жила по соседству с Хрустальным Гротом в норе под трухлявым сосновым пнем. Лиса только прикидывалась смиренницей, а сама так и норовила ухватить кусок пожирнее.

Особенно любила она гусятину. Обходя сторонкой большие стада, которые пасли ребята посильнее, лиса возложила все свои надежды на семь Марысиных гусей. Прячась в кустах, она с каждым днем все ближе и ближе подкрадывалась к лужайке.

А Марыся, ничего не подозревая, беззаботно пасла своих гусей, беззаботно гнала их вечером домой. Один был у нее помощник — маленький желтый пес, по кличке Рыжик. Он так привязался к девочке, что не отходил от нее ни на шаг.

Сладкоежка терпеть не могла Рыжика.

«Противная собачонка! — говорила она сама себе, брезгливо морщась и отплевываясь. — Никогда не видела более уродливого создания! Взять хотя бы уши. Острые, торчком, — разве такие бывают у собаки? А шерсть? Рыжий, как Иуда! И характер у него, наверное, отвратительный! Ну что за повадки! Что за манеры! Да это настоящий дармоед! Слов не нахожу, чтобы выразить свое отвращение! Один его вид тошноту вызывает. И где это слыхано, чтобы порядочная собака целый день сиднем сидела и стерегла какую-то жалкую семерку гусей? Стыд и срам! Семь гусей! Ха-ха-ха! Смех, да и только! И какой дурак позарится на эдакую дрянь — подумаешь, лакомство! Может быть, предки наши и признавали это блюдо, да ведь мало ли какие причуды бывают у стариков! В наше время ни одна уважающая себя лиса в рот не возьмет такую гадость! Что касается меня, то я брезгаю гусятиной. А этого рыжего пса и оборванную девчонку просто видеть не могу! Если бы не решение удалиться от мира, давно бы меня здесь не было. Но что поделаешь! Приходится терпеть, коли дала обет жить праведно и творить добро...»

Тут лиса вздыхала так тяжело, что у нее усы шевелились, и, прищурившись, поглядывала одним глазом то на Рыжика, то на гусей, то на Марысю. Потом отворачивалась, криво усмехаясь.

IV



дали уже показалась Голодаевка, озаренная луной. На нее-то и правил Петр, свернув с большака.

Ехал он, ехал, а потом обернулся к сидевшим в телеге гномам и говорит:

— Люди мы, конечно, неученые, но я своей головой так рассуждаю, что негоже вам, господа, всем в одном месте высаживаться. Шутка ли, сразу столько едоков в деревню нагрянет. Дороговизна такая будет — не приведи господь. Чего доброго, и животы подтянуть придется.

— Верно! — отозвался кто-то из телеги.

Это был Хвоц, но самые уши зарывшийся в сено.

— То ли дело по двое, по трое, по пять разбросать по разным деревням. И вам будет лучше, и крестьянам.

— Видно, ты человек неглупый, — молвил в ответ король. — Так и сделай.

Петр придержал лошадь, почесал в затылке и указал на придорожную деревню:

— Да вон хотя бы в той деревне можно двух-трех посадить. Как сыр в масле будут кататься! Деревня-то недаром называется Обжираловкой — самая зажиточная в округе. Что ни мужик — то богатея, а здоровенные, что твои быки! Бабы, детишки толстые, круглые — не ходят, а словно шарики перекатываются! Да и как тут не растолстеть, ежели в каждой хате с утра до поздней ночи варят, жарят, солят, скот да птицу бьют, как на пасху! Здесь мужик как утром за стол сядет, так и не встает до полдён, а встанет — и то затем только, чтоб за другую миску сесть.

— Стой! Стой! — закричал из сена Хвоц.

Но Петр едет себе дальше, будто не слышит.

— Да чего ж им и не сидеть целый день за столом, когда там земля такая, что без сохи сам-сто родит. А ветчины, сала, а гусиного жира — ввек не съешь!

— Стой! Стой! — еще громче закричал Хвоц, выбираясь из сена. — Стой, тебе говорят!

— Что случилось? — удивился Петр, притворяясь, будто только что его услышал.

Вылез Хвощ из сена и, глядя в упор на мужика, спросил:

— А не врешь?

— Чего мне врать? Сущяя правда!

— Вдоволь еды, говоришь?

— Ешь сколько влезет!

— И жирная?

— Сало так с бороды и течет.

— А миски большие?

— Да с луну будут!

Луна как раз заходила.

— Коли так, — сказал Хвощ, оборачиваясь к королю, — я остаюсь здесь, ваше величество!

Он припал к королевским стопам, попрощался с товарищами и, вскочив на борт телеги, крикнул крестьянину, чтобы поворачивал к деревне.

Петр, торопясь исполнить приказание, наехал на камень. Телега накренилась, подпрыгнула, и Хвощ, вылетев из нее, шлепнулся на землю.

К счастью, он не очень ушибся: рыхлый, глубокий песок, как перина, смягчил удар. Но Хвощ все равно заорал благим матом, разбудив всех собак в деревне, и они залились громким лаем.

На лай отозвался один гусак, за ним другой; проснувшись, загоготала какая-то чуткая гусыня, за ней другая, третья, потом еще десять, двадцать — и во дворах и хлевах такой шум и гам поднялся, словно на пожаре.

— Ой, косточки мои, косточки! — ощупывая бока, вопил Хвощ, испуганный лаем и гоготаньем; но голос его тонул в этом шуме.

Петр стегнул клячу, и она побежала рысью. Хвощ встал и, оглядевшись, увидел, что рядом на песке еще кто-то барахтается. В это время из-за туч выглянула луна, и он, к величайшему своему удивлению, узнал ученого летописца.

— Не может быть! — воскликнул он. — Это ты, ученый муж?

— Я, братец, я!

— Неужели и ты вывалился из телеги?

— Нет! Я выпрыгнул сам, с разрешения короля. Видишь ли, братец, где гогот, там и гуси. Ясно?

— Ясно как день!

— А где гуси, там и перья. Верно?

— Как дважды два — четыре!

— А будут перья, будет и новая книга, и ко мне вернется моя слава. Так или нет?

— Конечно! — горячо подтвердил Хвощ.

С готовностью поддакивая товарищу, он в глубине души не очень-то был рад, что придется делиться с ним жирными кусками. И немного погодя Хвоц сказал:

— Знаешь что? По-моему, ученому не пристало со всяким мужичьем якшаться, с неучами из одной миски хлебать. Так недолго и репутацию погубить. Давай сделаем вот как: я пойду в деревню, а ты — в лес. А ночью, когда все заснут, я приведу тебя в хату, и ты подкрепишься чем бог послал. Не беда, если не всегда будет густо, ведь не хлебом единым жив человек; зато своего достоинства не уронишь. Разве это не самое важное?

— Спасибо за добрый совет, братец! — воскликнул растроганный Чудило-Мудрило и, бросившись Хвоцу на шею, стал его обнимать и целовать.

У Хвоца было доброе сердце, и ему стало немного не по себе. Уж больно легко Чудило-Мудрило дал себя провести. Но жадность заглушила добрые чувства, и, быстро подавив угрызения совести, Хвоц обнял ученого, проводил его до леса и распрощался с ним, пожелав мудрых мыслей. А сам крадучись задумав стал пробираться к самой богатой с виду хате.

Но каково же было его разочарование!

В чулане хоть шаром покати, мышь и та с голоду сдохнет; в квашне вместо теста отруби; ни окорока, ни каши, а салом и гусятиной даже не пахнет! В горшки заглянул — пусто; не похоже, чтобы в них и вчера-то что-нибудь варилось. Осмотрел миски, сковородки — ничего.

Хвоц — бежать из хаты. Шмыгнул в другую — и там не лучше. Домов с десятков обежал — везде одно и то же.

А спящие люди худы, как скелеты.

Ни постели, ни утвари сносной, даже лошади или коровы хорошей ни у кого нет. Многие хаты совсем завалились и стоят, подпертые жердями, как калеки на костылях. Не лучше и дом старости.

Вот как туго всем пришлось перед новым урожаем.

— Ах ты обманщик! — обозлившись, крикнул Хвоц и сжал кулаки. — Вот это надул! А я-то, дурак, попался на удочку! Да ведь это суная Голодаевка! А он, негодяй, наплел, будто деревня Обжираловкой зовется и у каждого здесь сало с бороды каплет! Вот тебе и сало! Вот так ешь сколько влезет! Да я здесь как жердь высохну! Хоть бы хлеба корочку раздобыть, колбаски кусочек или мисочку борща!

Уже светало, и нищета деревни проступила совсем ясно, когда Хвоц остановился перед столбом на распутье и, задрвав голову, стал по складам читать надпись на дощечке.

Читал и глазам не верил. Что за наваждение?



А на дощечке стояло: «Голодаевка».

Он еще раз перечитал: «Го-ло-да-ев-ка». Черным по белому написано.

— Голодаевка!

Хвощ всплеснул руками и остался стоять посреди дороги.

А солнышко медленно поднималось из-за леса.

Он еще раз с тоской взглянул на столб, прочел: «Голодаевка» — и вздохнул.

V



Ночь была холодная, и Чудило-Мудрило, прохаживаясь по лесу, чтобы согреться, набрел на довольно высокий песчаный холмик, под которым виднелась глубокая дыра. Каждый с первого взгляда понял бы, что это лисья нора.

Но наш ученый весь свой век просидел над книгами и ничего не смыслил в таких вещах. Он остановился как вкопанный и стал раздумывать, что бы это могло быть.

«Гора? Крепость? — гадал он. — Уж не языческий ли это храм наших предков? Весьма вероятно! Весьма вероятно!»

И он с величайшим вниманием стал обходить холм.

А из норы между тем осторожно высунулась рыжая мордочка клинышком, с горящими глазами и крепкими, острыми зубами. Высунулась, спряталась, опять высунулась, и наконец из норы вылезла поджарая лисичка Сладкоежка.

Она сразу же узнала ученого, но виду не подала, а, напустив на себя важность, сделала шагок ему навстречу и спросила:

— Кто ты, незнакомый странник? И что привело тебя в сию обитель науки и добродетели?

— Придворный летописец короля Светлячка из Хрустального Грота к вашим услугам, — вежливо ответил Чудило-Мудрило.

— Ах, это вы, сударь! — воскликнула Сладкоежка. — Какой счастливый случай привел вас сюда?.. Как! Неужели вы не узнаете меня? Я автор многих научных сочинений Сладкоежка, которую вы недавно почтили своим посещением.

Чудило-Мудрило хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Как же! Помню, помню! На меня просто минутное затмение нашло. Покорнейше прошу простить, сударыня.

Он сказал «сударыня», решив, что не подобает называть такую важную даму просто на «вы».

Они сердечно поздоровались. Потом Чудило-Мудрило сказал:

— Я был бы бесконечно признателен вам, сударыня, если бы вы сообщили, что это за холм. Но может быть, я кажусь вам слишком назойливым?

— Нет, что вы, помилуйте! — ухмыльнувшись, сказала Сладкоежка. — Я велела насыпать этот холмик, чтобы всегда иметь под рукой достаточно песка для присыпания моих рукописей¹. — Она потупила взор, потерла лоб лапой и скромно добавила: — Я много работала в последнее время, очень много... А как подвигается ваше сочинение, уважаемый коллега? — спросила она с любезной предупредительностью.

— Ох! — простонал Чудило-Мудрило. — Лучше не спрашивайте! Меня постигло самое ужасное несчастье, какое только может постигнуть ученого: моя книга погибла, а перо сломалось!

— Сломалось? — подхватила Сладкоежка, и глазки ее загорелись, а зубы плотоядно блеснули. — Да ведь нет ничего проще, как достать новое, и не одно! Пять, десять... Да что я говорю — сотни перьев готова я раздобыть для вас, уважаемый коллега, если только вы окажете мне одну маленькую, малюсенькую, вот как эта песчинка, услугу! Но ваша помощь понадобится мне сегодня. И очень скоро! Через час!

Она подхватила ученого под руку и, прохаживаясь с ним взад и вперед, заворковала ему на ухо:

— Видите ли, здесь неподалеку живет один пес, которого я просто не выношу. Сама не могу понять, что меня в нем так отталкивает. То ли уродливая внешность, то ли дурные наклонности: целыми днями он сидит, ничего не делая, возле какой-то жалкой семерки гусей, которым не угрожает ни малейшей опасности. Короче говоря, я терпеть не могу этого бездельника и рада была бы избавиться от него хоть на несколько минут. Но он, как назло, изо дня в день является сюда с маленькой оборванной девочкой и с этими гусями, на которых и смотреть-то тошно — кожа да кости! Устраются здесь на полянке, как раз напротив моего жилища, и отравляют своим присутствием часы, посвященные научным трудам! Так вот, когда они явятся сюда сегодня, подразните, пожалуйста, немного этого пса, дорогой коллега, пусть он за вами погонится и отбежит в сторону, а я тем временем закончу сочинение, над которым давно работаю. Если вы исполните мою просьбу, я преподнесу вам целый пучок отменнейших перьев, которые обладают одним чудесным свойством: уснешь вечером с таким пером в руке, а утром глядь — уже четверть книги написано. Вот какие перья!

¹ В прежние времена чернила не промокали промокашкой, а присыпали мелким песком.

У Чудилы-Мудрилы глаза заблестели от радости. Он проглотил слюну и воскликнул:

— С удовольствием, с превеликим удовольствием! От всего сердца рад помочь вам, сударыня! Я весь к вашим услугам! Располагайте мною!

И он стал кланяться, шаркая то правой, то левой ножкой, и сердечно пожимать лисе обе лапы.

Утренний туман рассеивался, открывая чистую, ясную лазурь. Заготовали гуси, петух пропел с высокого насеста, ему ответил другой; в просыпающейся деревне заскрипели колодезные журавли, замычали коровы, которых выгоняли со дворов, над соломенными кровлями поднялись струйки синего дыма — верный знак, что хозяйка похлебку поставила варить из остатков прошлогодней муки. Воду вскипятит, мукой засыплет, прибавит немного сыворотки, посолит, выльет в миску и кликнет:

— Ну-ка, дети, живо за стол! Бери-ка ложку, Ягна! Скорей, Мацек, не то Вицек все съест! Быстро, быстро! Хлебайте, не зевайте — пока роса, гусей надо выгнать!

И вскоре во всех концах деревни защелкают кнуты и раздадутся тоненькие детские голоса:

— Тега, тега, тега!

По песчаной дороге клубится пыль, гоготанье гусей сливается с возгласами пастушат и щелканьем кнутов, и надо всем — пронзительный крик старостиного гусака. Он бежит, взмахивая крыльями, впереди стада, как полководец перед войском.

От одной из хат отделилось и торопливо направилось к лесу маленькое стадо гусей: четыре белых, три серых. За гусями — сиротка Марыся, босая, в холщовой рубашке, в синей юбочке. Золотые волосы заплетены в косички, личико умыто. Ступает Марыся легко-легко — трава почти не приминается.

Рядом с Марысей — рыжий песик. Он весело помахивает хвостом и лает, если какой гусь отобьется от стада. С таким помощником Марысе и кнут ни к чему, одного ивового прута достаточно. Идет Марыся с прутиком по алмазной росе и поет тонким голоском:

Как входила сирота
Во чужие ворота,
Как служила сирота
За краюху хлеба,
Помогала сироте
Только зорька золотá
Да солнышко с неба!
Гуси, гуси вы мои,
Тегá, тегá, тегá!

С песенкой пришла Марыся на лужайку, села на пригорочке, а гуси ходят вокруг нее, гогочут, молодую травку щиплют.

Рыжик обежал гусей раз-другой, дернул серого гусака за хвост, чтоб неповадно было в лес ходить, твякнул на белого, чтобы стадо стерег, а потом улегся на краю лужайки и стал смотреть в лес. Очень чуткий пес был этот Рыжик!

Деревья ласково кивали девочке верхушками и что-то таинственно шептали, словно обещая защитить ее.

С другой стороны в пастбище вдавался узкий клин волнистой пшеницы. Колосья кланялись лесу, слушали его шепот, узнавали разные новости и, склоняясь к своим братьям колосьям, передавали им, о чем говорят деревья.

И пчелы, жуки, комары тоже разносили лесные тайны, рассказывая их каждый на свой лад, кто басовитым, кто тоненьким голоском.

Только один рыжевато-бурый хомяк, живший в земляной норке на ближней меже, не участвовал в общем разговоре: он прилежно трудился от зари до зари, торопясь в погожие летние дни заготовить запасы на зиму.

Лишь когда у него челюсти совсем деревенели, устав перегрызать травинки и стебли пшеницы, а спина немела под тяжестью зерна и сена, он вставал на задние лапки и, выпрямившись, быстро озирался по сторонам, поводя своими черными глазками-бусинками.

Хомяк хорошо знал и Рыжика и гусей, но не любил их за громкий лай и гоготанье.

Зато Марыся ему очень нравилась, да и песенки ее пришлось по сердцу. Стоило ему услышать ее звонкий голосок, как он сразу бросал работу, вставал на задние лапки и, шевеля усиками, тихонько свистел, как бы подпевая.

Марыся тоже заметила хомяка и, видя, что он любит ее слушать, стала петь нарочно для него — чтобы его порадовать.

«Наверное, и у этого зверька никого нет на свете; наверное, ему тоже грустно, как и мне, — рассуждала она про себя. — Пусть хоть песенка его развлечет!»

И выводила тоненько:

Как пришел медведь косматый
Да к волчице серой сватом!
Свадьбу волк играл в бору —
Пляшут гости на пиру!

Чтобы хомяк знал, что она поет для него, Марыся ласково ему улыбалась. А он все стоял на задних лапах, шевелил усами и вертел головкой, тихонько посвистывая.

Хотела Марыся познакомиться с ним поближе, но только шагнула к нему, как этот дикарь плюхнулся на все четыре лапки и был таков! Только трава и колосья заколыхались над ним, как вода в реке, когда в нее камень бросишь.

Видя, какой он дикарь, Марыся махнула на него рукой.

Рыжик тоже иногда поглядывал на хомяка и говорил сам себе:

«Вот еще, стану я за каким-то свистуном гоняться! Встал на задние лапы и воображает, будто на собаку похож, которая служит! Кривляка, и больше ничего! И свистит-то совсем как мальчишки деревенские, только, пожалуй, потише. И усы нацепил, конечно, поддельные — ну скажите на милость, разве у таких плюгавеньких зверюшек бывают усы, как у котов! Нет, куда ему до нашего Мурлыки! Повернусь-ка к нему спиной, вот и все».

И он поворачивался, предоставляя хомяку созерцать свой пушистый хвост.

Или свернется в клубок подремать, а сам нет-нет да глаз приоткроет и на хомяка покосится. А иногда заворчит тихонько, будто во сне. Но пес он был гордый, слово держать умел и уж коли сказал себе, что не станет за этим свистуном гоняться, то и не гонялся.

Да у него и без того дел было довольно. То из пшеницы, то из леса гусей выгоняй, пересчитывай каждую минуту, все ли целы; тут надо, чтобы котелок варил, иначе не справишься.

А хомяк, зорко следивший за всем, стал замечать, что из орешника частенько высовывается острая лисья морда. Лисы он здесь давно не видал и сразу смекнул, что она подбирается к гусям, которые пасутся на опушке.

Шевельнул хомяк усами и сказал себе:

«Предупредить их, что ли? Мне это ничего не стоит! А может, это даже мой долг? По глазам видно, что лиса что-то недоброе затевает, да и морда у нее разбойничья. Но тогда мне на горку придется лезть в такую жару, а это мне вовсе не улыбается. И пока я буду ходить, сони да полевые мыши растащат колосья, которые мне достались с таким трудом. Зачем же, спрашивается, я надрываюсь? Нет уж, пусть каждый сам о себе заботится. Иначе не проживешь! Гусятница, поди, тоже не принцесса! Петь находит время, пусть найдет время и за гусями присмотреть! Поет-то она хорошо, слов нет! Но делу время, а потехе час. Для того ведь она и приставлена к гусям, чтобы стеречь их... А собака на что? Тоже не грех бы потрудиться! Ворчать да задом ко мне поворачиваться — это она умеет; ну так пускай сумеет и лису в кустах разглядеть. Не хватало еще мне чужих гусей стеречь! И выгоды ни-

какой! Разве что гусыня какая-нибудь прогогочет: «Спасибо!» Не велика честь! Ха-ха-ха!»

Тут он свистнул, засмеялся, блеснул черными глазками и, упав на все четыре лапки, стал старательно перегрызать стебли у самого корня.

Хомяки хорошие хозяева, но другим от этого проку мало: кроме работы в поле и собственной выгоды, их ничто не интересует и заботятся они только о себе.

Марыся любила наблюдать, как усердно хлопочет хомяк, таская в норку запасы на зиму, и ласково называла его про себя «мой хомячок». А сомкнутся за зверьком колосья — она переведет взгляд на лужок, на гусей, полюбуется полевой астрой и желтыми цветочками, которыми усеяны луг и канавка возле пса.

Парит, солнце печет немилосердно. Рыжик даже язык свесил и громко дышит. На лбу у Марыси капельки пота, но она занята — плетет венок и напевает:

Много дел у сироты
И в дому, и в поле
Помогает ей цветы,
Кто поможет боле?

Вдруг чуткий Рыжик тьякнул раз, другой.

В орешнике, у самой опушки, что-то зашевелилось, зашуршало и стихло. Рыжик сел и насторожил уши, выжидая, что будет.

Вот опять что-то зашуршало и стихло.

Рыжик зарычал и оскалился.

Но Марыся ничего не замечала. Как птица заливается на ветке и, отдавшись песне, не слышит, что к ней подкрадывается кот, так и Марыся, ничего не видя и не слыша, все пела и пела свою песню:

У чужих живет людей,
Кто ж еще поможет ей?
Только зорька ясная
Да солнышко красное!

Тут из орешника выглянул маленький чудной человек в красном колпачке, с седой бородой, в очках на большущем носу. Выглянул и поманил Рыжика пальцем.

Рыжик вскочил и кинулся к кусту; но человек стоял уже под другим кустом, подальше, и все манил его пальцем. Рыжик — к нему, но чудной человек в красном колпачке отпрыгнул еще дальше.

Чем больше углублялся Рыжик в лес, тем быстрее мелькал у него перед глазами красный колпачок, ускользя то вправо, то влево. Наконец они очутились в чаще, среди высоченных сосен.

Рыжик почти уже догнал человечка; но тот опять отскочил в сторону и, быстро вскарабкавшись на дерево, поманил Рыжика сверху.

Взбешенный Рыжик с яростным лаем кинулся к дереву. Услышав громкий лай своего верного помощника, Марыся очнулась и внезапно оборвала песню...

— Рыжик! Рыжик! — испуганно позвала она и побежала в лес.

Лиса только этого и ждала.

Одним прыжком она очутилась в середине гусяного стада, схватила ближайшего гуся за горло и задушила, прежде чем тот успел крикнуть. Швырнув его в кусты, она накинулась на другого. Острые зубы вонзились ему в горло, и он тут же испустил дух. Оттащив и его в кусты, лиса принялась расправляться с остальными.

Гуси, пронзительно крича, бросились врассыпную: одни метнулись в поле, другие в смертельном страхе порывались взлететь.

Но Сладкоежка одним прыжком настигла самую жирную серую гусыню, перегрызла ей горло и, швырнув на землю, помчалась за другими. Крылья не держали гусей в воздухе, и они с отчаянным криком один за другим падали на землю перед самой лисьей пастью.

Марыся, услышав из лесу невообразимый шум и гогот, не своим голосом закричала: «Помогите!» — и со всех ног кинулась к стаду.

Сладкоежка перегрызла горло последнему, седьмому гуся и, облизывая окровавленную морду, горящими глазами оглядывала побоище.

Вытянув вперед руки, вихрем пролетела Марыся по лесу, вылетела на лужайку и, увидев мертвых гусей, как подкошенная упала на землю.

VI



это раннее утро на болоте возле леса можно было увидеть презабавное зрелище.

Какой-то человечек в красном колпачке выделялся там удивительные акробатические номера: перескакивал с кочки на кочку, нырял, как пловец, в болотную траву, проваливался в глубокие, покрытые мхом мочажины, повисал на руках, хватаясь за острый аир.

Это был наш старый знакомец Хвоц. Но его трудно было узнать. Куда девалась его толщина! Он стал тощий, как комар.

Плащ болтался на нем, как на вешалке, туфли поминутно спадали с тонких, как спички, ног. Огромная голова качалась на тоненькой шее, а высохшие ручонки с трудом удерживали огромную трубку, набитую не табаком, а ольховыми листьями. Вот что сделало с нашим почтенным толстяком путешествие в Голодаевку.

Но с ним произошли и другие перемены. Голод, который теперь постоянно мучил Хвоцца, многому научил его. Он умел, например, прыгать с кочки на кочку и отыскивать гнезда чаек в мокрой траве.

Встревоженная чайка била крыльями над самой головой Хвоцца и пронзительно кричала: «Ки-ви! Ки-ви! Ки-ви! Ки-ви! Ки-ви! Ки-ви!»

Бедная чайка! Она думала, что отпугнет своим криком разбойника, который мог вот-вот обнаружить ее гнездо, спрятанное в траве, а в нем первое, снесенное в этом году яичко! Оглушенный криком и хлопаньем крыльев, Хвоцц остановился и с раздражением крикнул:

— Да замолчи ты, глупая птица! Растрещалась, как сорока! Думаешь, мне очень нравится в болоте вязнуть? Я еще не совсем выжил из ума! Понимаю, что кусок колбасы повкусней твоих яиц! Только голод не тетка! Скоро совсем ноги протяну! Уймись, не ори, а то шею сверну!

И, повесив голову, грустно добавил:

— Вот влип-то, вот попался! Будь она неладна, эта деревня! Вместо Обжираловки — Голодаевка! Вот бессовестный мужик, какую шутку со мной сыграл!

Так сетовал он на судьбу, когда вдруг послышался чей-то плач. Он сдвинул колпачок набок и, приложив ладонь к уху, прислушался.

Так и есть! Ребенок плачет!

— Провалиться мне на этом месте! — воскликнул Хвоцц, а сердце у него было доброе и отзывчивое к чужому горю. — Провалиться мне на этом месте, если бедняжке не хуже, чем мне, приходится. Пойду посмотрю, что там такое!

И, позабыв про голод, стал, к величайшей радости чайки, выбираться из болота к лесу, откуда доносился плач.

— Так и есть, ребенок плачет! — бормотал он, переступая, как аист, с кочки на кочку.

Выглянул Хвоцц из камыша, который рос здесь сплошной стеной, и видит: сидит на пригорке возле леса маленькая девочка и, закрыв лицо руками, горько плачет.

У Хвоцца сердце сжалось. Прибавив шагу, он подошел к девочке и спросил:

— О чем ты плачешь, панна? Кто тебя обидел?

Марыся вздрогнула, отняла руки от лица, уставилась на гнома широко раскрытыми глазами, слова не может вымолвить от удивления.

— Не бойся меня, панна! — заговорил опять Хвоц. — Я твой друг и желаю тебе добра!

— Кто это? — прошептала Марыся. — Маленький, как куколка, а говорит человеческим голосом! Ой, боюсь!

Она взмахнула руками, словно крыльями, порываясь бежать. Но Хвоц загородил ей дорогу и сказал:

— Не убегай, панна. Я гном, по имени Хвоц, и хочу тебе помочь.

— Гном! — как бы про себя повторила Марыся. — Знаю, знаю! Мне матушка говорила, что они добрые.

— Твоя матушка изволила говорить чистейшую правду, — галантно подтвердил Хвоц. — Я был бы рад поблагодарить ее за это!

Марыся покачала своей золотой головкой:

— Моя матушка умерла!

— Умерла? — печально повторил Хвоц. — Тяжелое слово, тяжелее камня. — Он потряс бородой и вздохнул. — А как твою матушку звали?

— Кукулина!

— Кукулина! Ах ты умница моя! Да ведь мы с тобой знакомы! Ты та самая маленькая Марыся, которая серебряные слезки проливала, когда злая баба избила меня до полусмерти. Ах ты моя красавица! Вот как мы встретились! Значит, судьба! Ну, говори, приказывай, как помочь твоей беде!

Но Марыся, вспомнив про свое горе, заплакала еще сильнее.

— Нет! Нет! — повторяла она сквозь слезы. — Мне нельзя помочь!

Хвоц стоял, положив трубку на плечо, и ласково утешал ее.

— Пожалей свои голубые глазки, панна! Не плачь так горько! — говорил он.

— Какая я панна! Я сиротка Марыся!

— А сироткам тем более надо помогать! Ну, будет! Где твой дом?

— У меня нет дома! Хозяйка, у которой я гусей пасла, прогнала меня.

— Вот негодяйка! — возмутился Хвоц.

— Нет! Нет! Это я негодница, я виновата, что лиса гусей передушила. Ой, гусаньки мои, гусаньки! — в отчаянии воскликнула она и, закрыв лицо руками, опять зарыдала.

— Слезами горю не поможешь! — сказал Хвощ, отнимая ее руки от лица. — Идем-ка домой!

— Нет! Нет! — закричала Марыся. — Ни за что! Лучше в лес уйду! Куда глаза глядят! На край света!

— А что ты будешь делать в лесу? Да и свет ведь не огород, так просто его не обойдешь. Ну-ну, не надо отчаиваться!

И, задумчиво глядя в землю, он стал дергать и теревить свой седой ус.

— А если заплатить хозяйке за гусей? — спросил он. — Пожалуй, это удачная мысль! Сколько их было?

Марыся громко заплакала.

— Мертвые они, задушенные! Никакими деньгами теперь не поможешь...

Видя, как велико и безутешно ее горе, Хвощ опять задумался и стал теревить седой ус. Наконец он сказал:

— Ну, коли так, делать нечего, надо идти в горы Татры, к самой горной царице. Только она может тебе помочь!

Марыся подняла на него глаза — две голубые звездочки, которые затеплились надеждой, — и спросила:

— А она добрая?

— Я вижу, ты девочка умная не по возрасту, коли первым делом спрашиваешь, добрая ли она. Ибо что такое могущество без доброты? Ничто! Ну, раз ты такая умница, собирайся скорей — путь предстоит далекий и трудный. Я с радостью провожу тебя к царице Татр!

Марыся встала и сказала просто:

— Идем!

И они пошли.





Глаза пятая

Хорошие времена

I



уда он везет нас? — спрашивали друг друга гномы, тревожась о судьбе своих товарищей, Хвоща и Чудилы-Мудрилы.

— Наверное, к какому-нибудь королю во дворец, где наш государь найдет достойное его общество, — отозвался канцлер Кошкин Глаз.

— Вот это да! — вскричал паж Колобок, заранее облизываясь. — Говорят, во дворцах всего жирней и слаще готовят, а пироги — каждый день! Вот где можно поесть вволю!

— Молчи уж! — осадил его Соломенное Чучелко, который за зиму совсем отоцал и высох. — Ты и так круглый как шарик, еле ходишь! Смотри, даст тебе король отставку, а мантию носить другого возьмет!

— В деревнях короли большая редкость, — вмешался в разговор Василек. — Но может быть, этот достойный поселянин отвезет нас к какому-нибудь князю?

— У князей тоже двор большой, слуги, повара! — воскликнул Сморчок. — Оркестр, музыка играет, столы от серебряных блюд да кубков ломятся. Спят там допоздна, работать не работают, только веселятся! Вот бы нам так пожить! Только князя на

каждом шагу не встречаются, да и княжеский замок — не заезжий двор, не всякого туда пускают! Долго пришлось бы нам ездить в поисках князя.

— Ну, пусть к графу отвезет, на худой конец, — заметил Со-
ломенное Чучелко. — У графов тоже дом — полная чаша и слуг
немало.

— Еще бы! — подхватил Куколь. — А конюшни какие у них!
А лошади! А охотничьи собаки!

— А как там кормят? — деловито осведомился Колобок.

— Как? Известное дело — по-графски. Пальчики оближешь!
Олени, кабаны на вертелах жарятся, пирожники торты пекут да
ромовые бабы, вино золотистое рекой льется, а щук подают вот
каких! — И он широко растопырил руки.

Слушатели только головой качали от удивления.

Живой, как ртуть, Петрушка, услышав про такие чудеса, вско-
чил со своего места и, подтолкнув крестьянина, спросил:

— Слушай, братец, где у вас тут графы живут?

— Графы? — переспросил Петр, почесывая за ухом. — Нет
у нас никаких графов!

Потом помолчал немного и, вспомнив что-то, прибавил:

— Есть тут на горе развалины — труба да кусок стены. Гово-
рят, там в старину графский замок стоял, а теперь пустырь. За
кирпичом только приезжают из города, кому нужно. А графы все
давно перемерли.

— Перемерли? — с искренним удивлением воскликнул Ко-
лобок и всплеснул руками. — С таким богатством жить бы да
жить, а они умирают! Ну, коли так, вези нас в помещичью усадь-
бу, там мы тоже не пропадем. Хорошо в деревне!

— Еще бы! — сказал Василек. — Весна придет, поля зазелене-
ют, жаворонок запоет свою радостную песенку, роса жемчуга рас-
сыплет, цветы и луга расстелются узорчатым ковром, плуги пой-
дут отваливать черную землю, послышится мычание волов, окри-
ки пахарей. Лето наступит, вскинешь на плечо ружье — и айда на
болото. Дикую утку подстрелишь, в ягдташ положишь, взглянешь
на голубое небо, улыбнешься приятным мыслям. А вокруг поля
шумят золотыми колосьями, лен цветет голубыми цветочками,
ягоды краснеют, с лугов сеном пахнет, пчелы жужжат вокруг ли-
пы... Осень пришла — яблоки, груши и сливы так и гнутся под тя-
жестью плодов, в березовой роще рыжиками да боровиками пах-
нет, а в праздник урожая золотой колос сплетается в венке с цве-
тами и орехами. Солнце еще не взошло, в полях туман, а по ним
уже охотники скачут. Лес замер, слушает залиvistый лай гончих;
белки черными глазками на охотников с верхушек деревьев по-
глядывают. Вдруг прогремел выстрел, за ним другой: пиф-паф!

Далеко разнеслось эхо, слышались ликующие крики и пение охотничьего рожка.

— Хорошо ты рассказываешь, мой верный Василек, очень хорошо! — молвил король Светлячок, который до сих пор молча прислушивался к разговору своей свиты, и лицо его осветилось ласковой улыбкой. — Вот бы нам пожить в таком местечке!

Старый король не успел договорить и с лица его еще не сбегала улыбка, когда телега, стукнувшись о камень, свернула на проселок.

Кляча Петра радостно заржала, почувствовав близость дома.

Вскоре телега остановилась, и крестьянин сказал своим седокам:

— Ну, король и вы все, слезайте! Приехали!

— Как! Куда! — загалдели гномы, вертя головами и вытягивая шеи. — Ведь здесь ничего нет!

— Как это ничего? — возразил Петр. — Вот мой дом, чего же вам еще!

Забрезжил рассвет.

Видят гномы: стоит низенькая, убогая мазанка, соломенная крыша скособочилась, свисает чуть ли не до земли, дыры ветками заткнуты, плетень вот-вот в бурьян завалится, а над плетнем высокая ива простирает ветви, словно руки; в запущенном саду — вишни в белом цвету. И надо всем — дружное кваканье лягушек и заливанное щелканье соловья, встречающего зарю.

— Ты что, шутишь, что ли? — закричали гномы.

— Чего мне шутить? — равнодушно отозвался Петр. — Вот хата, вот лес, вот ручей: кто хочет, оставайся, а кому не нравится — скатертью дорога!

И стал распрягать лошадь. Потом достал воды из колодца, вылил в колоду, как будто никаких гномов и в помине нет.

— Что же мы будем есть в этой дыре? — спрашивают они.

— Мои дети с голоду не померли, и вы не померете!

— А куда мы сокровища денем? — не унимаются гномы.

— Маковая головка невелика, поди, и то в ней сто раз по тысяче зернышек умещается!

— А король? Где же мы короля поселим? — опять закричали гномы.

— Вон солнышко познатней вашего короля, а мой бедностью не брезгает, каждый день в хату заглядывает...

Тут никогда не унывающий Петрушка залясал вокруг телеги и занел:

Под ногами буторок,
Сверху — неба доскуток!
Ах, зачем нам, братцы гномы,
Терем, дворня, хоромы!

Но на него зашикали со всех сторон. Гномам было не до шуток, и недовольные ронтали все громче.

На востоке засияла голубая утренняя звезда, и вскоре совсем рассвело.

Король Светлячок поднял свой скипетр, и свита сразу угомонилась.

— Привет тебе, приют бедности и труда! — промолвил он.

II



изенькая липовая дверь тихо скрипнула, и в мазанку вместе со светом утра проскользнули гномы.

Изо всех углов горницы выглядывала нищета. Чуть ли не половину ее занимала огромная печь с просторным запечком. Перед печкой, свернувшись в клубок, спал серый кот и лежала вязанка сухого хвороста, стянутая веревкой.

В углу стояло ведро с водой, на нем — жестяная кружка; на лавке — несколько перевернутых вверх дном горшков, рядом — сосновый стол, две табуретки, корзинка, а в ней немножко картошки.

Забавный вид был у гномов, когда они, таращась на это убожество, но не смея громко жаловаться в присутствии короля, подталкивали друг друга и показывали глазами на пустую печь, на колченогую скамью, на жалкую корзинку — единственную кладовую бедного крестьянина. Их длинные носы вытянулись еще больше, усы повисли.

Один беспечный Петрушка скакал по хате и дурачился, смеясь и потирая руки:

— А чем не дворец? Чем не хоромы? Разве нам тут плохо будет? Нисколечко! Заживем по-царски. Смотрите, смотрите, зоря светит сквозь крышу! Гляньте, сколько алых и золотых роз она по хате рассыпала! А вон под балкой ласточкино гнездо! Свет разбудил птиц, и они расцебетались. Слышите? Потолок дрожит от птичьего щебета, от трепетанья крыльев! А вон в разбитое окно заглядывает куст сирени! Какой приятный, свежий запах! Какие пышные лиловые кисти! А куст весь в алмазах, в каждом листочке — алмаз! И в каждом алмазе — радуга! Думаете, роса? Нет! Это не роса, а драгоценные камни! А в кустах соловей поет свою утреннюю песню! Слышите?

На охапке соломы в углу спали два мальчугана. Их русые голovenки утопали в золотой соломе, из распахнувшихся на груди

холщовых рубашек выглядывало худое смуглое тело. Видно, холод пробрал их весенней ночью: они лежали обнявшись и тесно прижавшись друг к другу.

— А вот и королевичи! — закричал Петрушка.

Подошли и другие гномы, и жалость смягчила их лица, разгладив морщины, стерев недовольство.

— Бедняжки! — прошептал один.

— Сиротки! — отозвался другой.

— Вот горе-то! — молвил третий

Король Светлячок склонил над спящими свой скипетр и сказал:

— Пусть светят вам зори и ласточки щебечут над вами! Растите под сенью лип и сирени! Растите и набирайтесь сил!

И золотым скипетром прикоснулся к льняным головкам.

Тут в хату, поставив лошадь в конюшню, вошел Петр. Нагнулся в низких дверях, снял шапку и кинул ее на стол.

Любопытные гномы обступили его, спрашивая наперебой:

— Чьи это дети?

— Мои, чьи же еще! Было этой мелюзги и побольше, да бог прибрал, как жена померла. Вот только двое осталось.

— Пусть растут крепкими и здоровыми! — повторил король и подал знак свите перенести сокровища из телеги в подпечье.

Гномы проворно принялись перетаскивать ларцы и сундуки в подпечье и прятать их в мышинные норы; они делали это так тихо, что даже кот, спавший перед печкой, не проснулся.

Петр равнодушно следил за ними. Когда рассвело, он хорошо разглядел, что это за сокровища: просто сор да камешки. То, что ночью слепило глаза, сияя, блестя, пламенея и переливаясь всеми цветами радуги, оказалось песком да щебнем, а бруски золота и серебра — палочками и сучками.

Когда гномы перенесли свои сокровища и сами спрятались в мышинные норки, Петр постучал кнутовищем по земляному полу и крикнул:

— Эй, Куба, Войтек! Вставайте, лежебоки, да поживей! Не видите, отец воротился!

Мальчики зашевелились на соломе и, протирая глаза, спросили сонными голосами:

— Тятенька, а что ты нам с ярмарки привез?

Но Петр был зол и не собирался разговаривать.

— Палку привез! — отрезал он.

Куба сел на соломе и сказал:

— Тятенька, а я короля видел.

— Какого еще короля?

— Ну, каких на святки показывают.

— Приснилось тебе, — сказал Петр, боясь, как бы мальчики не разболтали соседям про гномов.

Но мальчика не так-то просто было сбить.

— Нет, не приснилось. На самом деле видел! — воскликнул он. — В золотой короне, в мантии королевской, борода по пояс, в руке палица золотая как солнышко горит. Ей-ей, тягенька, видел! Он шел и сыпал золото на дорожку.

И в подтверждение он ударил себя кулаком в грудь. Но Петр топнул ногой и заорал:

— Я тебе такого короля покажу, бездельник, что тебе палка приснится! Ну, живо вставайте и в лес отправляйтесь за хворостом. Не видите — весь вышел. Слышали?

— Слышали! — в один голос ответили мальчики.

Выкарабкавшись из соломы, они ополоснули лица из ведерка, подтянули тесемкой рубашки, поцеловали у отца руку и, сунув за пазуху по несколько вчерашних картофелин, пошли к двери.

Петр снял с себя ремень и показал им:

— Видите?

— Видим! — ответили мальчики, оробев.

— Что это?

— Ремень...

— А для чего он?

— Чтобы пороть...

— А больно им порют?

— Ой, больно, тягенька, больно!

И готовые заплакать, давай обнимать отцовские колени, тереть кулаками глаза.

Петр опустил ремень и сказал:

— Так вот, зарубите себе на носу: если кто из вас начнет болтать про этого короля, я так его ремнем исполосую, что места живого не останется. Поняли?

— Ой, поняли, тягенька, поняли! — всхлипывали мальчики, все крепче обнимая отцовские колени. — Никому ни словечка не скажем! Только не бейте, тягенька!

— Ну ладно, — сказал крестьянин и бросил ремень на лавку. — А теперь — марш за хворостом!

Мальчики, втянув голову в плечи, бочком выскользнули из хаты. Но когда они вышли за калитку, Куба, покосившись на всякий случай на дом, подтолкнул брата и сказал:

— А короля я все-таки видел!



рудно, пожалуй, сыскать в целом свете более укромное местечко, чем то, которое король Светлячок облюбовал для своей летней резиденции. Этот чудесный уголок лежал между запущенным вишневым садом в белой кипени цветов и вьющимся по низкой луговине голубым ручейком. Здесь, в зарослях огромных лопухов, царил прохлада и зеленый полумрак.

С одной стороны к саду примыкала убогая мазанка Петра, с другой — перелог, густо поросший метлицей, в которой буйно цвели желтый коровяк и голубой цикорий; издали эта полоска поля, давно лежащего под паром, казалась серебристо-золотой.

На узкой меже, отделявшей перелог от ольшаника, росли кусты шиповника, осыпанные темно-розовыми цветами. Сколько соловьев заливалось здесь каждую ночь, сколько отвечало им из ольшаника — не счесть! Соловьев старались перекричать лягушки, которых водилось здесь великое множество, лягушкам помогали чирки и водяные курочки, гнездившиеся в камышах по берегу голубого ручья. И так всю ночь напролет: квакал лягушачий хор, кричали водяные птицы, щекали соловьи. Петрова лачуга им не мешала: она притаилась под плакучей ивой, в высокой траве, и так глубоко вросла в землю, что ее и в двух шагах не видно было.

Человеческое жилье выдавала только струйка дыма, подымавшаяся в полдень к небу из густой зелени, когда Петр варил картошку себе и детям. Даже собачьего лая не было слышно: зачем собаку кормить, если стеречь нечего? В такую хату и вор не заглянет, и странник ее обойдет.

Гномы, пороптав немного на бедность, скоро привыкли к новому месту. Этот добрый, веселый народец боится только неволи — свобода ему дороже всего. А в этом зеленом уголке, который гномы прозвали Соловьиной Долиной, никто им не мешал, не подглядывал за ними, никто их не преследовал, и они вскоре стали чувствовать себя здесь, как в родном Хрустальном Гроте.

Поначалу, что и говорить, пришлось им туговато. В первые дни они трудились не разгибая спины и голодали. Прежде всего надо было подумать о жилище для короля.

Ни почтенный возраст, ни сан не позволяли ему спать под лопухами вместе со всеми. Озабоченно качая головой, гномы вдоль и поперек исходили долину, но так ничего и не нашли.

Чтобы лучше обозреть окрестности, Петрушка залез на толстую иву и обнаружил в ней дупло. Он мигом смекнул, что здесь легко можно устроить жилище для короля. И работа закипела:

одни выметали из дупла сор, другие украшали его и обставляли, чтобы королю было удобней. В тот же вечер роскошные королевские покои были готовы.

Здесь было не только красиво, но мягко и уютно, как в гнездышке. Пол устилала зеленые и бурые бархатные мхи, на стенах висели ажурные занавеси из паутины, отливающие всеми цветами радуги, вход закрывала сплетенная из серебристой метлицы циновка, а полевые цветы и травы наполняли покои благоуханием.

Сняв корону, чтобы дать отдых усталой голове, старый король повесил ее на сучок, а скипетр поставил в угол. И в тот же миг огромный алмаз, вделанный в скипетр, засиял в темном дупле, как солнце.

Но у старого короля болели глаза от всего, что пришлось ему повидать на свете, и он велел заслонить алмаз ольховым листком.

Сквозь зеленый лист просачивался приятный, похожий на лунное сияние свет. И, отдыхая в мягком зеленоватом полумраке, убеленный сединами король стал перебирать в памяти дни своей долгой жизни, за которую он сделал немало добра людям и свято берег сокровища земли, чтобы они не попали в руки лиходеям и не причинили зла.

А верная королевская дружина, в любую минуту готовая поспешить на зов своего господина, разбила лагерь между толстыми корнями ивы.

Местечко хоть куда: и от дождя есть где укрыться, и от полуденного зноя. А по вечерам можно звездами любоваться — любимое занятие гномов.

Хуже обстояло дело с едой. День или два приходилось так туго, что сладстена Колобок то и дело заливался слезами. Но время и тут оказалось лучшим советчиком.

Осмотревшись, гномы убедились, что и в этом глухом углу можно прокормиться, и даже неплохо. В ольшанике росли грибы, поспевала земляника, закраснелась ежевика. В старом, запущенном саду из коры вишневых деревьев сочилась прозрачная смола; на метлице и водяном укропе было множество семян. Из молодого клевера получался великолепный салат, а хорошо очищенные корешки некоторых трав вполне могли сойти за спаржу. Питались гномы вкусно и сытно. И ни один не ленился зайти подальше, лишь бы раздобыть что-нибудь повкуснее для короля.

Особенно неутомим был Петрушка. То яичко из гнезда стащит, то воробышка поймает с ближнего тополя, то травинкой несколько капель меда достанет из шмелиного гнезда — и все для старого короля.

Хозяйство разрасталось — пора было подумать и о настоящей кухне.

До сих пор гномы разводили огонь на камне, но дождь и роса то и дело его заливали. И вот Петрушка, недолго думая, завладел большой раковиной, хозяин которой выехал неизвестно куда, прилепил к ней трубу из глины и песка, приладил дверцы, и вышла печка хоть куда!

А где труба дымит, там друзей хоть отбавляй... Так и тут сразу нашлись друзья-приятели.

На берегу ручейка под лопухом с давних пор жило одно лягушачье семейство. В этом семействе и вырос господин Вродебарин.

Это был гордец, бездельник и зазнайка.

Очень сожалею, что не могу сказать о нем ничего хорошего. Но таким уж он был — самодовольным и надутым, и таким всякий раз мне вспоминается.

На всем берегу не было лягушки, которая бы так пыжилась и так крикливо напоминала о себе, как этот господин Вродебарин. Целыми днями он ничего не делал, только грелся на солнышке да квакал, какого он знатного рода, какой у него замечательный голос, как он умен и талантлив, не заботясь, хотят его слушать или нет.

Ужасный хвостун! Иногда его даже в соседней деревне было слышно.

Вот этот-то господин и стал набиваться к гномам в друзья: рассказывал о себе всякие небылицы, льстил им напропалую, а сам все поджидал, не угостят ли чем.

Иногда он приносил скрипку и играл за ужином, чтобы угостить старому королю.

Пошли разные забавы, и гномы не скучали в обществе лягушки. А Вродебарин важничал не хуже настоящего барина.

Печурка — изобретение смышленного Петрушки — топилась целый день. Еды да питья было вдоволь, и аппетитные запахи разносились далеко вокруг. Даже серый кот, спавший в Петровой мазанке перед печкой, потягивался и облизывался во сне, а голодные Войтек и Куба, лежа в обнимку на соломе, спрашивали друг друга:

— Чем это так вкусно пахнет?





Глава шестая

Концерт маэстро Сарабанды

I



олго ломал голову старый король, как отплатить бедному Петру за гостеприимство, оказанное ему и его дружине.

Гномы неохотно отдают золото, серебро и драгоценные камни, которые стерегут. Милостыня одинаково унижает и подающего и принимающего, поэтому они больше любят помогать людям в работе.

Но как поможешь бедняге, если хозяйство у него такое нищее, что не знаешь, за что и приняться!

Сам Петр домой воротится, оглядит хату — и руки у него опускаются. В углах сор, с потолка пыльная паутина свисает, печь не белена, перед ней — кучи золы, лавка и стол немые, стены обшарпаны.

— Эх, совсем меня нужда заела! — сокрушался Петр. — Ну, наведу я в хате порядок, разве это поможет? Как ни кинь, все клин. Лучше трубочку покурю!

И он закуривал трубку или заваливался спать на солому.

Человек Петр был неплохой. Но, задавленный нуждой, он никак не мог снова стать на ноги и в отчаянии махнул на все рукой. Клочок заброшенной земли вполне мог бы прокормить его

и детей. Но он зарос кустарником, был весь в ямках, пнях и камнях, и у Петра не хватало духа за него взяться.

— Эх, кабы мне вместо этого поля полоску хорошей земли под картошку! — рассуждал он. — А это что — одни корни да камни! Хоть руки в кровь обдери, все равно толку мало! Его бы осушить сперва, пни выкорчевать, камни вывезти, кустарник вырубить — тогда и пахать можно. А у меня что? Ни топора хорошего, ни лопаты, ни плуга, ни бороны... Да и сила нужна для такой работы, а откуда она возьмется с сухой картошки без соли! Эхе-хе, не под силу мне это! Не под силу!

И он запрягал свою клячу и ехал в город, чтобы заработать хоть несколько грошей.

Жалкий это был заработок! Купит себе кусок хлеба да мерку овса для лошади, подать у заставы заплатит — и нет ничего. А уж если в корчму заглянет, и вовсе с пустым мешком домой воротится. Так оно и шло. Редко когда привозил он что-нибудь детям из города.

Лошадь была у Петра единственным подспорьем в хозяйстве. И король Светлячок приказал гномам обтирать ее росой и до блеска чистить по ночам скребницей, копыта ей смазывать комариным салом, гриву расчесывать и заплетать, в ясли подкладывать сочную траву и на дорогу клевера класть в телегу, поить ключевой водой, в конюшне подстилать мох и сухую хвою, отгонять мух и слепней и учить быстро бегать.

Те, кто раньше видели его лошадь, глазам своим не верили, до того она изменилась.

— Небось немалые деньги приплатил, чтобы старую лошадь на эту выменять? — спрашивали у него односельчане.

А Петр только ухмыляется. Он еще от стариков слышал: где гномы поселятся, там лошадь гладкая, как галушка, вода с нее скатывается, не замочив шерсти.

И телега тоже была теперь в порядке. Наступит ночь — тишина, темень, а во дворе у Петра светло и шумно. Василек колеса моет, Соломенное Чучелко кузов чинит, Колобок оси смазывает, Сморчок огонь развел и на самодельной наковальне чеку кует. Кипит работа!

Всю ночь напролет трудится королевская дружина, а рано утром сам король Светлячок отправляется в лес — за Петровыми сыновьями присмотреть, когда они за хворостом пойдут.

Стоит лес дремучий, думу думает, а налетит ветер с гор — качаются черные сосны, зашепчут какие-то тайные грозные слова.

И вдруг в прохладный сумрак леса будто два солнечных лучика заглянут: это Куба и Войтек бегут по тропинке — русые волосы по ветру развеваются, холщовые рубашки тесьмой подпояса-

ны, ноги босые. В лесу звенел смех и тоненькие детские голоса, и лес притихал и слушал. Верхушки высоченных сосен раздвигались над льяными головками, дубы протягивали к ним свои могучие ветви, а белые березы тихо шептали: «Дети! Дети!» — и шепот их проникал в дремучую чащу.

Но даже от этого шепота становилось жутко. И в мрачном сумраке леса Куба и Войтек замолкали, как птички в темной комнате. Но что за чудо! Раньше, бывало, они ходят, ходят, пока не берут по вязанке, а теперь, куда ни глянь, всюду сучья валяются — не очень большие, но и не маленькие, в самый раз, будто их ветер нарочно для них наломал. А какие смолистые! Смола блестит, как янтарь! То-то весело затрещат они в печке! Радуются ребята, раскладывают на тропинке веревку, вяжут сушняк. Быстро спорится у них дело.

А тут новое чудо! На тропинке в сухих листьях мелькнул прошлогодний орех. То ли ветер сорвал его с орешника, то ли белка уронила, перескакивая с дерева на дерево? Раскололи мальчики орех на камне и поделили пополам белое, сладкое ядрышко. А рядом другой, третий — целая пригоршня орехов рассыпана, и все как на подбор! Радуются ребяташки! Куба отбежал в сторону, зарылся в траву, как зайчонок, и не видно его, только тоненький голосок звенит:

— Ай, люли! Ай, люли! — И вдруг как закричит: — Ой! Ой!

Подскочил Войтек к брату, смотрит — у него губы дрожат, от испуга слова не может вымолвить.

— Ты чего? — спрашивает Войтек.

— Король! Король здесь был! В золотой короне! За кустиком стоял, весь в красном, как огонь!

— Где?

— Вот тут... тут... — показывает Куба пальцем. — И опять как закричит: — Смотри, ягоды!

И правда, кругом красно от ягод, будто их кто нарочно рассыпал.

— Чудеса! Никогда в этом лесу ягод не было, и вдруг — целая пропасть!

Позабыв про недавний испуг, мальчики набросились на ягоды. Таких крупных, красных, сладких ягод они еще никогда не ели.

Полакомившись, увязали хворост: пора и домой возвращаться. Только раньше они, бывало, хнычут, кричат, охают: нелегко ведь такую тяжесть на спину взвалить и дотащить до дому. А теперь они и не чувствуют ноши, словно она вдвое легче стала.

— Наверное, мало мы сегодня набрали, уж больно легко нести, — заметил Войтек.

— А может, у нас сил прибавилось от ягод и орехов? — сказал Куба и, помолчав, добавил: — Войтек!

— Чего?

— Не говори, что я короля видел, а то отец опять за ремень схватится...

— Не скажу!

И они весело возвращались домой.

Деревенские бабы, встречая их на дороге, останавливались и смотрели вслед.

— Петровы, что ли, ребятишки? И не узнать! Подросли, побелели. Будто и не они!

Покачают головой и пойдут дальше. И никому невдомек, что это король гномов о ребятишках заботится в благодарность за гостеприимство.

Но старому королю этого казалось мало: очень он был добрый! И вот стал он думать, как бы приохотить Петра к работе на заброшенном поле да тут-то ему и помочь.

Однажды лунным вечером возвращался Петр домой. Взглянул нечаянно на свое поле, а оно серебрится под луной, будто спелая рожь, когда ветерок ее чуть колыхнет... Пораженный этим сказочным зрелищем, Петр бросил вожжи на спину лошади и, не веря своим глазам, побежал на поле. Сердце у него колотилось и сладко замирало, будто он и вправду посеял рожь и вот дождался раннего урожая. Прибежал, смотрит, а это метлица серебрится, залитая лунным сиянием...

Опечалился мужик, голову повесил, постоял и, тяжело вздохнув, побрел назад к лошади.

Но заброшенное поле, серебящееся, как спелая рожь, все стояло у него перед глазами. Он и во сне его видел.

Вскоре после того пошел Петр как-то утром в лес — осинку срубить на оглоблю. Вдруг засверкало что-то вдали. Смотрит, а это поле червонным золотом горит, будто спелая пшеница стоит, тяжелые колосья клонит, сама под косу просится!

Остановился крестьянин как вкопанный, а у самого мурашки по спине. Да ведь это пшеница!

Подбежал поближе — нет, это утреннее солнышко позолотило поле.

Задумался Петр, постоял, сжал кулаки так, что пальцы хрустнули, и, вздохнув, поплелся домой.

С тех пор золотое пшеничное поле не только снилось ему по ночам, но и днем из головы не выходило. Куда бы он ни шел, где бы ни стоял, ни сидел, всюду одно ему мерещилось.

«А что? — рассуждал он сам с собой. — Почем знать, может, и вправду на нем пшеница бы уродилась. Земля там должна быть хорошая! Отдохнула за сотни лет. С прадедовских времен никто не пахал, не сеял. Почем знать?..»

И Петр целыми часами бродил в раздумье вокруг поля, прикидывая, что надо сделать, чтобы распахать эту залежь.

— Трудно! Трудно! — повторял он вполголоса, глядя на могучие пни с узловатыми корневищами, на кустарник, на огромные валуны, глубоко ушедшие в землю от собственной тяжести. — Трудно! Трудно! — вздыхал он и шел прочь.

Но только отойдет — опять его что-то тянет в поле; вернется Петр, поглядит на кустарник и вздохнет тяжело:

— Трудно! Не осилить мне!

Так прошло несколько недель. Бедняга даже похудел, почернел весь от мыслей об этом клочке земли, который и манил его и отталкивал.

А иногда рассердится и дня три-четыре нарочно к полю близко не подходит. Но тогда на душе беспокойно, будто лошадь не накормил.

Ничто не помогало: серебристая рожь, золотая пшеница так и стоят перед глазами. Даже шелест колосьев чудится.

— Тьфу! — отплеывался Петр. — Околдовали меня, что ли?

И старался прогнать это наваждение работой.

В ту пору на другом конце леса, на берегу реки, как раз построили лесопильню. И Петр подрядился возить из лесу деревья — их распиливали здесь на широкие, длинные доски и брусья. Лесу требовалось много, и благодаря своей выносливой лошаденке он неплохо зарабатывал. Даже денег немного отложил в кубышку, спрятанную в соломе под стрехой.

Но деньги эти его не радовали.

Кто заработал эти деньги? Он да лошадь.

Ну, а если их болезнь какая свалит, тогда что? Человеческий век недолог, а лошадь еще меньше человека живет. Что ждет тогда малолетних ребятишек? Беспросветная нужда. А имей он клочок пахотной земли, можно и умереть спокойно, был бы у ребят кусок хлеба.

И каждый вечер, возвращаясь домой, Петр шел поглядеть на поле, словно его влекла какая-то неведомая сила. А старый король потирал руки, радуясь, что серебристое лунное сияние и золотой солнечный свет помогли ему разбудить у Петра любовь к этому клочку земли.



днажды завернул в Соловьиную Долину известный музыкант, маэстро Сарабанда, виртуоз из виртуозов. Во всей округе никто не мог с ним сравниться. Ни Шулим, игравший по воскресеньям в корчме на контрабасе, ни Франек, что ходил со скрипкой по свадьбам.

Пожалуй, только у пастушонка Ясека, который целыми днями наигрывал на своей ивовой свирели, получалось похоже, да и то не совсем.

Неважно, что маэстро Сарабанда ходил в простом сером сюртуке и выглядел как обыкновенный кузнецик.

Умный человек не судит по платью, он смотрит глубже и видит суть. А суть была в том, что маэстро играл великолепно — не просто громко, а проникновенно. Музыка его будила эхо не только в поле, но и в душе.

Ведь каждая мелодия находит в душе свой отклик.

Когда Шулим в корчме играл на контрабасе, его басовитые струны, казалось, гудели на версту:

Пей, мужик,
 Пей, мужик,
 Пей, мужик,
 Как не пить:
 Смерть идет
 Могилу рыть,
 Смерть идет
 В твоё жильё.
 Пей! Что вышил —
 То твоё.

А когда Франек шел по деревенской улице на свадьбу, его скрипица и вторивший ей бубен заливались смехом и явственно выговаривали:

Чтоб плясать нам веселее,
 Серебра не пожалее,
 Мне в монетах мало толку —
 Пела б скрипка без умолку!
 Гей-га!
 Эх, крестьянская работа,
 И придумал тебя кто-то!
 Знать, придумал дедка старый —
 Не нашел на танец пары!
 Гей-га!

При звуках скрипки все — и стар и млад — бросали работу и бежали послушать да поглазеть хоть издали на свадьбу, коли уж

сами не могли пуститься в пляс. Вся работа останавливалась и ждалась работников день, два, три, а время бежало да бежало, унося из деревни хлеб.

А заиграет пастушонок Ясек на свирели — и станет на душе тоскливо, словно плач послышится и горькие жалобы:

Ой, нужда, в дому нужда,
Хлеб не вырос — вот беда!
Вольный ветер в поле веял —
Лебеду в нем только сеял!
Ой, беда, моя беда!
Вместо хлеба лебеда.

Жалуются свирель, и у людей руки опускаются: плуг кажется вдвое тяжелее, земля — неподатливей и тверже, коса — тупее.

Другое дело, когда играл Сарабанда. Он всегда сидел близ самой земли и хорошо знал ее силу, доброту и щедрость. Только про нее и слагал он песни. Утром и вечером — каждый день и час пел он про поля, луга, леса и ручьи, и песни его лились прямо в душу.

Сидел однажды бедняга Петр на пороге своей лачужки; задумался, затосковал, и вдруг охватила его нежность к убогой мазанке, доставшейся ему от дедов и прадедов.

Заходило солнце.

Гномики вылезли из-под корней полюбоваться золотым диском, вечерней зарей, прозрачными лиловыми далями, а Сарабанда, присев на пригорок, запел и заиграл, глядя на закат.

Слушает Петр — звенит что-то в воздухе, как серебряные гусли, и в этом звоне слышатся тихие слова, будто само сердце, сама душа шепчет.

Удивился он, слушает, а песня, поначалу тихая, ширится, растет, льется все свободней; вот она, как орган, загремела в полях, в лесах, поплыла над лугами, реками, ручьями. Зашелестели дикие груши у дорог, зашумели дубы в рощах, зашептались лесные травы; зазвенела вся необъятная вечерняя тишина. И могучая песнь взмыла к небу:

Ой, земля-сирота, ой, земля ты,
Серебра в тебе много и злата,
Добрый хлебом на всех ты богата,
Только надо любить тебя свято.

Ой, земля ты, земелька родная,
Всем дары раздаешь, не считая,
Всех поишь ты великою силой,
Подымаешь цветы над могилой.

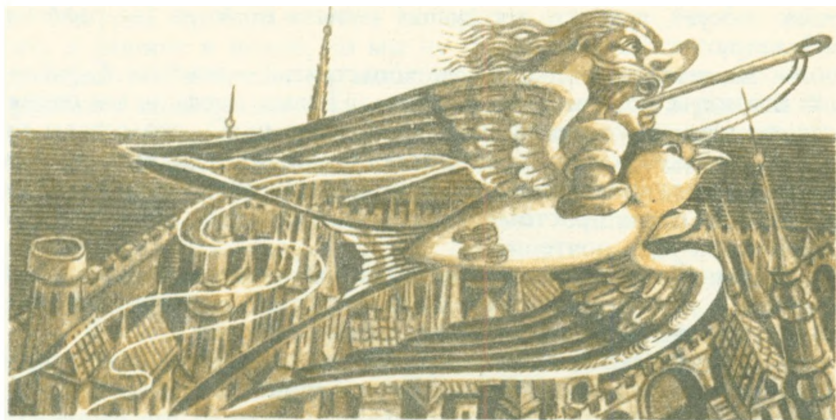
Не была еще плугом ты взрыта,
Не была еще потом полита,
Не слышала ты доброго слова,
Не видала зерна золотого!

Слушал, слушал Петр и вдруг ощутил в себе силу небывалую. Словно у него не две руки, а сто выросло и все хотят пахать, корчевать, работать без устали. А сердце переполнилось великой любовью к этой бедной, брошенной земле.

Встал Петр, посмотрел вокруг, протянул руки, сжал кулаки и прошептал:

— Гей ты, земля! Гей, работа! Давай-ка померимся силами. Посмотрим, кто кого!..





Глава седьмая

Василек и его ученик

I



спехи маэстро Сарабанды не давали Вродебарину покоя. Зеленый от рождения, он теперь еще больше позеленел от злости.

— Как! — возмутился он. — Какой-то проходивец, бродячий музыкант будет срывать здесь аплодисменты, отнимая у меня заслуженную славу?! С каких это пор первому встречному разрешается портить своим стрекотом вкус публики и отбивать у нее охоту к серьезной музыке? Нет, это просто возмутительно! Будь другом, — неожиданно обратился он к Васильку, свидетелю его благородного негодования, — выручи: достань, ради бога, ноты, по которым играет Сарабанда, и ты увидишь, что я превзойду его! Я разучу ту же самую песню, и весь мир убедится, какая разница между этим жалким шарлатаном и мной, Вродебаринном! Помоги, дружище, сделай милость!

Услужливый Василек кинулся вдогонку за кузничиком, уносившим свою волшебную скрипку, и, ухватив его за полу серого сюртука, стал выпрашивать ноты чудесной песни, отзвуки которой еще дрожали в росистой траве и цветах.

— У нас тут есть одна очень способная лягушка, — сказал Василек. — и мы хотели бы сделать из нее придворного музыканта его величества. Король наш уже в преклонных летах и последнее

время тоскует, грустит, а хорошая музыка помогла бы рассеять его хандру.

— Конечно, с большим удовольствием! — ответил Сарабанда. — Вот ноты, возьмите, пожалуйста... Только здесь не вся песня. То, чего здесь не хватает, надо спеть самому. О, это совсем не трудно! Только взглянуть на угасающий закат, вдохнуть аромат полей и лугов, прислушаться к величественной музыке затихших полей... Это очень просто! Вот ноты, пожалуйста!.. Не стоит благодарности... Мое почтение!

И знаменитый музыкант удалился большими шагами, оставив Васильку в недоумении: такая знаменитость — и такой простой, робкий, неловкий, даже говорить стесняется!

«Ну, — подумал Василек, — прав Вродебарин! Если такой серячок сумел прославиться, то наш Вродебарин с его ростом, фигурой, осанкой далеко пойдет!»

И поспешил с нотами в Соловьиную Долину, где поджидал его Вродебарин. Май был уже на исходе и солнышко припекало, когда наш зеленый музыкант начал свои репетиции. Он выбрал местечко в тени у ручья, под шляпкой росшей там поганки, и, сидя под ней, как под зонтиком, каждый день упражнялся в пении. Но Вродебарин то и дело сбивался, и изнывавшему от жары, потному Васильку приходилось тростинкой отбивать ему такт.

Какие вопли, какое верещанье раздавалось на этих репетициях, как немилосердно фальшивил и врал Вродебарин, описать невозможно.

Лягушка квакала, надрывая глотку, Василек изо всей силы колотил своей палочкой — можно было подумать, что на берегу ручья бабы бьют белье вальками.

Мухи, жуки, комары, даже воробьи с испуганным жужжанием, писком, чириканьем улетали подальше от злополучной поганки, под которой пел Вродебарин.

Но не все могли убежать. В ручье возле самого берега жили кувшинки, никогда не покидавшие своих прохладных голубых покоев.

Не зная, как избавиться от адского шума, они высовывали из воды свои белые венчики и умоляли музыкантов хоть немного помолчать.

— Простите, пожалуйста, господа, — вкрадчиво и любезно говорили они. — Мы не хотим вас обидеть, но, с тех пор как вы изволите заниматься музыкой, мы живем в вечной тревоге, в вечном беспокойстве, как на мельнице. Нельзя ни полюбоваться утренней зарей, ни послушать, как ландыши звенят под вечер в соседнем лесу. У нас все пошло кувырком... Вы, конечно, знаете, господа, что мы ткем серебряные покрывала для наших младших сестер, запертых в зеленых бутонах. И у нас даже нити рвутся на пядьцах от несносного шума, который вы поднимаете у наших во-

рот. Мы уже пробовали уйти поглубже под воду, чтобы отдохнуть в тишине и покое, но мы не можем жить без солнца. Не прогневайтесь, господа, на нашу просьбу. Мы отдаем должное огромному таланту господина в зеленом костюме и огромной силе господина в васильковом, но у нас просто сил нет терпеть, наши нервы не выдерживают!

Они разом присели, точно их за ниточку дернули, и каждая спрятала лицо под большим овальным листом, словно под вуалью.

Но тростник и сабельник были не так любезны. Они сразу застучали палками, забряцали саблями.

— Кто это там верещит, словно с него живьем шкуру сдирают? — закричали они. — А ну замолчи сейчас же, крикун! Нас небось целое войско стоит, а такого адского шума мы не поднимаем! Огрейте-ка его палкой! Полосните саблей! Эй, трубачи, трубите в золотые трубы! Пусть узнает этот горлопан, что такое настоящая музыка! Бейте в литавры!.. Играйте в зурны!..

И камыш занелестел с громким, пронзительным свистом, тростник зашумел, сабельник забряцал листьями, а налетевший ветер заиграл на золотых трубах странную мелодию и грозно запел:

Ш-ш... Тайком, да молчком,
Да тишком... ш-ш-ш...
На границе с ручьем...
Кто идет? Молчишь... ш-ш-ш?
На границе с ручьем
День и ночь... ш-ш-ш...
С острой саблей, с мечом...
Стой! Пароль? Молчишь... ш-ш-ш?
С острой саблей, с мечом...
Ш ш-ш... День и ночь...
Все в засаде мы ждем —
Стой! Пароль? Прочь!..

Эта странная, дикая музыка, сначала еле слышная, становилась все грозней и громче.

Вот она, как гром, потрясла камыш и опять замерла, стихла, словно ее и не бывало.

Но Вродебарин, ослепленный гордостью и завистью, не обращал внимания ни на воинственные угрозы тростника и сабельника, ни на почтительные просьбы кувшинок.

Наоборот, чем громче становились просьбы и угрозы, тем яростней он квакал, стараясь их заглушить и раздуваясь от натуги, как пузырь.

— Батюшки! — испугался Василек. — Ты потише немного, а то еще лопнешь!

Но только он это сказал — пок! — кожа, натянутая, как барабан, лопнула, и Вродебарин без звука повалился на землю.



олдень был знойный, жаркий. Косари докашивали луг. Равномерно двигался их длинный ряд, равномерно ходили спины и руки в ярко белевших на солнце холщовых рубашках; равномерно врезались блестящие косы в траву, подсекая ее у самой земли. На меже под грушей в связанных попарно глиняных горшках желтела картошка и белела простокваша. Ребягишки, притащившие обед, играли в «гаданюшки», усевшись в кружок на пригорке. В своих синих юбчонках и красных рубашонках они казались издали венком из васильков и маков.

Вдруг видят — из лесу вперевалку идет маленький человечек. Вышел — и прямо к горшкам.

Это был Колобок, королевский паж: толстяк плохо переносил жару и вот, решив немного освежиться, взял ложку и миску и отправился на покос поесть холодной простокваши.

Испугались дети, смотрят, а он протянул золотую ложечку к крайнему горшку и накладывает себе простокваши в золотую мисочку.

Миска была уже почти полна, и он соскребал со стенок горшка сметану, как вдруг раздался горестный вопль множества тоненьких голосков:

— Наш музыкант умер!

Услышав этот вопль, Колобок уронил ложку и миску в траву и со всех ног бросился к лесу.

Тут-то и увидели ребятишки красный колпачок, развевавшийся у него за спиной.

— Гномик! Гномик! — крикнули они в один голос и, как стайка вспугнутых воробьев, понеслись в деревню.

А золотая мисочка и ложечка, которые Колобок бросил в траву, закатились под куст шиповника да так и остались там лежать.

Когда Колобок прибежал в Соловьиную Долину, там царил страшный переполох.

Все, кто только мог, кинулись спасать Вродебарина и приводить его в чувство.

Одни трясли его, другие растирали, третьи переворачивали с боку на бок, кто-то жег воронье перо у него под носом, а Петрушка как угорелый носился с ведром и плескал водой на Вродебарина, обливая заодно и лекарей.

Но все было напрасно: Вродебарин лежал бездыханный и недвижимый. Глаза у него потускнели, лапки повисли, мертвец мертвецом! Хоть в гроб клади.

В это время шла лесом древняя старушка и собирала травы. Высохшая, как щепка, с лицом темным, как древесный гриб, со-

гнувшись чуть ли не до земли от старости, шла она, постукивая посошком — помощником немощных ног.

Найдет травку и разговаривает с ней тихим, скрипучим голосом.

— Росянка, росянка! — говорила она. — Тысяча у тебя листочков, на каждом листочке — капелька росы, в каждую капельку солнышко погляделось, силу тебе дало, силу большую! Старого и малого пользуешь от глазной болезни — полезай в лукошко!

Старушка срывала пучок травы и шла дальше, бормоча себе что-то под нос.

Потом опять начинала вслух:

— Ах, зелье ты, зелье зеленое, молодило — озорной парнишка! С горки в долину, из долины на горку ходишь, по серым пескам бродишь, не разбираешь дорожки — золотые у тебя ножки. Рад тебе мужик, рад и король — как рукой снимаешь злую боль, полезай в лукошко!

Срывала и шла дальше — и опять останавливалась, шепча:

— Ой ты, богородицына травка, всем травкам травка! Гонишь тоску, кручину, распрямляешь скрюченную спину! Полезай в лукошко!

Молча нарвала пахучих листочков, потом подперлась рукой, распрямилась спину и, глядя в лес голубыми глазами, запела тихонько:

Сироты плачут — мать разбудили:
Травкой проглянула в ночь на могиле,
Травкой проглянула — что ее дети?..
Мачеха едет с венчанья в карете —
Щелкает кнутик, лошади скачут!..
Сироты плачут!..
Сироты плачут!..

Тихий, слабый голос отозвался в лесу и смолк.

Старушка снова сторбилась, вздохнула и поплелась дальше. Вдруг она остановилась, подняв палку:

— Ой ты свеча царская, девка красная! На солнышко глядишь, личико пригожее золотишь — сок в тебе золотой от кашля, хрипоты грудной! Полезай в лукошко!

Она отмахнулась от пчел, жужжавших над ней, сорвала верхушку стебля с мелкими цветочками и, шепча что-то, двинулась дальше. Но вот опять наклонилась:

— Ох, полынь-травка, больно ты горька, да сила твоя велика. Без горечи не проживешь свой век, пей да терпи, хворый человек! Ступай в лукошко!

Полынь и царские свечи вывели ее из лесу в овражек, на край луга, который докашивали косари.

Там возле дикой груши рос шиповник. Старушка направилась к нему, бормоча:

— Ой, шиповник, шиповник, положу тебя под порогом — не войти в дом тревогам! Ступай в лукошко!

Постояла минутку, поглядела и уже собралась идти дальше, да зацепила палкой торчащий из земли корешок. Глаза у нее загорелись, лицо просияло, она нагнулась и стала поспешно выкапывать корень, приговаривая шепотом:

— В котел черный кинь корень-покрывень с человеческим лицом да вари тайком, чтобы кость срослась целиком!

Тянет старушка корешок, а земля не пускает.

Вдруг послышался крик.

— Что такое? — шепчет старушка. — Никак адамова голова кричит, из земли вылезать не хочет?

Отпустила корешок, прислушалась: голоса словно бы человечьи... Заспешила старушка, ковыляет, на посошок опирается, запыхалась. А голоса все слышнее. Наконец вышла на берег ручья и видит: гномы толпой обступили лежащую без чувств лягушку. Руки заламывают, плачут, голосят:

— Музыкант! Наш музыкант умер!

Старушка не удивилась, не испугалась. Чего ж тут дивиться: она весь свой век небось с разными дивами да чудесами зналась. И с гномами тоже не один раз встречалась. Эка невидаль!..

Она заморгала голубыми глазками, подошла ближе и প্রশамкала:

— Что тут у вас приключилось?

А гномы в ответ:

— Ах, наш музыкант лопнул! Спасите, бабушка, нашего музыканта!

Покачала старушка головой, подняла одну лягушачью лапку, отпустила, подняла другую — мертвый. Даже ухо свое старое к грудке приложила, слушает.

Послушала, послушала — и улыбнулась... Жизнь еще теплилась в бедняге. Подняла голову старушка и говорит:

— За тремя горами, за тремя морями стоит избушка на курьих ножках — нет к ней дорожки; ну-ка, слетай одним духом, принеси иголку с золоченым ухом да шелку катушку — спасем квакушку!

Кинулся Петрушка со всех ног к Петровой хате и просит ласточку:

Ласточка-летунья,
Быстрая пичужка,
Посади на спину
Гномика Петрушку!..
Мчи на крыльях скорых
За моря, за горы.
Там стоит избушка,
Где живет старушка!

Должен я, Петрушка,
Слетать одним духом,
Принести иголку
С золоченым ухом,
Да еще и шелку
Целую катушку,
Чтоб спасти лягушку!

Защебетала ласточка, согласилась.

Вскочил на нее Петрушка — фьюить! Только его и видели!
Будто ветром сдуло.

А старушка наложила крест-накрест веток, развела костер, сварила зелье и намазала им лягушку. Помогают ей гномы кто как может: один хворост тащит, другой огонь мешком раздувает, третий горшочек с зельем держит. Сам король Светлячок Вродебарину голову поддерживает и всякий раз, как взглянет на него, жемчужные слезы роняет.

Не прошло и минуты — над долиной мелькнула тень: это быстроекрылая ласточка вернулась.

Соскочил с нее Петрушка проворно, поблагодарил и подал старушке иголку и катушку шелка. •

Старушка достала очки, на нос нацепила, продела шелковинку в иголку и принялась зашивать несчастную лягушку. Обступили ее гномы, шеи повытянули, на цыпочки встают, через головы заглядывают. А старушка сшила лопнувшую кожу, сунула под нос Вродебарину стебель дягиля и дунула три раза.

Лягушка как чихнет! Будто из пушки выпалили!

Гномы с перепугу врассыпную бросились. А Вродебарин приоткрыл один глаз — опять закрыл, приоткрыл другой. Приподнялся, сел, глазами ноты ищет. Схватил, рот разинул — вот-вот запоеет. Но из раскрытого рта не вылетело ни звука. Разинул еще шире — ничего. Только тихий, чуть слышный писк.

О несчастный Вродебарин! Никогда тебе не сравняться с великим музыкантом Сарабандой!





Глава восьмая

У царицы Татр

I



ри дня и три ночи шла Марыся к царице Татр. В первый день шла она лугами, полями. Необозримое море трав, хлебов, благоухающих цветов расстиралось перед нею, радуя взор. Целый день вокруг шумели колосья, шелестели травы, шептали цветы: «Сиротка Марыся... Сиротка Марыся...»

И рожь расступалась перед ней, словно ветер раздвигал ее своими огромными крылами. Марыся входила в этот серебристый лес из колосьев, и юбочка ее мелькала в нем, как василек. Шла, протягивая руки, и шептала:

— Веди меня, полюшко, веди к царице Татр!

И поле вело.

Борозды, орошенные жемчужной росой, протягивались перед ней, затканые душистыми цветами межи звали вперед, мягкие, устланные незабудками тропки манили вдаль, жаворонок, трепеща серыми крылышками, пел: «Туда, сиротка Марыся!»

Дикие груши склонялись к маленькой путнице, приглашая посидеть в тени.

Межевые холмики звали отдохнуть под цветущим терновником; черный крест на перекрестке под тремя березами простирал

к ней свои деревянные рамена. В полях все звенело и пело — птицы, мушки, пчелы, кузнечики:

О, счастливого пути,
По заре тебе идти!

Широкие, бескрайние просторы кругом, а среди них там и сям прикорнули тихие деревушки, чернея избами, белея низенькими мазанками.

Куда ни кинешь взгляд — всюду на зеленых пастбищах стада, табуны лошадей; на пригорках, как снежные комья, белеют овцы.

Призывные звуки свирели будят эхо, далеко разносясь в чистом воздухе, а небо синее-синее...

За Марысей семенил Хвощ, и его красный колпачок кивал, как цветок мака среди зеленых лугов и полей.

Гном задирает нос, воображая, будто это он ведет девочку.
А на самом деле

Вел ее колосьев шепот,
Из-под ног бежали тропы,
Звали жаворонка трели,
Васильки ей вслед смотрели,
Вел ее межою длинной
Звон чуть слышный, комариный,
Вел по травам утром рано
Лог, окутанный туманом,
Вел вечерний дуг росистый,
Зорьки отсвет золотистый!

На другой день Марыся вступила в край прохладный и сумрачный, где царили зеленоватый полумрак и глубокая тишина, — в край лесов.

Развесистые, узловатые дубы ее обступили, широко растопырив ветви, шелестя темно-зеленой листвой, и черные, неподвижные сосны с каплями янтарной смолы на стволах. Среди сосен белели березы, тренеца мелкими листочками; стояли задумчивые грабы, на которых посвистывали дрозды, а по сырым низинкам кустилась томимая жаждой калина.

Шла Марыся по лесу, как по огромному храму, своды которого опирались на тысячи колонн, а пол устилал мшистый ковер, шла, а сверху, сквозь листву, солнце сыпало на нее пригоршни золотых бликов.

Глубокая тишина пугала ее, и она шептала:

— Веди меня, лес, веди к царице Татр!

И зашелестели в ответ развесистые дубы, черные сосны, березы и кусты калины; глухой шум прокатился по верхушкам, а понизу тихо зашептали веточки, одетые молодой листвой.

И в этом шуме и шепоте отчетливо слышалось: «Иди вперед, сиротка Марыся!»

Расступилась лесная чаща перед Марысей, и солнечные блики упали на мшистую тропинку, прямо под босые ножки, будто кто золотые звезды рассыпал во мраке леса, указывая путь.

Пошла Марыся дальше и тихонько запела. Простая, немудреная песенка вылилась у нее прямо из души, а песенке вторил шелест берез и шум вековых дубов:

Ой, лес, лес ты темный, вершины высоко!..

Ой, слышно мой голос далеко-далеко!..

Ой, шепчут деревья, вершины кивают!

Ой, тишь запекает, ой, тишь запекает!..

Девочка пела, а издали ей отвечали то удары топора, то кукование кукушки, то цокот белки, то стук дятла. И если, забывшись, она сбивалась с правильного пути, терновый куст удерживал ее за юбку, сова ухала из дупла, зеленая ящерка перебегала дорогу, орешник склонял гибкие ветви над ее русой головкой и шептал: «Туда... туда... вперед!»

Впереди важно шагал Хвощ, и его красный колпачок в лесу казался шляпкой подосиновика. Он шел, задирая нос и воображая, будто это он ведет Марысю. А на самом деле

Вел ее в зеленых чащах
Хоровод берез шумящих,
Вел и стлался под ногами
Мох пушистыми коврами.
Вел ее огонь калинки,
Убегали в глушь тропинки,
Вел смолистый бор сосновый,
Дятла стук, кукушки зовы,
Шум дубов глухой, унылый —
Сто ворот ее впустило!

На третий день пришла Марыся в страну гор и рек, повитую туманами, синевшую далекими вершинами, серебрившуюся бурными водопадами. Дикий край, не похожий на то, что осталось позади!

Куда ни кинешь взгляд — отвесные скалы вздымаются к небу, громоздясь друг на друга, челом разрывая тучи. Стремительные потоки, бурля и пенясь, бегут по ущельям и с шумом низвергаются вниз, а в них отражаются то солнце и небо, то тучи, гонимые ветром, затмевающие лазурь и гасящие золотое сияние. Дикий и грозный край! Жутко пробираться там, меж скал, где нет других дорог, кроме потоков, рокочущих по камням, нет других звуков, кроме грохота лавин, летящих в пропасть, нет песен, кроме

клекота орлов, парящих в хмурой вышине. Насколько хватает глаз — одни скалы и вода.

Идет Марыся, личико у нее побледнело, глаза затуманились, сердце замерло от страха. Идет, протянула руки и шепчет:

— Ведите меня, горы, ведите к царице Татр!

И вдруг расступились высокие Татры и открылась тихая, светлая долина, по которой голубыми и серебряными нитями вились журчащие ручейки и мягкие стежки; и ручьи, и паривший вверх орел, казалось, говорили: «Смелей, смелей, сиротка Марыся!»

И Марыся шла дальше, прислушиваясь к грохоту лавин и водопадов, к журчанию ручейков и шуму орлиных крыльев. Шла и смотрела на уходящие ввысь вершины, на свет и тени, дивясь могучим горным громадам. А они были так огромны и могучи, что девочка совсем притихла.

Сзади ковылял Хвоц, и его красный колпачок мелькал среди скал. Он шел, задирая нос — все воображал, что это он ведет Марысю. А на самом деле

Вел ее хребет горбатый
К дальним облачным палатам,
Вел ее ручей кипучий
К снежным кручам, к белым тучам,
Вел на склонах и в долинах
Шум могучих крыл орлиных,
Ветер вел в сыром ущелье
В вихре буйного веселья,
Вел к чертогам в край скалистый
Зорьки отсвет золотистый!

II



ворец царицы Татр стоял на высокой горе — такой высокой, что облака, как стадо серых овец, лежали у ее подножия, а вершина купалась в ясной лазури, сияя на солнце.

Еловый лес двумя уступами подходил к замку; две скалы, два каменных великана, на часах стояли у ворот; две лестницы вели вверх через сосновый бор, устилавший их мшистым ковром, в покои царицы; два серебряных потока день и ночь били перед ними из малахитовых кувшинов, украшенных дивной резьбой; два вихря, как два волкодава, выли у порога; два орла летали над башенками замка; две синих звезды, утренняя и вечерняя, горели в его окошечках.

Ужас и восторг охватили девочку, когда она очутилась перед дворцом.

Содрогнувшись, она подняла голову и прошептала:

— Боже, куда я попала?

И вдруг раздался странный грохот, будто сто громов ударило, и грянула грозная песнь — ее зашел и заиграл на черных арфах словый лес:

«...Грозна и могущественна царица Татр! Высоко над землей вознеслась она главой! Льды венчают ее чело, на грудь фатой ниспадают снега, а тело окутывают туманы. Глаза у нее сверкают страшнее молний, голос подобен раскатам грома и реву горных потоков. Ноги ее попирают цветы и травы, а гнев рушит скалы и валит деревья. На ее ложе из черных туч никому не уснуть. Ее каменное сердце не знает жалости. Грозна и могущественна царица Татр!»

Марыся дрожала всем телом, слушая этот хор, а когда он умолк, еще долго рокотало эхо, скатываясь все ниже и ниже, как снежная лавина, грозящая обрушиться на мирные долины. Но едва стихло эхо, зазвенели серебряные лютни и другой хор зашел:

«Добра и милостива царица Татр! Она тклет тонкие туманы, одевая ими голые скалы, и сосновыми венками украшает их чело. Она превращает мертвые снега в веселые ручьи, поит ключевой водой поля и низины, чтобы уродился хлеб. Она дает приют в своем замке седым орлам, а их неоперившихся птенцов баюкает в высоких гнездах. Быстроногая лань спасается у нее во дворце от пули охотника... Она ласково смотрит в долины, свежим дуновением защищая цветы от зноя... Из бархатистых мхов тклет она ковры сказочной красоты, устилая ими коварные пропасти. Она шьет бедняков, у которых нет ни земли, ни хлеба, а ребятишек из горных селений учит смотреть в лазурные выси, где стоит ее дом... Добра и милостива царица Татр!»

Хор умолк, и эхо тихо светело в долину, подобно лепете вод и шепоту лесов. На душе у Марыся стало легче, и слезы радости выступили на глазах. Если царица такая добрая, она поможет ее горю...

Она подошла поближе и слышит — один из орлов проговорил человеческим голосом:

— Иди смело, сиротка Марыся!

Подняла Марыся глаза и спрашивает:

— Как же я пойду по такой отвесной, каменистой тропе?

А орел в ответ:

— Не бойся, я перо тебе кину из моего крыла, с ним легче будет.

Прошумело перо и упало к ногам Марыси. Подняла его девочка, прижала к груди — идет легко, быстро, камней под ногами не чувствует, будто на крыльях летит.

Поднялась по крутой тропинке и остановилась у ворот замка.

— Как же я войду — ведь там снег и лед? — говорит она.

Посмотрела вверх, а солнечный луч говорит человеческим голосом:

— Не бойся, я растоплю снега и льды!

Пригрело ясное солнышко и проложило золотую дорожку.

Идет Марыся и холода не чувствует, будто не по снегу, а по белому цветущему ступает, который в мае с яблонь осыпается. Так дошла она до покоев царицы.

— Как же мне через поток перейти — я ноги промочу! — говорит она.

Подняла глаза, слышит — туман шепчет человеческим голосом:

— Не бойся, иди смело, я серебряный мост через поток перекину.

Опустился над потоком густой туман, и Марыся прошла по нему, как по серебряной кладке.

И вот она перед самыми дверями в царицын чертог.

Оттуда бил такой яркий свет, что девочка зажмурилась и хотела уже бежать в страхе, но тут подоспел запыхавшийся Хвощ и, распахнув дверь, ввел в чертог оробевшую Марысю.

Девочка вскрикнула, ослепленная его сияющим убранством. Посредине, утоная в лазури и майской зелени, восседала на троне царица Татр. Марыся потушила глаза, не смея взглянуть на ее светлый лик, и застыла на пороге в своей убогой одежонке, боясь шевельнуться, слово вымолвить.

Царица Татр подняла белоснежную руку и спросила:

— Кто ты, девочка?

Марыся открыла рот, но у нее перехватило горло от страха.

Тут Хвощ, положив трубку на плечо, поклонился вежливо и сказал:

— Это пастушка из Голодаевки, сиротка Марыся!

И опять отвесил поклон, шаркнув ножкой.

Царица ласково улыбнулась гному и, обратив к Марысе свое прекрасное лицо, спросила:

— Чего ты хочешь, девочка?

Тут Марыся не выдержала и, сложив худые ручонки, воскликнула:

— Хочу, чтобы гусаньки мои ожили, которых лисица задушила. Чтобы гусак опять гоготал на зорьке и гусыни ему отвечали... Чтобы они опять травку щипали и паслись на лужайке!..

Она закрыла лицо руками, и сквозь маленькие пальцы посыпались слезинки.

В чертоге наступила тишина, нарушаемая только жалобным плачем Марыси.

Царица милостиво кивнула и сказала тихо, неторопливо:

— Много людей приходило ко мне с разными просьбами. Просили золота, серебра, лучшей доли. Но никто еще, как эта девочка, не хотел уйти отсюда тем же, кем был. Твоя просьба будет исполнена.

Царица сошла с трона и подвела Марысю к окну.

Глянула Марыся и всплеснула руками...

Может, это сон?

Перед замком как на ладони лежит Голодаевка. По дороге спешат пастушата, хлопают длинными кнутами, гонят гусей. А на лесной опушке семь гусей щиплют траву, гусак гогочет, серая гусыня отзывается. И верный Рыжик тут как тут — сидит, смотрит в лес и тихо скулит: ждет не дождется хозяйку!

— Господи! — воскликнула Марыся, не находя слов от переполнившего ее восторга. — Живы мои гусаньки! — И заплакала от счастья.

III



арица дотронулась до ее плеча и тихим, еле слышным голосом позвала:

— Марыся!

Очнулась Марыся, смотрит — что такое?

Она лежит на лавке, на оханке свежего сена, открытого деружкой. Рядом сосновый стол, на нем несколько горшков перевернуты вверх дном; дальше — большая печь с просторным запечком; перед ней спит серый кот, свернувшись в клубок, и лежит вязанка хвороста.

В углу ведро с водой и жестяная кружка. В разбитое окно сирень протягивает свои темно-зеленые ветки. А в ногах у нее сидят на скамеечке два русских мальчугана в распахнутых холщовых рубашонках, и за ворот им, пробившись сквозь куст сирени, забираются лучи заходящего солнца.

Марысе жарко, что-то стискивает ей голову. Дотронулась рукой — голова обвязана тряпкой. Увидев, что она пошевелилась, мальчишки вскочили и склонились над ней.

— Ну, как ты? — спрашивает один.

— Пить хочешь? — спрашивает другой.

Марыся смотрит и не узнает.

— А кто вы такие?

— Мы Петровы сыновья. Его Кубой звать, меня — Войтеком,— ответил старший.

— А чья это хата?

— Как чья? Нашего отца!

— А как я сюда попала?

— Отец принес.

— Откуда?

— Да из лесу. Он из города воротился и пошел палку срезать для кнутовища — старое у него сломалось. А в лесу пес какой-то рыжий скулит, за сермягу его теребит, в кусты тянет.

— Рыжик! — закричала Марьяся. — Что с ним?

— Ничего, что ему сделается! — засмеялся Куба. — А вот тебя, беднягу, отец чуть живую притащил.

— А моя хозяйка?

— А на что она тебе сделалась! Оставайся лучше у нас. Мы отца просили. Он говорит, у нас у самих хлеба мало. Но мы с тобой поделимся. А сейчас и лес прокормит, голодать не будешь.

— Какое там голодать! — отозвался Войтек. — В лесу земляники, черники, грибов! Орехи прошлогодние попадают.

— Мы так к отцу пристали, что он даже за ремень схватился,— со смехом добавил Куба.

— Бил? — испуганно спросила Марьяся.

— Нет, бить не бил — так, пострадал маленько. Да мы и ремня не испугались, все равно упростили.

— Значит, он меня оставляет?

— Не совсем еще. Он сказал, расспросить сперва надо в деревне, чья это девчонка.

— И спрашивал?

— Спрашивал. У твоей хозяйки был.

— Ну и что?

— Сперва она хныкала, что тебя волки съели, а когда узнала, что ты у нас лежишь больная, опять расхныкалась: «На что мне больная гусятница? Я уже другую девчонку наняла».

— Значит, гуси целы! — обрадовалась Марьяся и даже поднялась на лавке.

— А как же! Четыре белых, три серых!

— Гуси ничего, хорошие,— с важностью добавил Куба.

Марьяся закрыла глаза и вздохнула с облегчением, словно у нее камень с плеч свалился.

Мальчики еще болтали о чем-то, но Марьяся уже не слышала — ее сморил крепкий сон.

Когда она снова проснулась, уже смеркалось.

Солнце село. В хате никого не было. В приоткрытую дверь, мигая, смотрели золотые звезды. Странствуя по синему небу, они по пути заглянули к Марысе — узнать, здорова ли она.

Вдруг дверь распахнулась, кто-то пулей влетел в хату и, опрокинув ведро, кинулся к Марысе.

— Рыжик! Рыжик! — слабым голосом крикнула Марыся, обнимая собаку. — Ты не забыл меня?

И заплакала от радости. А Рыжик, взвизгивая от восторга, махал хвостом и лизал ее смуглые руки.

Да, Марыся! Жизнь иной раз золотым сном может обернуться.

* * *

Когда новая пастушка погнала гусей на лужок, жители Голодаевки так и обомлели от удивления. Смотрят и глазам не верят, головой качают, разные догадки строят.

— Те же гуси или другие? Как, по-твоему, кума?

— Да уж и не знаю, что сказать! Не разберу никак. Вроде те, а может, и не те! Серая-то гусыня вроде побольше да пожирней стала!

— Что вы, побольше! А мне сдается — поменьше!

— Чудеса, да и только! Болтали люди, будто лиса их задушила, а они живехоньки!

— Да, чего только не бывает на свете!..

И кумушки расходились, покачивая головой.

Но больше всех удивилась сама Сладкоесжка.

Тихонько, осторожно подкралась она к опушке, с левой стороны зашла, с правой — подглядывает за пастушкой и за гусями.

— Что такое? — шепчет. — Что это значит? Разве я не перегрызла всем им горло? — И при одном воспоминании об этом злодейка облизнулась. — Откуда же они опять взялись живые?

Встревоженная дурным предчувствием, она крадучись побежала на полянку, где спрятала гусей. Смотрит: по траве белоснежный пух разбросан, а гусей нет.

— Обокрали!.. Ограбили!.. Разорили! — завопила мошенница, словно невинная жертва разбоя, и в ярости стала кататься по земле...

Вдруг в высокой траве она заметила какого-то рыжевато-бурого зверька: стоя на задних лапках и насторожив большие круглые уши, он живыми черными глазками наблюдал за катавшейся по земле лисой.

Сладкоесжка — а она была не только свирепа, но мстительна — в бешенстве вскочила, заскрежетала зубами и заорала:

— Чего ты вытаращился? Это что тебе, театр? Он, видите ли, даже на задние лапы встал, чтобы лучше видеть! Значит, знаешь, кто у меня гусей украл, раз так смотришь? погоди, ответишь мне за это! Шкурой своей поплатишься!.. В недобрый час ты мне на глаза попался!

И бедный хомяк, наверное, тут же распростился бы с жизнью, если бы при первых же словах лисы не плюхнулся в траву в страхе, что рассердил такого огромного зверя, и не улепетнул в свою норку.

Сладкоежка была сыта — только что голубя поймала и сожрала без остатка,— поэтому она не стала преследовать хомяка, а только погрозила ему вслед, в ту сторону, где колыхалась трава, и проворчала:

— погоди! Попадешься ты мне на голодный желудок!.. Я еще с тобой поквитаюсь, проныра!

И пошла в лес, задыхаясь от ярости.





Глава девятая

Ночь на Ивана Купалу

I



оседи не узнавали Петра. После той весенней ночи, когда вместе с благоуханием росистых трав и цветов до него донеслась песнь великого музыканта Сарабанды, он словно переродился.

Может быть, по волшебству?

Нет, просто эта чудесная музыка разбудила его спящий ум и душу. В нем впервые проснулась любовь к заброшенному бесплодному клочку земли, который столько лет напрасно согревало солнце и поливали обильные дожди.

Впервые ощутил он огромное желание работать и огромный прилив сил.

Руки, грудь, плечи налились силой, и он еле дождался утра, ворочаясь на соломе, будто это был муравейник или ложе Мадея¹.

«Сколько времени потеряно, сколько добра пропало даром, сколько сил ушло впустую — и у меня, и у земли!»

И как это не пришло ему в голову раньше — год или два назад!

¹ В польских сказках говорится про разбойника Мадея, для которого в наказание было приготовлено ложе, все в острых гвоздях и колочках.

А земля — добрая, терпеливая земля — все ждала его... Ждала, наряжаясь в нестрый цыганский убор из трав и полевых цветов, — ведь он не одевал ее своим трудом в золотые колосья...

Теперь он ее приоденет... Теперь он ее накормит... Теперь она ему мать родная, а он — ее сын!

Уже пели петухи, когда Петр, измученный своими думами, наконец забылся. И приснилось ему, будто ходит он по синему небу, жнет звезды лунным серпом и складывает в огромные стога...

Вот какой чудной приснился сон!

Едва забрезжил рассвет, Петр достал деньги из кубышки, спрятанной в соломе под стрехой, и отправился на другой конец деревни, к тележнику Войцеху, покупать соху и борону. На улице было еще тихо и пустынно. Но Войцех уже сидел верхом на табуретке и строгал рубанком дышло, пересвистываясь с ручным скворцом, который давно жил у него. Только Петр показался на дороге, а скворец уже закричал:

— Войцех! Войцех! Войцех!

Старик кивнул головой и сказал:

— Гость идет.

— Гость! Гость! Гость! — пронзительно закричал скворец.

И тут как раз подошел Петр.

— Здорово!

— Здорово! — отозвался Войцех.

— Здорово! — повторил скворец.

— Ишь ты, какая умная птица! — удивился Петр. — Небось органист говорить ее научил?

— Э, нет! Сам научил. Человек я старый, одинокий, родные все поумирали — поговорить не с кем. Так хоть с птицей, тварью бессловесной, перемолвиться! А ты зачем ко мне пожаловал?

— Соха мне нужна, да покренче!

— Ого! Кому ж ты пахать собрался?

— Никому. Себе самому да ребятишкам. Посею на том клочке, что пустошью зовется.

— Ну? — удивился Войцех. — Ту землю не то что сохой — пушкой не разобьешь. Закалянела она, залежалась... Трудная это работа.

— Трудная! Трудная! Трудная! — заверещал скворец и стал охать, кряхтеть, как смертельно усталый человек. Он и это умел.

У Петра засосало под ложечкой и руки совсем было опустились, но он встряхнулся и сказал:

— Это верно, земля у меня как камень, зато мужик я сильный и работы не боюсь! Вот и ладь соху по мне — покренче! — Рассмеялся и сжал кулаки, показывая свои жилистые руки.

— Коли так, будет тебе соха! — сказал Войцех.

— Будет! Будет! — закричал скворец и весело забил крыльями.

У Петра глаза загорелись, силы в нем так и заиграли. Расправил он плечи и заговорил горячо:

— Сделай мне, Войцех, такие рукояти, чтоб я налег и все камни, какие есть, выворотил! А сошник — чтобы как солнце горел да поглубже входил, борозду для зерна готовил. И отвал поллучше, чтобы пласти играючи отваливал да ровнехонько друг подле друга клал. И рассоху, и колёсца, и обжи — все побольше, покрепче да попрочнее! И дерево бери не из чащи, а с полянки, где жаворонок пел и свирель играла, где воздух вольный, как в поле... Вот какую мне соху сделай!

— Соху! Соху! — пронзительно закричала птица, заглушая Петра.

Войцех улыбнулся добродушно и кивнул седой головой.

— Будь по-твоему, — сказал он, когда умолк скворец. — Будь по-твоему! Я какую хочешь соху могу сделать — и для лентяя, и для труженика, и барскую, и мужицкую... И такую могу, что, как в масло, будет в землю входить, пускай там хоть камень на камне!

— В добрый час! — молвил Петр, развязывая тряпицу с деньгами. — Вот все, что у меня есть. Да заодно и борону сделай. — А как же! Будет борона зубастая, как волчья пасть. Расчесет землю, как баба кудель. Будь покоен!

— Ну, счастливо, — сказал Петр, у которого уже руки чесались — не терпелось поскорее схватить топор да пни корчевать. — Через неделю приду за сохой!

— Приходи! — сказал Войцех.

— Приходи! Приходи! — закричала птица вслед Петру, который так быстро зашагал домой, словно помолодел лет на десять.

II



ивились люди, проходя мимо пустоши: что за человек там от зари до зари пни корчует, терновник рубит, ветки да камни носит и на меже складывает, польнь, коровяк косит, сорняки выпальвает?

Остановятся и глядят на работника, а у того глаза сверкают и пот по лицу струится, будто он с медведем один на один схватился и не уступает.

— Разогнул бы спину, отдохнул маленько, — говорили мужики.

А Петр в ответ:

— Не работа спину гнет, а лень да нищета.

Идут мимо девушки, посмотрят и скажут жалостливо:

— С вас и так уже пот градом льет. Отдохните малость!
— Не польешь ее, землю, потом — и хлебушка не поешь! — отвечает Петр.

Идут бабы, удивляются, головами в красных платках качают:

— Господи! Да вы зря тут надорветесь и хлеба своего не отведаете!

А Петр в ответ:

— Не я, так другие отведают. Человек сегодня жив, завтра мертв, а земля навеки отстанется!

Но как бы Петр ни трудился, без гномов ему бы ни одного камня не сдвинуть, ни одного пня не выкорчевать. Правда, гномы прятались от него, и он, не видя их, сам себе удивлялся.

— Ого! И откуда во мне такая сила? — говорил он, выворачивая огромный пень, на целую сажень ушедший корнями в землю. — Тут на четырех мужиков работы хватило бы, а я один справляюсь.

Не знал он, что рядом целая толпа гномов суетится: пень изо всех сил тянут, лопатами подкапывают, корни подрубают — только щепки летят.

Петр один раз топором взмахнет, а они — десять, вот и спорится работа.

Наляжет Петр на камень — что такое? Камень здоровенный, а он его шутя катит.

Невдомек ему, что вместе с ним гномы камень подталкивают: он раз толкнет, а они десять!

Вот как они ему помогали.

И работа у Петра кипела.

Через неделю не узнать было пустоши. Навстречу утреннему солнцу выглянула освобожденная от камней и корневищ, от кустов и сорняков земля. Перед мазанкой чернели большие смолистые пни — печь зимой топить, на межах выселились кучи хвороста и терновых веток. Только кое-где с краю торчал куст шишовника, обозначая границу поля, а само поле лежало чистое, ровное — все кочки скрыты, все ямы засыпаны, — и над ним порхает жаворонок, заливаясь звонкой песней, будто серебряные гусельки зорю играют.

Пришел Петр с новой сохой на свою полоску и заплакал от радости. Сняв шапку, упал на колени и поцеловал отвоеванную землю. Потом налег на рукоятки и вонзил в нее широкий, острый сошник, ярко горевший на солнце.

— Гей ты, поле мое, поле! — воскликнул он.

«Гей ты, поле!» — ответило эхо с лесной опушки.

Там, на краю поля, радуясь на своего пахаря, пели и плясали веселые гномики. Сам король Светлячок прикоснулся золотым скипетром к новой сохе, благословив ее на мирный и радостный труд.

Возвращаясь вечером с пахнущего свежей землей поля, Петр вспомнил, как грязно у него дома, и приуныл. В поле чистота и благоухание, небо как голубое озеро, в котором днем купается солнце, а вечером месяц плывет в ладье, высекая искры серебряным веслом, и каждая искра вспыхивает яркой звездочкой, а в хате грязь, запустение, все черно от копоти и пыли, всюду сор.

«В лесу и то красивей,— думал Петр.— С деревьев дикий хмель свисает, а в хате паутина из угла в угол протянулась. На вороне перья ясной синевой отливают, а у нас с ребятишками рубашки заскорузли от грязи. Даже у ящерицы спинка чистая, на солнце блестит, а мои мальчишки такие чумазые, хоть репу сей».

Повесил голову Петр, вздохнул и толкнул дверь хаты. Но что это?

Его ли это хата? Печка выбелена, паутина обметена, лавка, стол, табуретки вымыты, сора как не бывало. И убогая хатенка сразу веселей стала и нарядней.

Протер Петр глаза: померещилось, что ли? Да нет: хата на прежнем месте стоит, а в ней все чистотой сверкает.

— Кто же это здесь хозяйничал? — спросил Петр.

— Марыся и мы! — весело крикнул Куба.

У Петра сердце смягчилось. Он словно оттаял. Обнял он всех троих детей, а увидев, что у Войтека и Кубы волосы гладко причесаны и лица умыты, даже поцеловал их.

А тут и ласточка прилетела — итенчиков покормить.

Три раза влетала — и улетала обратно, не узнавая хаты! Наконец, увидев, как чисто стало, весело защебетала:

Мужичок, мужичок,
Горе сунь за кушачок,
Рано полюшко вспаши
Да засеять поспешни,
Хату чисто приберни,
Мне окошко раствори!

Песенка не очень-то складная, но ведь ласточка — всего лишь деревенская простушка и не умеет петь по-ученому. Заго как легко и радостно на душе от ее немудреной песенки!

И Петр тоже почувствовал себя легко и радостно. Потный, грязный после целого дня работы на жаре, он взял ведро, пошел к колодцу, чисто вымыл лицо и руки, пригладил чуб, отряхнул одежду и весело подсел за стол к ребятишкам, которые ели картошку.

Никогда раньше отец не умывался перед ужином, не смотрел на них так ласково, и мальчики удивлялись не меньше ласточки.

— Должно быть, праздник скоро, — в раздумье сказал Войтек.

— Отец, наверное, поедет поросенка покупать, — заметил Куба.

И в ожидании праздников и поросенка они ходили важные, чинно ступая босыми ногами, живот вперед, руки за спину, голова кверху поднята, вихры водой примочены — самим на себя чудно смотреть.

Раньше Петр не любил бывать с ними, прогонял, чтобы не видеть, какие они голодные да оборванные. А теперь брал с собой в поле, сажал на межу и, слыша их звонкие голоса, отирал пот и шептал с улыбкой:

— Мне тяжело, зато вам легче будет!

III



ень угасал. Огромный солнечный диск склонялся к горизонту, озаряя небо розовым закатным светом.

А от леса надвигалась золотая лунная ночь, волоча за собой туманно-серебристый шлейф. В росистых травах закричал дергач; из лозняка у лесной опушки заухла выпь; на запад тянулась вереница журавлей, оглашая воздух протяжным курлыканьем.

Наступил таинственный, загадочный вечер накануне Ивана Купалы; в этот вечер люди понимают речь зверей, птиц и растений.

Петр донахивал поле, покрикивая на лошадь, и его зычный, веселый голос разносился далеко вокруг:

— Но!.. Но, Малютка!.. Но!..

Долетал отцовский голос и до детей, сидевших на росистой траве, напротив большой кучи хвороста и терновника, черневшей в вечерних сумерках. Склонившись друг к другу, они тихонько дремали. Огромное угасающее солнце, надвигающаяся ночь, омытая росами, словно мягкие серебристо-золотые крылья, обнимали их, навевая сон.

Вдруг Куба зашевелился.

— Земля говорит... — пробормотал он тихим, сонным голосом.

— Вот глупый! Разве у земли язык есть? — рассердился Войтек.

— А нет? Как бы она тогда просила солнышко пригреть ее, а дождик — полить?.. Цветы и травы тоже разговаривают...

— А ты слышал?

— Слышал.

— Что же они говорят?

— Да много чего... Ой! Вот и сейчас — слушай!

Войтек прислушался. И в самом деле, с лугов, из лесу доносился шорох и шепот, словно тысячи крохотных существ тихонько переговаривались между собой.

— Ой! — опять вскрикнул Куба.

Старший вытаращил глаза — ему казалось, что так лучше слышно, — и замер.

Теперь уже звуки сливались в слова, все более явственные, понятные. Они звучали где-то далеко и в то же время совсем близко, как будто их кто нашептывал на ухо.

Не то жужжание, не то пение, не то перезвон полевых колокольчиков доносился до мальчиков:

Тсс!.. Все спит!..
Из серебристых сит
Давайте сыпать, сыпать мак!..
Пока окутал землю мрак,
Пока звезды расветной нет,
Пока не всыхнул зорьки свет,
Росу мы сеем — травы спят,
Мы сеем сны над кровлеи хат
Из серебристых луных сит!..
Тсс!.. Все спит!..

— Слышишь? — прошептал Куба.

— Слышу. Я боюсь! — сказал Войтек и крепче прижался к брату.

Голоса приблизились и зазвучали еще отчетливей:

Тсс!.. Все спит!..
Свет месяца дрожит...
По золотым ржаным полям,
По пряным травам и цветам
Мы водим легкий хоровод —
Он в ночь далькую плывет.
Плывет он в ночь волшебных снов.
Скользит по венчикам цветов,
Их аромат в ночи разлит...
Тсс!.. Все спит!..

Вдруг в камнях, в траве, в кустах что-то зашуршало, затоптало, будто множество маленьких торопливых ног. Мальчики даже дыхание затаили, шею вытянули — смотрят, вытаращив глаза: что за чудеса!

На меже, под старой дуплистой ивой, толпятся в траве маленькие человечки в разноцветных одеждах; вот, взявшись за руки, они принялись танцевать.

— Гномы!.. Гномики! — прошептал Войтек.

Тут взошла луна и залила полянку серебряным сиянием.

— Король! — воскликнул Куба сдавленным голосом. — Ой! Король!.. — И показал пальцем на старую иву, из дупла которой исходил яркий белый свет.

Ослепленный этим внезапным светом, Войтек сначала ничего не мог различить, но, когда глаза немного привыкли, увидел в дупле старенького короля в белой мантии, в короне и с золотым скипетром в руке.

Войтек не успел ахнуть, как в большой куче хвороста и терновника, сложенной Петром, золотыми пчелками зароились маленькие юркие искорки и зазмеились золотые язычки пламени.

А в воздухе опять зазвучал тихий, звенящий напев:

Тсс!.. Все спит!..
Как искр рой кружит!
Смотри! Костер в траве зажжен,
Росинкой каждой отражен,
Все громче хруст, все громче треск,
Все выше в небе ясный блеск!
Гори, купальский наш костер,
Рвись выше леса, выше гор!
Как добрый хворост наш трещит!..
Тсс!.. Все спит!..

Песня еще не смолкла, когда кучу хвороста и терновника охватило яркое пламя, осветив гномиков, которые быстро и легко, словно паря в воздухе, танцевали вокруг костра. От этого мелькающего хоровода кружилась голова.

— Ой, ой!.. — испуганно крикнул Войтек. — Тятя!.. Гномы пляшут!

— Король! Король! — как зачарованный шептал Куба, не сводя глаз с дерева. — Тятя, король!

Втянув голову в худые плечи, он стал похож на сонную птицу, дрожащую от холода и страха.

Но Петр ничего не видел и не слышал. В пропотевшей рубашке, налегая на соху, он шел уже последней бороздой, и глаза у него светились тихой радостью.

Доухал, воткнул соху в землю и, окинув взглядом необъятное, залитое лунным сиянием небо, снял шапку. Потом взял лошадь под уздцы и зашагал к опушке, где сидели ребяташки.

Шел он легко, бодро, будто и не работал только что, а отдохнул хорошенько, и на душе у него было так же тихо и светло, как этой лунной ночью.

Шел, а в воздухе раздавались нежные, приглушенные звуки, будто чение невидимых скрипок...

Тсс!.. Все спит!..
Работой пахарь сыт,
И отдохнуть ему пора!
А мы танцуем до утра,
А наш орысый хоровод
Всю ночь кружится напролет!

Пока хоть искорка горит,
Пока не вспыхнул свет зари,
Не заиграл в слезинках рос,
Не раскидал по небу роз,
Наш хоровод кружит, кружит!..
Тсс!.. Все спит!..

Как замороженный слушал Петр эту песню, глядя на озаренные луной просторы, а рядом, четко вырисовываясь на земле, чернела его короткая, приземистая тень.

Взглянул на нее Петр раз, взглянул другой и тяжело вздохнул.

Разве не так же вот, как эта тень, ходит за ним по пятам его черная доля?

Понурил он голову, задумался и уж не слышал больше звучащей в воздухе музыки.

Вот поднял он целину, распахал поле. А чем его засеешь, когда ни зерна нет, ни денег?

Что заработал на лесопилке и на черный день отложил — ушло на соху, борону, на топор да на хлеб. Как ни трясись над тряпичей с деньгами, как ни сжимай ее в кулаке, кузнецу все равно платить надо, да и за соль тоже. Последний грош на днях истратил...

Что делать? Как помочь земле родимой, чтоб не тосковала, не томилась понапрасну?

Поглощенный заботами, шел Петр домой, а тень скользила за ним. Петр в калитку — и тень за ним. Петр в дверь — и тень тут как тут. Так и улеглась, как неразлучный товарищ, на пороге, а может, и в дом прошмыгнула, кто ее знает. Но Петру не до нее было; швырнув шапку на стол, он тяжело опустил на лавку и погрузился в невеселые думы.

Вдруг скрипнула дверь — и на пороге появилась Марыся.





Глава десятая

Суд над Ошметком

I



Каждый день на деревне спозаранку начинали стучать цепи. Где в одиночку молотят: туп-луп! Туп-луп! Где вдвоем: тупы-лупы, тупы-лупы! Где втроем: туп-луп-туп! Туп-луп-туп!

Где вчетвером: тупы-лупы-тупы-лупы! Тупы-лупы-тупы-лупы! Все быстрее, все задорней выстукивали цепи, а из лесу отвечало эхо. Хозяева торопились обмолотить новый урожай, чтобы не опоздать с севом.

Только Петру молотить нечего; только он один как тень слоняется — то на поле пойдет, то домой вернется, и так целыми днями. Ломает голову: где раздобыть зерно, чем засеять поле?

А земля словно просит, чтобы ее засеяли. Солнце ее согрело, росы освежили; прямые, ровные, лежат борозды под тихим небом. От зари до зари вьется над пашней жаворонок, серый певун полей, и распевает звонко:

Хлеб! Хлеб! Хлеб! Хлеб!
Запоет твой цеп!
Снимешь с поля урожай.
Воз повыше нагружай!

Хлеб! Хлеб! Хлеб! Хлеб!
Запоест твой цеп!
Засыпай загром
Золотым зерном!

Петр слушал и вздыхал, качая головой.

— Ой, земля, земля! — говорил он. — Вспахал я тебя сохой, заборонил бороной, а засеять, видно, слезами придется.

А цепи стучат и стучат: туп-луп, туп-луп! Тупы-лупы, тупы-лупы!..

Бьют цепи по золотой соломе, сыплется из колосьев золотое зерно. Ударит молотильщик посильней — и брызнет зерно далеко за ток, к самой риге. Так искры разлетаются, когда кузнец молотом бьет по наковальне.

А у риги шум и драка. Тучи воробьев кидаются с тополя на просыпанное зерно — чирикают, пищат, клюются, но, чуть ворохнулось что-нибудь вблизи, они — фрр! — и назад на тополь, словно их ветром сдуло.

— Чего это воробьи сегодня раскричались? — дивятся крестьяне. — К дождю или к вёдру?

И невдомек им, что среди воробьев гномики снуют, ловко подбирая упавшие зерна.

Воробей одно склюет, а гномик десять сгрэбает. Вот какие прыткие.

Воробьи орут, будто их грабят; распушив перья, наскაკивают на воров в красных колпачках. А те и внимания на них не обращают, преспокойно расхаживают среди крикунов и зерна собирают, какие получше, — кто в мешочек, а кто просто в полу плаща.

— На тебе, воробышек, зернышко попорченное, выщербленное, кушай на здоровье! А целенькое, ядреное на посев годится. Из одного посеянного зернышка сто вырастет. Соберет бедняк урожай, ребятишек накормит — глядь, и вам, воробьям, перепадет, — приговаривали гномы, подбирая зерно.

Но слова их тонули в пронзительном чириканье: воробьи никакого внимания не обращали на эти мудрые речи. Что с них возьмешь!

Между тем цепи били и били по золотым колосьям, а гномы все трудились да трудились, собирая зерно. А что насобирают за день — к яме снесут и ссыплют.

Яма у них была под корнями дуба — сухая, серебристой берестой выложенная. Вверху отдушина, сбоку вход, а посередине большая куча отборного золотого зерна, с четверть, наверное, будет!

Такое богатство не оставишь без присмотра, без сторожа!

И гномы стали по очереди приходить, зерно липовой лопаткой разгребать, просушивать, проветривать. А вечером опять все в кучу сметут, отдушину мхом заткнут от росы, от сырости и сами спать лягут у входа.

Но вот в один прекрасный день Соломенное Чучелко, карауливший яму, заметил, что зерна как будто поубавилось.

«Утряслось, наверное», — подумал он.

Прошла ночь.

На другую ночь зерна еще меньше стало.

«Подсохло просто!» — подумал Василек, стоявший в ту ночь на карауле.

Но на третью ночь убыль стала так заметна, что Букашка — теперь его черед был сторожить — за голову схватился и забил тревогу.

Сомнения нет, кто-то ворует зерно.

Сбежались гномы, смотря: беда! И половины не осталось!

Но слезами горю не поможешь... Пошли они к королю за советом.

— Ваше величество, — говорят, — кто-то зерно у нас ворует! Как быть?

— Поймать вора!

А гномы в ответ:

— Как же его поймаешь, ваше величество? Ведь вор всегда найдет лазейку. Ушел — ищи ветра в поле.

— Вот вам воск и печать. Запечатайте все входы и выходы — и увидите, где его лазейка, — сказал король.

Взяли гномы воск и королевскую печать, все дыры седым мхом заткнули, поверх него тростинки крест-накрест положили, травой перевязали, узлы скрепили воском и печать оттиснули. Поставили сторожей и стали ждать, что будет.

Настала ночь.

Кругом тишина, будто вымерло все.

Ни один листок не шелохнется.

Бездонное темно-синее небо повисло над землей, а звезд на нем — что песчинок в море.

В эту ночь под дубом стояли в карауле два брата — Хватай и Запирай, королевские стражники.

На головах у них красовались шлемы — полевые колокольчики, а саблями им служили длинные, узкие листья шпажника, у которого на высоком стебле горит огненный цветок, будто красный значок на уланском копье.

Хватай стоит навытяжку, как аршин проглотил, а Запирай застыл истуканом, только глазами оба вращают, как бы чего не прозевать!

А в Соловьиной Долине все сном объято: спит голубой ручей, спят травы, цветы, спят мушки, птицы, лягушки, спят кувшинки, спит старый дуб, под которым Хватай с Запираем стоят. Наконец забрезжил рассвет.

Прибежали гномы к яме.

Сторожа на месте, печати висят, как висели. Заглянули внутрь — на полу едва с горстку зерна осталось.

Остолбенели гномы.

Что ж это за вор такой — замка не тронул, печатей не сломал, а добро унес?

Уставились друг на друга, не знают, что сказать.

И молвил король:

— Уж коли печать моя не уберегла и стража не устерегла — значит, ничто не поможет.

Тут из толпы раздался голос Петрушки — у него голова всегда была полна разных идей:

— А если я поймаю вора, что вы мне пожалуете, ваше величество?

— Голос в его защиту на суде, — ответил король.

— Что? Голос в защиту вора? Очень нужно! Я и пальцем не шевельну, чтобы спасти негодяя от виселицы. Дайте мне лучше ноты Сарабанды — Вродебарину они теперь все равно ни к чему, раз он без голоса остался.

— Будь по-твоему! — сказал король и склонил свой скипетр.

А ноты с песней Сарабанды, чистейшей майской росой записанные на лепестках дикой розы и крылышках мотыльков, были так красивы, что хранились в сокровищнице, как редкая драгоценность.

Петрушка на аршин подскочил от радости, припал к королевским стопам, еще раз подпрыгнул и вихрем помчался к лесу.

II



же светало и в лесу просыпались птицы, когда Петрушка отыскал избушку знахарки и, толкнув низенькую дверь, вошел.

Перед ним была убогая каморка: один-единственный стул, печь, колченогий топчан и везде травы, травы...

Куда ни глянешь — под потолком, на стенах, на крепко убитом земляном полу, — в корзинах, в холстинках, пучками и целыми снопами лежали, висели, сушились травы.

Душистый аромат мяты, тимьяна, лаванды, ромашки, мелиссы и сотен других растений наполнял избушку. От этих крепких запахов можно было бы задохнуться, если бы не дыра под застрехой, прикрытая только крыльями совы, сквозь которые просвечивало голубое небо.

Возле печки за прялкой сидела старушка и пряла золотую пряжу, тихонько напевая старинные песни под жужжание золотого веретена.

— Здравствуйте, бабушка! — сказал с порога Петрушка.

Знахарка подняла голову, приставила руку к глазам и пристально посмотрела на пришельца. Наконец она узнала Петрушку — ведь это он принес ей однажды иголку для Вродебарина.

— Здравствуй, здравствуй! Ну, входи! Зачем пожаловал?

Петрушка переступил порог, низко поклонился, поцеловал старушке морщинистую руку и сказал:

— За советом я! Вор у нас завелся, а поймать никак не можем. Просто беда!

Слушает старушка, седой головой качает. Нога перестала прялку крутить, золотое веретено наземь скользнуло, пальцы не сучат больше золотой нити, — задумалась старушка.

Наконец спросила:

— А что он крадет у вас?

— Зерно! — возмущенно ответил Петрушка. — Отборное зерно для посева крадет, мошенник!

— А вы жемчуга в зерно подсыпьте! — сказала старушка.

— Что? — крикнул Петрушка. — Жемчуга подсыпать? Он у нас зерно ворует, а ему еще жемчуг в придачу давай? Эх, бабушка, бабушка, никак, у тебя в голове помутилось от старости!

А старушка уже подняла веретено, прялку крутит и золотую нитку тянет.

— Жемчуга подсыпьте в зерно, — еще раз повторила она и тихим, дрожащим голосом запела старинную песню, словно и нет никого в избе.

— Бабушка! — воскликнул Петрушка. — Я к тебе, как к родной матери, за советом пришел. Не пошел ни к Дню, ни к Ночи, ни к Солнцу, ни к Месяцу, а к тебе пошел, бабушка. Думал, мудрая ты: много дней и ночей прожила на свете, много солнечных, лунных восходов-заходов видела — кому быть мудрее тебя! А ты меня как встречаешь? Какой совет даешь? Оставайся с богом! Видно, ошибся я.

Проговорив это с обидой и горечью, Петрушка направился к двери, а старушка, перестав петь, крикнула ему вдогонку:

— Жемчуга, жемчуга в зерно подсыпьте!

— Как бы не так! — проворчал Петрушка и пустился в обратный путь, жалея о потерянном времени.

Он ушел уже далеко, но голос звучал все громче, настигая его, расходясь волнами и наполняя воздух:

— Жемчуга... жемчуга подсыпьте!.. Жемчуга!..

Поразился Петрушка. «Неспроста это, — думает. — Значит, правду она сказала».

— Гм! А может, так и надо! — пробормотал он, останавливаясь, и стал соображать, как это сделать. — Будь что будет! — проговорил он вслух. — Авось не повесят!

И, окрыленный надеждой, наш отважный любитель приключений поспешил домой.

— Ваше величество, — сказал он, явившись к королю. — Сколько жемчужин можете вы мне доверить на сегодняшнюю ночь?

— Кому доверяют одну, тому доверяют все, — ответил король. — Твоя преданность мне дороже жемчуга!

— Спасибо на добром слове, ваше величество. Дайте мне пригоршню жемчужин, и, если мне суждено поймать вора, я поймаю его сегодня ночью.

— Иди и бери, сколько нужно, — сказал король и, кликнув казначея, велел выдать Петрушке горсть жемчуга.

Тронутый, Петрушка молча обнял колени короля, весело вскочил и побежал за жемчугом.

Спустились сумерки.

Гномы столпились у своей подземной житницы — посмотреть, что он будет делать. А Петрушка подошел и бросил жемчуг в зерно.

— Не подведи, бабушка! На мудрость твою полагаюсь! — сказал он. — И, обернувшись к товарищам, прибавил: — Не нужно сегодня ни сторожей, ни печатей! Хватай, Запирай, отпираться-ка спать, друзья! Я один здесь останусь.

Улегся на пригорке и положил голову на камень, провожая уходящих сонными глазами.

С востока повеял легкий ветерок, зашелестела трава. Казалось, что-то шуршало и шептало в воздухе.

Но уставший с дороги Петрушка не обращал внимания на этот шепот.

Он заснул как убитый и проснулся только на рассвете. Открыл глаза и видит: прямо у его ног — жемчужная дорожка, и ведет она из ямы к полю Петра.

Закричал Петрушка и бросился бежать по этому следу, а гномы — за ним.

Добежит до одной жемчужины, остановится и дальше бежит. Через каждые сто — двести шагов жемчужина попадает. Словно кто второпях захватил с собой все, а потом по дороге выбрасывал ненужное.

«Ох, и умница ты, бабуся!» — повторял про себя Петрушка, подбегая к Петровой полоске. Глядь — последняя жемчужина в борозде лежит, рядом — куча земли, а под ней норка.

Нагнулся Петрушка, покопал, покопал — видит еще несколько жемчужин.

Позвал остальных. Стали все вместе нору раскапывать и добрались до большой кладовой, а в ней почти все украденное зерно сложено. Возле него, съежившись, полевая мышь сидит с семейством.

— Ага, попался! — закричал Петрушка и схватил воришку за шиворот. — Эй, Хватай, Запирай, сюда!

Пискнул испуганный вор, дернулся, но стражники держали его крепко, и он смирился.

Торжество было полное.

С песнями, с ликованием возвращались гномы домой, ведя перед собой пленника и неся на спинах мешки с зерном.

III



ад преступником устроили суд в Соловьиной Долине. Это было зрелище внушительное и торжественное. На заседание во всем своем великолепии явился король Светлячок.

Разжиревший Колобок поддерживал его пурпурную мантию. На голове короля блестела золотая корона, а бриллиант в скипетре сиял, как восходящее солнце.

В судебном зале на возвышении стоял государственный обвинитель — пронизательный Кошкин Глаз; за его спиной — Хватай и Запирай в парадных мундирах, а поодаль, внизу, толпились гномы.

Все глаза были устремлены на подсудимого.

Он стоял понурый, сторбленный, в жалком зипунишке, с крепко связанными за спиной лапками, позеленев от волнения и страха, и дрожал как в лихорадке.

Кошкин Глаз, блистая красноречием, окончил свою обвинительную речь и потребовал сурово покарать преступника: вздернуть на самом высоком суку дуба, взыскав убытки и судебные издержки.

Прокурор даже охрип от усердия и, громко сопя, отирал со лба пот фуляровым платком.

Но король поднял скипетр и сам спросил подсудимого:

— Как тебя зовут, несчастный?

Воришка совсем позеленел, и ноги у него подкосились — стражнику Хватаю пришлось подтолкнуть его к королю.

— Ошметок, с вашего позволения, — пролепетал он еле слышно.

— Зачем ты брал зерно?

— Бедствовал... Голодал я... Дети с голоду помирали...

— Но голод еще не дает права воровать. Верно?

— Да, ваше величество, — весь дрожа, ответил Ошметок.

— Что же ты можешь сказать в свое оправдание? — спросил король.

— Ничего, только то, что голодал... Страшно голодал.

— Но как бы ты ни голодал, тебе все равно не съесть столько зерна. Тебе и твоим детям хватило бы и десятой части.

— Я зимы боялся... Долгой, жестокой зимы, ваше величество... Простой зимой половина моих детей умерли! Ах, как они страдали! Младший сын на моих глазах умирал с голоду. Шесть дней и шесть ночей смотрел я на его мучения — и вот, жив остался... Лучше бы мне умереть вместо него!..

Король отвернулся, чтобы скрыть невольную жалость. В толпе гномов послышалось всхлипывание.

Это плакал Петрушка.

А Ошметок продолжал:

— За младшим — старший... И старший умирал у меня на глазах... Десять дней и десять ночей мучился... А я смотрел на его муки — и не умер...

Король нахмурился, пытаясь удержать слезы, навернувшиеся на глаза.

Гномы тяжело вздыхали.

Петрушка громко плакал.

— А потом третий мой сын умер... — продолжал Ошметок. — Умер с голоду, а я смотрел и не мог ему помочь... У меня на глазах, король, сын умирал с голоду, а я остался жить! — И, весь дрожа, он забормотал невнятно, как безумный, полузакрыв глаза: — С голоду... С голоду... С голоду...

Но король, подняв скипетр, сказал:

— Я должен судить тебя со всей строгостью, ибо ты совершил тяжкое преступление. Украденное зерно было семенное, предназначенное для такого же бедняка, как ты, у которого тоже голодные дети. Пусть свершится правосудие!

— Смерть! Смерть преступнику! — вскричал Кошкин Глаз.

— Смерть! — в один голос рывкнули Хватай с Запираем. Ошметок стоял как громом пораженный, дрожа и поводя обезумевшими глазами.

Король отвернулся и хотел спуститься в зал, но из толпы вдруг выскочил Петрушка и упал ему в ноги.

— Даруйте мне голос в защиту осужденного, ваше величество! — молвил Петрушка. — Вы сами хотели дать мне его! Не надо мне нот — только голос в защиту осужденного!.. Помилуйте его! Скажите, что вы его прощаете! Это и будет моей песней! Никакой другой мне не надо!

— Будь по-твоему, — сказал король, которого тронула доброта Петрушки, и, склонившись над ним, коснулся его скипетром в знак согласия. — Ты победил! Пусть исполнится твое желание! — И, подняв скипетр, он приказал: — Отпустите беднягу на свободу и накормите его детей. Отныне дети его будут получать еду с моего стола. А семена сегодня же отдайте пахарю и земле, которая ждет их.

IV



смало пришлось повозиться Марысе, чтобы навести порядок у Петра в хате.

Заглянула она и на огород. Но он так зарос, что у нее руки опустились.

«Эх, кабы конопли немного посеять! — мечтала она. — Вот славно бы: убрать ее, высушить, вычесать и прясть золотистую нитку долгими зимними вечерами».

Бывало, мать ее пела чудесные песенки за прялкой.

«И под капусту вскопать две грядочки. Земля черная, жирная, кочаны с дыню выросли бы!»

И решила Марыся весной за огород приняться.

«Но, чтобы весной сажать, — размышляла она, — надо уже сейчас прополоть, вскопать его. А разве я справлюсь одна? — И вдруг всплеснула руками: — А Войтек, а Куба! Чем не помощники!..»

Но не только этот запущенный, заросший огород огорчал Марысю. Все чаще тосковала она по своим гусанькам, по пригорку в золотистых цветах, по Рыжику, который лежал, бывало, у ее ног на солнышке или с громким лаем носился вокруг стада.

Однажды, прибравшись в доме, вышла Марыся на ближний лужок.

Вдруг видит: в высокой траве мелькнуло что-то похожее на красный островерхий колпачок.

— Хвощ! — крикнула Марыся и бросилась за ним.

Сердце у нее готово было выпрыгнуть из груди.

А колпачок мелькал все дальше. Вот он пропал в кустах. Марыся кинулась туда.

Ей так хотелось увидеть Хвоща, расспросить... О чем? Она и сама не знала. Только бы догнать... И поблагодарить за все: и за гусей, и за угол в Петровой хате, и за Кубу с Войтеком, которые ей за родных братьев стали.

И она со всех ног бежала за мелькавшим впереди колпачком — так быстро, как только позволял густой лозняк.

Но вот колпачок исчез и больше не показывался.

Марыся остановилась и огляделась вокруг.

Где она? Впереди, в нескольких шагах, кончался лозняк. Сквозь него, как зарево пожара, просвечивал багряный закат. А дальше виднелся хорошо знакомый лес.

Значит, она, не заметив, забежала на другой конец соседней деревни!

Марыся сделала еще несколько шагов. Может быть, удастся поглядеть на своих гусей и на Рыжика!

И правда, из-за кустов увидела она выжженный солнцем пригорок, гусей, мирно щиплющих травку, и верного Рыжика, снующего вокруг них; а поодаль, на пшеничном поле, — новую пастушку: девочка то нагибалась, то выпрямлялась, срывая запоздалые маки, васильки и розовый куколь для венка.

Марыся стояла за кустами и с любопытством смотрела.

Но вот солнце село, и пастушка с помощью Рыжика собрала гусей и погнала домой. Рыжик все лаял на белую гусыню, которая и при Марысе то и дело отставала от стада. Пастушка замахнулась на нее хворостиной, и она, догнав гусака, побежала с ним впереди.

Стадо уже скрылось за горкой, а Марыся все стояла в кустах.

Хотела хоть с Рыжиком и гусаньками увидеться, если уж Хвоща догнать не удалось, и вот они ушли, а она их так и не приголубила!

Новой гусятницы побоялась. Вот трусиха!

Но теперь-то, когда никого нет, неужели она не посидит хоть минутку на своем пригорке?

Она раздвинула кусты. Что это?

На земле мертвый хомяк лежит, а неподалеку — мертвая лиса. У обоих бока изодраны, глубокие раны уже почернели.

Марыся ахнула и руками всплеснула.

Лисицу ей было не жалко, она ее боялась.

Но хомяк! Неужели это ее хомячок?

Раздвигая густой бурьян, Марыся побежала к его норке. На стеблях висели ключья шерсти — желтоватой и рыжей; на листьях, как кораллы, капли запекшейся крови. Вход в нору разрыт когтями.

Марыся остановилась, пораженная.

— Бедный хомяк! — сказала она.

И правда бедный. Злодейка Сладкоежка привела угрозу в исполнение и весь свой гнев за гусей выместила на слабом зверьке. Но хомяк и сам был виноват. Зачем так равнодушно смотрел, как лиса подкрадывается к стаду? Почему не предупредил пастушку или хоть Рыжика? Сделай он это, и беды бы не было, пришлось бы лисе обратиться отсюда подальше.

А теперь вот мертвый лежишь, несчастный хомяк! Подумал бы о других — и себя бы спас!

Огляделась Марыся — в двух шагах от норки трава примята. Здесь притаилась Сладкоежка и отсюда бросилась на хомяка... Да, видно, стебли зашелестели, и хомяк, заметив лису, успел юркнуть в нору.

Закипел бой не на жизнь, а на смерть. Хомяк нанес лисе тяжелые, смертельные раны, но та задушила его и уволокла в кусты. Хотела и дальше утащить, к себе в нору, да не успела — сама испустила дух.

Бедный хомяк! Одно утешение оставалось у него: сознание, что в смертельной схватке со свирепым врагом он вел себя как герой.

И в самом деле, без колебаний броситься на такое чудовище — на это не всякий решится! Он погиб, но погиб и враг, который был куда больше и сильнее его.

За свое равнодушие к другим маленький хомяк поплатился жизнью.

Но его смелость всю округу избавила от жестокого, коварного злодея.

При виде истерзанного тельца мертвого хомяка, его погасших, а недавно таких живых глазок, неподвижно торчащих воинственных усиков, которыми он всегда шевелил так забавно, сердце у Марыси сжалось, и по бледному личику покатались серебристые слезы.

Плача, присела она возле хомяка на корточки и ласково заговорила, словно мертвый зверек мог ее услышать:

— Не бойся, не бойся, бедненький! Не оставляю тебя с этой разбойницей. С собою возьму. Под высоким дубом вырою тебе глубокую могилку. Листочками ее выстелю и тебя прикрою листочками. Будет тебе хорошо, покойно... Хоть один из прежних друзей будет рядом... Ни за что тебя здесь не оставляю...

Она наломала зеленых еловых веток, прикрыла зверька и, положив его вместе с пахучей хвоей в передник, заторопилась домой.

Взгляни она на растущие в сторонке лопухи, ей сразу бросилось бы в глаза, что большие округлые листья шевелятся, хотя воздух тих — ни ветерка, а под ними мелькает что-то красное, будто огонек.

Едва она свернула на тропинку к дому, лопухи раздвинулись, и показался хорошо знакомый нам гномик Петрушка. Озираясь по сторонам, он спросил шепотом кого-то:

— Взяла?

В ответ из бурьяна, скрывавшего норку хомяка, послышался тихий голос:

— Взяла!

И из травы, приложив палец к губам, осторожно вылез Хвоц. Но веселый Петрушка, не выдержав, закричал, приплясывая от радости:

— Ну и ловко же мы это обделали! Ну и ловко!

— Тише ты, сумасшедший! — запипел Хвоц, хватая его за руку. — Орешь, будто ты один здесь! Услышит еще...

— Да что ты... Кузнечики вечером так наяривают, что больше ничего не слышно. Ну, а разве не ловко мы все это подстроили?

— Тут и ловкость не нужна. Она сама, без подсказки, всех жалеет. Такая добрая...

— Это верно! Золото, а не девочка! С другой бы еще повиться пришлось!

— Но только ты так громко подсказывал про дуб да про могилку, что я даже испугался: вдруг обернется и увидит тебя в лопухах?

— Уж я такой! Не люблю канитель тянуть! Или пан, или пропал! Вот видишь — она ничего не заметила.

— Зато у меня совсем ноги затекли, — сказал Хвоц. — Ведь спозаранку сажу здесь и веточкой муравьев от хомяка отгоняю, чтобы Марыся не побоялась его взять.

— А я и вовсе чуть ноги не переломал, когда удирал от Марыси, чтоб ее сюда заманить. Она, наверное, подумала, что это ты: я даже колпак надел и трубку у Василька одолжил, чтобы на тебя быть похожим. А как влетел в лопухи — думал, заору. Оказывается, там крапива! Представляешь? Если бы не король, ни за что бы не усидел! Полно крапивы! Но что поделаешь, раз ему обязательно нужно, чтобы Марыся зерно нашла и этим Петра отблагодарила. Ну, пошли за ней... Только тише...

— Знаешь, Петрушка, ты бы разулся — у тебя сапоги скрипят!..

— Разуться? Еще не хватало! Шлепай сам босиком, тебе небось не впервой — привык, когда у бабы подкидышем жил. Но чтобы я, слуга и приближенный его величества, босиком ходил?!

— Не хочешь — как хочешь! Пошли! Только не скрипи!

— А на что мне скрипеть!..

И молча, взявшись за руки, они крадучись пошли за девочкой.

Петрушка приседал на цыпочках в высоких красных сапогах, и в самом деле скрипевших, как немазаная телега, а Хвощ шаркал огромными туфлями, которые поминутно сваливались у него с ног.

V



зошла луна и волшебным серебряным светом озарила тропинку. Марыся, вся белая в лунном сиянии, шла, подняв лицо и крепко сжимая худыми ручонками края передника, из которого торчали еловые ветки, прикрывавшие хомяка. Она торопилась — перед сном надо было еще кое-что успеть по хозяйству.

Дорогой она все раздумывала: сказать Кубе с Войтеком про хомяка или не говорить?

Вдруг рядом послышался шепот:

— Нет, нет! Не говори! Еще, чего доброго, выроют хомяка. Мальчики они, конечно, неплохие, но ведь у ребят всегда озорство на уме. Лучше не говори!

А Марысе показалось, будто она сама это подумала. Она прибавила шаг, не замечая, что рядом с ее тенью скользит по дорожке чья-то коротенькая тень.

Это был Петрушка. Ему непременно нужно было, чтобы Марыся сама похоронила хомяка. Нашептав ей это, он двумя большими прыжками вернулся к Хвощу.

— И что ты только вытворяешь! — проворчал Хвощ, подымая колпак, сбитый Петрушкой.

— Ой, как я рад, как я рад! — не слушая, твердил Петрушка. — Теперь король будет доволен. Если б не за девочкой идти, я бы здесь до самого утра кувыркался!

— Это еще зачем?

— Как зачем? Разве ты не знаешь: когда гномы при луне кувыркаются, бабы в деревне друг с другом бранятся.

— Ну и что?

— Да ничего. Пусть побранятся. Завтра суббота, они масло сбивают, а злая баба быстрее масло собьет! Вот увидишь, какое жирное пахтанье будет!

— Вечно у тебя глупости на уме!

— Глупости? Да ты соображаешь, что говоришь? Жирное пахтанье — это, по-твоему, глупости?

Но Хвощ положил ему руку на плечо и сказал:

— Слушай, Петрушка, нам надо поторапливаться. Вон уже мазанка виднеется. Ты мотыгу под дуб поставил?

— А как же! Из сеней взял.

— Вот и хорошо! Смотри, прямо к дубу идет... Ах ты умница!

Марыся и в самом деле направилась прямо к дубу, который тихо шелестел, словно что-то шептал.

Марыся остановилась под дубом, ища глазами какую-нибудь палку, чтобы вырыть для хомьяка могилку, и вдруг увидела при-слоненную к стволу мотыгу.

— Тятенька мотыгу забыл... — прошептала она. — Можно выкопать ямку поглубже!

И, положив хомьяка на траву, принялась за дело. Ударила раз мотыгой, ударила другой — и сама удивилась, как ей легко копать. Мотыга как перышко, земля рыхлая, будто ее только что вскопали.

— Вот как я окрепла на Петровых харчах! — прошептала она с улыбкой. — Когда гусей пасла, раза в два... какое — раза в четыре слабее была!

«Чем же мне отблагодарить Петра за хлеб?» — подумала она и вздохнула.

Тут мотыга, пробив тонкий слой земли, провалилась в глубокую яму. Марыся сле в руках ее удержала.

— Батюшки! Вон сколько места корни себе вырыли, чтобы просторней было! Ну что ж, и мой хомячок уместится.

Тут из-за ветвей выглянула луна, и под дубом стало светлее.

Марыся взяла хомьяка, прикрыла хвост и опустила в яму, но руки ее погрузились во что-то сыпучее. Зачеркнула она пригоршню, смотрит — пшеница, золотом отливает! Пошарила еще — а там целая куча зерна. Как у богатого мужика в закроме! Куда ни сунет руку — везде зерно, зерно...

Луна осветила яму, и зерно засияло, как клад, про какие рассказывают в сказках. А дуб шумел тихо-тихо, ласково...

— Батюшки! Зерно! Зерно! — твердила ошеломленная Марыся.

Потом с громким криком бросилась бежать к дому.

Влетела, остановилась на пороге, сердце бьется, как птица в клетке.

— Хозяин! Тятенька! — проговорила, задыхаясь, и слезы радости жемчугом брызнули из глаз.

Петр сидел перед печкой на табуретке, понутив голову и запустив в волосы корявые пальцы. Он так ушел в свои грустные думы, что даже не слышал, как скрипнула дверь и вбежала Марыся.

— Тятенька! — повторила она, потянув его за рукав. — Пшеница!..

Петр посмотрел на нее тупо, не понимая, о чем она. Сон это, что ли?

Но Марыся не отставала:

— Пшеница наплась, тятенька! Много пшеницы!..

Петр вытаращил глаза, и на лбу у него вздулись жилы.

— Что ты мелешь? Что мелешь, девчонка? — вскричал он, схватив ее за плечо.

— Я ничего... — пролепетала Марыся, хотя у нее от боли в глазах потемнело. — Говорю, пшеница нашлась для посева!

Вскочил Петр с табуретки — и за шапку.

— Что?.. Где?.. Где пшеница?

Руки у него дрожали, ноги подкашивались, и язык словно отнялся от радости.

— Где же она? Где?..

— Да под дубом! Под нашим дубом! — весело закричала Марыся. — Захватите, тятенька, мешок или ряднину — зерна-то там целая куча!

— Целая куча, говоришь? — спрашивал Петр, разыскивая мешок за печкой. — Вот счастье-то привалило!.. Ну, обрадовала ты меня — лучше родной дочери...

Марыся уже стояла в дверях:

— Идемте скорей, пока луна светит.

И они пошли.





Глаза одинадцатая

Как Вродебарин милостыню подавал

I



удило-Мудрило, живший до происшествия с Марысиными гусями в норе у Сладкоежки, был в тот памятный день очень обеспокоен — его хозяйка не вернулась вовремя домой. Обычно лиса исчезала под вечер и являлась под утро. Уходя, она протискивалась в узкую лазейку, которая выходила к деревне, а возвращалась через широкий вход со стороны леса — так раздувало у нее живот от обжорства. Дома она заваливалась спать и хранила весь день до вечера.

Чудило-Мудрило не раз задумывался, где это пропадает его хозяйка по ночам, однако, будучи гостем, из деликатности не спрашивал.

Но однажды лиса сама заговорила с ним об этом:

— Перед вами, сударь, несчастнейшее из четвероногих, когда-либо живших на земле. Моя матушка была лунатиком, и я унаследовала от нее этот недуг. Сколько денег я ухлопала на разных докторов, коновалов, знахарей! Сколько порошков, микстур, бальзамов, пилюль проглотила! Половину состояния на это истратила! Достаточно сказать, что я целых три зимы отапливала

квартиру одними рецептами, и, хотя морозы стояли лютые, у меня было жарко, как в бане. И что же вы думаете? Все впустую!

Только месяц взойдет — хоть узенький серпик, — меня так и тянет из дому побродить по крышам. Я даже за хвост себя привязывать пробовала — вон, видите, к тому колышку посреди норы, — но и это не помогло.

Как потянуло меня, как я рванулась — на веревке только клочок шерсти остался, а я очутилась за порогом. Самая краса, самая кисточка пропала! Смотрите, до сих пор изъян виден. Распускают, правда, сплетни, будто кончик хвоста оторвали мне собаки кузнеца, но это бессовестная ложь и клевета!

Я так привыкла бродить при луне, что это стало моей второй натурой, и теперь — светит луна или нет, — как только начнет смеркаться, не могу усидеть в норе. Даже наоборот, чем темней, тем неудержимей тянет меня в деревню.

На улице темень, хоть глаз выколи, а я, несчастное животное, брожу как тень возле хлевов и курятников

Только кудахтанье да кукареканье, а особенно гусиное гоготанье успокаивают немного мои нервы. Что поделаешь, надо терпеть!

И, тяжело вздохнув, отчего усы у нее встопорщились, лиса отправилась на боковую и сладко захрапела, облизываясь во сне от уха до уха своим длинным языком...

Но сегодня Чудило-Мудрило был встревожен. Минуту утро, минул полдень, а Сладкоежки все не было.

Выглянул ученый летописец из норы — нигде ни звука. Только над головой тихо шумел бор и сосны таинственно переговаривались, качая верхушками. Ниже, по дубам и букам, с ветки на ветку прыгали белки, а еще ниже шептались паноротники, мхи и красная брусника. Тишина.

Стало вечереть, взошла луна, а лисы все нет и нет.

Не на шутку обеспокоенный, Чудило-Мудрило стянул плащ ремешком, надел колпак и решил отправиться на розыски пропавшей Сладкоежки. Не подозревая о разбойничьих проделках лисы, простодушный гном привязался к ней и считал ее безупречно честным животным.

Только он набил трубочку, собираясь закурить на дорогу, как со стороны узкого хода послышались тяжелые осторожные шаги. Кто-то шел из деревни в больших подкованных сапогах.

Чудило-Мудрило удивился и, прислушиваясь, застыл на месте с трубкой во рту, с огнивом в одной руке и трутом — в другой.

Шаги все приближались. Вот они уже у самого входа в нору.

Чудило-Мудрило отскочил в сторону и, приложив ухо к стенке, ясно услышал бас кузнеца, которого он недавно видел в дворах кузницы.

— Погоди, злодейка! — басил кузнец. — От баб ты ушла, а от меня не уйдешь!..

Наступила тишина. Сердце у гнома отчаянно колотилось, но он стоял, приложив ухо к стене, и ждал, что будет.

Вдруг у него нестерпимо зачесалось в носу и он громко чихнул три раза подряд.

— Ага! Проняло! Уже зафыркала! — загудел кузнец. — Погоди, то ли еще будет! Чего-чего, а этого добра я для тебя не пожалею!

И вслед за тем огромный клуб едкого дыма ворвался в нору и ударил гному прямо в нос. Летописец закашлялся и отпрянул назад.

А дым все валил клубами — в норе не прохохнуть. От едкого дыма у Чудилы-Мудрилы из глаз потекли слезы. А кузнец все приговаривал:

— Вот тебе за моих кур! За петухов! За индюшек! Получай!

И с каждым словом новый клуб дыма влетал в узкое отверстие, стелясь синей пеленой. В норе стало совсем темно.

Угоревший Чудило-Мудрило метался, ощупью ища другой выход — в лес, но голова у него кружилась, в глазах потемнело, и он беспомощно тыкался из угла в угол.

Холодный пот выступил у него на лбу, сердце колотилось все сильнее, нора завертелась перед глазами, а дым все прибывал. Бедный летописец уже думал, что пришел его последний час, как вдруг нащупал руками отверстие и чуть живой выскочил в лес. Пробежав несколько шагов, он без чувств упал в папоротник.

Было тихое утро, когда гном очнулся от глубокого обморока. В воздухе пахло гарью, но утренний ветерок относил ее в сторону.

Чудило-Мудрило сел, с наслаждением вдыхая свежий воздух. Однако сознание с трудом возвращалось к нему. Голова была как свинцом налита и клонилась то вправо, то влево.

Когда же он наконец совсем пришел в себя и взглянул туда, где была нора, то увидел на ее месте лишь кучу закопченного песка. Чудило-Мудрило вскочил и, объятый тревогой, со всех ног поспешил к пожарищу. Он вспомнил, что в норе остались перья — подарок лисы, чернильница из желудя, а самое главное — новая книга, которую он с таким трудом смастерил из березовой коры. Но напрасно разгребал он палкой песок до самого полудня: от перьев остались одни обгорелые ошметки, от книги — почерневшие, скрюченные страницы, на которых ничего нельзя было прочесть, а чернильница бесследно пропала.

Бедный летописец, горестно покачивая головой, стоял над пожарищем, и две большие прозрачные слезы скатились по его законченному лицу. Все его надежды погибли!

Так вот какой удар его ожидал! Значит, хворый зверь и коварный предводитель татарских орд, уводящих в полон кур и петухов, — одно и то же лицо? Вот, значит, что это были за прогулки при луне! Он, Чудило-Мудрило, сам потворствовал преступлениям. Он пользовался гостеприимством кровожадной убийцы! И вот он наказан по заслугам за то, что так легкомысленно поверил обманнице.

Чудило-Мудрило стоял, погружившись в невеселые мысли. Из задумчивости его вывел шум крыльев и громкое карканье.

Он посмотрел вверх: у него над головой пролетела стая ворон и черной тучей опустилась на лесной опушке.

Чудило-Мудрило пошел туда и в ужасе отпрянул: в лозняке лежал бездыханный труп Сладкоежки, а над ним кружило воронье.

Постоял добрый гном, вздохнул и, нахлобучив колпак поглубже, пошел куда глаза глядят.

II



ажел и грустен был путь бедного летописца. Над лесом дул осенний ветер, срывал листья, швырял их на землю и с шумом гнал перед собой. Поля пожелтели, луга почернели, последний жаворонок давно умолк. Бледное, словно гаснущее солнце еле светило сквозь тучи, гонимые ветром. Журавли с криком улетали в теплые края.

Совсем бы пропал Чудило-Мудрило от голода и холода, если бы не пастушата, которые жгли на жнивье костры и пекли картошку.

Завидит Чудило-Мудрило на опушке или в поле синюю струйку дыма да огонек — и скорей туда. Присядет на хворост, попросит картошки. Пастушата охотно его кормили, а он, поев, рассказывал им всякие истории. Дети слушали разинув рот.

— Ого! — говорил он. — Со мной и не то еще случилось. Раз, помню, был я адъютантом его величества, а королевское войско у одной бабы под печкой было расквартировано. Тут вышел приказ в поход выступать — к порогу. Король посылает меня, своего адъютанта, узнать у хозяйки, можно ли нам промаршировать по избе. Вылез я из-под печки, вижу — баба прядет. Я поклонился и вежливо спрашиваю:

«Можно нашему войску по избе промаршировать?»

Она глаза вытаращила, но все-таки разрешила. Я — обратно к королю. Король приказал бить в барабаны. Под печкой суета поднялась, музыканты заиграли, и войско в полном вооружении

промаршировало перед крестьянкой. Когда она потом рассказывала об этом, ей никто не верил.

Ребятишки ахали и еще шире рты разевали.

А Чудило-Мудрило подбросит хворосту в костер, закопает картошку в горячую золу и снова начнет:

— А то вот еще какой случай был. Вздумал один бедный-пребедный гном жениться. Пригласил гостей на свадьбу, а угощать-то нечем. Пошел он к одному овчару и говорит:

«Дай мне жирного барана, а я тебя на свадьбу приглашу».

Дал овчар барашка. Вот приходят к нему дружки и на свадьбу приглашают.

«А где будет свадьба?» — спрашивает он.

«В мышинной норке», — отвечают дружки.

«Ну, хорошо».

Нарядился овчар в новый кафтан, сапоги салом смазал, ворот рубахи яркой ленточкой повязал и пошел.

Нелегко было в мышиную норку пролезть, но он нагнулся пониже и влез.

Каково же было его удивление!

Он думал, в мышинной норе — грязь, теснота, а там везде золото сверкает, музыка гремит, в первой паре молодая танцует. За стол хоть сто человек сажай. А от бараньего жаркого дух такой идет, что слюнки текут.

Наелся овчар до отвала, потанцевал вволю, а когда уходить собрался, музыканты ему туш сыграли. Вылез он наверх и с тех пор все пел да пел целыми днями, а про свадьбу всю жизнь вспоминал.

— Батюшки! — удивлялись пастушата, тарацась на Чудило-Мудрилу.

А он кивал головой и говорил:

— Да, да, гномы хоть и маленькие, зато могущественные и очень много знают.

III



один из этих осенних деньков Вродебарин вышел прогуляться. Вид у него был снова цветущий. Только на вздутом горле чуть виднелся шрам — память о том, как он лопнул и старушка зашила его; но этот едва заметный след был отлично замаскирован белым галстуком.

На Вродебарине был сюртук табачного цвета, пепельные панталоны, красивый жилет, на котором болтался массивный брелок с печаткой, манишка со стоячим воротничком, белоснежные ман-

жеты, на ногах — легкие полусапожки, на руках — зеленые перчатки и трость под мышкой.

Он шел, высоко подняв голову, надутый, самодовольный; без голоса он стал еще спесивей.

Спесь так и распирала его.

Старые друзья-приятели повылезали из ручья поглазеть на него. Кое-кто заквакал от удивления, но Вродебарин даже обернуться не соизволил.

«Этот лягушачий сброд воображает, что я им ровня, — говорил он сам с собой. — Вот наглость! Как только поправлюсь немного, непременно переселюсь куда-нибудь подальше, чтобы меня эта семейка не компрометировала.

Иной раз просто в неудобное положение попадаешь, не знаешь, что сказать. Не дальше как вчера встречаю я братьев фон Шмель — Крикуна и Буяна, они называют себя дворянами, хотя, между нами говоря, предки их самые обыкновенные трутни. Они спрашивают:

«Это правда, что вы родом из этого ручья?»

Я возмутился и говорю:

«Я? Родом из этого ручья? Что вы, господа! Наоборот, я терпеть его не могу с того дня, как здесь родился».

Тут этот сброд высунулся из воды и давай квакать:

«Брат... брат... брат...»

«Наш... наш... наш...»

А за ними — весь ручей:

«Лягушка... лягушка... лягушка...»

«Как мы... как мы... как мы...»

С ума сойти! При первой же возможности уеду отсюда! Уеду как можно дальше!

Может быть, дом в городе купить? Денег хватит — мои замечательные концерты принесли мне немалый доход!»

Так он шел, рассуждая сам с собой, как вдруг услышал слабый, жалобный голос.

Из-под забора, протягивая руку за милостыней, встал маленький оборванный старичок с непокрытой головой и изможденным лицом.

— Не проходите мимо, сударь! — взмолился он сдавленным голосом. — Я бездомный скиталец... Меня зовут Чудило-Мудрило. Может быть, вы слышали обо мне? Я был придворным историком короля Светлячка... А теперь я всего лишился... И слава, ради которой я пожертвовал покоем и счастьем, тоже отвернулась от меня... Где все мои товарищи? Где родина моя? — И крупные слезы покатались по его худому лицу.

Но Вродебарин надулся еще больше и уже хотел пройти мимо, как вдруг заметил на заборе сороку. Подергивая хвостом, она поглядывала на него то одним, то другим глазом. Вродебарин моментально переменял маневр и полез в карман. Он прекрасно знал, что сорока тут же разнесет по всей округе, какой Вродебарин добрый и великодушный.

Чудило-Мудрило протянул колпак, но сорока, испуганная этим движением, улетела.

Тогда Вродебарин опять передумал: нащупал в кармане сор-труху и бросил в колпак нищего.

— Спасибо! — сказал Чудило-Мудрило.

Глянул Вродебарин, а у нищего в руке — чистое золото. Схватился он за карман, где у него кошелек с дукатами лежал, а в кошельке — горсть мусора. Завопил Вродебарин — голос сразу к нему вернулся — и палкой замахнулся на нищего, но старичок исчез, как сквозь землю провалился. А вдали, на ручье, заливался лягушачий хор — он пел последний раз в этом году:

«Брат... брат... брат...

Наш... наш... наш...

Лягушка... лягушка... лягушка...

Как мы... как мы... как мы...»





Глава двенадцатая

Возвращение под землю



олнце садилось — золотое, огромное, осеннее солнце. Уже несколько дней погода стояла ясная, земля отогрелась, даже какая-то пичуга запела запоздалую песенку.

Воздух розовел от вечерней зари. Маргаритки на межах закрывали свои золотые и серебряные глазки. В глубокой золотой тишине тополь ронял последние листья.

Петр бросил в землю последнюю горсть пшеницы. С непокрытой головой, в домотканой рубаше, с подвязанной к поясу сумой стоял он в лучах заходящего солнца, и лицо у него светилось радостью. На лесной опушке пасли лошадь его сыновья, крепкие и румяные, как полевые маки.

Лошадь изредка ржала, пощипывая чахлую траву. Звонкие детские голоса далеко разносились в предвечерней тишине.

Зато в Соловьиной Долине было шумно и многолюдно. Король Светлячок собрал всех гномов и держал перед ними речь. Красивое было зрелище!

В прозрачном, неподвижном воздухе тихо трепетали листья векового дуба, под которым возвышался королевский трон, сложенный из камней; он был усыпан цветами и устлан ковром из

мхов. Трон окружала верная дружина в ярких одеждах, в пестрых колпачках, все — со своими орудиями труда.

Было шумно и весело. Ни одного печального, унылого лица.

Глаза у всех блестели, на губах играла улыбка, сердца радостно бились.

Но вот шум и говор внезапно смолкли.

Король встал с трона. Как и в ночь на Ивана Купалу, он был в белой мантии, в золотой короне, со скипетром в руке. И хотя он был весь в белом, в багряных лучах заката одеяние его вспыхивало то пурпуром, то золотом, по лицу пробегали огненные блики, а седая борода отливала серебром.

Он встал и поднял скипетр. Золотые трубы протрубили зорю и смолкли.

Король взглянул на своих подданных и, опустив скипетр, промолвил:

— Верная моя дружина! Труженики мои! Кончился день, и кончились ваши труды. Наступает вечер — он несет отдых и покой. Оглянитесь при блеске вечерней зари — она, как факел, освещает ваши дневные дела!

Седой король замолчал. Вокруг было тихо.

— Весной вы рассевали цветы, — продолжал король, — и дикую, унылую пустошь превратили в прекрасную, возделанную землю. Летом вы пели гимн труду и солнцу. Пришла осень — и вот вы стоите в золоте и пурпуре, считая ее плоды.

Король замолчал, отдыхая. Кругом царило безмолвие.

Но вдруг налетел ветер. На гномов повеяло холодом — тенью, мраком, суровой зимой, — и они вздрогнули.

Король снова заговорил:

— Вон закат озарил клочок земли, прежде заброшенный, а теперь возделанный и засеянный. И радость озарила душу пахаря, потрудившегося на своей ниве.

Это вы помогли ему.

Вон мелькают головки его детей: раньше они были поникшие, а теперь воспрянули, раньше глазки их туманила печаль, а теперь они повеселели. Тьма, теснившая их, рассеялась, и воссиял свет.

Где был голод, будет вдоволь хлеба, где царила ночь, настало утро.

И вы помогли возжечь этот свет.

А вон сиротка, безутешная, как горлинка, лишившаяся гнездышка. Она вновь обрела кров, ее, как родную, приняли в семью. И счастье вошло с нею в дом.

И вы немало потрудились для этого доброго дела!

Король замолчал. И снова налетел вихрь.

Из лесу дохнуло холодом, и гномов объяла дрожь. Глаза у них погасли, улыбка сбежала с губ, руки опустились.

Всем вспомнилось древнее пророчество.

Но король спокойно продолжал свою речь:

— Братья, мы потеряли нашего товарища — ученого летописца Чудило-Мудрилу. Он покинул нас и отправился искать по свету славу. Не нам его судить. Пусть идет за своей звездой. А мы провели здесь немало чудесных минут. Да будет счастлив этот уголок!

— Да будет счастлив! — хором отозвалась верная дружина. Стало тихо.

Седовласый король воздел руки и простер их над затихшей долиной. И в румянном от зари воздухе замелькали сотни рук, благословляя этот уголок земли, над которым лучезарной звездой мерцал королевский скипетр.

Огромное солнце тихо опускалось за горизонт.

— Прекрасный закат! — молвил король.

— Прекрасный закат! — откликнулись гномы.

И вдруг их яркие, пестрые наряды стали блекнуть — так в безветренное сентябрьское утро, голубое и солнечное, с деревьев начинают осыпаться золотые листья.

Пригорок, трон, седобородый король и вся дружина расплылись, улетучились, как туман.

Солнце угасало. Наступала осень.

Листья, порхая в воздухе, посыпались на землю и скрыли пригорок, на котором только что стояли гномы.

Они вернутся опять — но не раньше, чем засияет весеннее солнышко.

* * *

Из всего племени гномов один только Чудило-Мудрило остался на земле, опоздав на сход.

Старенький, одинокий, тихо бродит он по снегу лунными ногами, подставляя под серебряные лучи озябшие руки.

Один седой Чудило-Мудрило ходит по свету в своем колпачке и кафтане и топорщит косматые брови. На поясе у него связка ключей — он запирает на замок колокольчики и ландыши, чтобы они не будили спящие луга и леса.

Один Чудило-Мудрило бродит по свету, ниже из инея жемчужные бусы. О славе он больше не помышляет, ведь это она отравила честолюбием его душу и стала причиной всех бед.

Присмиривший, притихший, бродит он по свету, не важничает и всякую тварь жалеет.

Тяжелые минуты пережил он, услышав от Сарабанды, что гномы, спасаясь от морозов, скрылись под землю.

Но потом смирился со своей участью и частенько сиживал с маленьким музыкантом под старым дубом, слушая его песни.

Своей многотомной «Истории гномов» он, наверное, так никогда и не напишет.

Но кому нужна книга, которую огонь может сжечь, а ветер развезать?

Он пишет другую, лучшую книгу — живую.

Сядет у кроватки и рассказывает детям, когда им не спится, про короля Светлячка, про его мантию, золотую корону и скипетр с сияющим брильянтом, про Хрустальный Грот, мечи, щиты и латы, вспоминает о великом весеннем походе на Петровой телеге, о кладах, о своих верных товарищах — гномах и о сиротке Марысе.

Как-то долгой зимней ночью рассказал он и мне эту историю, а я ее записала.





ОТФРИД
ПРОЙСТЕР

Крabbатт



Легенды
старой мельницы







Пересказ с немецкого
А. ИСАЕВОЙ и Э. ИВАНОВОЙ



Год нервный.

МЕЛЬНИЦА В КОЗЕЛЬБРУХЕ



аступил Новый год. Крабат, сорбский мальчик лет четырнадцати, сговорился еще с двумя такими же нищими мальчишками пойти колядовать по деревням — нарядиться волхвами и распевать во дворах рождественские песни. Не устрасил их и указ Его милости курфюрста Саксонского, карающий бродяг и попрошайек. Да ведь судьи и другие чиновники тоже не принимали этот указ чересчур уж всерьез.

И вот три волхва, водрузив на голову венцы из соломы, бредут от деревни к деревне. Один из них, маленький веселый Лобош, изображает мавра. С утра старательно вымажет сажей лицо и руки и весь день с гордым видом несет впереди прибитую к палке вифлеемскую звезду. Подходя к подворью, они на ходу перестраиваются, Лобош теперь в середине. И возносятся к небу чистые звонкие голоса. Правда, Крабат только губами шевелит — у него ломается голос. Зато друзья его стараются вовсю.

Многие крестьяне закололи под Новый год свинью, а потому и угощение волхвам подносят царское — колбаса, сало. А то и яблоки переищдают, чернослив, орехи. Пореже — медовые лепешки, анисовые пряники, печенье с корицей.

— А здорово Новый год начался! — говорит Лобош на третий день к вечеру. — Вот бы и дальше так!

— Да, не плохо бы! — вздыхают оба волхва.

Ночь провели на сеновале возле кузни. Тут-то Крабату и приснился впервые тот таинственный сон.

...Длинная жердь — вроде насеста. На ней одиннадцать воронов. Пристально смотрят они на Крабата. А на самом конце жерди — свободное место. И вдруг голос. Он долетает издалека, будто гонимый ветром: «Крабат!.. Крабат!.. Крабат!..» У Крабата нет сил отозваться. Голос приказывает: «Иди в Шварцкольм на мельницу! Не пожалейся!» Вороны взмывают ввысь. Каркают: «Повинуйся Мастеру... Повинуйся!..»

Крабат просыпается: «И что только не приснится!» Он поворачивается на другой бок.

Днем они бредут дальше. Вспомнив про воронов, Крабат улыбается.

Но и на следующую ночь сон повторился. Опять звал его голос, опять каркали вороны: «Повинуйся!»

Тут уж не до смеха.

Утром Крабат спросил хозяина дома, знает ли тот деревню Шварцкольм. Крестьянин задумался.

— Шварцкольм?.. Шварцкольм... Кажется, слышал. Ах, да! На дороге к Ляйпе. У самого Хойерсвердского леса стоит.

Волхвы переночевали в Грос-Парвитце. И опять здесь приснился Крабату тот же сон — вороны и чудной, плывущий по воздуху голос — все, как в первый раз.

Тут уж он решился.

На рассвете, оставив спящих спутников, выскользнул из сарая. У ворот попросил какую-то девушку, спешившую с ведрами к колодцу, передать им привет и сказать, что он уходит.

И вот Крабат шагает один от деревни к деревне. Ветер швыряет ему в лицо пригоршни снежной крупы. На каждом шагу приходится останавливаться, протирать глаза. Как назло в Хойерсвердском лесу сбился с пути. Часа два ушло, чтобы отыскать дорогу. Лишь под вечер дошел до деревни.

Деревня как деревня: дома и сараи по обе стороны улицы, сугробы, дым над крышами. Из хлевов доносится глухое блеяние и мычание. На льду небольшого пруда смех и веселье — дети носятся на коньках.

Крабат озирается, ищет вдали мельницу. Ее не видно. Старик с вязанкой хвороста на вопрос Крабата отвечает:

— Тут, в деревне, мельницы нет.

— А по соседству?

— А-а, может, ты про ту... — Старик тычет пальцем через плечо. — Там, подальше, в Козельбрухе, у Черной воды, есть одна, да только вот... — Старик умолкает, испугавшись, что сказал лишнее.

Крабат благодарит и идет туда, куда показал старик. Вдруг кто-то трогает его за рукав. Он оборачивается, все тот же старик с хворостом.

— Ты что? — удивляется Крабат.

Старик подходит еще ближе, испуганно шепчет:

— Слышь, парень, обойди-ка ты лучше стороной Козельбрух и мельницу у Черной воды. Там нечисто...

Одно мгновение Крабат колеблется. Стоит в нерешительности и смотрит на старика. Потом идет дальше, выходит из деревни в поле.

Темнеет. Только бы не сбиться с пути, не потерять тропинку. Его познабливает. Оглянувшись, он видит, как в деревне один за другим зажигаются огни.

Может, назад повернуть?

— Да ну! Что я, маленький, что ли? — бормочет он и поднимает воротник.

Он бредет по лесу, как в тумане. Нежданно-негаданно выходит на поляну. И тут, разорвав облака, выглядывает луна. Все освещается холодным серебристым светом.

Крабат видит мельницу.

Притаившись в снегу, стоит она мрачная и угрюмая, словно огромный злой зверь в ожидании добычи.

«Никто ведь не заставляет меня идти!..»

Собрав все свое мужество и обозвав себя трусом, Крабат подходит ближе. Решительно направляется к двери, толкает ее. Дверь заперта. Стучит раз, другой... Ни звука — ни лая собак, ни скрипа ступенек, ни позвякивания ключей.

Он стучит снова. Стучит так, что кулакам больно. Но по-прежнему тихо на мельнице. Он пробует нажать ручку. И тут... дверь поддается.

Он входит в сени. Мрак и тишина. Но где-то в глубине чуть брезжит свет. Слабое мерцание...

Где свет, там и люди.

Он идет на свет, вытянув вперед руки, на ощупь. Свет пробивается сквозь узкую щель приоткрытой двери. Подкравшись на цыпочках, он пытается разглядеть в щелку, что там, за дверью.

Полутемная каморка, освещенная лишь пламенем свечи. Свеча красная. Она примостилась на черепе, лежащем на столе посреди комнаты. За столом какой-то человек в черном. Огромный, широкоплечий, лицо бледное как мел. На левом глазу черная повязка. Перед ним на столе толстая книга в кожаном переплете, на цепи. Человек читает.

Вдруг он поднимает голову, пристально смотрит в сторону двери, словно заметил Крабата. Его взгляд пронизывает Крабата, глаза у того начинают слезиться. Все словно подернулось пеленой.

Крабат протирает глаза. И вдруг он чувствует на своем плече ледяную руку. Холод проникает сквозь куртку и рубашку. Хриплый голос произносит по-сербски:

— А вот и ты! Наконец-то!

Крабат вздрагивает — голос ему знаком. Обернувшись, он видит человека с черной повязкой на глазу.

Как он здесь очутился? Не сквозь дверь же прошел?

В руках у человека свеча. Он поднимает ее, молча осматривает Крабата, медленно цедит:

— Я здесь хозяин. Мастер. Мне нужен ученик. Могу взять тебя. Хочешь?

— Хочу! — отвечает Крабат и не узнает своего голоса, он кажется ему чужим, незнакомым.

— Чему тебя учить? Молоть зерно или еще чему другому? — допытывается Мастер.

— Другому тоже.

— Ну что ж, по рукам! — Мельник протягивает ледяную руку. Левую.

Как только они ударили по рукам, раздался глухой грохот. Пол покачнулся, стены задрожали, балки и косяки содрогнулись. Шум шел будто из-под земли.

Крабат вскрикнул, метнулся. Прочь, прочь отсюда!..

Но Мастер преградил ему путь.

— Мельница! — крикнул он, сложив рупором руки. — Мельница заработала!

ОДИННАДЦАТЬ И ОДИН



Мастер поманил Крабата следовать за ним. Осветив свечой крутую лестницу, молча повел его на чердак, где жили подмастерья. Огонек свечи высветил низкие нары, по шесть с каждой стороны прохода, мешки с соломой на них, рядом тумбочки и табуретки. Скомканные одеяла, перевернутая скамейка, брошенные кое-как рубашки и портянки. Видно, люди прямо из постели сложили голову бросились на работу.

Лишь одна постель аккуратно застелена. Мастер ткнул пальцем в узелок, лежащий в изголовье.

— Твоя одежда!

Потом повернулся и ушел, унося свечу.

Крабат остался один в темноте. Начал медленно раздеваться. Снимая шапку, обнаружил на ней соломенный венец. Ах да, еще вчера ведь они, три волхва, бродили по дворам... Как давно это было!

Чердак весь дрожал от шума и грохота работающей мельницы. Какое счастье, что он смертельно устал! Едва коснувшись подушки, он тут же уснул глубоким тяжелым сном. Как долго он спал!.. И вдруг проснулся, потревоженный светом фонаря. Приподнял голову и... оцепенел.

Над ним склонились одиннадцать белых фигур... белые лица, белые руки...

— Кто вы? — в испуге прошептал Крабат.

— Скоро и ты станешь таким же, — ответил один.

— Мы тебя не тронем, — успокоил другой, — мы — подмастерья.

— Вас одиннадцать?

— Ты — двенадцатый. Как тебя звать?

— Крабат. А тебя?

— Я — Тонда, старший подмастерье. Вот Михал, а это Мертен, Юро... — Тонда назвал всех по имени. — Ну, на сегодня хватит. Спи, Крабат, тебе надо набраться сил. Тут ведь знаешь как... у нас на мельнице...

Подмастерья разбрелись по постелям. Кто-то задул фонарь.

— Спокойной ночи!

И все тут же дружно захрапели.

На завтрак собрались в людской. Сидели за длинным деревянным столом. Все двенадцать. На четверых одна миска с жирной овсяной кашей.

Голодный Крабат ел за троих. Если обед и ужин такие же сытные, как завтрак, что ж, на мельнице жить можно!

Тонда, старший подмастерье, оказался статным парнем с седой шевелюрой. А по лицу ему не дашь и тридцати. Глаза серьезные, грустные, а говорит спокойно и дружелюбно. Крабат сразу почувствовал к нему доверие.

— Ну как, не очень мы тебя напугали нынче ночью? — спросил Тонда Крабата.

— Да нет... не очень!..

Ночные призраки при свете дня выглядели ничуть не страшнее. Люди как люди! Говорили они по-сорбски и были всего на несколько лет постарше Крабата. Когда кто-нибудь из них встречался с ним взглядом, ему казалось, что тот глядит на него с сочувствием. Странно. Но об этом он не слишком задумывался.

Что его больше удивляло, так это одежда, которую он нашел на нарах. Вещи были поношенные, но пришлось ему в пору, будто на него сшиты. Он все же решился спросить, откуда они взялись, чьи были раньше. Наступило тягостное молчание. Подмастерья удрученно глядели на него, опустив ложки.

— Я сказал глупость?

— Нет, нет,— успокоил его Тонда.— Это одежда... Твоего предшественника.

— А почему его нет? Он уже выучился?

— Да... Он выучился.

В это мгновение дверь распахнулась. В комнату ворвался разъяренный Мастер. Парни потупились и ссутулились.

— Прекратить болтовню! — взревел он, глядя на Крабата в упор своим единственным глазом.— Кто много спрашивает, тому много врут. Понял? А ну-ка, повтори!

— Кто много спрашивает, тому много врут,— повторил Крабат, запинаясь.

— Заруби это себе на носу!

Дверь за Мастером захлопнулась.

Подмастерья вновь заработали ложками. Но Крабату вдруг расхотелось есть. В полной растерянности он переводил взгляд с одного на другого. Никто не обращал на него внимания. А вот и нет. Тонда едва заметно ему кивнул. Радость охватила Крабата — как хорошо, что на мельнице у него есть друг!

После завтрака отправились на работу. Крабат поднялся вместе со всеми.

В сенях стоял Мастер.

— Следуй за мной! — поманил он Крабата пальцем.

Вышли во двор. Ярко светило солнце, на деревьях сверкала иней. Было безветренно и морозно.

Обошли мельницу. Сзади оказалась еще одна дверь. Мастер открыл ее. Вошли в каморку с низким потолком и двумя крохотными окошками, серыми от мучной пыли. Толстым слоем она лежала повсюду — на полу, на стенах, на дубовой балке, свисающей с потолка.

— Вымети! — приказал Мастер, ткнув пальцем в угол, где стояла метла. И ушел.

Что ж, надо браться за работу! Но от первых же взмахов метлы поднялось густое облако мучной пыли и окутало Крабата.

Нет, так не пойдет! Пока я мету здесь, пыль оседает там. Надо открыть окно!..

Но оказалось, что окна заколочены снаружи.

Попробовать открыть дверь?

Но и дверь заперта. Крабат принялся трясти ее, колотить кулаками. Все напрасно... Он в ловушке!..

Лоб Крабата покрылся испариной. Мука оседала на волосах, склеивала ресницы. От нее першило в горле, щекотало в носу. Все было как в бесконечном кошмарном сне: облака мучной пыли, густой туман, метель...

Дышать становилось все труднее, кружилась голова, он стукнулся лбом о балку. Может, бросить все это? Поставить в угол метлу? А что скажет Мастер? Ведь с ним шутки плохи. Да и жалко терять кров и еду. Надо попробовать еще раз!

От двери к окну, от окна к двери, опять от двери к окну... И так час за часом! Казалось, прошла целая вечность.

И вдруг кто-то рванул дверь. Тонда!

— Выходи! Обед!

Дважды повторять ему не пришлось. Едва держась на ногах, задыхаясь и кашляя, Крабат пошел к двери. Тонда окинул взглядом каморку, понимающе посмотрел на Крабата.

— Ничего, брат, поначалу всем так приходится!

Потом он пробормотал какие-то непонятные слова, начертил в воздухе какие-то знаки. Мгновенно вся пыль поднялась, будто из щелей и пазов подул ветер. Белое облако взметнулось над Крабатом, вылетело в дверь, унеслось в лес.

Каморка засверкала чистотой. Ни пылинки!

Крабат широко раскрыл глаза.

— Как же это ты смог?

Но вместо ответа Тонда сказал:

— Пошли, Крабат, суп остынет!

РАБОТА ЗДЕСЬ, КОНЕЧНО, НЕ МЕД...



рудно пришлось Крабату. Мастер не давал передышки, все подбавлял да подбавлял работы: «Куда ты подевался, Крабат? А ну-ка, оттащи мешки в амбар!», «Иди-ка сюда! Перевороши лопатой зерно, не то прорастет!», «В муке, что ты вчера просеял, полно мякны! После ужина просеешь снова! Пока не кончишь, спать не ложись!»

Мельница в Козельбрухе работала и в будни и в праздники, с раннего утра до позднего вечера. Лишь раз в неделю, по пятницам, они кончали раньше, а по субботам начинали часа на два позже. Крабат таскал мешки, просеивал муку, колол дрова, разгребал снег, носил на кухню воду, чистил скребницей лошадей, убирал навоз — дел хватало. Вечером, ложась на нары, чувствовал

себя разбитым. Ломило поясницу, ныли руки и ноги, горели волдыри на плечах.

Крабат удивлялся своим товарищам. Тяжелая работа, казалось, совсем их не затрудняла — никто не жаловался да никто особенно и не уставал.

Как-то утром он расчищал дорогу к колодцу. Ночью шел сильный снег, намело высокие сугробы, засыпало все тропинки. Крабат устал. Каждый взмах лопаты отдавался в пояснице. Стиснув зубы, пытался он превозмочь боль. Вдруг появился Тонда. Убедившись, что никого вокруг нет, положил ему руку на плечо.

— Держись, Крабат!

Крабату показалось, что в него влились новые силы. Боль отступила. С жаром схватился он за лопату, начал расшвыривать сугроб. Но Тонда остановил его:

— Только смотри, чтоб Мастер не заметил! И Лышко тоже.

Лышко, длинный как жердь парень с острым носом и колким взглядом, не понравился Крабату с первого же дня. Сразу видно — ябеда и наушник.

— Ладно! — И Крабат стал работать так, будто каждый взмах лопаты дается ему с трудом.

Вскоре, как бы случайно, явился Лышко.

— Ну как, Крабат? Работа по вкусу?

— По вкусу! Сожри лягушку, тогда узнаешь!

С этого дня Тонда часто оказывался возле Крабата. Потихоньку клал ему руку на плечо, и в того словно вливались новые силы. Работа казалась вдвое легче.

Мастер и Лышко ни о чем не догадывались, как и другие обитатели мельницы. Братья Михал и Мертен, добродушные и сильные, как медведи, рябой Андруш, весельчак и шутник, Ханцо, прозванный Буйволом за бычий затылок и короткую стрижку, Петар, все свободное время вырезавший деревянные ложки, проворный, бедовый Сташко, ловкий, как обезьянка, которую в прошлом году Крабат видел на ярмарке в Кёнигсварте, хмурый Кито и молчаливый Кубо тоже ничего не замечали. И уж подавно — придурковатый Юро.

Юро, коренастый коротышка с круглым веснушчатом лицом, жил на мельнице уже давно. Работать, как все, он не мог. «Не хватает ума отличить муку от отрубей», — насмешничал Андруш. Как-то раз, оступившись, он чуть не угодил в дробилку. «Опять повезло! Дуракам счастье!» — усмехался Андруш.

Юро, привычный к насмешкам, спокойно сносил зубоскальство Андруша, безропотно втягивал голову в плечи, если Кито грозил ему кулаком из-за какого-нибудь пустяка. А когда подма-

стерья его разыгрывали, что случалось довольно часто, только ухмылялся, будто хотел сказать: «Ну что вам от меня надо? И без вас знаю, что дурак!»

Но для домашней работы он годился. Кому-то все равно надо было заниматься хозяйством. Вот все и радовались, что Юро взял на себя готовку и выпечку хлеба, мытье полов и посуды, топку печей и уборку, стирку и глажку да и много всяких других дел по дому и по кухне. Куры, гуси и свиньи также были на его попечении.

Как Юро успевал со всем управляться один, было для Крабата загадкой. Его товарищи принимали это как должное, а Мастер смотрел на Юро как на последнюю скотину. Крабату все это было не по душе.

Однажды, притащив на кухню вязанку дров и получив от Юро — уже не в первый раз — обрезок колбасы, он прямо так и сказал:

— Не понимаю, как ты это терпишь?

— Что терплю? — удивился Юро.

— Как так «что»? Мастер тобой помыкает, парни насмеются!..

— Тонда не насмеется, — возразил Юро, — да и ты тоже.

— А другие? Был бы я на твоём месте, я б за себя постоял. Уж показал бы и Кито, и Андрушу да и любому!

— Гм-м, — почесал в затылке Юро, — у тебя бы, может, и вышло! А уж если кто дураком уродился...

— Тогда уходи отсюда! Ищи другое место, где тебе будет лучше!

— Уйти? — на мгновение Юро перестал глупо ухмыляться. Лицо его выражало теперь горечь и усталость. — Попро-буй-ка, Крабат, уйти отсюда!

— У меня нет причины!

— Да, конечно! Будем надеяться, что и не будет!

Он сунул ему в карман кусок хлеба, подтолкнул к двери, кивнул, не давая поблагодарить. На лице его вновь блуждала всегдашняя глуповатая ухмылка.

Крабат сберег хлеб и колбасу на вечер. После ужина, когда подмастерья расположились в людской и Петар принялся резать ложки, а остальные пустились рассказывать были и небылицы, он поднялся на чердак и, зевая, улегся на нары. Отламывая кусок за куском и радуясь угощению, он невольно думал о Юро и вспоминал их разговор.

Уйти? А зачем? Работа здесь, конечно, не мед... А если б не Тонда, ему бы и вовсе несдобровать. Зато еды вдоволь, ешь — не хочу! Да и крыша над головой. Встав утром, знаешь, где тебе спать ночью! О чем же еще мечтать нищему мальчишке?



днажды Крабату уже приходилось убегать. Было это сразу после смерти родителей, они умерли в прошлом году от оспы. Пастор взял его тогда к себе, чтобы, как он говорил, не дать пропасть мальчику.

Убегать пришлось не из-за пастора и его жены, всегда мечтавших о сыне, а из-за себя самого. Ему, привыкшему к вольготной жизни в убогой лачужке, стало невозможно в доме пастора: не ругайся, не дерись, разгуливай весь день в белой рубашке да еще и в ботинках, мой шею и руки, причесьвайся гребнем, следи за ногтями. А главное — говори по-немецки, всегда только по-немецки!

Крабат старался изо всех сил, старался неделю, месяц. А потом сбежал и стал бродить по дорогам вместе с другими нищими мальчишками. Может, он и здесь, на мельнице в Козельбрухе, не так уж долго продержится. Но уходить можно только летом, решил он уже в полусне, дожевывая последний кусок. Пока не зацветут луга, не заколосятся поля, не заплещется рыба в пруду, меня отсюда не выманишь.

Лето. Цветут луга, колосятся поля, плещется рыба в пруду.

Крабат, вместо того, чтобы таскать мешки, прилег в холодке на траву и уснул в тени мельницы. Тут-то его и накрыл Мастер, огрел суковатой дубинкой.

— Я тебе покажу бездельничать среди бела дня!

Такое Крабат, конечно, сносить не станет! Может, еще зимой стерпел бы, когда ледяной вестер пронизывает до костей... Мастер, видно, забыл, что уже лето!

Ни минуты не останется он на мельнице! Крадучись, вошел в дом, взял на чердаке куртку, шапку, шагнул за порог. Никто его и не видит. Мастер убрался в свою комнату, окна ее занавешены из-за жары. Парни — кто на мельнице, кто в амбаре. Даже у Лышко нет времени подсматривать. И все же Крабат чувствует: кто-то за ним наблюдает.

Оглянувшись, видит на крыше сарая лохматого черного кота да еще и одноглазого. Откуда он взялся? Крабат поднимает с земли камень. Кот удирает. Теперь через кусты быстрее к пруду! И тут он замечает почти у самого берега жирного карпа, глядящего на него из воды. Он тоже одноглазый.

Крабату не по себе. Опять он находит камень... Карп уходит в зеленую глубину.

Крабат бредет вдоль пруда к Козельбруху. Минует Пустошь. Задерживается на мгновение у могилы. Ему чудится: это могила Тонды. Да, снежным зимним днем здесь похоронили его друга. И вдруг сердце замирает.

ет — хрипло каркает ворон. Он сидит на верхушке сосны, словно застыл, взгляд его устремлен на Крабата. И у этого тоже всего один глаз.

Теперь Крабат все понял. Он бросается бежать. Бежит мимо пруда, вдоль берега речки, только пятки сверкают.

Едва останавливается передохнуть, замечает ползущего в вереске ужа. Тот с шипением поднимает голову, глядит на него единственным глазом.

Одноглазая лиса выглядывает из зарослей.

Крабат бежит, лишь изредка переводя дыхание. Бежит, останавливается на миг, опять бежит. К вечеру выбирается из Козельбруха. Вот и просвет между деревьями, теперь до деревни рукой подать. Здесь Мастер его уже не настигнет. Он подходит к реке, зачерпывает воды, освежает лоб, виски. Заправляет выбившуюся рубашку, подтягивает пояс. Делает несколько шагов и... вздрагивает. Не на поле он вышел, на поляну. На поляне в свете луны высится мельница. Мастер стоит у ворот. Усмехается:

— А-а, Крабат! А я уж собирался тебя искать!

Крабат поражен. Как же это так получилось? Он решает бежать снова. На этот раз на рассвете, по утренней росе. Бежит в обратную сторону. Теперь уже мимо леса, по полям и лугам, через хутора и деревеньки. Перепрыгивает ручьи, пробирается по болоту. Без остановки, без отдыха, не обращая внимания на воронов, ужей, лисиц. Ни на кого не глядя — ни на котов, ни на кур, ни на рыб, ни на селезней! Пусть хоть двуглазые, хоть одноглазые, теперь его не запутаешь!

Но в конце долгого дня он опять стоит на поляне перед мельницей. Тут уж его встречают все подмастерья: Аышко — язвительными насмешками, другие — молча и, видно, с сочувствием. Крабат в отчаянии. Но он не сдаётся. Надо попытаться в третий раз, этой же ночью.

Выбраться с мельницы оказалось не трудно. А дальше — прямо на Полярную звезду! Он бредет в темноте, спотыкаясь о корни, продираясь сквозь кустарник. Ушибы, царапины — ерунда. Главное, никто его не видит, никто не собьёт с пути ни колдовством, ни обманом...

Рядом вскрикнул сыч, пронзительно крильями сова. При слабом свете звезд он различает вдруг нахохлившегося филина. Тот сидит на ветке совсем рядом и смотрит на Крабата одним-единственным глазом.

Крабат бежит дальше, спотыкается, падает в канаву с водой. Очтившись на рассвете перед мельницей, уже не удивляется.

В доме еще совсем тихо, только Юро возится на кухне, растапливает печь. Крабат останавливается на пороге.

— Ты прав, Юро, отсюда не убежишь!

Юро дает ему попить. Помогает снять мокрую, черную от грязи рубашку.

— Да ты умойся!

Зачерпнув ковшиком воды, сливает Крабату на руки и говорит серьезно, без обычной ухмылки:

— *Что не удалось одному, может, еще получится, если взяться вдвоем. Давай попробуем вместе!*

Крабат проснулся от шума: подмастерья взбираются по лестнице, расходятся по постелям. Во рту у него все еще вкус колбасы, значит, спал он совсем недолго, хотя во сне прошло два дня и две ночи.

Утром он на несколько минут остался наедине с Юро.

— Я видел тебя во сне, Юро. Ты дал мне один совет.

— Я? Да ну? — удивился Юро. — Наверно, какая-нибудь глупость. Плюнь ты на это, Крабат!

НЕЗНАКОМЕЦ С ПЕТУШИНЫМ ПЕРОМ



а мельнице в Козельбрухе было семь жерновых поставов. Шесть работали постоянно, седьмой же — никогда. Поэтому его называли «мертвый жернов».

Поначалу Крабат думал, что у него сломана втулка или еще что-нибудь, но, подметая как-то утром пол, увидел под ним немного муки. Приглядевшись получше, он заметил остатки муки и в ларе. Будто выгребали ее впопыхах. Может, мертвый жернов работал ночью? И кто-то молот потихоньку, когда все спали? А может, не все спят так крепко, как он?

Ну да! Ведь парни явились сегодня утром к завтраку бледные, с темными кругами под глазами. Сидели вялые, украдкой позевывали. Теперь это отчетливо всплыло в памяти. Так вот оно что!..

В середине февраля ударил крепкий мороз. Каждое утро приходилось скалывать лед со шлюзов. По ночам, когда мельничное колесо стояло, он намерзал на лопастях толстой коркой. Надо было и ее вырубать. Но опаснее всего лед, выраставший на лотке. Чтобы не остановилось колесо, приходилось то и дело по двое спускаться в желоб и разбивать там лед; работа не из приятных, но Тонда следил, чтобы никто не отлынивал.

Когда же очередь дошла до Крабата, спустился вниз сам. «Для мальчонки, — сказал он, — это слишком опасно, может что и случиться». Парни с ним согласились. Только Кито, по обыкновению, нахмурился. А Лышко усмехнулся:

— Случиться может с каждым, кто не остережется!

Но тут как раз появился глупый Юро с ведрами. Он нес похлебку свиньям. Проходя мимо Лышко, нечаянно споткнулся

и облил его помоями. Лышко разразился руганью, а Юро завопил:

— Ой, ой, ой! Не сердись, Лышко! Я сам себя готов высечь! Как же от тебя теперь нести будет! И все я! Ой, ой, ой, бедные мои свинки! Остались без похлебки!

Крабату теперь часто приходилось ездить с Тондой и другими подмастерьями в лес.

Сытый, тепло одетый, в меховой шапке, низко надвинутой на лоб, он не унывал даже в лютый мороз. Хорошо катить в сани по зимнему лесу!

Они валили деревья, очищали от веток, распиливали, складывали в штабеля, оставляя зазоры между стволами, чтобы получше просушить, а уж будущей зимой перевезти на мельницу, обтесать и пустить на балки, брусья, доски.

Так проходила неделя за неделей. В жизни Крабата ничего не менялось. Кое-что, правда, его удивляло. Странно, например, что к ним не приезжают крестьяне с зерном. Может, окрестные жители их избегают? Но ведь жернова мелют день за днем, в амбар засыпают ячмень, овес, пшеницу. А может, мука, текущая днем в мешки, ночью опять превращается в зерно? Вполне возможно...

В начале марта погода резко изменилась. Дул западный ветер, нагоняя серые тучи.

— Пойдет снег, чуют мои кости,— бурчал Кито.

И правда, пошел снег. Но вскоре мохнатые мокрые снежинки превратились в капли дождя и отчаянно забарабанили по крыше.

— Знаешь,— обратился Андруш к Кито,— заведи-ка себе лучше квакушку. На твои кости нельзя положиться.

Ну и погодка! Дождь лил все сильнее и сильнее, сменялся градом, потом снегопадом. Снег снова таял... От потоков воды и таяния льда вздулся мельничный пруд. Пришлось под дождем бежать к шлюзам, закрывать, подпирать бревнами.

Выдержит ли плотина такой напор?

Если это продлится еще три дня, думал Крабат, мы потонем тут вместе с мельницей.

Но к вечеру шестого дня все стихло. В лучах заходящего солнца, глянувшего в разрывы туч, на мгновение вспыхнул черный мокрый лес.

Ночью Крабат увидел сон, будто на мельнице взметнулся пожар.

Парни вскочили с нар, с грохотом несутся вниз по лестнице. А Крабат все лежит и лежит, не в силах сдвинуться с места. Вот уже пламя охватило балки, слышен треск, искры падают ему на лицо. Он вскрикнул...

Крабат трет глаза, зевает, оглядывается. Где парни? Одежда откинута, простыни скомканы. На полу — куртка, в углу — шапка, шарф, пояс... Он ясно видит все это в свете красного пламени, врывающегося в слуховое окно...

Может, и вправду горит мельница?

Крабат бросается к окну, распахивает его, высовывается. Он видит тяжело нагруженную повозку, стоящую во дворе мельницы. Брезентовый верх ее почернел от дождя. В повозку впряжена шестерка коней. На козлах человек с высоко поднятым воротником, шляпа надвинута на лоб. Весь в черном, только петушиное перо на шляпе светится красным светом. Словно пламя, развевается оно на ветру, то взметнется, то почти затухает. Свет его озаряет мельницу.

Подмастерья снуют между повозкой и домом, стружают мешки, тащат их к мельнице, возвращаются за новыми. И все это молча, в лихорадочной спешке. Ни окрика, ни ругани, лишь прерывистое дыхание грузчиков да время от времени возница щелкнет кнутом над их головами. И тут будто порыв ветра подхватывает ребят, они начинают носиться с двойным усердием. Стараются и сам Мастер. В обычное время он и пальцем не шевельнет на мельнице, а теперь надрывается вместе с подмастерьями.

И вдруг он исчез во тьме. Нет, не передохнуть пошел, как подумал было Крабат, бросился к пруду, отвалил подиорки, открыл шлюзы.

Вода хлынула в лоток, со скрипом тронулось колесо, резво завертелось. Сейчас должны вступить жернова. Но заработал лишь один постав. Грохот его незнаком Крабату, он исходит из дальнего угла мельницы.

Грохот усиливается, к нему добавился шум и треск дробилки. Все слилось в глухое завывание.

Крабату вспомнился мертвый жернов. По спине побежали мурашки.

Между тем работа во дворе продолжалась. Вот уже повозка разгружена. Наступил перерыв, но ненадолго. Суতোлка возобновилась. Теперь мешки тащили к повозке. То, что в них было раньше, возвращалось перемолотым.

Крабат попытался пересчитать мешки, но его одолел сон. Однако с первым криком петуха он проснулся, теперь уже от стука колес. Незнакомец в повозке, нахлестывая коней, правил к ле-

су. И странное дело, тяжело груженная повозка летела по лугам, не оставляя следа на мокрой траве.

Закрыли шлюзы, остановилось колесо. Крабат шмыгнул в постель, натянул на голову одеяло. Подмастерья, шатаясь, взбирались по лестнице. Усталые, измученные, они молча разбрелись по постелям. Только Кито пробурчал что-то про чертову живодерню и новолунье — будь оно трижды проклято!

Утром Крабат с трудом поднялся с нар. Голова гудела, во всем теле слабость. За завтраком он украдкой поглядывал на ребят. Они казались заспанными и утомленными, угрюмо молчали, давясь кашей. Даже Андруш был не расположен к шуткам, уныло ковырял ложкой в тарелке.

После еды Тонда подозвал Крабата:

— Ты нынче скверно провел ночь?

— Да как сказать... Я ведь не надрывался, как вы, только смотрел. Почему вы меня не разбудили, когда приехал этот... с пером? Всё вы от меня скрываете. А ведь я не слепой, не глухой... Да и не пришибленный!..

— Никто так и не думает, — прервал его Тонда.

— А зачем же тогда вы играете со мной в жмурки? И как вам только не надоест!

— Всею свое время! — тихо сказал Тонда. — Скоро узнаешь все и про Мастера и про мельницу. День этот наступит раньше, чем ты думаешь. А пока потерпи!

КШ-Ш, НА ШЕСТ!



оследняя пятница перед пасхой. Ранний вечер, но над Козельбрухом уже висит бледная пухлая луна. Подмастерья собрались в людской, а усталый Крабат поднялся наверх, решил пораньше лечь спать. Даже и сегодня пришлось им работать. Хорошо, что наконец-то наступил вечер и можно отдохнуть!

Вдруг он слышит свое имя, как тогда, во сне, в кузне на сеновале. Только теперь этот плывущий по воздуху голос ему хорошо знаком.

Крабат приподнимается, садится, прислушивается.

— Крабат!

Крабат начинает одеваться.

И тут слышит свое имя в третий раз. Он торопится, бредет на ощупь к двери, открывает. Внизу, в сенях, свет, голоса, стук де-

ревянных башмаков. Его охватывает беспокойство. Он медлит, затаив дыхание. Потом берет себя в руки и быстро сбегает вниз по лестнице, прыгая через ступеньки.

Подмастерья столпились в конце коридора. Тут все одиннадцать. Дверь Черной комнаты открыта настежь. Мастер сидит за столом, как тогда, в первый раз. Перед ним толстая книга в кожаном переплете. Как и тогда, на столе череп, на нем горящая красная свеча.

Только теперь Мастер не бледен... Да и что вспоминать об этом, сколько времени прошло!..

— Ближе, Крабат!

Крабат стоит у порога. Он больше не чувствует ни усталости, ни головной боли, не слышит ударов своего сердца.

Мастер на мгновение останавливает на нем взгляд, потом поднимает левую руку и, обратившись к подмастерьям, произносит:

— Кш-ш, на шест!

Шурша крыльями, пронзительно каркая, над головой Крабата проносятся одиннадцать воронов. Оглянувшись, он не видит больше подмастерьев. А вороны уже разместились на жерди в углу Черной комнаты, смотрят на него... Мастер поднимается, тень его падает на Крабата.

— Вот уже три месяца, как ты на мельнице,— говорит он.— Ты выдержал испытание, Крабат, и теперь ты не просто ученик. Теперь ты мой ученик!

Он подходит к Крабату, левой рукой касается его левого плеча.

Крабат, содрогнувшись, чувствует, как начинает сморщиваться, сжиматься. Тело его уменьшается, на нем появляются перья, вытягивается клюв, растут когти. Он застыл на пороге у ног Мастера, не осмеливаясь поднять взгляд.

Мельник осматривает его, потом хлопает в ладоши:

— Кш-ш, на шест!

Крабат, ворон Крабат, расправляет крылья, готовясь взлететь. Взмах! Еще взмах!.. И вот он летит. Влетает в комнату, пролетает над столом, касаясь крылом книги и черепа, и, опустившись рядом с одиннадцатью воронами, крепко вцепляется в жердь.

Мастер тем временем поучает:

— Знай, Крабат, ты принят в школу чернокнижия. Здесь не учат читать, писать и считать. Здесь обучают искусству искусств. Видишь книгу, скрепленную цепью? Это Корактор — Черная книга. Видишь, у нее черные страницы и белые буквы. В ней все заклинания, какие есть на свете. Один только я могу ее читать, потому что я — Мастер. Вам же — тебе и другим ученикам — читать

ее запрещено. Если ослушаешься, я все равно узнаю. И не пытайся. А не то плохо тебе придется. Ты меня понял, Крабат?

— Понял! — каркает ворон Крабат, удивленный, что может говорить, хоть и хриплым голосом, но все же внятно и без труда.

До Крабата и раньше доходили слухи о школах чернокнижия. Больше всего их было, по рассказам, в Нижних Лужицах. Но он считал все это небылицами, какие встарь рассказывали при лучине за прялкой. И вот неожиданно-негаданно сам угодил в такую школу на мельнице. Похоже, об этой мельнице идет молва по всей округе. И все обходят ее стороной.

Однако долго раздумывать ему не пришлось. Мастер вновь уселся за стол и принялся читать вслух Корактор. Медленно, нараспев, раскачиваясь взад и вперед.

— «Это искусство высушить колодец так, чтобы уже на другой день в нем не было ни капли воды. Сперва запасись четырьмя высушенными на печи березовыми колыями. Каждый в три с половиной пяди длиной, в большой палец толщиной. Расщепи один конец на три части и заостри каждую. В полночь огороди колодец колыями. Отсчитай во все стороны света по семь шагов от середины колодца и всади каждый кол в землю. Прodelай все это молча, трижды обойди колодец и произнеси, что здесь написано...»

Дальше следовало заклинание — набор непонятных слов. Они звучали красиво и складно, но как-то жутко, словно предвещающая беду. Потом Мастер стал повторять все сначала:

— «Это искусство высушить колодец...»

Трижды прочитал Мастер текст и заклинание все тем же тоном, нараспев, раскачиваясь взад и вперед, закрыл книгу, помолчал и обратился к воронам:

— Я научил вас, — заговорил он уже своим обычным голосом, — новому приему тайной науки. А ну-ка, посмотрим, как вы запомнили. Начинай! — Он ткнул пальцем в одного из воронов.

— «Это искусство... высушить колодец так... чтобы уже на другой день... в нем не было ни капли воды...»

Мельник указывал пальцем то на того, то на другого, и, хотя он не называл имен, Крабат догадывался, кто это, по тому, как тот отвечал. Тонда говорил спокойно и обдуманно, Кито — с плохо скрытым раздражением, Андруш, как всегда, бойко, Юро повторение давалось с трудом, он то и дело застревал. Скоро Крабат узнал всех.

— «Это искусство высушить колодец...»

Каждый повторял заклинание, кто бегло, кто запинаясь. Пятый, девятый, одиннадцатый...

— А теперь ты! — обратился Мастер к Крабату.

Крабат вздрогнул, запнулся:

— «Это искусство... искусство... колодец...»

И замолчал. Не мог вспомнить, что дальше. Не мог, да и все. Теперь его Мастер накажет...

Но Мастер спокоен.

— В следующий раз, Крабат, обращай внимание на слова, а не на голос. Не забывай, что здесь, в моей школе, никого не принуждают учиться. Запомнишь, что я читаю, — пойдет тебе на пользу, не запомнишь — тебе же хуже. Подумай об этом!

Дверь отворилась. Вороны прошелестели по воздуху. В коридоре они вновь приняли человеческий облик.

Крабат и сам не заметил, как опять превратился в мальчика. Когда же он поднялся вслед за другими по лестнице, ему показалось все это дурным сном.

ЗНАК ТАЙНОГО БРАТСТВА



а следующий день, в канун пасхи, работать не пришлось. После завтрака многие поднялись наверх, вздремнуть еще часок.

— И ты, Крабат, тоже иди, — сказал Тонда. — Спи в запас.

— В запас? Как это?

— Узнаешь. Ложись и спи как можно дольше!

— Ладно, пойду. Извини уж, что все спрашиваю.

На чердаке кто-то завесил оконце тряпкой — в полумраке скорей заснешь.

Крабат улегся на бок, спиной к окошку, уткнул лицо в ладони.

Он спал, пока его не разбудил Юро:

— Вставай, Крабат! Стол накрыт!

— Уже обед?

Юро, смеясь, сорвал тряпку с оконца.

— Ха-ха! Обед! Солнце заходит! Эх ты, соня!

В тот вечер подмастерья обедали и ужинали разом. Еда была особенно вкусная и сытная, словно на праздник.

— Ешь побольше, Крабат! — посоветовал Тонда. — В другой раз поесть придется не скоро!

В сумерках в людскую вошел Мастер. Все встали в круг, он — в середине. Начали считаться, словно для игры в прятки. Только слова «считалки» звучали очень уж странно... Сперва Мастер вел счет слева направо, потом справа налево. Первым вышел Сташко, вторым — Андруш. Они молча покинули круг и удалились.

Мастер начал счет заново. Теперь жребий пал на Мартена и Ханцо. За ними ушли Лышко и Петар. Последними остались Крабат и Тонда.

Медленно и торжественно повторил Мастер неведомые слова, потом движением руки отпустил и их.

Тонда сделал знак Крабату следовать за ним. Молча спустились с крыльца мельницы, молча подошли к сараю.

— Подожди-ка минутку!

Тонда вынес два одеяла, одно протянул Крабату. Пошли вдоль мельничного пруда, в сторону Шварцкольма. Когда дошли до леса, была уже темная ночь. Крабат старался ни на шаг не отставать от Тонды. Окрестности были ему как будто знакомы. Казалось, он здесь уже бывал когда-то. Ну да, зимой... Он шел тогда на мельницу и чувствовал себя таким одиноким... Как давно это было! Неужели прошло всего три месяца? Даже не верится...

— Шварцкольм! — кивнул Тонда.

Меж деревьев мелькнули огни деревеньки. Но Тонда свернул направо. Сухая песчаная тропинка вела через кусты, мимо одиноких деревьев, к полю. Здесь на просторе небо казалось шире и выше от блеска звезд.

— Куда мы идем? — не удержался Крабат.

— Увидишь.

Свернули на полевую тропку, ведущую мимо деревни, вышли на дорогу, уходящую в темневший невдалеке лес.

— Скоро придем, — сказал Тонда.

Взошла луна, осветив все призрачным светом. Наконец вошли в лес. Здесь у поворота дороги, в тени могучих сосен, притаился деревянный крест. Старенький, побитый ветром и непогодой, без надписи и украшений.

— Много лет назад здесь погиб человек, — сказал Тонда. — Говорят, он валил сосну... Но по правде сказать, никто уже толком не помнит, как это было.

— А зачем мы сюда пришли?

— Так угодно Мастеру. Пасхальную ночь все мы, по двое, должны провести под открытым небом — там, где кто-нибудь умер не своей смертью.

— А что нам здесь делать?

— Разожжем костер, завернемся в одеяла и будем сидеть до рассвета, а потом — увидишь.

Они не давали костру сильно разгораться, боясь, что огонь заметят в деревне. Тонда ломал сухие ветки, собранные на опушке, иногда спрашивал мальчика, не замерз ли тот, велел ему подбросить хворосту в костер. Мало-помалу разговор смолк. Крабат попытался было его возобновить:

— Послушай, Тонда!

— Ну?

— Так всегда в школе чернокнижия — Мастер читает из Ко-
рактора, а уж ты не зевай, запоминай?..

— Да.

— Не думал я, что так учатся колдовству!

— Так и учатся.

— А Мастер здорово рассердился, что я невнимательно
слушал?

— Да нет, не так уж.

— В другой раз я постараюсь все запомнить. Как ты дума-
ешь, смогу?

— Конечно.

Разговор явно не клеился. Видно, Тонде не хотелось гово-
рить. Прислонившись спиной к кресту, он сидел прямо и непо-
движно, устремив взгляд куда-то вдаль, за деревню, в простор
освещенного луной поля.

Крабат тихонько окликнул его, но тот не ответил. Мальчику
стало как-то не по себе. Краем уха он слышал, будто некоторые
люди знают тайну, как выпорхнуть из себя и блуждать невидим-
кой, оставив пустую оболочку. А что, если и Тонда выпорхнул из
себя? Может, он, сидя здесь у огня, бродит на самом деле где-то
там, далеко, далеко...

Крабат без конца менял положение, опирался то на один, то
на другой локоть, следил, чтобы костер горел ровным пламенем,
ломал и подкладывал ветки и сучья. Только бы не заснуть!

Так проходил час за часом. Звезды медленно кочевали по
бескрайнему небу. Тени деревьев сместились, вытянулись. Похо-
же, что жизнь начала возвращаться к Тонде. Он глубоко вздох-
нул, наклонился к Крабату:

— Колокола!.. Слышишь?

С четверга колокола молчали, и вот сейчас, в пасхальную
ночь, окрестные деревни, поля и луга огласились глухим гулом
и рокотом, а потом мелодичным колокольным звоном.

И с первым же ударом колокола к небу вознесся высокий чи-
стый девичий голос. Это была старинная песня. Крабат знал ее
и раньше любил подпевать, но сейчас слушал, словно в первый
раз в жизни.

К одинокому голосу присоединилось еще несколько — хор
допевал строфу. И снова голос. То чередуясь, то сплетаясь, они
пели песню за песней.

Крабату все это было знакомо. Он знал — под пасху с полуно-
чи до рассвета девушки ходят с песнями по деревне. Они идут по
три, по четыре в ряд, впереди — певунья с самым красивым и чи-
стым голосом. Она выводит мелодию.

Колокола вдали заливаются звоном, девушки поют. А Крабат? Крабат замер у костра, боится шелохнуться. Он заморожен песней.

Тогда подбросил веток в костер.

— Я любил одну девушку. Ее звали Воршула... Вот уже полгода как она в могиле... Я не принес ей счастья. Помни: никто из нас, с мельницы, не приносит девушкам счастья. Не знаю, почему это так, и пугать тебя не хочу, но если кого полюбишь, не подавай виду. Постарайся, чтобы Мастер не заметил и не пронюхал Лышко. Тот ему все доносит.

— Значит, это они...

— Не знаю. Но она была бы жива, если б я утаил ее имя. Я узнал об этом слишком поздно... А ты, Крабат, теперь это знаешь и, если полюбишь девушку, не упоминай ее имени на мельнице. Ни за что не открывай его. Никому! Слышишь? Ни наяву, ни во сне!

— Не беспокойся, мне нет дела до девчонок! И не думаю, что когда-нибудь будет!

С рассветом колокола и пение смолкли. Тонда отколос ножом от креста две щетки, сунул их в затухающий костер и держал, пока они не обуглились.

— Видал когда-нибудь такой вот знак? Смотри!

Не отрывая руки, он нарисовал на песке замысловатый магический знак.

— А теперь ты. Ну-ка, попробуй!

— Ты чертил так, потом так и вот так.

С третьего раза Крабату это удалось.

— Хорошо! А теперь встань на колени перед костром, протяни руку над огнем и нарисуй этот знак у меня на лбу. Возьми вот эту обугленную лучину и повторяй за мной!

Они рисовали знак друг у друга на лбу, и при этом Крабат повторял за Тондой:

— Я мечу тебя углем от деревянного креста!

— Я мечу тебя, брат, Знаком Тайного Братства!

Они поцеловались, потом засыпали костер песком, разбросали оставшийся хворост и отправились домой.

Тонда вел Крабата той же дорогой — полем, вокруг деревни, к лесу, окутанному утренним туманом. Вдруг вдалеке возникли смутные очертания процессии, она приближалась — навстречу молча шли друг за другом девушки в темных платках с глиняными кувшинами в руках.

— Спрячемся! — прошептал Тонда. — Они несут пасхальную воду. Как бы не испугать их!

Они шагнули в тень изгороди и притаились. Девушки прошли мимо.

Крабат знал этот обычай: пасхальную воду надо набрать из источника до восхода солнца и молча нести домой. Умывшись ею, будешь красивой и счастливой весь год. И еще: если несешь воду в деревню не оглядываясь — встретишь суженого. Девушки в это верят. Кто знает, может, это и правда так, а может, и сказки.

НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО Я — МАСТЕР!



входа на мельницу Мастер прибил к дверной раме волюве ярмо. Подмастерья должны были проходить под ним, согнувшись, по одному, со словами: «Я покоряюсь силе Тайного Братства!»

В сениях их встречал Мастер. Каждому давал пощечину по левой щеке, приговаривая: «Не забывай, что ты — ученик!» Потом по правой: «Не забывай, что я — Мастер!»

Подмастерья с поклоном смиренно отвечали: «Буду повиноваться тебе, Мастер, и ныне и впредь!»

Тонду с Крабатом Мастер встретил так же, как и всех остальных. Крабат и не догадывался, что отныне будет принадлежать Мастеру и душой и телом.

В сениях они с Тондой присоединились к другим подмастерьям. У всех на лбу был тот же магический знак. Не пришли еще лишь Петар и Лышко.

Да вот и они. Как только и те прошли под ярмом, получили свою порцию пощечин и произнесли клятву, с шумом и грохотом зароботала мельница.

— Быстрее! — заорал Мастер. — За работу!

Парни скинули куртки, на бегу закатали рукава, подхватили мешки, стали засыпать зерно, молоть. И все это с молниеносной быстротой под окрики Мастера.

«Вот так пасхальное воскресенье! — с досадой думал Крабат. — Бессонная ночь да еще надрываешься за троих! А во рту — ни маковой росинки!»

Даже Тонда быстро выбился из сил, пот градом катился по его лицу. Впрочем, попотеть пришлось всем. Мокрые рубашки прилипали к телу.

Когда же это кончится?

Куда ни посмотришь — хмурые лица. Все вертится, кружится, мелькает, клубится пар. Магический знак на лбу у подмастерьев постепенно смывается.

Крабат с мешком зерна, выбиваясь из сил, карабкается вверх по ступенькам. Еще немного, и он рухнет под тяжестью ноши.

Но вдруг... усталость покидает его. Ноги больше не заплетаются, поясница не ноет, дышится легко.

— Тонда, гляди-ка!

Прыжок — и он наверху. Сбрасывает со спины мешок, подхватывает его и под ликующий крик парней подкидывает вверх, будто в нем не зерно, а пух.

С остальными, как видно, происходит то же самое. Они улыбаются, похлопывают друг друга по плечу. Даже вечный брюзга Кито и тот развеселился. Крабат хочет спуститься за новым мешком.

— Стой! — командует Тонда. — На сегодня хватит!

Скрип, замирающий стук — колесо останавливается.

— А теперь праздновать, братья! — ликует Сташко.

На столе угощение. Юро приносит жареных цыплят с золотистой корочкой.

— Ешьте, братья, ешьте!

Они едят, пьют, подшучивают друг над другом. А потом Андруш громко и весело запеваёт. Парни становятся в круг, берутся за руки, выбивают ногами такт:

Наш мельник сидит у ворот.
Клабустер, клабастер,
Клабум!
Работник из дома идет.
Клабустер, клабастер,
Клабум!

Припев «Клабустер, клабастер, клабум!» подхватывает хор. Теперь выводит мелодию Ханцо, поет следующий куплет:

Он — весел, красою цветет,
Клабустер, клабастер,
Клабум!
А мельник и зол и угрюм!
Клабустер, клабастер,
Клабум!

Круг движется то влево, то вправо, то сходясь к середине, то расходясь. Запевают по кругу один за другим.

Видя, что настал и его черед, вступает Крабат. Прикрыв глаза, доневает песню:

Он смел и подмогу найдет!
Клабустер, клабастер,
Клабум!
Он с мельником счеты сведет!
Клабустер, клабастер,
Клабум!

Кончив танцевать, опять садятся за стол. Самый молчаливый, Кубо, хлопнув Крабата по плечу, хвалит:

— А у тебя красивый голос!

— У меня? — удивляется Крабат.

Только теперь он заметил, что опять может петь. Правда, глуховатым голосом, но уверенно и громко.

В понедельник, хотя праздники еще не кончились, работа идет как всегда. Только Крабат почти не чувствует больше усталости. Что ни потребует Мастер — выполняет без труда. Все ладится, все кипит в руках. Прошло то время, когда он валился с ног и едва добирался вечером до постели.

Крабат радуется. Трудно представить, как он выдерживал раньше. Что же ему помогло? Есть у него одна догадка. Как только они с Тондой остаются наедине, он решает спросить его об этом.

— Ты прав, — отвечает Тонда, — пока у нас на лбу этот знак, мы можем работать без усталости с утра до вечера. Целый год!

— А в другое время? Например, с вечера до утра?

— Нет! Тогда уж придется надрываться. Но хочу тебя успокоить, Крабат. Во-первых, не так уж часто нас поднимают по ночам. А во-вторых, это можно выдержать.

Про пасхальную ночь и про горе Тонды они больше не говорили. Но Крабат часто вспоминал его рассказ про Воршулу. И тут же ему на ум приходила Певунья, что запевала той ночью. Словно вновь звучал ее нежный голос, плывущий в темноте из Шварцкольма. Это было удивительное, незнакомое чувство. Его хотелось забыть, но никак не удавалось.

Каждую пятницу после ужина подмастерья собирались у порога Черной комнаты и, превратившись в воронов, слетались на жердь.

Крабат с этим быстро свыкся. Все шло своим чередом. Мастер зачитывал отрывок из Корактора, они повторяли — кто сколько запомнил. Мастер особенно не придирался.

Крабат изо всех сил старался не забыть, как изменить погоду, вызвать дождь, град, шаровую молнию, как заслониться от пули, как, выпорхнув из себя, стать невидимкой, а потом опять вернуться в свою оболочку. Днем за работой, вечером перед сном он повторял заклинания — только бы не забыть. Теперь он был твердо уверен: человек, владеющий искусством искусств, властвует над другими. А ведь здорово иметь власть, хотя бы такую, как Мастер. Так он думал тогда. Вот и старался изо всех сил.

Это случилось вскоре после пасхи.

Мастер с фонарем в руке появился на пороге их чердака.

— За работу! Господин вот-вот прибудет! Быстрее!

Крабат от волнения никак не мог найти башмаки. Так босиком и ринулся за другими во двор.

Ночь была темная, хоть глаз выколи, новый месяц только народился. Кто-то в суতোлке наступил деревянным башмаком Крабату на ногу, он взвыл от боли:

— Эй, полегче, болван!

Но тут же кто-то зажал ему рот рукой.

— Ни слова! — услышал он шепот Тонды.

Теперь Крабат заметил, что никто еще не нарушил молчания. Какая работа их ожидала? Пожалуй, Крабат догадывался.

Вскоре подкатил Незнакомец с полыхающим петушиным пером. Подмастерья бросились к повозке, отстегнули брезент, начали таскать мешки в дом — к мертвому жернову.

Все было так же, как месяц назад, когда Крабат подсматривал в слуховое оконце. Только Мастер на этот раз не бегал вместе со всеми. Он восседал рядом с господином на козлах и щелкал кнутом, подстегивая парней, а те лишь молча сгибались под тяжестью ноши.

Крабат уже почти забыл, как тяжело таскать полные мешки. Кнут щелкает, подмастерья бегают взад и вперед, от грохота и завывания мертвого жернова дрожит вся мельница.

Так что же все-таки в мешках? Крабат пробует разглядеть, высунув мешок. Но при тусклом свете фонаря не поймешь — то ли лошадиный навоз, то ли еловые шишки... А может, круглые камешки, покрытые засохшей грязью...

Рассмотреть как следует нет времени — пыхтя надвигается Лышко с мешком, локтем отпихивает Крабата.

Михал и Мертен наготове: подставляют пустые мешки, чтобы собрать смолотое. Другие оттаскивают полные мешки к повозке. Все как в прошлый раз. С первым криком петуха повозка уже вновь нагружена, брезентовый верх пристегнут. Гость хватает кнут и... оп-ля! — повозка летит!.. Мастер едва успевает соскочить с козел. Парни уходят в дом.

— Пошли! — зовет Тонда Крабата.

Они идут к пруду, чтобы перекрыть шлюзы. Слышно, как замирает стук мельничного колеса. Наступает тишина, ее нарушает лишь крик петуха да кудахтанье кур.

— Он часто здесь появляется? — Крабат кивает в сторону удаляющейся повозки. Вот она уже скрылась в тумане.

— Только в новолуние.

— Ты знаешь его?

— Нет! Один лишь Мастер его знает. Он называет его Господином. Он его боится.

Они медленно бредут по росистому лугу к мельнице.

— Одною я не понимаю. Когда он приезжал в тот раз, Мастер работал с вами. А сегодня?

— Тогда ему пришлось работать, чтобы была дюжина работников. А теперь нас снова двенадцать. И он может пощелкивать кнутом.

КАК ПОДМАСТЕРЬЯ С МЕЛЬНИЦЫ БЫКА ПРОДАВАЛИ



Время от времени Мастер посылал подмастерьев по двое, по трое в окрестные деревни, чтобы они там испробовали свое колдовское умение.

Как-то утром Тонда подошел к Крабату.

— Сегодня мы с Андрушем идем в Витихенау на рынок. Если хочешь, пойдем с нами. Мастер согласен.

— Что ж! Это получше, чем работа на мельнице!

Шли лесом. Был солнечный июльский день. Где-то в вышине трещали сойки, трудился дятел. Пчелы и шмели с деловитым жужжанием обрабатывали малиновые кусты.

Лица у всех праздничные, светлые. Андруш, тот всегда весел, как птица, но уж чтоб Тонда радостно насвистывал — это редкость! И конечно, не одна погода тому причиной.

Тонда все время весело пощелкивает кнутом.

— У тебя такой вид, будто ты уже ведешь его домой! — расмеялся Крабат.

— Кого?

— Да быка! Мы ведь в Витихенау быка купим?

— Наоборот!

— Му-му-у, — раздалось вдруг за спиной Крабата.

Обернувшись, он увидел вместо Андруша тучного, гладкого рыжего быка. Бык глядел на него вполне дружелюбно. Крабат протер глаза. Тонда вдруг тоже исчез, на его месте стоял старый крестьянин-сорб в лаптях, в холщовых портах и рубахе. Подюсан веревкой, в руках — засаленная шапка, отороченная облезлым мехом.

Кто-то похлопал Крабата по плечу. Крабат обернулся.

А вот и Андруш.

— Где ты был, Андруш? А где же тот бык?

— Му-у-у, — ответил Андруш.

— А Тонда?

Но и тот вдруг принял обычный вид — мужичок исчез.

— Ах, вон оно что!

— То-то и оно! — сказал Тонда. — Уж мы с Андрушем устроим на рынке потеху!

— Ты хочешь его продать?

— Этого хочет Мастер.

— А если его зарежут?

— Не бойся. Продадим Андруша, а веревку, на которой его привели, оставим себе. Тогда он сможет опять обернуться человеком или уж кем захочет.

— А если отдадим с веревкой?

— Только посмейте! — испугался Андруш. — Тогда мне придется остаток дней своих быть быком, жевать солому и сено. Б-р-р! Не забудьте про это!

Много шуму наделал рыжий бык на рынке в Витихенау. Торговцы скотом тут же окружили его. Крестьяне, уже успевшие продать своих свиней и овец, протискивались сквозь толпу. Не каждый день встретишь такого отменного быка! Надо не упустить, а то уведут из-под носа!

— Сколько за вашего красавца?

Торговцы напирали со всех сторон, кричали, надрывались. Мясник Густав Краузе из Хойерсверды давал за Андруша пятнадцать гульденов. Кривой Лойшнер из Кёнигсброка — шестнадцать.

Тонда лишь головой покачал:

— Маловато!

— Маловато? С ума, что ль, спятил? За дураков принимаешь?

— Дураки ли, нет ли — господам виднее!

— Ладно, — буркнул Краузе. — Даю восемнадцать!

— Да нет уж, лучше себе оставляю.

Не отдал и за девятнадцать, и за двадцать.

— Ну и оставайся при своем быке! — орал Густав Краузе, а Лойшнер постучал кулаком себе по лбу.

— Я еще не спятил! Разорить меня вздумал? Даю двадцать два — это мое последнее слово!

Казалось, торг зашел в тупик. Но тут сквозь толпу пробрался, отдуваясь, как морж, какой-то толстяк. Лицо его с выпученными глазами блестело от пота. Одет он был в зеленую куртку с серебряными пуговицами. На бархатном красном жилете — массивная золотая цепочка, на поясе — туго набитый кошель. Самый богатый в округе торговец скотом; по прозвищу Бычий Бляшке, собственной персоной!

Он отпихнул Лойшнера и Густава и рявкнул:

— Черт подери! И как у такого тощего мужика вырос такой роскошный бык! Беру за двадцать пять!

Тонда почесал за ухом.

— Маловато, господин!

— Маловато? Ну, знаешь ли!

Бляшке вытащил серебряную табакерку, щелчком открыл крышку, протянул Тонде. Дав понюхать старому сорбу, понюхал сам.

— Апчхи! Значит, правда!

— Будьте здоровы!

Бычий Бляшке оглушительно высморкался в огромный клетчатый платок.

— Двадцать семь, черт бы тебя подрал, и дело с концом!

— Маловато, господин!

Бляшке побавровел.

— За кого ты меня принимаешь? Двадцать семь за твою скотину, и не полушкой больше! Не будь я Бычий Бляшке из Каменца!

— Тридцать, господин. Тридцать — и он ваш.

— Грабеж среди бела дня! Ты меня по мирупустишь! — Бляшке вращал глазами, размахивал руками. — Сердца у тебя нет! Что тебе до несчастного торговца! Одумайся, старик! Отдай за двадцать восемь!

Тонда был неумолим.

— Тридцать — и баста! Бык — просто чудо! Не отдам за бесценок. Знали бы вы, как мне тяжело с ним расставаться. Будто собственного сына продаю!

Бычий Бляшке понял, что старик не уступит. Только зря время проведешь. Да и уж больно хорош бык!

— Так и быть, согласен! Я сегодня добрый! Позволяю обвести себя вокруг пальца! Не могу не потрафить бедному человеку! По рукам!

— По рукам!

Тонда снял шапку.

— Клади сюда, господин!

Бляшке отсчитал тридцать гульденов.

— Следил?

— Следил!

— Ну так давай сюда своего дорогого сынка!

Бляшке взялся за веревку и хотел было увести Андруша. Тонда тронул его за рукав.

— Ну что еще? — проворчал толстяк.

— Да так, пустяк! — Крестьянин казался смущенным. — Будьте так добры, господин, оставьте мне веревку. Такая бы мне радость...

— Веревку?

— На память. Знали б вы, господин Бляшке, какво мне с ним расставаться! Пусть хоть веревка от него останется... А я вам другую дам.

Тонда развязал подпояску. Бляшке, усмехаясь, наблюдал, как старик меняет веревки, потом увел Андруша. Зайдя за угол, довольно ухмыльнулся. Он явно выгадал! Цена по здешним понятиям умеренная. А вот в Дрездене нетрудно будет продать красавца быка втридорога!

На опушке Тонда с Крабатом легли на траву, поджидая Андруша. Теперь можно и подкрепиться. Хорошо, не забыли запастись хлебом и добрым куском сала.

— Ну и молодец ты, Тонда! Поглядел бы со стороны, как ты у толстяка монетку за монеткой вытягивал! «Маловато, господин, маловато...» Вот счастье-то, что вовремя про веревку вспомнил! Я так начисто позабыл...

— Привычка! — улыбнулся Тонда.

Отрезали хлеба и кусок сала для Андруша. Завернули в куртку Крабата. Усталые после долгой дороги, не заметили, как уснули. Спали крепко, пока не разбудило протяжное «Му-у-у!». Перед ним жив, здоров и невредим стоял Андруш в человеческом облике.

— Эй вы, сони, все бы вам спать! Нет ли горбушки хлеба?

— Вот хлеб с салом. Садись, брат, отдохни, поешь. Ну как там Бычий Бляшке?

— Ну, работенка! В такую жару в самый раз быть быком! Особенно с непривычки. Топай да топай по дороге, глотай пыль. Удовольствия мало! Но я не в обиде.

Бляшке вскоре завернул в корчму, к своему куму.

«Гляди-ка! Мой кум из Каменца! Как жизнь? Как дела?»

«Ни шатко ни валко. Умираю от жажды!»

«Ну это в наших силах. Иди в зал, садись за господский стол. Пива у нас хватает, не выпить и за год! Даже тебе не выпить!»

«А как же мой бык? — говорит толстяк. — Вот за тридцать гульденов какого красавца купил!»

«Отведем в хлев, дадим всего вдоволь — и сена, и воды!»

— Понимаешь, мне — вдоволь сена... — Андруш насадил на нож большой кусок сала и отправил в рот. — Ну вот, отвели меня в хлев. Корчмарь зовет прислугу:

«Эй, Катель, позаботься о быке моего кума. Да смотри, чтоб не похудел!»

«А то как же», — бормочет Катель и тут же кидает в ясли охапку свежего сена.

А мне, сказать по правде, бычья жизнь уже осточертела. Ну я и высказал им это недолго думая человеческим голосом: «Сено, говорю, и солому можете жрать сами, а я предпочитаю свинину с капустой да хорошего пивка в придачу!»

— Да ну? — изумился Крабат. — А дальше?

— Дальше? Троица буквально остолбенела. Когда очухалась, завопили как резаные. Я им на прощание помычал, обернулся ласточкой, порх-порх к двери, чивик-чивик — и привет!

— А Бляшке?

— Да пропади он пропадом! — Андруш схватил кнут и в ярости стегнул им по земле. — Как я рад, что опять с вами и такой, как был, — рыжий, конопатый!

— Я тоже рад, — улыбнулся Тонда. — Здорово ты справился! А Крабат сегодня, я думаю, многому научился.

— Еще бы! — отозвался Крабат. — Уж теперь-то я знаю, как забавно и весело колдовать!

— Забавно? — Лицо Тонды стало вдруг серьезным и грустным. — Впрочем, может, ты и прав. Иногда и забавно!

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР



Курфюрст Саксонский уже несколько лет вел войну со шведским королем из-за польской короны. Для такой войны, кроме денег и пушек, требовалось много солдат. По стране бродили вербовщики, барабанщики били в барабаны. Поначалу находились добровольцы, желающие встать под знамена курфюрста. Со временем же пришлось прибегнуть ко всяким уловкам — и к красному вину, и к палке. Чего не сделаешь во славу своего полка и победоносного курфюрста! Тем паче, что за каждого рекрута вербовщикам полагалось вознаграждение.

Команда вербовщиков — лейтенант Дрезденского пехотного полка, усатый капрал, два ефрейтора и барабанщик, тащивший барабан на спине, будто короб, — как-то темным октябрьским вечером сбилась с пути и оказалась в окрестностях Козельбуха, неподалеку от мельницы.

Вот уже несколько дней Мастер был в отъезде. Подмастерья балагурили в людской.

Стук в дверь. Вышел Тонда. У порога стоял лейтенант со своей командой. Он-де офицер его светлости курфюрста. Отряд сбился с пути, решено провести ночь на этой проклятой мельнице? Все ясно?

— Все ясно, ваша милость. Для вас всегда найдется место на сеновале.

— На сеновале? — вскипел капрал. — Ты обалдел, парень! Лучшую постель для его милости! Да поживее! А если моя будет чуть похуже, живо шкуру спущу! Мы голодны. Тащи все, что есть на кухне, да не забудь вина и пива. И чтоб на всех вдоволь! Не выполнишь приказ, душу вытрясу! Пошевеливайся, чума тебя возьми!

Тонда легонько свистнул сквозь зубы. Парни, хоть и были в людской, услышали.

Когда Тонда с вербовщиками вошли в комнату, она была пуста.

— Присаживайтесь, господа, еда не заставит себя ждать.

Непрощенные гости расположились вольготно, расстегнули мундиры и гамаша. Подмастерья тем временем собрались на совет в кухне.

— Облезлые обезьяны с косичками! — в сердцах буркнул Андруш. — Что себе позволяют!

У него уже созрел план. Все, и даже Тонда, приняли его с восторгом.

Андруш и Сташко с помощью Михала и Мертена вмиг приготовили угощение: три миски каши из отрубей с опилками, политой прогорклым маслом и посыпанной махоркой.

Юро сбегал в свинарник и вернулся с двумя заплесневелыми ковригами под мышкой. Крабат и Ханцо наполнили пять пивных жбанов протухшей дождевой водой из бочки.

Когда все было готово, Тонда отправился к вербовщикам и обратился к лейтенанту:

— Если ваша милость прикажет, велю внести ужин!

Он щелкнул пальцами. И, как мы с вами сейчас увидим, неспроста.

— Вот миски!.. В них, с вашего позволения, лапша с курицей, баранина с капустой и овощи: бобы с жареным луком и шкварками.

Лейтенант все обнюхал, но никак не мог выбрать, с чего начать.

— Молодец, что все сразу принес. Давай сперва лапшу с курицей.

— Попробуйте ветчину и корейку! — предложил Тонда, указывая на заплесневелый хлеб, который внес на подносе Юро.

— Однако тут нет самого главного, — напомнил капрал, — от корейки жажда мучит! А чем ее утолить, холера тебя заберит?

По знаку Тонды Ханцо, Крабат, Петар, Лышко и Кубо внесли жбаны с дождевой водой.

— С вашего позволения, ваша милость, за ваше здоровье! — Капрал осушил в честь лейтенанта целый жбан и обтер усы. — Не плохо, совсем не плохо. Сами варили?

— Нет,— ответил Тонда,— пивоварня, с вашего позволения, в деревне Дождищи.

За столом царило веселье. Каждый вербовщик ел и пил за троих. Подмастерья только посмеивались.

Дождевая бочка у них огромная. Можно наполнять жбаны без конца — воды хватит!

Лица у гостей раскраснелись. Барабанщик, парнишка не старше Крабата, после пятого жбана уронил голову на стол. Раздался тоненький храп.

Остальные продолжали пить. Застолье застольем, а лейтенант, глядя на подмастерьев, вспомнил вдруг про вознаграждение за каждого рекрута.

— Вот было бы здорово,— заявил он, размахивая жбаном,— если б вы плюнули на свою мельницу и пошли на военную службу. Ну что такое подручный на мельнице? Тьфу, ничто! А вот солдат!..

— Солдат!..— встрепнулся капрал и трахнул кулаком по столу, да так, что подскочила голова барабанщика.— У солдата — жалованье, веселье, товарищи. Все его любят, особенно девушки. Да что говорить! У кого блестящие пуговицы на мундире да гамаша, тому сам черт не брат!

— А война? — поинтересовался Тонда.

— Война! — хмыкнул лейтенант.— Лучше войны для солдата нет ничего на свете. Коли в груди бьется мужественное сердце да подвалил маленько удачи, слава тебя найдет! Захватишь трофеи, заработаешь орден, станешь капралом или даже вахмистром!

— А если дослужишься до офицера,— подхватил капрал,— можешь стать и генералом. Плюньте мне в глаза, если это не чистая правда!

— Да что там долго разговаривать! — гнул свою линию лейтенант.— Вы ведь смелые ребята! Подавайтесь в наш полк! Беру вас рекрутами. Ну как, по рукам?

— По рукам! — Тонда пожал протянутую руку. Михал, Мертен и все остальные сделали то же самое.

Лейтенант сиял как медный таз, капрал, хоть и не твердо держался на ногах, попытался проверить их челюсти.

— Надо взглянуть, черт подери, все ли у них на месте! Солдату нужны крепкие зубы, особенно передние. А то он не сможет в бою обкусить патрон и выстрелить во врага его сиятельства курфюрста, как того требует присяга.

Все у всех было на месте, лишь Андруш вызывал у него сомнения. Капрал надавил большим пальцем на передние зубы Андруша, и — крах-крах! — два зуба сломались.

— Черт бы тебя подрал! Нет, вы только посмотрите! Собрался в солдаты со своей старушечьей челюстью! А ну, поди прочь, а то я за себя не ручаюсь!

— С вашего позволения, верните мне зубы! — приветливо сказал Андруш.

— Ха-ха-ха! — закатился капрал. — Он приколет их к шляпе!

— К шляпе? — переспросил Андруш, будто плохо расслышал. — Нет, нет! Не к шляпе!

Он взял зубы и воткнул их на прежнее место.

— Теперь они будут покрепче! Хотите убедиться, господин капрал?

Подмастерья ухмылялись, капрал едва сдерживал гнев. Лейтенант, мечтавший о деньгах и дороживший каждой головой, не очень-то спешил расставаться с Андрушем.

— А ну-ка, проверь!

Капрал нехотя последовал приказу. Странно! Как ни старался он вырвать зубы, те не поддавались. Тогда он попытался их выломать с помощью мундштука.

— Что-то здесь не чисто! Так не бывает! Ну, да не мне решать, может ли этот рябой стать солдатом. Это уж, господин лейтенант, ваше дело!..

Лейтенант, задумавшись, скреб в затылке. Хоть он и выпил порядком, ему это тоже казалось чудным.

— Оставим до утра. Утро вечера мудренее. Перед выступлением проверим еще раз. А теперь спать!

— Пожалуйста! — откликнулся Тонда. — Для вас, ваша милость, приготовлена постель Мастера, а для господина капрала — место в гостиной. Только вот куда деть господ ефрейторов и барабанщика?

— Не стоит беспокоиться! — пробормотал капрал. — Они могут выспаться на сеновале. Для них и это роскошь.

Наутро лейтенант проснулся за домом в ящике со свеклой. Капрал очнулся в свином корыте. Оба отчаянно чертыхались. Все двенадцать подмастерьев удивлялись с самым невинным видом. Как же так? Как могло такое случиться? Ночью ведь обоих господ доставили прямо в постель. Как же они сюда попали? Может, они лунатики? А может, пиво тому виной? Еще повезло, что, блуждая по мельнице, они не набили синяков да шишек! Да, не зря говорят — у детей, дураков и пьяниц свой ангел-хранитель!

— Заткнитесь! — взревел капрал. — Проваливайте и готовьтесь к маршу! А ты, рябой, подставляй зубы!

Зубы Андруша выдержали натиск. Лейтенант уверился, что парень годен.

После завтрака вербовщики с рекрутами двинулись в путь. Маршировали в направлении Каменца, к биваку полка. Впереди лейтенант в сопровождении барабанщика, далее подмастерья, строем, по росту, за ними два ефрейтора. Замыкал колонну капрал.

Подмастерья топали в самом веселом расположении духа. Остальным было не до веселья. Чем дольше они шагали, тем бледнее становились, тем чаще по одному исчезали в кустах. Крабат, шедший со Сташко позади, услышал, как один из ефрейторов сказал:

— Господи, мне так плохо, будто я проглотил десять литров клейстера.

Крабат подмигнул Сташко:

— Так бывает, когда опилки примешь за лапшу, а махорку за кроп!

В полдень лейтенант приказал остановиться на опушке березняка.

— До Каменца четверть мили. Кому в кусты — давай! Это последняя возможность. Капрал!

— Да, ваша милость!

— Проверь-ка их вещи и проследи, чтоб не вылезали из строя. При входе в город чтоб держали шаг! Под барабанный бой!

После короткого привала отряд двинулся в путь, на этот раз под барабанный бой и пение трубы.

Трубы?

Андруш поднес правую руку к губам, сложил трубочкой и, раздувая щеки, дул изо всех сил. Он играл, как бог... марш шведских гренадеров. Вряд ли во всей шведской армии можно было бы найти такого трубача!

Рекрутам марш был явно по душе. Они тут же подхватили мелодию. Тонда, Сташко и Крабат изображали тромбоны, Михал, Мертен и Ханцо — рожки, остальные разделились на большие и малые трубы. Хотя все они, как и Андруш, играли лишь губами, казалось, что марширует настоящий королевский шведский полковой оркестр.

«Прекратить!» — хотел заорать лейтенант.

«Прекратить, прекратить, прекратить!» — силился гаркнуть капрал.

Но... ни тот, ни другой не произнес ни звука. Не смогли они и, как было попытались, пустить в ход палки. Пришлось им оставаться на своих местах и маршировать со всей честной компанией: один — впереди, другой — сзади с проклятиями, застрявшими в глотке.

Вот так, под барабанный бой и звонкое пение труб, отряд вошел в Каменец, на потеху всем встречным солдатам и горожанам. С криком «Ур-ра!» мальчишки бросились маршировать следом, в домах открывались окна, девушки махали платочками, посылали воздушные поцелуи.

Под громкую музыку отряд несколько раз обошел городскую площадь и выстроился перед ратушей. Площадь быстро заполнилась зеваками.

Звуки ненавистного шведского марша подняли по тревоге полковника, командира пехотного полка Его милости светлейшего курфюрста Саксонского, господина Фюрхтегота Эдлера фон Бич-Полей-Пумперштрофа.

Старый вояка, слегка отяжелевший за долгие годы службы, вышел на площадь с тремя штабными офицерами и ватагой адъютантов. Дурацкий спектакль привел его в бешенство, и он раскрыл было рот, чтобы осыпать проклятиями незадачливых музыкантов, но... слова застряли у него в горле.

Андруш с товарищами, заметив господина полковника, мгновенно перешли на торжественный марш шведской кавалерии. Это, естественно, довело до белого каления старого служаку-пехотинца.

А так как под эту музыку гарцевать на лошади было куда сподручнее, чем маршировать на своих двоих, подмастерья и вербовщики перешли на рысь. Ну и забавное же было зрелище! Но только не для полковника!

Полковник задыхался от ярости и хватал воздух ртом, будто карп, пойманный сетью. Еще бы! Полковник фон Бич-Полей-Пумперштроф вынужден был смотреть, как дюжина рекрутов под звуки вражеского кавалерийского марша скачет верхом на палочке по городской площади. Но самое возмутительное, черт подери, лейтенант! Тот, впереди! Сунул между ног саблю и воображает, что он на лихом коне! Что уж, раз так, говорить про капрала, ефрейторов и барабанщика! Скачут с дурацким видом — гоп, гоп, гоп!

— Эскадрон, стой! — скомандовал Тонда, как только марш был доигран до конца.

Подмастерья, ухмыляясь, вытянулись в струнку перед полковником. Скинули шапки. Полковник фон Бич-Полей-Пумперштроф подошел ближе и гаркнул так, как не гаркнуть и двенадцати капралам:

— Кто, разрази вас гром, надоумил вас, негодяи, устраивать среди бела дня этот балаган на площади, танцы при всем честном народе? Кто вам позволил, проклятые оборванцы, ухмыляться? Я, командир семи сражениях и ста пятидесяти девяти вылазках, обещаю выбить дурь из ваших голов! Я обломаю об вас все палки! Я прогоню вас сквозь строй!..

— Хватит! — вдруг прервал его Тонда. — Обойдемся без ваших палок! Нам, всем двенадцати, стоящим перед вами, так и так не подходит солдатская жизнь. Не то что вот этому простофиле, — он указал на лейтенанта, — или вон тому с луженой глоткой! — Он кивнул в сторону капрала. — Им-то это по вкусу! В ар-

мии им вольготное житье! Пока, конечно, их не убьют. Но я и мои товарищи из другого теста. Мы плюем на весь ваш пуц-парад и на вашего светлейшего курфюрста! Если хотите, можете так ему и передать!

Миг... и подмастерья обернулись воронами. Стая взметнулась вверх и пролетела над площадью.

ПОДАРОК



о второй половине октября вдруг потеплело. Солнце светило так, словно вернулось лето. Теплые дни! Можно привезти еще несколько повозок торфа! Юро запряг волов, Сташко с Крабатом нагрузили телегу досками, бревнами, сверху водрузили две тачки. Пошел Тонда, и они тронулись в путь.

Торфяное болото было по ту сторону Черной воды, в верхней части Козельбуха. Еще летом Крабат работал там с подмастерьями, научился орудовать вилами и специальным ножом, помогая Михалу и Мертену добывать жирные, блестящие куски торфа.

Солнце сияло, в лужах на опушке отражались березы. Трава на кочках пожелтела, вереск давно отцвел. На кустах то тут, то там вспыхивали красные ягоды, серебрилась паутина.

Крабату вспомнились детские годы в Ойтрихе. В такие осенние дни в лесу собирали валежник, хворост, сосновые шишки. Иногда в октябре находили даже грибы: опята, рыжики, сыроежки. Может, и на этот раз повезет!

Вот и болото. Юро остановил волов.

— Выгружай! Приехали!

Уложили слеги и бревна, закрепили, выложили из досок мостки — так, чтобы не оступиться и не угодить в топь. Но расстояние до торфяника оказалось больше, чем думали. Юро хотел было привезти еще досок, но Сташко сказал, что это лишнее. Он сорвал ветку березы и прошелся по мосткам, произнося в такт шагов заклинание и ударяя веточкой по доскам.

Мосток удлинялся прямо на глазах и скоро протянулся до самого места разработок.

Крабат был ошарашен.

— Не пойму я, зачем работать, если все, что мы делаем своими руками, можно просто наколдовать?!

— Все так, — ответил Тонда, — только такая жизнь может и опостылеть. Без работы, брат, жизнь не жизнь! Так долго не протянешь!

У края болота стоял дощатый сарай. Там лежали сухие куски торфа, заготовленные еще весной. Парни по мосткам перевозили

их на тачках к телеге, а Юро укладывал, стоя наверху. Нагрузив телегу, он влез на козлы.

— А ну, пошли!

И волны побрели к мельнице.

До возвращения Юро Тонда, Сташко и Крабат перетаскивали в сарай добытый летом торф и складывали там для просушки. Работали не спеша, времени было много.

Крабат попросил у Тонды и Сташко разрешения ненадолго отлучиться.

— А куда ты?

— Грибов поищу! Нужен буду — свистните, сразу вернусь.

— Думаешь, что-нибудь найдешь?

Тонда не возражал, да и Сташко тоже.

— А у тебя есть нож?

— Да если б был...

— Тогда возьми мой! — Тонда достал нож. — На вот, только не потеряй!

Показал, как нож открывается: нажать на рукоятку — и все! Лезвие выпрыгнуло, оно было черным, будто Тонда долго держал его над пламенем свечи.

— Теперь ты! — закрыв нож, Тонда протянул его Крабату. — Ну-ка попробуй!

Крабат нажал на рукоятку — лезвие было чистым и блестящим.

— Что-нибудь не понятно? — поинтересовался Сташко.

— Не-ет! Все понятно...

Может, ему померещилось?

— Тогда отправляйся, а то все грибы разбегутся!

Четыре дня работали они на торфянике. И каждый день Крабат ходил искать грибы. Но ему попадались лишь старые подберезовики, потемневшие и червивые.

— Не расстраивайся! — успокаивал его Сташко. — Иначе и быть не может. Их время прошло. А если хочешь, помогу!

Он что-то пробормотал и, растопырив руки, семь раз повернулся кругом. Тут же на торфянике появилось штук семьдесят грибов.

Как кроты, вылезали они из-под земли, шляпка к шляпке. Словно в причудливом хороводе встали в круг боровики, подберезовики, подосиновики, сыроежки. Все, как на подбор, крепенькие, чистенькие.

— Ох! — удивился Крабат. — Научи меня, Сташко!

Выхватив нож, он ринулся к грибам. Но при его приближении грибы сморщивались и проваливались сквозь землю, да так быстро, будто кто их за веревочку дергал.

— Стойте! — в отчаянье закричал Крабат, но грибы уже исчезли.

— Не горюй! — улыбнулся Сташко. — Колдовские грибы очень горькие, да и живот разболится. Прошлый год я чуть было не околел.

На четвертый день к вечеру Сташко с Юро, нагрузив последнюю телегу, поехали домой. Тонда с Крабатом, выбрав короткий путь, пошли пешком по тропинке через болото. Над торфяником спустился туман. Крабат обрадовался, почувствовав твердую почву под ногами. Они вышли к Пустоши.

Место это показалось Крабату знакомым. Ему вспомнился давний сон. Про то, как он убежал... И про Тонду... Но нет, Тонда шагал с ним рядом цел и невредим.

— Хочу тебе сделать подарок, Крабат. — Он вынул из кармана свой нож. — На! На память!

— Ты разве от нас уходишь?

— Может быть, и уйду.

— А как же Мастер? Не могу поверить, чтобы он тебя отпустил!

— Иной раз бывает такое, чему и поверить трудно!

— Не говори так! Останься со мной! Я не могу представить себе мельницу без тебя!

— В жизни иной раз бывает такое, чего и представить себе нельзя. Но к этому надо быть готовым, Крабат!

Пустошь — открытая местность, ненамного побольше гумна. По краям ее кривые сосны. Даже в сумерках Крабат заметил ряд продолговатых холмиков. Будто могилы на заброшенном кладбище возвышались они, поросшие вереском.

Тонда остановился.

— Возьми же! — Он протянул Крабату нож. Тот понял, что отказываться нельзя. — У него есть одно свойство. Если тебе угрожает опасность, меняется цвет лезвия.

— Становится черным?

— Да! Будто ты подержал его над пламенем свечи.

За теплой осенью пришла ранняя зима.

В середине ноября уже всюду валил снег. Крабату приходилось расчищать скребком подъезд к мельнице. В новолунье прибыл Незнакомец с петушиным пером. Он катил прямо по сугробам, и его повозка не оставляла следа на заснеженном лугу.

Да что снег, снег не беда! А до морозов еще далеко. Но вот подмастерья были явно чем-то удручены. С приближением Нового года они день ото дня все мрачнели. Все их раздражало, малейший пустяк вызывал ссору. Даже веселый Андруш чуть что взрывался как порох. Когда Крабат, шутки ради, сбил снежком шапку

у него с головы, Андруш кинулся на него с кулаками, еще минута — и вздул бы почем зря. Но Тонда подскочил к ним и рознял.

— Нет, как обнаглел! — не мог успокоиться Андруш. — Молоко на губах не обсохло, а туда же! Погоди, я тебе устрою выволочку!

Один лишь Тонда был по-прежнему приветлив и дружелюбен. Но только Крабату казалось, что он становится все печальнее, хоть и не хочет этого показывать. «Может, от тоски по своей девушке?» — думал Крабат. И вновь ему невольно вспоминалась Певунья. Лучше бы, конечно, забыть о ней навсегда. Но как забыть?

Пришло Рождество. Но у подмастерьев были обычные трудовые будни. Понуро выполняли они привычную работу. Крабату захотелось хоть как-то их подбодрить. Он принес из лесу еловых веток, поставил на стол. Но ничего хорошего из этой затеи не получилось. Придя к ужину и увидев елку, парни рассвирепели.

— Что это? — крикнул Сташко. — Убрать этот хлам!

— Убрать! Убрать! — раздалось со всех сторон. Даже Михал и Мертен стали громко ругаться.

— Кто притащил, тот пусть и выносит! — заявил Кито.

— И побыстрее! — угрожающе добавил Ханцо.

Крабат начал было оправдываться, но Петар перебил его.

— Прочь! — процедил он сквозь зубы. — А не то отведаешь палки!

Крабат вынес ветки из кухни, так ничего и не поняв. Он все думал и думал об этом. Почему они разозлились? Ну что такого он сделал? А может, ничего и не случилось, просто в последнее время все злятся и ссорятся по пустякам. И все-таки странно — раньше ему не давали понять, что он младший, а теперь, с наступлением зимы, все его без конца шпыняют. Неужто так и будет во все время учения? Еще два полных года...

Крабат спросил Тонду, что с парнями.

— Боятся они, — коротко ответил Тонда.

— Чего боятся?

— Не могу говорить об этом. Скоро сам узнаешь.

— А ты, Тонда? Ты тоже боишься?

— Больше, чем ты думаешь.

В ночь под Новый год спать отправились раньше обычного. Мастера весь день не было видно. Может, как это бывало не раз, он засел в Черной комнате или разъезжает в санях по снежным дорогам.

Никто о нем и не вспоминал.

— Спокойной ночи! — пожелал подмастерьям Крабат, как и полагается ученику.

Но сегодня и это оказалось не к месту.

— Заткнись! — гаркнул Петар, а Лышко запустил в него башмаком.

— Оставьте парня в покое! — сказал Тонда. — А ты, Крабат, ложись и спи!

Тонда укрыл его одеялом, положил ему руку на лоб.

— Засыпай, Крабат. И будь счастлив в Новом году!

Обычно Крабат крепко спал всю ночь напролет, пока не разбудят. Но сегодня, примерно в полночь, проснулся, хотя никто его не будил. Странно! Горела лампа. Парни, как ему показалось, бодрствовали, но лежали на нарах.

— А что... Тонды нет? — спросил Крабат.

Кто-то положил ему руку на плечо. Юро!

— Нет. Ты же видишь, его постель пуста. Ложись и постарайся уснуть!

Утром Крабат увидел Тонду. Уткнувшись лицом в пол, лежал он внизу у лестницы. Крабат не мог поверить, что Тонда умер. С плачем кинулся он к нему:

— Скажи что-нибудь, Тонда! Ну скажи!

— Встань, Крабат! — позвал его Михал. — И не плачь, слышишь, не плачь! Слезами тут не поможешь!

— Что с ним случилось? — не унимался Крабат.

Михал промолчал.

— Наверное, в темноте... Споткнулся...

— Может быть...

Крабат никак не мог прийти в себя. Пришлось Андрушу и Сташко отвести его наверх.

— Оставайся здесь! Внизу ты будешь только путаться под ногами!

Крабат присел на край постели. Что же дальше? Что дальше?..

После полудня еловый гроб вынесли из дверей мельницы и направились к Пустоши.

Там и похоронили.





Тог вїторой,

ПО УСТАВУ ГИЛЬДИИ МЕЛЬНИКОВ



Мастер пропадал где-то и в последующие дни. В его отсутствие мельница стояла. Подмастерья то валялись на нарах, то жались к теплой печке. Ели мало, разговаривали неохотно. На постели Тонды, чистая, аккуратно сложенная, лежала одежда — брюки, рубашка, куртка, пояс, передник, сверху шапка. Юро принес вещи под вечер первого новогоднего дня. Парни старались не смотреть в ту сторону.

Крабат грустил по-прежнему, чувствовал себя одиноким и покинутым. Тонда ушел из жизни не случайно, это все чаще приходило ему в голову. Все тут что-то таят от него. Но что? Почему Тонда ему ничего не рассказал?

Вопросы, вопросы, вопросы... Да и безделье его угнетало — целый день слоняйся без толку... Хоть бы уж работа какая!..

Один Юро был прежним. Трудился весь день как заведенный: топил печи, готовил, заботился, чтобы еда вовремя была на столе. Правда, зачастую она оставалась нетронутой.

Как-то утром Крабат столкнулся с Юро в снях.

— Хочешь помочь? — спросил Юро. — Наколи мне щепок для растопки!

— Ладно!

Крабат вошел в кухню. У печки лежала вязанка сухих сосновых дров. Юро направился было к шкафу достать нож, но Крабат сказал, что у него есть свой.

— Тем лучше! Только смотри не порежесь!

Крабат вынул нож. Казалось, от него исходит живительная сила. Впервые после новогодней ночи он почувствовал уверенность в себе.

Неслышно подошел Юро, заглянул через плечо.

— Ай да нож!.. А раньше я его у тебя не видел.

— Подарок...

— От девушки?

— Нет! От друга. Лучше его нет на всем белом свете! Никогда у меня такого больше не будет!

— Ты уверен?

— Да, уж в этом-то я уверен.

После смерти Тонды подмастерья решили выбрать старшим Ханцо. Тот согласился. Мастер все где-то пропал. Так прошла неделя.

Вечером, когда уже укладывались спать и Крабат собирался было задуть фонарь, дверь вдруг распахнулась. На пороге стоял Мастер. Окинул взглядом комнату, но отсутствия Тонды словно бы не заметил.

— За работу!

Повернулся и исчез до утра.

Отбросив одеяла, парни вскочили, начали поспешно одеваться.

— Быстрее! — торопил Ханцо. — Мастер ждать не любит! Вы ведь знаете!

Петар и Сташко кинулись к шлюзам. Остальные — за мешками с зерном. Как только с шумом и грохотом заработала мельница, у всех отлегло от сердца. Мельница мелет! Жизнь продолжается...

В полночь работа закончилась. Можно было идти спать. Поднявшись на чердак, они вдруг увидели: на месте Тонды кто-то спит! Хилый, бледный парнишка, узкоплечий, с рыжим чубом. Они окружили постель и нечаянно разбудили спящего, так же, как тогда, год назад, разбудили Крабата. Как и Крабат, при виде одиннадцати призраков с лицом и руками, обсыпанными мукой, Рыжий испугался.

— Не бойся! — успокоил его Михал. — Мы — подмастерья. Нас тебе нечего страшиться! Как тебя звать?

— Витко. А тебя?

— Михал. А это — Ханцо, наш Старшой. Это — мой двоюродный брат Мертен, а это — Юро...

Утром Витко спустился к завтраку в одежде Тонды. Она пришлась ему впору. Паренек не расспрашивал, чьи это вещи. И хорошо, Крабату было так легче.

Вечером новый ученик, намаившись за день с мучной пылью, уснул как убитый. А подмастерьям было приказано явиться в Черную комнату, прихватив с собой Крабата.

Мастер в черном плаще сидел за столом, на котором горели две свечи. Между ними лежали его тесак и треуголка, тоже черного цвета.

— Я велел вам сюда прийти, как того требует устав гильдии Мельников,— сказал он, когда все собрались.— Среди вас есть ученик? Выйди вперед!

Крабат поначалу не понял, что речь идет о нем. Но Петар подтолкнул его в бок, он спохватился и вышел.

— Твое имя?

— Крабат.

— Кто поручится?

— Я! — Ханцо вышел вперед и встал рядом с Крабатом.— Я ручаюсь за этого парня и за его имя.

— Один не в счет! — возразил Мастер.

— И я,— Михал встал по другую руку Крабата.— Один да один — пара. Двоих поручителей хватит. Я ручаюсь за этого парня и за его имя.

Мастер и два поручителя вели разговор по особому ритуалу. Мастер спрашивал, где, когда, хорошо ли ученик Крабат освоил мукомольное дело. Они утверждали, что он уже овладел всеми тайнами ремесла.

— Вы можете за это поручиться?

— Можем.

— Раз так, то, согласно уставу гильдии Мельников, мы переводим ученика Крабата в подмастерья.

В подмастерья? Крабат подумал, что ослышался. Неужто его ученичество уже окончилось — сегодня, спустя лишь год?

Мастер поднялся, надел треуголку. Взяв тесак, подошел к Крабату. Притрагиваясь тесаком к его голове и плечам, произнес:

— По уставу гильдии Мельников, я твой Учитель и Мастер, в присутствии всех подмастерьев объявляю: ты больше не ученик. Теперь ты равный среди равных, подмастерье среди подмастерьев!

С этими словами он вручил Крабату тесак, чтобы тот носил его за поясом, как и все остальные подмастерья. С тем и отпустил.

Крабат был поражен. Чего-чего, а этого он никак не ожидал. Комнату Мастера он покинул последним.

В сенях на него вдруг набросили мешок, схватили за руки, за ноги.

— Тащи молоты! — Крабат узнал голос Андруша.

Он попытался вырваться. Да не тут-то было! С шумом и хохотом парни подтащили свою ношу к жерновам, опустили на мучный ларь, принялись мять да валять.

— Уж мы из тебя подмастерье сделаем! — кричал Андруш. — Подмастерье без сучка, без задоринки!

Они катали Крабата как тесто, пихали, мяли, тузили кулаками. Раз кто-то сильно стукнул его по голове.

— Прекрати, Лышко! Нам его перемолоть надо, а не пришибить! — Это был голос Ханцо.

Когда Крабата оставили в покое, он и вправду чувствовал себя так, словно побывал между жерновками. Петар снял мешок, а Сташко высыпал Крабату на голову горсть муки.

— Он перемолот, братья! — возвестил Андруш. — Теперь он — подмастерье до мозга костей! И нам за него не стыдно!

— Ура! — закричали Петар и Сташко. Они с Андрушем были здесь заводилами. — Ура! Качать его!

Крабата опять схватили за руки и за ноги.

Парни подбрасывали его и ловили, подбрасывали и ловили, подбрасывали и ловили... Потом послали Юро в погреб за вином. Крабат чокнулся со всеми.

— За твое здоровье, брат! И за счастье!

— За здоровье и счастье, брат!

Пока подмастерья веселились, Крабат отошел в сторонку и сел на ворох пустых мешков. Голова гудела, да и не диво — не мало он испытал в этот вечер! Подошел Михал, сел рядом.

— Кажется, тебе не все ясно, Крабат?

— Нет, не все. Как мог Мастер произвести меня в подмастерья? Разве мое учение окончилось?

— Первый год на мельнице в Козельбрухе идет за три, — объяснил Михал. — Со времени твоего прихода сюда ты здорово повзрослел, Крабат! На три года!

— Разве так бывает?

— Бывает! Здесь, на мельнице, как ты, наверно, уже заметил, много чего бывает!

МЯГКАЯ ЗИМА



Как зима началась, такой и оставалась — снежной и мягкой. В этот год со шлюзами не было особых хлопот. Лед быстро таял, а если и держался, то скалывать его не составляло труда. Но снег выпадал обильный. Уборка его теперь пала на плечи новичка, и тот с ней едва справлялся.

Когда Крабат смотрел на худенького, шмыгающего носом Витко, он понимал, что Михал сказал тогда правду о трех годах.

Да он ведь и сам мог бы это давно заметить по своему росту, по голосу, по прибывающей силе. Как-то в начале зимы он обнаружил даже легкий пушок у себя на щеках и подбородке.

Мысли о Тонде не покидали его. Дважды пытался он сходить к нему на могилу, но не удалось: слишком много снега выпало в Козельбрухе, не пробраться. Все же он решил при малейшей возможности попытаться еще раз. И тут ему приснился сон.

...Весна. Снег растаял, ветер высушил лужи. Крабат идет по Козельбрухе. День или ночь? Сияет луна и светит солнце. Вот-вот будет Пустошь. И вдруг он заметил какую-то фигуру, выплывающую из тумана. Нет, она удаляется. Может, это Тонда?..

«Тонда, остановись! Это я — Крабат!»

Фигура колеблется, но уходит. Крабат бросается вслед.

«Остановись, Тонда!» Крабат бежит изо всех сил. Расстояние сокращается.

«Тонда!»

Еще несколько шагов, и он — у канавы. Канавы глубокая и широкая. Ни мостика, ни досочки, чтобы ее перейти, за ней — Тонда, Крабат видит его спину.

«Почему ты убегаешь от меня, Тонда?»

«Я не убегаю. Ты ведь знаешь, я на том берегу. А ты оставайся на этом!»

«Повернись хоть ко мне лицом!»

«Я не могу оглянуться, Крабат. Мне нельзя смотреть назад! Но я слышу. И могу ответить тебе на три вопроса. Спрашивай, если хочешь!»

Вопросы давно его жгут.

«Кто повинен в твоей смерти, Тонда?»

«Больше всего я сам».

«А кто еще?»

«Узнаешь, если будешь смотреть в оба. Теперь последний вопрос. Многого хочется узнать... Крабат думает.

«С тех пор как тебя не стало, у меня нет друга. Я так одинок! Кому я могу довериться?»

Тонда и теперь не смотрит на него.

«Иди домой. Ты можешь полностью доверять тому, кто первый окликнет тебя по имени. И еще вот что на прощание. Ничего, что ты не приходишь на могилу. Я знаю, ты всегда думаешь обо мне. Это важнее!»

Медленно поднимает он руку в знак прощания и исчезает в тумане.

«Тонда! Тонда! Не уходи!»

И вдруг он слышит свое имя:

— Крабат! Проснись!

— Крабат!

Михал и Юро стоят у его постели. Крабат никак не поймет, спит он или уже проснулся.

— Кто меня звал?
— Мы,— отвечает Юро.— Слышал бы ты, как ты кричал во сне!
— Я? — Крабат удивлен.
— У тебя жар? — Михал берет его за руку.
— Нет! Мне приснился сон... — И тут он поспешно спрашивает.— Кто из вас позвал меня первый? Скажите! Мне это надо знать!

Михал и Юро отвечают, что не обратили внимания.

— Но в другой раз,— добавляет Юро,— посчитаемся, кому будить, чтобы уж не сомневаться!

Крабат уверен, что Михал позвал его первым. Юро, конечно, хороший парень, добрый, заботливый. Но все-таки он глуповат. Ну да, Тонда имел в виду Михала! С тех пор всегда, когда ему нужен был совет, Крабат обращался к Михалу.

Кое в чем Михал походил на Тонду. Крабат догадывался, что он потихоньку помогает новенькому Витко, так же, как прошлой зимой Тонда помогал Крабату,— иногда он видел их вместе.

Юро тоже помогал постоянно голодному ученику: «Ешь, парнишка, ешь побольше, станешь большим и сильным! А то ведь что это — кожа да кости!»

Вскоре опять поехали в лес. Шестеро подмастерьев, среди них и Крабат, должны были перевезти на мельницу поваленные прошлой зимой деревья. При таком обилии снега — нелегкая работа.

Провозились целую неделю, чтобы расчистить дорогу до места повала, хоть и трудились в поте лица.

Один Андруш никак не мог взять в толк — к чему так усердствовать. Заботился лишь о том, чтобы не замерзнуть. «Кто мерзнет за работой, осел,— объяснял он,— а кто потеет, дурак!»

Февраль на дворе, а днем было так тепло, что все возвращались из лесу в мокрых сапогах. Вечером сапоги приходилось смазывать жиром, и жир втирать, чтобы они не заскорузли у печки.

Все это делали сами, только Лышко всякий раз заставлял Витко возиться со своими сапогами. Когда Михал это заметил, Лышко пришлось держать ответ перед парнями. Но это не произвело на него ни малейшего впечатления.

— Да что тут такого? Сапоги мокрые, а ученик на то и есть, чтобы работать.

— Не на тебя! — взорвался Михал.

— Ах так! Не суй нос не в свое дело! Ты тут Старшой?

— Нет. Но уверен, что Ханцо со мной согласен. Так что сам теперь возись со своими сапогами. А не то пеняй на себя! И никто меня не осудит! Я предупредил тебя, Лышко!

Однако досталось вовсе не Лышко.

В пятницу вечером, когда подмастерья, обернувшись воронами, опустили на жердь в Черной комнате, Мастер объявил: до

него дошло, что кто-то из них потихоньку облегчает работу новому ученику. А всем им известно, что это строго-настрого запрещено. Поэтому виновный понесет наказание. С этими словами Мастер повернулся к Михалу.

— Как ты посмел помогать мальчишке! Отвечай!

— Мне жаль его, Мастер! Работа, которую ты ему поручаешь, слишком тяжела!

— Ты находишь?

— Да!

— Тогда слушай меня внимательно! — Мельник вскочил, оперся обеими руками о Корактор. — Кому я что поручаю — не твое дело. Не забывай, что я — Мастер! А тебе я преподам урок — будешь помнить всю жизнь! Все остальные — кыш! Кыш! Он выгнал воронов, остался с Михалом наедине, запер дверь.

До полуночи слышался шум и отчаянное карканье, наконец Михал поднялся на чердак бледный и растерзанный.

— Что он с тобой сделал? — кинулся к нему Мертен.

Михал только головой покачал.

— Оставьте меня!

Подмастерья догадывались, кто выдал Михала.

На другой день стали советоваться, как отплатить Лышко.

— Вытащим его из постели и устроим темную! — предложил Андруш.

— Каждый припасет палку, — добавил Мертен.

— Обрежем волосы и вымажем сажей! — буркнул Ханцо.

Михал сидел в углу молча.

— Скажи и ты что-нибудь! — подскочил к нему Сташко. — Ведь это тебя он продал!

— Ладно! Я скажу!

Михал подождал, пока все замолчали. Тихо, спокойно начал говорить, как говорил бы Тонда:

— То, что сделал Лышко, подло! Но то, что предлагаете вы, не лучше. Я понимаю — чего не скажешь в гневе. Ну, а теперь уймитесь. Пошумели и хватит. Не заставляйте меня за вас краснеть.

НАД ПОЛЯМИ, НАД ЛЕСАМИ...



арни не вздули Лышко, но стали его избегать. Никто не разговаривал с ним, не отвечал, если тот что спросит. Суп и кашу Юро подавал ему отдельно — кто же станет есть из одной миски с подлецом?

Крабат считал это правильным. Кто выдает своих товарищей, тому платят презрением!

В новолунье, когда прибыл со своей повозкой Незнакомец с петушиным пером, Мастер снова таскал мешки вместе с подмастерьями. Старался изо всех сил, будто хотел показать, что значит

работать засучив рукава. А может, выслуживался перед своим Господином?

Но чаще всего в эти зимние дни он был в отъезде. Выезжал то верхом, то в санях. Подмастерья не задумывались, по каким таким делам он разъезжает. Им-то какое дело!

Как-то вечером Мастер велел запрячь коляску, да побыстрее! Он торопится по важному делу.

Снег вдруг растаял, шел проливной дождь. Парни радовались, что можно не выходить из дому, посидеть в тепле.

Крабат помог Петару запрячь гнedyх. Когда все было готово, Петар побежал доложить, а Крабат вывел упряжку за ворота. Из-за сильного дождя ему пришлось накинуть на голову попону. Мастеру он тоже приготовил две попоны — ведь предстояло ехать в открытой коляске.

Освещаемый фонарем Петара, Мастер спустился с крыльца. В широком плаще, в черной треуголке, на сапогах позвякивают шпоры, из-под оттопыренного плаща выглядывает шпага.

«Ну и дела, — подумал Крабат. — И куда его только несет в такую погоду?»

Мастер уселся на козлы, закутался в попоны, как бы между прочим спросил:

— Хочешь поехать со мной?

— Я?

— Тебе ведь не терпится узнать, зачем я еду!

Любопытство оказалось сильнее страха вымокнуть под дождем. И вот Крабат уже наверху, рядом с мельником.

— А ну-ка покажи, умеешь ли ты править! — Мастер протянул ему кнут и вожжи. — Через час нам надо быть в Дрездене!

— В Дрездене? Через час?! — Крабату показалось, что он ослышался.

— Ладно! Поехали!

Тронулись. Выехали на ухабистую лесную дорогу. Темно, ни зги не видно.

— Быстрее! — приказал Мастер. — Ты что, не можешь быстрее?

— Мы опрокинемся!

— Глупости! Дай-ка сюда!

Мастер взялся править сам. Да как! Кнут так и свистит! Мгновение... и выбрались из леса. Вот уже и Каменец. Крабат сидит не дыша — только бы удержаться! Ветер норовит сдуть с сиденья, дождь хлещет в лицо!

Попали в полосу тумана. Он окутал коляску плотной пеленой. Но ненадолго. Вот уже головы лошадей вынырнули, а вот

и спины, круны, бабки. Гнедые топчут туман копытами, несутся как ветер все дальше и дальше.

Дождь перестал, светит луна. Клубы тумана ползут над землей, она кажется серебристо-белой, заснеженной. Наверно, они скачут по лугам. Но почему же тогда не слышно ни стука копыт, ни скрипа колес? Вот и тряска прекратилась. Крабату кажется, что они катят по ковру.

Лошади несут коляску мягко и упруго. Не езда, а одно удовольствие — под луной, по широкой равнине!

Вдруг толчок! Коляска качнулась и затрещала. Наткнулись на пень? На валун? Может, сломалось дышло, отвалилось колесо?..

— Я посмотрю!..

Крабат спустил было ногу на подножку, но Мастер тут же схватил его за шиворот, отбросил на сиденье.

— Сиди! — Он указал пальцем вниз.

Туман вдруг прорвался. Крабат просто глазам своим не поверил: внизу, в глубине, коньки каких-то крыш, кресты, освещенные луной... Кладбище?..

— Мы застряли на колокольне. Осторожнее, а то свалишься! — Мастер дернул поводья, хлестнул кнутом. — Вперед!

Рывок... и коляска легит дальше.

Теперь они едут без происшествий, молча, стремительно, покачиваясь на поблескивающих под луной облаках.

«А я ведь принял их за туман! — думает Крабат. — Экий простофиля...»

Часы на кафедральном соборе пробили полдесятого, когда Мастер с Крабатом прибыли в Дрезден.

Коляска с грохотом опустилась на мощеную площадь перед дворцом. Конюший бросился к коням, подхватил поводья.

— Как всегда, господин?

— Глупый вопрос!

Мастер бросил конюшему монету, спрыгнул с сиденья, приказал Крабату следовать за ним во дворец.

Взбежали по лестнице, ведущей к portalу.

Наверху путь им преградил высоченный офицер. Через плечо — широкая лента, в сверкающем нагруднике отражается луна.

— Пароль?

Мастер просто-напросто отстранил его и прошел. Офицер схватился было за шпагу, хотел вытащить ее из ножен. Не тут-то было! Щелкнув пальцами, Мастер пригвоздил его к месту.

Окаменевший, неподвижный Верзила так и остался стоять, вытаращив глаза и опустив руку на эфес шпаги.

— Идем! Он тут, видно, новенький!

Они поднялись наверх по мраморной лестнице, быстрым шагом двинулись дальше.

Мелькали залы, зеркала, ряды окон с тяжелыми, расшитыми золотом портьерами. Стража и лакеи, судя по всему, знали Мастера. Никто их не задерживал, не задавал вопросов. Молча сторонились, кланялись, пропускали.

Крабат шел, точно во сне. Красота и величие дворца его ошеломили. А он-то хорош! В грязной старой куртке! Весь в муке... Наверно, лакеи переглядываются да посмеиваются, а стражники за его спиной презрительно морщат нос!

Он стал сбиваться с шага, споткнулся... Что это? По ногам бьет шпага! Откуда тут, черт возьми, шпага? Взглянув на себя в зеркало, он остолбенел: лицо-то его, но одежда... Черный мундир с серебряными пуговицами и галунами, высокие сапоги, и — в самом деле, гляди-ка! — настоящая шпага в ножнах. А на голове? Неужто треуголка? И с каких это пор он носит белый напудренный парик с косичкой? Он хотел спросить Мастера, что все это значит, но не успел. Вошли в большой зал, освещенный свечами. В зале толпились важные господа — офицеры, полковники, придворные — в орденах и лентах.

Подошел камердинер.

— Наконец-то вы пожаловали! Курфюрст уже ждет! — И, указывая взглядом на Крабата, спросил: — Вас сопровождают?

— Да, юнкер. Он подождет здесь.

Камердинер подозвал офицера.

— Позаботьтесь о юнкере!

Офицер повел Крабата к столику у окна.

— Вино или шоколад?

Крабат предпочел стакан красного вина. Пока он разговаривал с офицером, Мастер вошел в покои курфюрста.

— Надеюсь, ему это удастся! — проговорил офицер.

— Что удастся?

— Вы ведь должны знать, юнкер, что ваш господин вот уже больше месяца пытается убедить Его светлость в том, что его советники, призывающие к миру со шведами, просто ослы, и что всех их надо гнать в шею!

— Конечно, конечно! — спохватился Крабат, хотя не имел об этом ни малейшего представления.

Полковники и другие офицеры, окружив их столик, улыбались ему, пили за его здоровье.

— За войну со шведами! — раздавалось со всех сторон.

— Хоть бы курфюрст решил ее продолжать!

— Все равно — победа или поражение, лишь бы война!

В полночь Мастер возвратился в зал. Курфюрст проводил его до дверей.

— Благодарю вас! — сказал он громко. — Принимаю ваш совет! Ваши аргументы меня убедили! Итак, война продолжается!

Господа офицеры зазвенели саблями, придворные замахали шляпами.

— Да здравствует Август, курфюрст Саксонский!

— Смерть шведам!

Курфюрст Саксонский, крупный, плотный мужчина с багровым лицом, шеей кузнеца и кулаками, которые сделали бы честь любому матросу, поблагодарил их движением руки. Повернувшись к Мастеру, он сказал ему еще что-то, но в таком шуме было трудно расслышать, что он говорил, да это скорее всего и не предназначалось для посторонних ушей. Затем он удалился.

Придворные и офицеры оставались еще в зале, когда Мастер с Крабатов его покинули. Они снова шли мимо окон, зеркал, колонн, по роскошным залам и переходам, вниз по мраморной лестнице, к выходу, где все еще стоял, застыв, Верзила, по-прежнему вытаращив глаза и опустив руку на эфес шпаги. — оловянный солдатик, да и только!

— Освободи его, Крабат!

Потребовалось лишь щелкнуть пальцами — этому Крабат уже научился.

— Отставить! — скомандовал он. — Направо кругом! Шагом марш!

Офицер вытащил шпагу, отсалютовал ею и зашагал прочь, повинувшись команде.

На дворцовой площади уже стояла коляска. Конюший доложил, что позаботился о гнедых, как было приказано.

— Попробовал бы не позаботиться, — буркнул Мастер.

Тронулись. И тут Крабат заметил, что он опять в своей обычной одежде. Да и вправду, ну как бы он выглядел на мельнице в треуголке, мундире и со шпагой?

Кони пронеслись по каменному мосту через Эльбу. Как только город остался позади, Мастер стал править в чисто поле. И тут они снова поднялись над землей, взлетели над облаками.

Луна слабо светила прямо у них над головой. Крабат сидел, погруженный в свои мысли. Внизу проплывали города и деревеньки, поля и леса, озера и реки, болота и песчаные отмели... Мирная земля, тихая и темная.

— О чем думаешь?

— Думаю о силе черной магии. Ведь ей подвластны даже курфюрсты и короли!



асха в этом году выпала на вторую половину апреля. В пятницу вечером Витко был принят в школу чернокнижия. Никогда еще Крабат не видел такого тощего и облезлого ворона. Казалось, у его оперения чуть рыжеватый оттенок.

В субботу подмастерья, как это было тут принято, спали в запас. Под вечер Юро приготовил обильный ужин.

— Ешьте как следует, в другой раз поесть придется не скоро! — напомнил Ханцо.

Когда наступили сумерки, Мастер, так же, как и в прошлом году, посчитал их, и они по двое ушли с мельницы. На этот раз Крабату выпало идти с Юро.

— Куда? — спросил тот, когда они брали одеяла.

— Если ты не против, к могиле на краю леса.

— Хорошо! А ты знаешь дорогу? На меня ночью нельзя положиться. Я уж рад, если во дворе хлев найду.

— Ладно, я пойду впереди, а ты старайся не отставать!

Они шли тем же путем, что и тогда с Тондой. Пройти Козельбрух не составляло труда. Но, выйдя из лесу, легко было запутаться — не найти полевую тропинку, ведущую мимо Шварцкольма. В крайнем случае, побежим прямо через поле, решил Крабат. Но бежать не пришлось. Несмотря на темень, сразу вышли на тропку. Она через поле вывела на дорогу позади Шварцкольма. Огни деревни остались вдали. Вошли в лес. А вот и поворот.

— Где-то здесь, — припомнил Крабат.

Пробираясь ощупью от сосны к сосне, Крабат наткнулся на столб креста.

— Сюда, Юро!

— И как только ты нашел?

Юро вытащил из кармана огниво и кремь, поджег кучку хвороста. При свете огня собрали коры и сухих веток.

— Костер я беру на себя, — сказал Юро. — С огнем возиться для меня дело привычное. На это ума хватает.

Завернувшись в одеяло, Крабат сел под крестом, прислонился к нему спиной и поджал колени; точно так сидел здесь Тонда год тому назад.

Юро тут же принялся рассказывать разные истории. Изредка Крабат, не вдаваясь в суть, вставлял: «Да-а?», «Ах!», «Да ну?» Большого и не требовалось. Юро казался довольным и продолжал. Его, видно, мало волновало, что собеседник попался не из разговорчивых.

А Крабат все думал о Тонде. О Тонде... и о Певунье. Вновь она ему вспомнилась, ну разве он этого хотел? Он ждал и заранее радовался, что в полночь опять услышит ее голос. А что, если не услышит? А вдруг запевать будет другая девушка?

Крабат попытался припомнить голос Певуньи, но как ни старался, ничего не получалось. Голос стерся, исчез безвозвратно... А может быть, так только кажется?

Было мучительно тяжело, словно боль затронула что-то, о существовании чего он и не догадывался. Он попытался прогнать мысли о Певунье: «Я ведь никогда не обращал внимания на девочек! И не буду. Ничего хорошего из этого не выйдет. А то еще получится, как с Тондой... Вот сижу я здесь, а на душе тоска и горечь. Мой взгляд блуждает по светлым лунным равнинам. Я выпархиваю из себя и ищу место, где покоится та, кому я принес несчастье»...

Искусством раздваиваться, выпархивать из себя, Крабат уже овладел. Обучая их этому, Мастер предупреждал: «Может случиться так, что, покинув тело, потом в него не войдешь!» Строго наказывал: «Делать это можно только с наступлением темноты и возвращаться до рассвета. А не вернешься — назад хода нет! Тело похоронят, а сам будешь вечно блуждать, не зная покоя». Нет, думал Крабат, надо остерегаться!

Юро притих. Если б он время от времени не подбрасывал ветки в костер, можно бы было подумать, что он спит.

Наступила полночь. И вот вдали раздался колокольный звон, и тут же вознесся ввысь нежный девичий голос. Голос, знакомый Крабату. Он ждал его и лишь недавно напрасно старался воскресить в памяти... Как мог он его забыть?

Сначала голос звучал один, потом подхватили другие. Пока девушки пели хором, Крабат все ждал, когда же снова вступит тот голос.

Интересно, какая она? Какие у нее волосы? Каштановые, черные или цвета пшеницы? Как бы хотелось узнать! Увидать бы ее, когда она поет! Может быть, выпорхнуть из себя? Лишь на одно мгновение! Только взглянуть ей в лицо!..

Он поспешно произнес заклинание и почувствовал, что покидает свое тело, выпархивает из него... И вот уже его окутала черная ночь...

Последний взгляд на Юро, готового вот-вот задремать у костра, на себя самого, прислонившегося к кресту, ни живого, ни мертвого... все, что составляло его жизнь, теперь — вне тела.

Он легок, свободен, бодр, как никогда в жизни.

Мгновение он колеблется — трудно расстаться с самим собой, и ведь может случиться, навсегда! Но, еще раз взглянув на парня, носящего его имя, он направляется в деревню.

Никто не слышит Крабата, никто не может его увидеть. А он слышит и видит все с необычайной отчетливостью.

Поющие девушки с фонарями и свечками идут вдоль деревни. Они в черном, лишь на гладко зачесанных волосах белая лента.

Крабат ведет себя, как обычно, тут же присоединяется к деревенским парням, стоящим группками по обе стороны дороги. Они выкрикивают шутки вслед проходящим девушкам. «А петь погромче не можете? Вас еле слышно!», «Эй, поосторожнее с огнем! Носы обожжете!», «Идите сюда, погрейтесь, а то ведь посинели!»

Девушки делают вид, будто не замечают парней. Спокойно продолжают свой путь и поют, поют...

Озябнув, они заходят погреться в ближайший дом. Парни тоже пытаются туда проникнуть. Нет, хозяин их не пускает. Но они уже бросились к окнам — подсматривать, что там, в горнице.

Девушки жмутся к печи. Хозяйка принесла им пирога и горячего молока. Но тут на крыльце показался хозяин, на этот раз с палкой в руке.

— Брысь! Убирайтесь, а то задам!..

Парни, ухмыляясь, уходят. Крабат вместе с ними, хотя ему и не обязательно. Ждут поодаль, пока девушки выйдут из дома, чтобы продолжить свой путь.

Крабат уже знает — у Певуны светлые волосы. Тоненькая, высокая, она идет, гордо подняв голову... Можно бы и возвратиться к костру.

Но ведь он видел Певунью лишь издали. А как хотелось бы заглянуть ей в глаза! И вот он уже слился с пламенем свечи у нее в руках. Еще ни разу в жизни он не был так близко, совсем рядом, с девушкой!

Он видит ее прекрасное юное лицо. Глаза, огромные, добрые, смотрят прямо на него, но его не видят. А может быть...

И вправду пора возвращаться, не то будет поздно! Но глаза девушки, светлые глаза в венце ресниц, притягивают, не отпускают. Голос Певуны теперь, когда он глядит ей в глаза, доносится как бы издалека.

Крабат понимает — вот-вот наступит утро. Знает, что может потерять жизнь. Знает... и остается.

Вдруг жгучая боль пронзает его, возвращает к действительности. Обжигает огонь!

Крабат очнулся на опушке леса подле Юро. На ладони лежит головешка. Скорее стряхнуть ее!..

— Ах, Крабат, прости, я нечаянно! Ты показался мне таким странным! Я хотел взглянуть тебе в лицо. Посветил и... уж и не

знаю, как головешка упала тебе на руку. Покажи! Здорово обожгла?

— Ничего! Терпимо! — Крабат поплевал на обожженное место.

Он так благодарен Юро, но этого нельзя показывать. Если б не Юро, его бы здесь больше не было. Боль от ожога сделала свое дело — со скоростью мысли он возвратился в себя. В последнюю минуту.

— Светает! — проговорил Крабат.

Они откололи от креста две щепки, сунули их в тлеющие угли.

— Я мечу тебя углем от деревянного креста!

— Я мечу тебя, брат, Знаком Тайного Братства!

На обратном пути вновь встретили девушек, уже с кувшинами в руках.

Мгновение Крабат раздумывает, не заговорить ли с Певуньей. Нет! Рядом — Юро! Да и сам он может испугать девушку.

КТО ТАКОЙ ПУМПХУТ?



снова воловье ярмо у входа, и снова пощечины, и снова клятва повиноваться Мастеру.

Крабат живет, словно в полусне. Глаза Певуньи... Они перед ним все время. Но ведь она смотрела на свет свечи, не видя его...

«В следующий раз я появлюсь перед ней! — твердо решает он. — Пусть знает, что это на меня она смотрит».

Вот и все подмастерья вернулись. К мельничному колесу пущена вода. Мельница заработала.

— Быстрее! — орет Мастер.

Крабату кажется, что кто-то другой, а не он, таскает мешки, засыпает зерно, — а сколько его сегодня просыпалось! — надрывается, потеет. Голос Мастера доносится словно издалека. Крабату все равно, что он там кричит. Погруженный в свои мысли, он несколько раз сталкивается с парнями, спотыкается о ступеньки, разбивает колени. Не чувствуя боли, поправляет чуть было не свалившийся мешок, несет дальше.

Устали ноги, ломит поясницу, пот заливает лицо. Но все это его не беспокоит. То, что происходит сейчас на мельнице, касается того Крабата, который всю ночь просидел под крестом. Другому же, побывавшему в Шварцкольме, это безразлично.

На этот раз первым возликовал Витко, за ним все остальные. Крабат с удивлением огляделся. Поплевал на ладони, хотел было взяться за следующий мешок.

Но Юро остановил его тычком в бок.

— Шабашим, Крабат!

Удар хорошо рассчитан — Крабат еле дух перевел. Теперь оба Крабата снова вместе.

— Эй, Юро, за такие шутки знаешь что бывает!

Они смеялись, пили, ели пасхальное угощение, потом пошли танцевать.

Рум-бу-ру-рум — повело!
Колесо завертелось, пошло!
А мельник-то стар, да и хром,
И хром, и глуп, как бревно!
А дело было весной —
Повстречался с красоткой одной,
И закрутилось, пошло,
Рум-бу-ру-рум, повело!
А мельник-то стар, да и хром,
И глуп, как бревно!

Танцевали и пели дружно. Витко старался изо всех сил, будто хотел всех перепеть своим высоким, звенящим голосом.

Сташко попросил Андруша рассказать что-нибудь... Может, про Пумпхута?

— Ладно! — согласился тот. — Только налейте-ка мне сперва вина! Ну так вот. Как-то Пумпхут пришел в Шляйфе, к мельнику. А тот, как вы, может, слышали, такой скупердяй, какого еще свет не видывал! Пойдите-ка, а Витко, наверное, даже не знает, кто такой Пумпхут...

Что правда, то правда, Витко этого не знал, да и Крабат тоже.

— Тогда я сперва объясню. Пумпхут — Пышная Шляпа, сорб, такой же подмастерье мельника, как и мы с вами. Родом он, кажется, из окрестностей Шпола. Тощий, длинный и такой старый, что никто уже и не помнит, сколько ему лет. А на вид около сорока, не больше. В левом ухе — золотая серьга. Маленькая, тоненькая, увидишь, только когда на солнце блеснет. На голове широкополая шляпа с высоким верхом. По шляпе да по серьге его и узнают, а то и не узнают, как вы сейчас увидите. Теперь ясно?

Крабат и Витко кивнули.

— Да! Вот еще что! Это надо вам знать! Пумпхут — волшебник, самый искусный в Верхних и Нижних Лужицах. А это что-нибудь да значит! Все мы, вместе взятые, не можем и половины того, что сделает он одним пальцем. Однако всю свою жизнь он оставался простым подмастерьем на мельнице. Стать мастером его не тянуло, быть важным господином — чиновником, судьей или придворным — и вовсе не привлекало. А ведь мог бы стать кем угодно! Все ему было по плечу, но вот — не хотел!.. А почему? Потому, что он свободный человек и таким желал оставаться.

Летом странствовал с мельницы на мельницу, останавливался, где хотел. Никого над ним, да и он ни над кем. Свободен! Нравилось ему это, да и мне бы тоже понравилось, черт возьми!

Подмастерья хорошо понимали Андруша. Такая жизнь и им по душе. Сам себе господин, не пляшешь под чужую дудку — что может быть лучше? А они вот сегодня опять дали клятву Мастеру и теперь снова целый год на мельнице, как в клетке...

— Ну давай дальше, Андруш!

— Ты прав! Долго велась прическазка. Дай-ка еще разок глотнуть, и слушайте!..

Так вот. Как я уже говорил, Пумпхут пришел в Шляйфе к тамошнему мельнику, а тот был старый скряга. Чуть ли не масло из хлеба выжимал, а из супа соль выпаривал. Злой как черт. Злость срывал на подмастерьях. Никто из них не хотел оставаться на мельнице — работы много, жратва плохая. Сами понимаете — кому понравится?

Тут приходит на мельницу Пумпхут, просит работы.

«Работы хватает!» — отвечает мельник.

Конечно, он мог бы сразу заметить, кто перед ним, хотя бы по шляпе и серьге... Но... как всегда, его не узнали. Мельник нанял Пумпхута на три недели.

На мельнице было двое подмастерьев и ученик. Все трое тощие как жердь, ноги распухли от скудной водянистой пищи. Чего-чего, а воды на мельнице хватало, на воду-то мельник не скупился. Хлеба же выдавал в обрез, а каши — и того меньше. Мяса и сала не было и в помине, изредка кусочек сыра или полсеledки — вот и весь рацион. Парни работали, как уж могли, бедняги, но убежать не решались — были должниками мастера, они и бумагу ему подписали, и это держало их на мельнице.

Пумпхут огляделся, послушал, как ученик каждый вечер хнычет от голода, пока не уснет. По утрам, когда подмастерья умывались у колодца, видел, как их тощие животы просвечивают на солнце.

Как-то в обед, когда все сидели за столом, а мельница работала вовсю, в людскую вошел мастер. Парни уныло хлебали водянистый суп, в котором плавали листочки крапивы да несколько зернышек тмина. Тут-то Пумпхут и взял мельника за бока:

«Эй, мастер! Я тут за две недели насмотрелся, что едят твои люди. Жидковато! А ну-ка сам попробуй!»

Мельник сделал вид, что из-за грохота мельницы не расслышал. Показал пальцем на уши, покачал головой, ухмыльнулся.

Но улыбочку тут же как ветром сдуло. Пумпхут как хлопнет ладонью по столу... и мельница остановилась. Ни шума, ни грохота! Лишь плеск воды о лопасти колеса. Мельник, придя в себя от испуга, завопил: «Скорей, скорей, ребята! Надо посмотреть, что там стряслось! Давай, давай, нечего тут сидеть сложа руки!»

«Не торопись!» — спокойно говорит Пумпхут. Теперь ухмыляется он.

«Как так?»

«Это я остановил мельницу...»

«Ты-ы-ы?»

«Я! Пумпхут!»

Солнечный луч, как нарочно, прорвался сквозь оконце, свернула золотая серьга.

«Ты Пумпхут?» — у мельника затряслись поджилки.

Он-то знал, как Пумпхут обходится со злыми и жадными хозяевами. И как это он не разглядел его раньше, когда нанимал! Слеп он был, что ли, все это время?

Пумпхут тут же послал его за бумагой и чернилами. Под его диктовку мельник написал бумагу: «Каждому подручному — фунт хлеба в день. По утрам — густая жирная каша, овсянка, перловая или пшеничная, на молоке. По воскресеньям и праздникам — с сахаром. Дважды в неделю к обеду мясо и овощи — так, чтобы все наелись до отвала. В другие дни — горох или бобы с салом, или клецки, или любая другая еда вдоволь, вкусно приготовленная...»

Мельник все писал и писал. Заполнил целый лист, перечислил все, что будет давать подмастерьям.

«Подпиши свое имя! — потребовал Пумпхут, когда тот покончил с писаниной. — И поклянись, что все исполнишь!»

Мельник понял: выбора нет! Подписался как миленький и поклялся.

Пумпхуту только того и надо было. Расписка торжественно вручается подмастерьям. Хлоп ладонью по столу — мельница заработала! Он обращается к мельнику с речью, и тот отлично все слышит, несмотря на грохот мельницы.

«Расстанемся по-хорошему, мастер! Клятва это клятва! Я ухожу, но попробуй ее нарушить!..» Как только было произнесено последнее слово, мельница остановилась. Ни стука, ни грохота... Мельника снова обуял страх.

«Тогда, — продолжал Пумпхут, — будет вечный отдых, и ни один человек не поможет тебе пустить в ход твою тархтелку. Запомни!»

Мельница опять заработала, а Пумпхут пошел своей дорогой.

С тех пор у подмастерьев в Шляйфе началась счастливая жизнь. Они получают все, что было обещано, и твердо стоят на ногах, никого больше не шатает от голода.

Подмастерьям понравился рассказ Андруша.

— Еще, еще! — дружно закричали они. — Еще о нем расскажи! Выпей чего-нибудь и давай!

Андруш поставил рядом с собой кувшин с пивом, чтобы глотка не сохла, и пошел рассказывать про Пумпхута — как тот

проучил хозяев в Баутцене и Зорау, Румбурге и Шлюкенау на радость и на пользу тамошним подмастерьям.

Крабат невольно подумал об их Мастере. А что было бы, если б спор зашел между Пумпхутом и Мастером?

Кто вышел бы победителем?

ВОРОНО́Й



После праздников взялись проверять, где что надо чинить, подновлять, ремонтировать. Балки и доски были заготовлены давно. Сташко, самого умелого и проворного, Мастер назначил старшим, Кито с Крабатом ему помогали. Они осмотрели всю мельницу снизу доверху: нет ли где пошатнувшихся ступенек, покосившихся стояков, прогнивших половиц, источенных жучком досок. Такие заменяли или укрепляли. Доцатая обшивка мельницы также нуждалась в ремонте, да еще надо было подправить плотину. Пришла пора заменить и старое мельничное колесо.

Сташко и его помощники все делали сами, умело орудуя тесаками, как и положено подмастерьям мельника. За пилу же брались неохотно, только в крайнем случае.

Крабат был рад, что так загружен работой,— это отвлекало его от мыслей о Певунье. И все же он часто думал о ней и даже начал бояться, как бы другие этого не заметили.

Лышко, кажется, и в самом деле что-то пронюхал — как-то спросил, что с ним происходит.

— Со мной? Ты про что?

— В последнее время ты не слышишь, когда с тобой заговорят. Я знал одного парня. У него были неприятности с девушкой. Так вот, по-моему, ты на него похож!

Крабат постарался ответить со всем спокойствием, на какое был способен:

— И я знал одного. Он утверждал, что слышит, как трава растет. А на самом деле это у него в башке шевелилась солома!

...В школе чернокнижия Крабат старался изо всех сил и вскоре перегнал всех подмастерьев.

Только Ханцо и Мертен кое в чем еще были его посильнее, ну и, конечно, Михал, он стал в этом году лучшим учеником, намного опередив остальных.

Мастеру нравилось усердие Крабата, он часто хвалил его и всячески поощрял.

— Вижу, ты преуспеваешь в черной магии,— сказал он как-то в пятницу вечером в конце мая.— Тебе она дается куда легче, чем другим. У тебя редкие способности. Теперь ты понимаешь, почему я взял к курфюрсту именно тебя?!

Крбата обрадовала похвала Мастера. Жаль только, не часто представлялась возможность попробовать свои силы!

— Все в наших руках,— проговорил Мастер, угадав мысли Крбата.— Завтра пойдешь с Юро на рынок в Витихенау и продашь его как вороного коня за пятьдесят гульденов. Только смотри, чтоб этот болван тебя не подвел!

Утром Крбат с Юро отправились в Витихенау. Крбату вспомнилось, как продавали рыжего быка. Да, забавное будет приключение! Только вот почему Юро шагает такой унылый, повесив голову?

— Что с тобой?

— Ничего!

— Вид у тебя такой, будто идешь на виселицу.

— Боюсь, у меня не получится... Я еще ни разу не превратился в коня.

— Да это, наверно, нетрудно, Юро. Я тебе помогу.

— Ну да, сможешь превратиться в коня и продашь за пятьдесят гульденов. Думаешь, на том все и кончится? Для тебя, пожалуй, и кончится, а для меня только начнется. А почему? Очень просто! Как же я сам вылезу из лошадиной шкуры? Мастер небось это нарочно придумал, чтоб от меня отделаться.

— Да что ты мелешь!

— Правда, правда! Мне не справиться! Слишком я глуп! Он понуро опустил голову. Вид у него был разнесчастный.

— А если нам поменяться? — предложил Крбат.— Ведь Мастеру главное — деньги. А кто кого продаст, ему безразлично. Юро просиял от радости.

— Ну, спасибо тебе, брат!

— Да ладно! Обещай только, что об этом никто не узнает. А так, я думаю, все обойдется!

Весело насвистывая, дошли они до первых домишек Витихенау. Свернув с дороги, спрятались за сараем в поле.

— Вот и подходящее место! — решил Крбат.— Тут никто не увидит, как я превращусь в вороного. Послушай-ка, ты не забыл, что продать меня надо не дешевле пятидесяти гульденов? Когда будешь передавать новому хозяину, не забудь снять уздечку, не то я останусь жеребцом до конца моих дней, а мне это вовсе не по вкусу!

— Не бойся, уж этого-то я не забуду! Я, конечно, глуп, но ведь не настолько!

— Ну, хорошо. Только помни!

Он пробормотал слова заклинания и тут же обернулся статным красавцем скакуном в дорогой сбруе.

— Черт побери! Тебя хоть на парад выводим! До чего хорош!

Торговцы лошадьми просто рты разинули, увидав отменного жеребца. И тут же ринулись к хозяину.

- За сколько продаешь?
— За пятьдесят гульденов.

Для порядка поторговались. И вот уже торговец из Баутцена готов заплатить сполна. Но только Юро открыл рот, чтобы сказать: «По рукам!», как вмешался еще один покупатель. На нем был красный костюм для верховой езды с серебряной шнуровой, на голове польская шапочка. Наверное, полковник в отставке или еще какой важный чин!

— Ты здорово продешевил, — обратился он к Юро. — Такой красавец стоит куда дороже! Даю сто!

— Что за наглость! — взорвался торговец из Баутцена. — Сумасшедший он, что ли?! Да и кто он такой, чтобы встречать? Одет как знатный, а никто его не знает!

Одному Крабату сразу все стало ясно, как только тот вступил в торг. Узнал по хриплому голосу и по повязке на левом глазу.

Вороной встревожился, раздул ноздри, запрядал ушами. Хоть бы Юро заметил его беспокойство! Но нет, тот и внимания не обращает. Видно, все его мысли лишь о ста гульденах.

— Ну как, согласен? — незнакомец вытащил кошелек, кинул хозяину.

Юро низко поклонился.

— Большое спасибо, господин!

Мгновение... и незнакомец уже в седле. Рванул поводья, вонзил в бока шпоры, да так, что Крабат заржал и встал на дыбы.

— Пойдите, господин, не уезжайте! — крикнул Юро. — Уздечку! Оставьте мне уздечку!

— Еще чего! — расхохотался незнакомец.

Тут уж и Юро понял, кто перед ним.

Над головой Крабата просвистел кнут.

— Вперед!

И незнакомец, даже не взглянув в сторону Юро, метнулся с рынка.

Бедняга Крабат! Мастер гнал его напрямик по полям и холмам, через заросли и болота, через изгороди и канавы.

— Я тебе покажу — мне перечить!

Если Крабат замедлял бег, мельник стегал его кнутом, вонзал шпоры в бока, будто раскаленные гвозди вколачивал.

Крабат попытался скинуть седока, взбрыкнул, встал на дыбы.

— Старайся, старайся! Меня не сбросишь!

Кнутом и шпорами он вконец измотал Крабата. Еще раз конь попытался отделаться от седока — не удалось. Крабат затих, смирился. Он чувствовал, что весь в мыле и никак не мог унять дрожь. От него шел пар, кровь выступила на боках.

— Ну как? Еще?

Мастер заставил его перейти на галоп. Налево! Направо! Рысью! Шагом! Стой!

— Сам виноват! Ты еще дешево отделался! — Мельник спрыгнул, снял с коня уздечку. — Можешь стать человеком!

Крабат тут же принял свой обычный вид. Раны, синяки, царапины, ссадины — все осталось.

— Это тебе наука за непослушание! Если я что поручаю, должен выполнять, как приказано! В другой раз так легко не отделаешься. Запомни! И вот еще что! — Мастер понизил голос. — Никто тебе не мешает как следует наказать Юро! Вот, держи!

Он сунул Крабату кнут, повернулся и пошел. Крабат и оглянуться не успел, как он ястребом взмыл в небо.

Хромая, поплелся Крабат к мельнице. Пройдя несколько шагов, останавливался передохнуть. Ноги словно свинцом налились, все тело болело.

Вот и Витихенау. Еле добрался до какого-то дерева у дороги, без сил свалился в тени на траву. Хорошо, что Певунья его сейчас не видит! Что бы она подумала!

Через некоторое время на дороге появился Юро. Вид у него был удрученный.

— Эй, Юро!

Юро просто опешил, услышав знакомый голос.

— Это ты?

— Да, я!

Завидев кнут, Юро отступил назад, закрыл лицо рукой.

— Будешь бить?

— Мастер ждет этого!

— Тогда давай быстрее! Я заслужил... Приступай!

— Думаешь, у меня от этого скорее заживет?

— А как же Мастер?

— Да ведь он не приказал мне, а посоветовал. Иди садись сюда, на траву.

— Ну, как знаешь! — Юро вынул из кармана какую-то щепочку, начертил вокруг себя и Крабата круг и еще какие-то значки

— Что ты делаешь?

— Да так, пустяки! От комаров да мух! Чтобы не кусали. Покажи-ка мне твою спину!

Крабат задрал рубашку.

— Ну и ну! Как он тебя отделал! — Юро присвистнул. — Ладно, ничего! У меня есть мазь. Я всегда ношу ее с собой. Рецепт моей бабушки. Хочешь помажу?

— Если поможет...

— Да уж не повредит.

Он пошарил в карманах, достал мазь и стал осторожно ее втирать. От прикосновения его рук Крабат ощутил легкую прохладу, боль стихала. Казалось, вырастает новая кожа.

- Вот это да! — удивлялся Крабат.
- Моя бабушка была очень умная женщина. У нас в семье вообще все умные. Кроме меня. Как представлю себе, что ты из-за моей глухости мог навсегда остаться в лошадиной шкуре...
- Да ладно тебе! Видишь, нам повезло!
- Они дружно зашагали домой. Дойдя до Козельбруха, уже вблизи мельницы, Юро начал хромать.
- Хромай и ты, Крабат!
- Зачем?
- Чтобы Мастер не догадался про мазь! Никто не должен о ней знать!
- А ты-то с чего хромаешь?
- Да ведь ты отхлестал меня кнутом! Смотри, не забудь!

ВИНО И ВОДА



июне принялись мастерить новое колесо. Крабат помогал Сташко измерять старое. Важно, чтобы у нового все части были того же размера, — его собирались насадить на старый вал. За конюшней, между сараем и амбаром, устроили столярную мастерскую. Там они и проводили теперь все время, готовя перекладки, спицы, распорки, лопасти. «Все должно быть точь-в-точь! — повторял Сташко. — Не то насмешек не оберешься!»

Темнело поздно. В хорошую погоду подмастерья подолгу заживались во дворе. Андруш играл на губной гармошке.

Крабату очень хотелось сходить в Шварцкольм. Может быть, Певунья сидит у дома и кивнет ему, если он, проходя, с ней поздоровается. А может, девушки собрались и поют, и она запекает. Иногда вечерами ему казалось, будто ветер доносит далекое пение. Нет, это только казалось. Ведь между ними лес!

Вот если бы у него нашелся повод уйти с мельницы, всякая причина, которой поверил бы даже Лышко... Когда-нибудь, может быть, и найдется! Главное, не навлечь подозрений, не подвергнуть опасности Певунью.

А ведь как мало он о ней знает! Только как она выглядит, как ходит, как держит голову, как звучит ее голос... И это он словно бы знал всегда... Но он не знает даже, как ее зовут.

Теперь, на досуге, он с удовольствием подбирал ей имя: Миленка, Радушка... Душенка — да, это, пожалуй, подошло бы.

Хорошо, что я не знаю, как ее зовут, думал Крабат. Не смогу проговориться ни во сне, ни наяву. Тонда тогда предостерегал от этого, тысячу лет назад, когда мы сидели с ним у костра...

Теперь уж она никогда не уйдет из его мыслей, так же, как Тонда!

Трудились над колесом добрых три недели. Части его точно подгоняли одну к другой, и все без единого гвоздика. Когда колесо спустят в воду, дерево разбухнет — держаться будет лучше, чем на клею.

Сташко еще раз проверил, все ли хорошо, и доложил Мастеру.

Мастер назначил на ближайшую среду праздник Спуска Колеса.

Полагалось, конечно, пригласить на торжество мастеров и подмастерьев с окрестных мельниц, но мельник не очень-то жаловал соседей: «Зачем нам чужие? Обойдемся и без них!»

У Сташко, Крабата и Кито до среды работы хоть отбавляй. Построить помост, чтобы с помощью рычагов и вóрота поднять из воды старое колесо и поставить новое, — работенка не из легких. Да еще подготовить подъемные блоки, ворот, носилки, рычаги, канаты.

Во вторник вечером подмастерья обвязали новое колесо еловыми ветками. Сташко воткнул несколько цветочков. Он гордился своей работой и не думал скрывать это от других.

Среда началась с праздничного угощения. Юро нажарил к завтраку пирожков.

— Я так думаю, на сытый желудок и работа пойдет споро. Ешьте досыта, да только не объедайтесь!

После завтрака отправились в столярку, где уже ждал Мастер. По команде Сташко взялись за жерди, подсунули их под новое колесо.

— Готовы?

— Готовы!

— Раз, два, взяли! Поднимай! Понесли!

Дотащили до пруда, опустили рядом с помостом на берегу.

— Осторожнее! — кричит Сташко. — Смотрите, чтобы не вышло из пазов!

Михал и Мертен влезают на помост, с помощью блоков и канатов приподымают вал вместе со старым колесом, опирают его на перекладину. Теперь все остальные шестами и рычагами сбивают колесо с вала.

Вот уже старое колесо сброшено, его подталкивают к вороту, подтягивают веревками. Остается только поднять его из лотка и перенести на сушу. Готово!

Новое колесо осторожно спускают вниз, оно уже на уровне вала. Сташко в волнении, он с Андрушем внизу. Отдает команду:

— Чуть-чуть левее, потихоньку, потихоньку! Теперь правее, немного глубже! Осторожнее, смотрите не опрокиньте!

Все идет хорошо.

Вдруг Андруш, всплеснув руками, кричит на Сташко:

— Полюбуйтесь на вашу работу! Вот что вы натворили! — Он тычет пальцем в отверстие колеса. — Да сюда же палка от метлы не пройдет, не то что вал!

Сташко в ужасе. Он так тщательно все измерял, а отверстие оказалось слишком маленьким, таким маленьким, что даже Юро и то бы заметил.

— Не знаю, как получилось... — бормочет Сташко.

— Не знаешь? — переспрашивает Андруш.

— Нет, не знаю.

— А я знаю! — ухмыляется Андруш.

Все давно уже догадались, что он просто разыгрывает Сташко. Тут Андруш щелкнул пальцами, и все стало на свое место: отверстие снова нужной величины, колесо надели на вал — как влитое.

Сташко не рассердился. Главное, все в порядке! Самое трудное позади, остались пустяки: поставить вал с колесом в прежнее положение, закрепить, убрать ворот. Раз-два — и готово!

Мастер работал с подмастерьями на равных. Как только установили колесо, он влез на помост, а Юро принес вина. Мельник поднял кувшин, выпил в честь мастеров, остаток вылил на украшенное ветками колесо.

— Сперва вино, потом вода! Открывайте!

Ханцо открыл шлюз. Под радостные крики подмастерьев новое колесо завертелось.

Вытащили во двор из людской длинный стол и скамейки. Лышко с помощью Витко приволок кресло Мастера, поставил на почетное место во главе стола.

Вымылись в мельничном ручье. Пока подмастерья переодевались в чистые рубашки и куртки, Юро заканчивал последние приготовления. Торжественно вынес жаркое и вино.

Пировали под открытым небом до позднего вечера. Мастер был в хорошем настроении, разговорчив. Похвалил Сташко и его помощников за хорошую работу, даже для глупого Юро нашлось доброе слово — оценил жаркое и вино. Шутил, пел песни вместе с подмастерьями, подливал им вина, сам пил больше всех.

— Веселей, ребята! Веселей! Вам можно позавидовать!

— Нам? — удивился Андруш. — Слышите, братцы, Мастер нам позавидовал!

— Потому что вы молодые!

Мастер вдруг помрачнел, но ненадолго. Тут же принялся рассказывать про то время, когда и сам ходил в подмастерьях. А был... ну чуть постарше Крабата!

— У меня тогда был закадычный друг, звали его Ирко. Вместе учились на мельнице в Камерау, вместе отправились странствовать по Верхним и Нижним Лужицам, прошли всю Силезию, всю Богемию. Как придем на мельницу, всегда спрашиваем, есть ли работа для двоих. Остаться поодиночке не хотели, только вдвоем, вместе веселей. Уж Ирко-то умел посмеяться! Да и работал он за троих. А девушки в нас души не чаяли!

Мастер пустился в воспоминания. Умолкал, чтобы отхлебнуть вина, и опять продолжал. Рассказал, как они с Ирко попали однажды в школу чернокнижия, где проучились семь лет и овладели колдовским искусством. А окончив, вновь пошли бродить по белу свету.

— Как-то работали мы на мельнице близ Косвига. Мимо проезжал курфюрст со своей свитой, возвращаясь с охоты, и решил отдохнуть у ручья, в тени деревьев.

Мы, подмастерья, глядели из-за кустов, как они пировали. Слуги постелили скатерть прямо на траву, расставили серебряные блюда с разной снедью — паштет из трюфелей, всяческая дичь, вина разных сортов, а на десерт гора сластей. Все это угощение они возили за собой в корзинах на лошадях. Охотники расположились на траве, ели, пили.

Курфюрст, тогда еще молодой человек, наевшись, заявил, что после такого обеда на свежем воздухе он чувствует себя сильным, как дюжина буйволов. Завидев нас, потихоньку наблюдавших за пиром, он крикнул, чтоб мы принесли ему подкову, да побыстрее, а то его разорвет скопившаяся сила! Мы догадались, что курфюрст задумал гнуть подковы. Ирко тут же сгонял на конюшню.

«Вот, ваша светлость!»

Курфюрст с двух концов ухватился за подкову. Его егери, стоявшие поодаль с лошадьми и собаками, подошли ближе. Затрубили рога, и курфюрст поднял вверх половинки подковы. Потом, обратившись к господам, он предложил им попробовать свои силы.

Все наотрез отказались. Ирко же не вытерпел, подошел к курфюрсту.

«С вашего позволения, сделаю другое — соединю половинки».

«Это может каждый кузнец!» — ухмыльнулся курфюрст.

«Да! В кузне. С мехами, молотом и наковальней. Но не голыми руками».

Не дожидаясь ответа, взял половинки, приложил одну к другой, пробормотал заклинание.

«Вот — во славу вашей милости!»

Курфюрст выхватил у него из рук подкову, осмотрел со всех сторон. Целехонька, будто только что отлита!

«Как так? Только не втирай очки, что она будет держаться!»

И хочет во второй раз сломать подкову. Думал, это будет не трудно. Да не тут-то было! Ломал, ломал, от натуги покраснел, как индюк, потом побагровел, а под конец посинел. С яростью отбросил подкову — теперь он побледнел от гнева, — кричит:

«Лошадей! Поехали!»

Еле влез на коня, так у него ноги ослабли. С тех пор мельница у Косвига он объезжал стороной.

Мастер все пил и рассказывал про свою юность, больше всего про Ирко, пока Михал не спросил, что же потом с ним случилось, с Ирко.

Стемнело, звезды вышли на небо, над крышей конюшни повисла луна.

— С Ирко? — Мастер обеими руками обхватил жбан с вином. — Я его погубил!

Подмастерья застыли от изумления.

— Да! — повторил Мастер. — Я его погубил. Как-нибудь расскажу про это. А теперь — пить! Вина!

Больше он не проронил ни слова. Пил, пока мертвецки пьяный не упал в кресло.

Подмастерья не могли преодолеть отвращения и ужаса. Так и не перенесли его в дом, оставили сидеть во дворе. Утром, проснувшись, он сам убрался восвояси.

ПЕТУШИНЫЙ БОЙ



о сих пор, если на мельнице в Козельбрухе объявлялись странствующие подмастерья и, согласно уставу гильдии Мельников, просили о ночлеге, они не находили тут приюта. По обычаям того времени, Мастер обязан был предоставить странникам еду и кров хотя бы на одну ночь, но он пренебрегал этим правилом, высокомерно отвергая их просьбу. Он, видите ли, не хочет иметь дела с бродягами и воришками, для них у него не найдется ни куска хлеба, ни ложки каши. Пусть отправляются ко всем чертям, а иначе он спустит собак, и те будут гнать их до самого Шварц-кольма.

И странники уходили несолоно хлебавши. Если же кто-нибудь из них пытался возражать, Мастер устраивал так, что бедняге казалось, будто его травят псами. Приходилось отбиваться палкой и удирать со всех ног.

«Здесь не нужны соглядатаи, — объяснял Мастер, — и нахлебников нам тоже не надо!»

Разгар лета, удушливое марево нависло над Козельбрухом. Трудно дышать. От водоема поднимается запах водорослей и ила. Видно, быть грозе.

Крабат после обеда улегся на берегу ручья в тени раkitника. Руки за голову, в зубах травинка. Его сморило, клонит ко сну.

Сквозь дрему услышал — кто-то, насвистывая, идет по дороге. Открыв глаза, он видит стоящего над ним незнакомца. Длинный, тощий, смуглый, с виду уже немолодой. Высокая, широкополая шляпа, в левом ухе — золотая серьга. А так путник как путник: холщовые штаны, тесак за поясом, через плечо — дорожный узелок. Странствующий подмастерье.

— Привет, брат!

— Привет! — зевнул Крабат. — Откуда? Куда?

— Вон оттуда, вон туда. Отведи меня к вашему мельнику!

— Он в своей комнате, — вяло пробормотал Крабат. — Из сней прямо, а дверь будет налево. Не ошибешься!

Незнакомец с усмешкой оглядел Крабата.

— Делай как говорю, брат! Отведи меня!

Крабат почувствовал силу, исходящую от незнакомца. Она-то и заставила его подняться.

Мельник сидел в своей комнате за столом. Он недовольно взглянул на незнакомца, вошедшего с Крабатом. Но тому хоть бы что!

— Мир дому сему! — сказал он, приподняв шляпу. — Приветствую тебя, Мастер, и прошу оказать гостеприимство, согласно уставу гильдии. Мне нужен ночлег на одну ночь.

Но Мастер ответил в своей обычной манере и указал на дверь. Однако такое обхождение не смутило незнакомца.

— Насчет собак оставь при себе, я знаю, что у тебя их нет. Разрешаешь?

С этими словами незнакомец преспокойно уселся по другую сторону стола.

Крабат ничего не понимал. Как это Мастер позволяет такое? Он бы должен вскочить, вытолкать чужака вон... Почему же он этого не делает?

Безмолвно сидели эти двое по обе стороны стола, сверлили друг друга взглядом.

Где-то вдалеке раздались первые раскаты грома, глухо, едва различимо.

В дверях появился Ханцо, за ним Михал, Мертен и остальные. Теперь все были в сборе. Как они потом говорили, каждый почувствовал желание увидеть Мастера. Это и привело их сюда.

Гроза приближалась. Порыв ветра захлопнул окна. Сверкнула молния.

Незнакомец вытянул губы и вдруг... плюнул на стол. Тут же на этом месте, откуда ни возьмись, появилась красная мышка.

— Ну-ка, Мастер, теперь ты, если сумеешь!

Мастер выплюнул черную мышь, одноглазую, как и он сам. Мыши обнюхали друг друга, стали гоняться по столу, норовя уку-сить друг друга за хвост: красная — черную, черная — красную. Вот-вот черная, изловчившись, цапнет противницу! Незнакомец тут же прицелкнул пальцами.

Там, где только что сидела, пригнувшись, красная мышь, появился красный кот, готовый к прыжку. Мгновенно черная мышь обернулась котом, черным и одноглазым. Шипя, со вздыбленной шерстью, двинулись они друг на друга. Прыжок! Прыжок!

Красный кот все время норовит попасть коггистой лапой в единственный глаз черного. Еще немного, и выцарапает.

На этот раз прицелкнул пальцами Мастер. На месте черного кота возник черный бойцовый петух. Хлопая крыльями, вытянув шею, двинулся на красного кота, обратил его в бегство... Тут уж незнакомец щелкнул пальцами.

Два петуха, черный и красный, со взерошенными перьями, стояли теперь на столе, изготовившись к бою.

А гроза разбушевалась не на шутку. Но никто не обращает внимания на непогоду. Все пристально следят за поединком. Яростно хлопая крыльями, петухи насакакивают друг на друга, пускают в ход клювы, когти, шпоры. Град ударов сыплется то на одного, то на другого. Резкие, пронзительные крики наполнили комнату.

Наконец красному удалось вскочить на спину черного. С остервенением вцепившись когтями, долбит он клювом противника, летят перья... Черный обратился в бегство. Красный кинулся следом, гоняет его по мельнице, преследует по дороге в Козельбрух.

В последний раз молния сверкнула над мельницей. Громовой раскат рассыпался мелкой дробью. И... тишина! Лишь шум дождя за окном.

— Ты проиграл поединок! — проговорил незнакомец. — Не-си-ка сюда еду, да не забудь вина! Давай побыстрей! Я голоден.

Мастер, бледный как мел, поднялся со своего кресла, отпра-вился на кухню. Сам принес хлеб, ветчину, корейку, сыр, огурцы, маринованный лук. Достал из погреба жбан красного вина.

— Кисловато! — сказал, отхлебнув, незнакомец. — Налей-ка из маленькой бочки, что стоит справа в углу. Ты хранишь ее для особых случаев, сегодня как раз такой!

Скрепя сердце Мастер повиновался. Он побежден и должен выполнять приказ!

Гость принялся за еду. Подмастерья молча за ним наблюдали. Они стояли как замороженные, не в силах отвести взгляд.

Наконец путник отодвинул тарелку и вытер рот рукавом.

— Ну вот я и сыт. Что ж, вкусная еда! Ваше здоровье, братья! — Он поднял бокал, подмигнул подмастерьям. — А ты, Мастер, запомни наперед. Сперва погляди, кто перед тобой, а уж потом прогоняй! Это говорю тебе я, Пумпхут!

С этими словами он поднялся, взял тесак, перекинул через плечо узелок, вышел из Черной комнаты, распахнул двери мельницы и пошел своей дорогой.

Кратат с парнями потянулись за ним. Мастер остался в одиночестве.

Гроза кончилась. Над Козельбрухом вновь засияло солнце. Пахло свежестью.

Пумпхут шел не оглядываясь. По мокрым лугам, к лесу. Шел легко, весело насвистывая. На солнце сверкала золотая серьга.

— Я ведь вам говорил! — усмехнулся Андруш. — С ним шутки плохи. Хорошо бы сразу догадаться, что это он!.. Да никто почему-то не догадывается! А уж потом-то поздно.

Три дня и три ночи Мастер не покидал Черной комнаты. Подмастерья ходили на цыпочках. Они были свидетелями его поражения и теперь предчувствовали дурное.

Под вечер четвертого дня, когда уже заканчивали ужин, Мастер появился в людской.

— За работу!

Наверное, он был пьян — от него несло вином. Осунувшийся, бледный, заросший, стоял он в дверях.

— Расселись тут! А ну поднимайтесь! Пускайте мельницу! Засыпайте зерно! Будем молотить всеми жерновами. И не отлынивать у меня!

Подмастерья надрывались всю ночь. Мастер подгонял их руганью, подстегивал окриками и проклятьями, грозил наказанием, не давал отдышаться.

Когда забрезжил рассвет, все просто с ног валились. Мастер отослал их спать и целый день больше не беспокоил.

Однако с наступлением вечера все началось сначала. До утра кипела работа. Брань и проклятья сыпались градом. Так продолжалось из ночи в ночь.

Только в ночь с пятницы на субботу работать не приходилось. По пятницам собирались в Черной комнате. Обернувшись воронами, они нередко засыпали от усталости, едва успев уцепиться за жердь.

Мастера это не беспокоило. Сколько и что они заучивают — их дело! Лишь раз, когда сонный Витко плюхнулся с жерди, он пригрозил ему наказанием.

Витко было тяжелее всего. Он еще рос, набирался сил. А тут изнурительная работа по ночам. Михал и Мертен не раз пытались помочь мальчику. Кратат, Ханцо и Сташко, где только можно,

спешили его подменить. Но Мастер строго следил за ними. Помочь удавалось редко.

О Пумпхуте не вспоминали. Но все знали, что Мастер отгрызается на них за свое поражение. Ведь они его видели!

Прошло полтора месяца. Наступил сентябрь. В новолуние, как всегда, прикатил Незнакомец с петушиным пером. Подмастерья тут же принялись за работу. Мастер взобрался на козлы, схватил кнут. Молча, под щелканье кнута, носились парни с мешками на спине от повозки к мельнице, ссыпали их содержимое в бункер мертвого жернова. Все шло как всегда. Только под конец Витко не выдержал. Свалился под тяжестью мешка на полдороге к мельнице. Лежал, уткнувшись лицом в землю, тяжело дыша. Михал бросился к мальчику, перевернул на спину, разорвал рубашку.

— Эй, что там случилось? — подскочил Мастер.

— Ты еще спрашиваешь! — Михал нарушил молчание, обычное для такой ночи. — Полтора месяца, каждую ночь надрываемся! Разве парнишке такое вынести!

— Прочь! — заорал Мастер, яростно взмахнув кнутом. Конец его обвился вокруг шеи Михала.

— Оставь его!

В первый раз Крабат услышал голос Незнакомца. В этом го- лосе словно слились воедино польханье огня и трескучий мороз. Его обдало холодом и тут же бросило в жар, словно вокруг него бушевало пламя. Незнакомец с петушиным пером подал знак Михалу отнести Витко в сторону, выхватил у Мастера кнут, спихнул самого его с козел.

Остаток ночи Мастер работал вместо Витко. Мальчика Михал отнес в постель.

КОНЕЦ ГОДА



очная страда кончилась. Теперь работали днем, а днем это было не так трудно. Вечерами занимались кто чем хотел — кто играл на губной гармошке, кто рассказывал сказки, кто резал ложки. Все было как прежде. Пузыри на ладонях подсыхали, натертые места на плечах заживали. Учились теперь успешнее. То, что Мастер по пятницам читал из Корактора, повторяли без запинки. Лишь Юро, как и прежде, спотыкался на каждом слове.

Но что с него возьмешь!

Как-то раз Мастер послал Петара с Крабатом в Хойерсверду за бочонком соли и другими припасами. Мельник никогда не отпускал подмастерьев с мельницы поодиночке, редко по двое. На-

верное, имел на то свои причины или следовал каким-то правилам.

Запрягли в повозку гнедых и с рассветом тронулись в путь. Над Козельбрухом стоял туман, но как только выехали из леса, взошло солнце, и он рассеялся.

Вот и Шварцкольм.

Крабат все надеялся увидеть Певунью. Пока ехали вдоль деревни, он то и дело оглядывался по сторонам. Напрасно! Среди стоявших у колодца девушек ее не было. И у другого колодца, в конце деревни, тоже не видно.

Крабат опечалился. Как давно он ее не видел! С пасхальной ночи! Может, на обратном пути повезет? А впрочем, лучше уж не надеяться, тогда и не разочаруешься.

Возвращались домой после полудня с бочонком соли и прочим грузом. И тут его желание сбылось.

Она стояла неподалеку от колодца, окруженная квохчущими курами. В руках — корзинка с кормом.

— Цып, цып, цып! — сыплется зерно, куры кудахчут.

Крабат узнал ее с первого взгляда. Едва заметно кивнул в знак приветствия — так, чтобы Петар не заметил. Певунья тоже ответила мимолетным дружелюбным кивком — так приветствуют чужих. Куры, которых она кормила, были для нее сейчас важнее проезжих.

Большой огненно-рыжий петух клевал зерно у самых ног девушки. Крабат позавидовал ему.

Эх, поменяться бы с ним местами!

Осень в этом году не торопилась.

Но вот наконец и она. Холодная, серая, туманная и дождливая. А как нужны были сейчас теплые дни, чтобы перевезти побольше торфу на зиму. Когда хоть полдня не было дождя, тут же запрягали телегу. Остальное время проводили на мельнице, в сарае, в амбаре, в конюшне. Каждый был рад найти себе работу под крышей, только бы не мокнуть под дождем.

Витко с весны здорово вытянулся, но по-прежнему был худой как щепка.

— Надо нам положить ему кирпич на голову, а то весь в рост уйдет, — пошутил как-то Андруш.

А Сташко предложил поставить его на откорм, как рождественского гуся:

— Чтоб нагулял побольше жирку, а то ведь прямо пугало огородное!

Парнишка повзрослел, уже и рыжеватый пушок появился на подбородке и над верхней губой. Его самого это не слишком за-

нимало, а вот Крабат незаметно за ним наблюдал: так, значит, вот как человек взрослеет за год на три года!

Первый снег выпал в этом году довольно поздно. А парней опять уже охватило странное беспокойство. Все их раздражало. Из-за пустяков разгорались ссоры. Не было дня, чтобы кто-нибудь не бросился на другого с кулаками.

Крабату вспомнился прошлогодний разговор с Тондой. Неужто ребята и на этот раз чувят недоброе?

Чаще, чем раньше, он вынимал нож Тонды, осматривал лезвие. Оно было чистым и блестящим. Кажется, он, Крабат, не в опасности. Но ведь завтра все может измениться!

Наступило утро предновогоднего дня. Всю ночь валил снег.

Когда Крабат шел умываться к колодцу, он увидел на снегу свежий след. След вел от мельницы к лесу, в Козельбрух.

Чей же это след?

И тут ему встретился Михал с киркой и лопатой в руках. Он возвращался из леса — шел сгорбившись, заплетающимся шагом. Что он там копал?.. Крабат хотел было с ним заговорить, но тот лишь кивнул, отстраняясь. Без слов они поняли друг друга.

Михала будто подменили: он замкнулся, отгородился от всех, даже от Мертена. Словно стена отделяла его от людей.

Мастер исчез с самого утра.

Приближалась новогодняя ночь. Подмастерья поднялись наверх, легли спать.

Крабат, хоть и решил бодрствовать, заснул, как и все остальные. Примерно в полночь проснулся, стал прислушиваться.

Грохот... Затем — тишина.

Крабат натянул на голову одеяло.

Он желал только одного — умереть.

Наутро, в Новый год, они нашли Михала. Тот лежал на полу в каморке под свалившейся с потолка балкой. Подмастерья внесли его в людскую. Простились.

После полудня понесли к Пустоши.





Тод третій.

КОРОЛЬ МАВРОВ



астера все еще не было, мельница не работала. Подмастерья валялись на нарах, жались к теплой печке. Мертен с утра до вечера молчал. Лишь раз, когда Юро принес одежду Михала и положил в изголовье постели, очнулся. Убежал в сарай, там провел ночь. Вернувшись, сидел безучастно, ничего не видел, не слышал, ничего не делал, просто сидел.

Крабат мучительно думал. Тонда и Михал погибли не случайно... Оба в новогоднюю ночь... по чьей воле? По какой причине?

Мельник все не возвращался.

Наступил вечер. Витко уже собрался было задуть фонарь, как вдруг дверь отворилась. На пороге стоял Мастер, бледный как мел. Он оглядел всех, но отсутствия Михала, казалось, не заметил.

— Работать!

Повернулся и исчез до утра.

Парни поспешно оделись, ринулись к лестнице. Петар и Сташко помчались к пруду открывать шлюзы, другие побежали к жерновам с мешками на спине — засыпать зерно. С шумом и грохотом заработала мельница. У всех стало легче на душе. Мельница мелет! Жизнь продолжается!..

В полночь закончили помол. Войдя в спальню, подмастерья заметили, что на постели Михала кто-то лежит. Парнишка лет че-

тырнадцати, не больше. Чересчур маленький даже для своего возраста. И вот что странно — лицо у него черное, а уши красные. Они окружили постель, стали с любопытством его разглядывать. Крабат, державший в руках фонарь, направил свет на лицо мальчика. Это его разбудило. Увидев одиннадцать белых призраков, обступивших его постель, тот вздрогнул, испугался. Крабату показало лицо знакомым.

Только вот откуда?

— Не бойся нас! — успокоил он парнишку. — Мы — подмастерья. Как тебя зовут?

— Лобош. А тебя?

— Крабат. А это...

Но мальчуган перебил его:

— Крабат? Я знал одного мальчика, его тоже так звали.

— Да ну?

— Только он был поменьше...

Тут и Крабат вспомнил.

— Ты Маленький Лобош из Маукендорфа! А черный потому, что король мавров!

— Да! Но это в последний раз. Теперь я ученик тут, на мельнице!

Мальчик произнес это с гордостью. Подмастерья промолчали.

К завтраку Лобош явился в одежде Михала. Он попытался смыть сажу с лица, но это ему не совсем удалось: в уголках глаз и вокруг носа остались темные пятна.

— Ничего! — рассмеялся Андруш. — Полдня на мельнице, и все пройдет! Станешь весь белый!

Мальш был голоден. Он уминал кашу так, что за ушами трещало. Крабат, Андруш и Сташко ели с ним из одной миски.

— Если ты работаешь так, как ешь, — усмехнулся Сташко, — мы все можем и отдохнуть!

— А надо есть поменьше?

— Ешь, ешь! Не стесняйся! — успокоил его Крабат. — Тебе нужно набраться сил. Здесь кто голоден, сам виноват.

Лобош склонил голову набок, прищурясь, уставился на Крабата.

— Ты похож на его брата.

— На какого брата?

— Ну, на брата другого Крабата. Я же говорил, что знал одного Крабата.

— Который был в Штимбрухе, а потом удрал от вас в Грос-Парвитце?

— А ты откуда знаешь? — изумился Лобош. И тут он хлопнул себя по лбу. — Видишь, как можно ошибиться! А я тогда думал, ты на полтора, ну на два года меня старше...

— На пять! — буркнул Крабат.

В это мгновение дверь отворилась, на пороге стоял Мастер. Парни понурились.

— Эй! — Мастер подошел к ученику. — Для начала слишком много болтаешь! Понятно?

Он обернулся к Сташко, Крабату и Андрушу:

— Он должен есть кашу, а не трещать как сорока! Пусть-ка зарубит себе на носу! Позаботьтесь об этом!

Мастер ушел, хлопнув дверью.

Лобош вдруг почувствовал, что сыт. Он втянул голову в плечи, отложил ложку. И вдруг, подняв глаза, увидел, что Крабат чуть заметно ему кивнул. Но мальчику и этого было достаточно, теперь он знал: здесь, на мельнице, у него есть друг!

И Лобош не избежал испытания мучной пылью. После завтрака Мастер увел его подметать каморку.

— Почему ему должно быть легче, чем нам? — брюзжал Лышко. — Малость муки ему не повредит! Никто еще от этого не умирал.

Крабат ничего не возразил. Он думал о Тонде, о Михале. Если хочешь помочь Лобошу, не надо злить Лышко даже по мелочам! Главное, не возбудить его подозрений! Пока вмешаться нет возможности, уж придется мальчонке помучиться до обеда, помахать метлой.

Крабат представил себе парнишку: слипшиеся ресницы, нос забит мучной пылью. Как ни старайся, пыли не убывает. Да что ж тут поделаешь!

Он еле дождался обеда. Когда подмастерья пошли на кухню, кинулся к каморке. Отодвинув засов, открыл дверь:

— Выходи! Обед!

Лобош сидел в углу, скорчившись, обхватив голову руками. Заслышав голос Крабата, вздрогнул, вскочил, поплелся, волоча метлу, к двери.

— Я не справился! Старался, старался, бросил, и все! Как думаешь, Мастер за это выгонит?

— Да нет, не бойся, — успокоил его Крабат, — все будет как надо.

Он пробормотал заклинание, начертил в воздухе магический знак. Пыль мгновенно взвилась вверх, будто подгоняемая ветром.

Белое мучное облако поднялось над головой Лобоша и... через дверь — к лесу.

Каморка была чисто выметена. Мальчонка только рот разинул.

— А... как это делается?

Крабат не ответил.

— Обещай, что не расскажешь ни одной живой душе! И пойдем скорее, а то суп остынет!

Вечером, как только новый ученик отправился спать, Мастер позвал к себе всех подмастерьев и Витко. Так же, как это было в прошлом году с Крабатом, он сообщил Витко об уставе гильдии Мельников и по всем правилам перевел его из учеников в подмастерья. Ханцо и Петар поручились за Витко.

Мастер тронул лезвием тесака его голову и плечи:

— «По уставу гильдии Мельников...»

Рыжий стал полноправным подмастерьем.

Андруш в сенях приготовил пустой мешок. Его тут же накинули на Витко, как только тот вышел от Мастера.

Новоиспеченного подмастерья потащили к жерновам, чтобы «перемолоть».

— Поосторожней с ним! — предупреждал Ханцо. — Не забудьте, что он тощий!

— Тощий или толстый, — возразил Андруш, — а работник на мельнице не портняжка! Должен все испытать! Взяли! Понесли!

Они мяли и валяли его, как того требует обычай, однако не так долго, как в прошлом году Крабата. Андруш прекратил это быстро. Петар снял мешок. Сташко посыпал голову Рыжего мукой. Опять его схватили и трижды подбросили в воздух. Выпили за его здоровье и успехи.

Вино в этот раз было не хуже прошлогоднего. Но парни были невеселы. И все из-за Мертена. Он по-прежнему молчал и во время еды, и во время работы. Молчал и когда мяли Витко. И теперь сидел на мучном ларе, безучастный, угрюмый, словно окаменев.

— Эй! — крикнул Лышко. — Тебя будто из-за угла мешком ударили! — Он, смеясь, протянул Мертену кружку с вином. —пей до дна! С души воротит от твоей постной рожи!

Мертен поднялся. Не произнеся ни слова, подошел к Лышко да как двинет по кружке!

Вино разлилось.

Они стояли, глядя в упор друг на друга. Лышко струхнул не на шутку. Парни затаили дыхание. Воцарилась тишина.

Вдруг в коридоре послышались шаги, легкие, легкие. Ближе! Все, даже Мертен и Лышко, обернулись.

Крабат, стоявший у двери, распахнул ее.

На пороге, босой, в одной рубашке, завернувшись в одеяло, стоял Лобош.

— Это ты, король мавров?

— Я... Я! Я боюсь! Там одному страшно. Вы не пойдете спать?

НА КРЫЛЬЯХ



х уж этот Лобош! С первого же дня он приглянулся всем, даже Мертен был с ним по-своему приветлив: посмотрит, кивнет — все это молча, не произнося ни слова.

С другими же Мертен был по-прежнему замкнут. Машинально выполнял обычную работу, не возражал ни товарищам, ни Мастеру. Вообще не разговаривал. Даже по пятницам, когда Мастер заставлял повторять прочитанное из Корактора, хранил упорное молчание. Мастер был невозмутим: «Успеваете вы или нет в тайной науке — дело ваше. Мне это все равно!»

Крабат очень беспокоился за Мертена — как с ним быть, чем помочь? Тонда, наверное, что-нибудь посоветовал бы, да и Михал тоже. А теперь он совсем один...

Еще счастье, что появился Лобош! Парнишке ничуть не легче, чем было другим ученикам, и, если б Крабат ему не помогал, вряд ли бы он долго продержался. Раз-другой Крабат во время работы будто ненароком окажется рядом с Лобошем, перекинется словом и, как тогда Тонда, опустит руку на плечо, чтобы придать пареньку сил.

— Только не подавай вида, что стало легче, — говорил он Лобошу. — Смотри, чтоб не заметил Мастер. И Лышко — он ему все доносит.

— А разве помогать запрещено? А что тебе будет, если кто узнает?

— Не думай об этом! Главное, себя не выдай!

Лобош был хоть и мал, но на редкость сметлив. Он с такой ловкостью изображал смертельно усталого — охал, кряхтел, стонал, — что все ему верили. Каждый вечер, встав из-за стола, еле плелся к постели. А по утрам являлся к завтраку таким вялым, что, казалось, вот-вот свалится со стула.

Но он был не только смышленным пареньком и хорошим актером. Как-то Крабат увидел его за мельницей — Лобош скалывал лед.

— Я хочу тебя спросить, Крабат... — сказал он, словно вдруг решившись. — Ответишь?

— Если смогу!

— Ты вот все помогаешь мне с тех пор, как я тут, на мельнице. Хоть тебе и грозит расправа. Что ж, думаешь, я не вижу?

— Ты об этом хотел меня спросить?

— Нет! О другом!

— О чем же?

— Скажи, как мне тебя отблагодарить? Что я могу для тебя сделать?

— Отблагодарить?

Крабат хотел было уклониться от ответа, но потом передумал.

— Как-нибудь я расскажу тебе о моих друзьях — о Тонде и о Михале. Обоих уже нет. Если ты меня выслушаешь, это и будет благодарность!

В конце января наступила оттепель, неожиданная и дружная. Еще вчера в Козельбрухе все насквозь промерзло, а с утра подул западный ветер, неслыханно теплый для этого времени года. Засияло солнце, снег за несколько дней растаял. Лишь в оврагах, лощинах и низинах оставались грязно-серые пятна. А рядом коричневые поля, черные холмики над кротовыми норками, первые проблески зелени среди пожухлой травы!

— Погода как на пасху! — говорили подмастерья.

Теплый западный ветер все больше досаждал парням, он утомлял и будоражил. Вечером они долго не засыпали, ворочались с боку на бок. Спали беспокойно, вскрикивали от дурных снов. Только Мертен лежал неподвижно на своих нарах, не ворочался, не разговаривал даже во сне.

В эти дни Крабат все думал о Певунье и решил в праздники с ней заговорить. Времени до тех пор еще много, успокаивал он себя. Но мысль о том, как это будет, ни на минуту его не покидала.

Уже трижды во сне он был на пути к Певунье, но ни разу не дошел. Что-то мешало, а что, никак не мог вспомнить.

Что же это было? Что его удерживало?

Начало сна помнилось отчетливо. Ему удалось уйти с мельницы незамеченным. Он пошел к Шварцкольму не обычным путем,

а по тропке через болото. Этой дорогой вел его когда-то Тонда с торфяника домой. А дальше... провал...

Как-то ночью, проснувшись от воя ветра, Крабат стал упрямо вспоминать начало сна. В третий, в четвертый, в шестой раз, пока не заснул. И тут увидел:

Крабат улучил момент и убежал с мельницы никем не замеченный. Он стремится к Певунье, в Шварцкольм. Выбирает не обычную дорогу, а тропку через болото, которую ему показал Тонда, когда они возвращались с торфяника. И вдруг Крабат чувствует под ногами топкую почву. Спускается туман... и вот уже ничего не видно. Неужто он потерял дорогу? Крабат пытается идти дальше. Но с каждым шагом проваливается все глубже и глубже: по щиколотку, почти по колено... Да, он угодил в трясины. И чем больше старается выбраться из нее, тем глубже его засасывает.

Холодная трясина словно стягивает Крабата. Густая, цепкая, черная масса хватается за колени, за бедра. Вот уже ему по пояснице. Скоро она сомкнется над его головой. Остается только кричать. Он кричит изо всех сил, зовет на помощь, хоть и понимает, что это бессмысленно. Кто услышит его?

— Спасите! Спасите! Тону!

Туман сгущается. Крабат видит вблизи два неясных силуэта. Может, это Тонда и Михал?

— Стойте! — кричит он им. — Не подходите! Здесь трясина!

Фигуры сливаются в одну. Она надвигается. И вдруг бросает ему веревку с деревянной поперечиной. Крабат хватается за нее. Чувствует, что его тащат из болота. Он спасен!

Все произошло так быстро, что он не успевает опомниться. Ошеломленный, стоит перед своим спасителем, хочет его поблагодарить...

— Да чего уж там! — говорит Юро.

Юро?! Лишь сейчас Крабат замечает, что спас его Юро.

— Если хочешь попасть в Шварцкольм, лучше лететь!

— Лететь? Как ты себе это представляешь?

— Очень просто! На крыльях!

И Юро тут же исчезает в тумане.

— Лететь!.. Лететь на крыльях! — повторяет Крабат.

Как странно, что ему самому не пришло это в голову!

Обернувшись вороном, как обычно по пятницам, он расправляет крылья и поднимается над землей. Несколько взмахов, и он выбрался из тумана. Он летит в Шварцкольм!

Над деревней — ясное солнышко. Внизу, у колодца, Певунья кормит кур. Вдруг над ним скользнула чья-то тень. Пронзительный крик ястреба, шорох крыльев, свист... В последнее мгновение Крабат успевает резко свернуть в сторону. Ястреб промахнулся.

Крабат понимает — на карту поставлена жизнь! Камнем летит он вниз, падает среди разбегающихся кур. Только здесь, рядом с Певуньей, он чувствует себя в безопасности, принимает человеческий облик, щурясь, глядит в небо. Ястреб исчез.

Вдруг, откуда ни возьмись, у колодца Мастер. В гневe протягивает руку к Крабату:

— *Следуй за мной!*

— *Почему? — удивляется Певунья.*

— *Он принадлежит мне!*

— *Нет!*

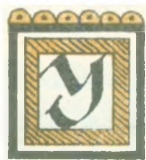
Всего одно слово, но звучит оно так, что возразить нельзя.

Она обнимает Крабата за плечи, окутывает его шалью, мягкой, теплой.

— *Идем, — говорит она. — Пошли!*

И они уходят вместе, не обернувшись.

ОТСЮДА НЕТ ПУТИ!



тром оказалось, что пропал Мертен. Постель его была свернута, одеяло сложено, куртка и фартук — в тумбочке. Под табуреткой — деревянные башмаки. Никто не видел, как он уходил. Заметили лишь за завтраком.

Все бросились его искать, но нигде не нашли.

— Он улизнул! Надо скорее сообщить Мастеру! — злорадствовал Лышко.

Однако Ханцо преградил ему путь:

— Ты что, не знаешь? Это — дело Старшего!

Все ожидали гнева, крика, проклятий. Ничего подобного! Как рассказал Ханцо, Мастер не принял известия всерьез. «Мертен не в своем уме!» — проронил он. На вопрос: «Что делать?» — буркнул: «Оставь, вернется!»

— От его взгляда я буквально похолодел, думал, превращусь в льдину. Хоть бы все обошлось!

— Э, нет уж! Кто удирает с мельницы, должен знать, что его ждет! — съязвил Лышко. — Да что ему сделается!.. Кожа у него, как у слона!

— Ты так думаешь? — не удержался Юро.

— А то! — Лышко стукнул кулаком по столу.

Плю-х-х! В лицо ему выплеснулся суп. Густой! Прямо с огня! Лышко взвыл от боли:

— Кто? Кто это сделал?

Вне себя от бешенства, он стал вытирать щеки, глаза, нос.

Всем было ясно, что без чьей-то помощи здесь не обошлось. Лишь Юро по своей простоте не заподозрил тут, видно, дурного умысла. Вот только суп жалко!

— В другой раз ты, Лышко, не бей по столу. Или уж бей не так сильно!

Чего боялся Крабат, то и случилось. Вечером, с наступлением темноты, Мертен явился. Понуро опустив голову, стоял он на пороге.

Мастер не бранил его, не кричал.

— Ну, как прогулялся? Видать, не понравилось, раз так рано вернулся? Или что помешало?.. Не хочешь со мной говорить? Давно замечаю — не раскрываешь рта. Что ж, я тебя не заставляю, мне все равно! Можешь еще раз попробовать! Пытайся сколько влезет! Никому не удалось, и тебе не удастся!

Лицо Мертена по-прежнему было каменным.

— Притворяйся, притворяйся! Делай вид, что это тебя не трогает! Я и эти одиннадцать знаем, каково тебе. А теперь убирайся!

Мертен ушел на чердак, лег на нары.

У всех в этот вечер было тяжело на душе.

— Давайте отговорим его бежать еще раз,— предложил Ханцо.

— Попробуй! — отозвался Сташко.— Он не послушает!

— Боюсь, он вообще ничего слушать не станет,— сказал Крабат.

Ночью погода переменилась. Ветер стих, ударил мороз. Окна покрылись узором. Утром, выйдя из дому, они увидели, что все обледенело. Замерзли лужи и вода на краях колодца, холмики над кротовыми норками окаменели, земля затвердела.

— Скверно для урожая! — покачал головой Петар.— Мороз без снега. Все померзнет!

Крабат обрадовался, увидев за завтраком Мертена. Тот уплетал кашу как ни в чем не бывало. Видно, наголодался за сутки.

Отправились на работу. Никому и в голову не приходило, что Мертен опять пустится в путь, теперь уж середь бела дня. Лишь в обед заметили его отсутствие.

Два дня и две ночи его не было. Никогда еще ни один беглец не пропадал так долго. Думали, его и след простыл. Ан нет! Утром на третий день явился. Завидели еще издали — бредет, шатаясь, через луг. Еле дошел — усталый, обмороженный. Страшно смотреть!

Крабат и Сташко встретили его у дверей, ввели в людскую. Петар снял с него башмак, Кито — другой. Ханцо послал Юро за холодной водой, сунул побелевшие ноги Мертена в таз, принялся растирать.

— Надо скорей уложить его в постель! Может, еще отойдет!

Тут дверь отворилась. Мастер! На этот раз насмеяться не стал. Подождал, пока поднимут Мертена, подошел ближе.

— Погодите наверх тащить, мне сказать ему надо!.. Думаю, с тебя достаточно. Отсюда нет пути! А вы вот что — не хлопчите! От меня зависит, кто умрет здесь, на мельнице! Только от меня! И ни от кого больше.

С этими словами он ушел.

Мертена отнесли в постель, дали горячего питья, укрыли одеялами. Ханцо остался наверху, присел рядом на нары. Подождал, пока заснет. Убедившись, что его помощь больше не нужна, спустился вниз. Надо было работать.

СНЕГ НА ПОЛЯХ



Мертен был плох, его лихорадило, он задыхался, не мог глотать. Лишь через несколько дней с трудом проглотил ложку супа.

Ханцо распорядился, чтобы кто-нибудь всегда был с ним рядом, не спускал глаз с больного. Дежурили и по ночам: боялись, что в беспамятстве он что-нибудь над собой сделает. Ведь Мастер твердо сказал, что все пути отрезаны.

«От меня зависит, кто умрет здесь, на мельнице!» — эти слова Мастера не выходили у Крабата из головы. Разве в них не таится ответ на его мучительные раздумья о смерти Тонды и Михала? Но пока это только еще догадка. Нужно подтверждение. Что ж, придет время, и все разъяснится. И тогда он призовет Мастера к ответу. Да, так все и будет. Но пока нельзя и вида подавать. Надо изображать простодушного, прилежного и послушного ученика, самому же готовиться к возмездию. А главное — преуспеть в тайном искусстве.

Ни снежинки не выпало в эти февральские дни, а мороз лютовал по-прежнему. По утрам шли к шлюзам, срубали лед. Проклинали гнилую погоду, поманившую было теплом.

Как-то днем, когда подмастерья садились обедать, со стороны леса показались трое людей. Один — высокий, крепкий, в расцвете сил, двое других — сутулые, белобородые старцы.

Лобощ заметил их первым. Он был глазастый, все видел.

— К нам гости! — крикнул он громко.

Тут и другие увидели ходячков. Они, видно, шли из Шварцкольма. В зипунах, в зимних шапках. Мельницу в Козельбрухе крестьяне из близлежащих деревень всегда обходили стороной. Но эти шли напрямик.

Ханцо открыл дверь. Подмастерья в нетерпении столпились в сенях, притихли.

— Чего вы хотите?

— Поговорить с мельником.

— Я — мельник. — Мастер незаметно вышел из своей комнаты, двинулся навстречу крестьянам. — Что вам надо?

Высокий снял шапку.

— Мы из Шварцкольма. Я — староста, а эти двое — наши старейшины. Передаем привет от всех жителей деревни и просим тебя, мельник, нас выслушать. Я думаю... Тебя не удивит...

Мастер прервал его властным жестом.

— Без лишних слов! Что вас сюда привело?

— Мы просим твоей помощи!

— В чем дело?

— Мороз, а на полях нет снега! — Староста теребил в руках свою шапку. — Если в ближайшие дни не пойдет снег, озимые погибнут!

— А я тут при чем?

— Просим тебя, мельник, сделай так, чтобы пошел снег!

— Пошел снег? Как это?

— Мы знаем — ты можешь! Сделай так, чтобы пошел снег!

— Мы ведь не задаром! — вмешался один из стариков. — За добро отплатим добром. Получишь две сотни яиц, пять гусей и семь кур.

— Только бы снег пошел! — добавил второй. — Иначе пропадет урожай, будем голодать.

— Мы и наши дети! — вторил ему староста. — Сжался над нами! Пусть пойдет снег!

Мельник поскреб в затылке.

— Многие годы я вас в глаза не видел. Теперь же, когда я понадобился, вы тут как тут!

— Ты наша последняя надежда! Если не пошлешь снега, мы погибнем! Ты ведь не откажешь нам в помощи, мельник? Умоляем тебя на коленях, как господу бога! — Они опустили перед Мастером на колени, уронили головы на грудь.

— Выполни нашу просьбу! Смилуйся!

— И не подумаю! Отправляйтесь домой! Что мне до ваших озимых! Мы тут, на мельнице, не померем с голоду! Уж я позабочусь об этом, мы и без снега не пропадем. А вы, лапотники, отвяжитесь от меня со своими яйцами и птицей! Подышайте с голоду, не мое дело! Я и пальцем не шевельну ради вас и ваших сопляков! И не ждите!

— А вы? — обратился староста к подмастерьям. — И вы тоже не хотите помочь нам, господа подмастерья? Сделайте это из милосердия, ради наших несчастных деток! Уж мы вас отблагодарим!

— Да он совсем сдурел! — взорвался Лышко. — Сейчас я спущу собак! Ату!

Он пронзительно свистнул. Тут же раздался остервенелый, многоголосый лай. Староста подскочил, уронил шапку.

— Скорее! Они разорвут нас! Надо бежать! Бежать!

Старики, подобрав полы тощих зипунишек, бросились прочь. Бегом по лугу, к лесу.

— Хорошо придумано, Лышко! — одобрил Мастер. — Молодец! — Он похлопал его по плечу. — Ну, от них мы избавились! Надолго запомнят этот день! Больше мы их не увидим!

Крабату жаль было старосту и его спутников. Как он зол был на Мастера! Ну что они ему сделали? Почему он им отказал? Ему ведь ничего не стоило им помочь! Заглянуть в Корактор, произнести несколько слов, подходящих к случаю. Как жаль, что Крабат их не знает, этому Мастер их еще не учил. А то бы он сам вызвал снег на свой страх и риск. Да и Петар, и Ханцо, и еще кое-кто наверняка попробовали бы тут свои силы.

Один только Лышко радовался «победе», его так и распирало от гордости. А здорово он их разыграл с собаками! И ведь поверили, убежали!

Но злорадство его не осталось безнаказанным. Ночью он вскочил с отчаянным криком: свора черных псов ринулась на него во сне, норовя разорвать на куски.

— Вот ужас-то! — посочувствовал Юро. — Какое счастье, что это только сон!

Пять раз нападали на Лышко черные псы, пять раз он вскакивал с криком и всех будил. До того надоел, что они его вышвырнули.

— А ну-ка бери свое одеяло и убирайся в сарай! Там можешь хоть до утра воевать с собаками. И орать сколько влезет! С нас хватит!

Проснувшись утром, глазам своим не поверили: снег! Все вокруг белым-бело! Снег, видно, шел всю ночь, но и сейчас все шел большими пушистыми хлопьями.

Уж теперь-то крестьяне будут довольны и в Шварцкольме, и во всех окрестных деревнях. Неужто Мастер передумал и все-таки поможет?

— Может, это Пумпхут? — предположил Юро. — Крестьяне ведь могли встретить его и попросить. А уж он-то никогда не откажет!

— И верно, Пумпхут! — согласились остальные. — Разве он откажет!

Но нет, не Пумпхут! Опять в обед, и опять же Лобош увидел их первым, явились староста и старейшины из Шварцкольма. На этот раз на санях. Привезли Мастеру обещанное: семь кур, пять гусей, две сотни яиц.

— Спасибо тебе, мельник! — Староста склонился в глубоком поклоне. — Спасибо тебе! Ты спас наших детей! Мы бедные люди, ты знаешь! Возьми, что у нас есть, мы принесли тебе это в знак благодарности!

Мастер выслушал его с недовольной миной. Пытаясь сохранить спокойствие, проронил:

— Кто вам помог, не знаю! Только не я. Это уж наверняка. Забирайте свое барахло и проваливайте! — Он повернулся и ушел в свою комнату. Было слышно, как щелкнула щеколда.

Гости стояли со своими дарами словно побитые. Юро пришел им на помощь.

— Возвращайтесь домой! Выпейте рюмочку и забудьте все это!.. — Он подсобил им погрузить все в сани.

Крабат смотрел вслед саням, пока они не скрылись в лесу. Долго еще издали доносился скрип полозьев, звон колокольчиков, слышалось щелканье кнута, звучал голос старосты, погонявшего лошадей: «Но, но-о!»

Я — КРАБАТ!



ришла весна, таял снег. Крабат учился как одержимый. Он давно перегнал всех, и Мастер не мог им нахвалиться. Ему, видно, было невдомек, что парень старался изо всех сил, чтобы приблизить час расплаты.

Как-то воскресным днем Мертен впервые поднялся с постели, сел за сараем на солнышке. Бледный, худой... В чем только душа держится! Он был молчалив по-прежнему. Раскрывал рот лишь в случае крайней необходимости: «Да», «нет», «дай сюда», «ладно», «брось». Других слов будто и не знал.

В пятницу Лобоша приняли в школу чернокнижия. Как удивился малыш, превратившись в ворона! Небольшая забавная черная птица с живыми глазами и взъерошенными перьями никак не могла успокоиться. Весело кружила по комнате, задевая крылом череп и книгу. Мастеру пришлось трижды шикнуть, прежде чем она утихомирилась и уцепилась за жердь.

«Это искусство мысленно разговаривать с другим человеком так, чтобы тот слышал и понимал слова, будто они исходят от него самого...»

Ученикам сегодня нелегко быть внимательными — Лобош без конца отвлекает. Смех, да и только! То вращает глазами, то вертит шеей, то хлопает крыльями. Тут уж не до Корактора!

Но Крабат старался не пропустить ни слова: сразу сообразил, как важен этот урок для него и Певуньи. Запомнил все слово в слово.

Перед сном, в постели, повторил несколько раз подряд, чтобы уж век не забыть.

В субботу перед пасхой, как только спустились сумерки, Мастер вновь отослал их по двое добывать магический знак. На этот раз Крабату выпало идти с Лобошем. Взяли по два одеяла. Больно пасмурно, как бы дождь не пошел! Уходили с мельницы последними. Нужно было торопиться, чтобы другие не заняли знакомое место. Но когда дошли, оказалось, что опасения Крабата напрасны.

На опушке леса собрали ветки, сучья, кусочки коры. Разожгли костерок. Крабат рассказал Лобошу, для чего они здесь.

Лобош зябко кутался в одеяло. Хорошо, хоть он здесь не один! А то бы помер со страху, и тогда уж на этом месте поставили бы еще один деревянный крест, только чуть-чуть поменьше!..

Поговорили немного о школе чернокнижия, как в ней учатся колдовству. Помолчали... И тут Крабат стал рассказывать про Тонду и Михала. «Я ведь тебе обещал...» Едва начав, сообразил, что сидит на месте Тонды, а напротив, по ту сторону костра, такой же мальчик, каким был он сам в те далекие времена. Да, теперь он на месте Тонды.

Не хотелось рассказывать о смерти Михала и Тонды, но чем больше говорил, тем больше убеждался — надо! Поведал о смерти Воршулы, о предостережении Тонды: подмастерья приносят девушкам несчастье. Мальчик должен был это знать.

Так получилось, что рассказал все. Только о тайном свойстве ножа умолчал, чтобы нож его не утратил.

— Ты знаешь, кто виноват в смерти Тонды и Михала?
— Догадываюсь! И если мои подозрения подтвердятся, рас-
считаюсь!

Около полуночи начал накрапывать мелкий дождик. Лобош натянул на голову одеяло.

— Не надо! — посоветовал Крабат. — А то не услышишь колоколов и пения в деревне.

Вот и звон колоколов, и голос Певуньи. Вступает хор девушек, и снова голос Певуньи.

— Красиво! — тихо сказал Лобош. — Ради этого можно и промокнуть!

Они посидели молча. Лобош понял, что Крабату не хочется разговаривать. Да и ему самому было над чем поразмыслить. Думать о судьбе Тонды и Михала — не хватит ночи...

Девушки пели, колокола заливались звоном. Вот и дождь перестал. Крабат этого не заметил. Для него не существовало сейчас ни дождя, ни ветра, ни тепла, ни холода, ни света, ни мрака. Только Певунья, ее голос... И как сияли тогда ее глаза при свете свечи...

Вот бы ее увидеть... Выпорхнуть из себя? Но ведь Мастер обучил их искусству мысленно разговаривать с другим человеком так, чтобы тот слышал и понимал слова, будто они исходят от него самого. А если попробовать?

Под утро Крабат произнес заклинание и напряг всю свою волю, чтобы внушить Певунье: «Один человек просит тебя, Певунья, выслушать его. Ты его не знаешь, а он знает тебя давно. Когда наберешь в кувшин воды, отстань немного от девушек, иди одна. Этот человек хочет тебя встретить. Но так, чтобы не заметили другие, — то, что ему надо сказать, касается только тебя и его!»

Трижды обратился он к ней с такой просьбой, трижды мысленно произнес одни и те же слова.

Забрезжил рассвет. Смолкли колокола, затихло пение. Наступило время обменяться с Лобошем знаком тайного братства. Крабат отколол от креста две щепы ножом Тонды и сунул их в тлеющие угли. Потом научил Лобоша рисовать магический знак.

— Я мечу тебя углем от деревянного креста!

— Я мечу тебя, брат, Знаком Тайного Братства!

И вот они двинулись в обратный путь.

Крабат так торопился на мельницу, словно хотел во что бы то ни стало прийти раньше всех. Маленький Лобош едва поспевал за ним. Уже возле Козельбруха Крабат вдруг остановился, стал шарить в карманах...

- Кажется, я забыл его возле креста!
- Что забыл?
- Нож!
- Подарок Тонды?
- Да!

Теперь Лобош знал, что нож был для Крабата единственной памятью о Тонде.

- Тогда вернемся, поищем!
- Нет! Побегу один, это быстрее! А ты пока посиди, подожди. Так будет лучше.
- Да? — мальчик подавил зевок. — Ну, ладно.

Лобош сел под куст, на прошлогоднюю траву, а Крабат поспешил к тому месту, мимо которого, как он знал, должны пройти девушки. Здесь и укрылся в тени изгороди. Вот и они! Певуньи среди них нет. Значит, услышала, значит, поняла!

Наконец-то она! Одна. Плотно закутанная в шаль.

Он вышел на дорогу.

— Я — Крабат, подмастерье из Козельбруха. Не бойся меня! Певунья не удивилась. Подняв глаза, посмотрела прямо в лицо. Казалось, она ждала его.

— Я тебя знаю. Видела во сне. И еще одного человека, который замышлял против тебя зло. Но нам это было все равно — и тебе и мне. С тех пор я все ждала, когда ты появишься. Наконец-то ты пришел!

— Я пришел, но не могу быть тут долго. Меня ждут на мельнице.

— И мне тоже надо домой. Мы еще увидимся? — Она обмакнула крашек шали в кувшин с водой и молча, не торопясь, словно делала это всю жизнь, стерла со лба Крабата магический знак.

Крабат почувствовал себя так, будто с него смыли позорное клеймо. Как хорошо, что она есть на свете, и стоит тут рядом, и смотрит ему в глаза!

СНЫ



обош тем временем заснул под кустом на опушке. Когда Крабат разбудил его, он спросил, протирая глаза:

- Нашел?
- Что?
- Да нож!

— Ах, да! Вот он! — Крабат вынул нож, выдвинул лезвие. Оно было черным.

— Нужно почистить как следует! А потом смазать. Лучше всего собачьим жиром.

— Так я и сделаю!

Теперь уж и в самом деле надо было торопиться. На полдороге они повстречали Витко с Юро, те тоже запаздывали.

— Ну как, до дождя успеем? — спросил Юро, взглянув на Крабата так, словно у того чего-то не хватает, было не так.

Ах вот оно что! Знак на лбу!

Страх охватил Крабата. Если он появится без знака на мельнице, ему несдобровать. Мельник обязательно что-то заподозрит. Тогда Певунье тоже грозит беда.

Он порылся в кармане, вдруг найдется уголек! Но нет, он и сам знал — напрасная надежда!

— Быстрее! Быстрее! Побежали! — спохватился Юро. — А то нам достанется!

Когда выходили из леса, сильный порыв ветра сорвал шапку с Витко и с Крабата. И тут же хлынул ливень. Промокшие до нитки, явились они на мельницу.

Мастер был раздражен, ожидал их с нетерпением. Они согнулись под воловьим ярмом, получили пощечины.

— А где, черт подери, ваш знак?

— Да вот же он! — удивился Юро, ткнув себя пальцем в лоб.

— Там его нет! — взревел Мастер.

— Значит, проклятый дождь все смыл.

Мельник на мгновение задумался.

— Эй, Лышко! Вытащи-ка из печки уголь! Да побыстрее! — Он поспешно нарисовал знак всем четверым, обжигая их горячим углем. За работу!

Ну и досталось же им в этот день! Целую вечность пришлось надрываться, пока потом не смыло знак со лба.

Лобош на этот раз первым почувствовал облегчение. Ликуя, он подбросил над головой мешок с зерном.

— Эй, вы! Смотрите, какой я сильный!

...Остаток дня отдыхали: пели, танцевали, рассказывали разные истории, все больше про Пумпхута. Андруш, подвыпив, произнес речь о том, какие прекрасные парни у нас здесь на мельнице. Да и вообще все подмастерья — славные ребята, а всех мастеров надо гнать к черту!

— Или, может, кто против?

Да нет, все, конечно, были с ним согласны, кроме Сташко.

— Гнать к черту? — возмутился он. — Э, нет! Сатана пусть сам лично явится за каждым и свернет ему шею! Крах-х! Я за это!

— Ты прав, братишка! — Андруш обнял его. — Пусть черт заберет всех мастеров, а нашего — первым!

Крабат отыскал себе место в углу, так, чтобы быть вместе со всеми и все же в стороне. Пока парни пели, смеялись, произносили речи, он думал о Певунье, вспоминал, как они встретились, разговаривали... припоминал каждое ее слово, движение, каждый взгляд. Не заметил, как и время прошло.

Воспоминания прервал Лобош, усевшийся рядом.

— Хочу тебя спросить...— Вид у Лобоша был озабоченный.

— Что?— Крабат с трудом вернулся к действительности.

— Андруш такое говорил! И Сташко тоже! Если дойдет до Мастера...

— Это же пустая болтовня! Неужели не понимаешь!

— А мельник-то! Мельник! Если ему Лышко донесет, что будет?

— Ничего! Ровным счетом ничего!

— Не может быть! Ты и сам этому не веришь! Разве он такое простит!

— Понимаешь, сегодня можно бранить Мастера сколько влезет, посыпать ему на голову чуму и холеру! Даже дьявола призывать, как ты слышал. Сегодня он на это не обозлится. Наоборот!

— Да ну?

— Он ведь как рассуждает? Кто раз в год выскажется, облегчит душу, тот будет весь год сносить и терпеть все. Даже то, чего терпеть нельзя. А такого у нас на мельнице хватает.

Крабат — уже не прежний Крабат. Он отсутствует, витает в облаках. Как будто бы и работает, как всегда, и разговаривает, отвечает на все вопросы, но на самом деле он далеко отсюда — возле Певуньи. Певунья с ним рядом, и мир вокруг с каждым днем все светлее, все зеленее.

Никогда раньше Крабат не замечал зелени. Сколько же разных оттенков у травы! А еще зелень березовых, ивовых листочков, зелень мха, кое-где переходящая в голубизну, юная сверкающая зелень на берегу пруда, на живой изгороди, на кустах, темная затаенная зелень старых сосен в Козельбрухе, то мрачная, угрожающая, почти черная, то сверкающая, золоченная заходящим солнцем...

Несколько раз ему снилось одно и то же: будто идут они с Певуньей не то по лесу, не то по саду. Лето, тепло. На Певунье светлое платье. Проходят под высокими дуплистыми деревьями, Крабат обнял ее за плечи, платок съехал у нее с головы, он чувствует щекой легкий завиток, хочет, чтобы она остановилась, по-

смотрела на него, тогда он увидит ее лицо. Но он знает — лучше этого не делать, чтобы никто другой, умеющий проникать в чужие сны, ее не увидел!

На мельнице заметили, что с Крабатом творится что-то неладное. Очень уж он переменился. И вот уже Лышко стал ходить вокруг Крабата — разнюхивать, допытываться.

Ханцо поручил Крабату и Сташко подправить стершийся жернов. Они установили жернов у стены и принялись углублять желоба. Когда Сташко пошел поточить свой инструмент, явился Лышко с ворохом пустых мешков. Крабат заметил его, лишь когда тот раскрыл рот. Лышко вообще имел привычку подкрадываться.

— Ну! — начал он, подмигнув. — Как ее зовут? Она блондинка или брюнетка?

— Кто?

— Да та, о ком ты все думаешь последнее время. Ты что же, считаешь, мы слепые, не замечаем, что тебе вскружили голову, может, во сне, а может, и наяву? Хочешь, помогу с ней встретиться? Я знаю один способ. Понимаешь, жизненный опыт... — И, оглянувшись по сторонам, он зашептал Крабату на ухо: — Только скажи ее имя, и я все устрою!

— Отстань! Что за чушь ты там мелешь? Работать не даешь!

В эту ночь Крабату снова приснился все тот же сон. Они с Певуньей все идут и идут под высокими деревьями в летний солнечный день. Вышли на лесную опушку, и тут на них пала тень. Крабат накинул на голову Певуньи куртку. «Быстрее! Нельзя, чтоб он увидел твое лицо!» Держась за руки, они побежали обратно под сень деревьев.

Крик ястреба, пронзительный, резкий, ножом полоснул по сердцу. И он проснулся...

Вечером Мастер вызвал Крабата к себе. Стоя перед ним и ощущая на себе его взгляд, Крабат почуял недоброе.

— Хочу с тобой поговорить! — Мастер сидел в кресле с каменным лицом, скрестив на груди руки — судья, да и только! — Ты знаешь, я жду от тебя многого, Крабат! Ты преуспел в тайной науке. Однако в последнее время меня одолевают сомнения: могу ли я тебе доверять? У тебя появились тайны, ты что-то от меня скрываешь. Может, лучше, если ты сам, без принуждения, все мне расскажешь, не вынуждая меня выяснять? Скажи прямо, что тебя беспокоит? Подумаем вместе! Еще есть время!

Крабат ни минуты не помедлил с ответом.

— Мне нечего тебе сказать, Мастер!

— В самом деле нечего?

— Нет!

— Тогда иди! Но потом пожалеешь!

В сенях его ждал Юро. Он потянул его за собой на кухню, запер дверь.

— У меня тут кое-что есть для тебя, Крабат!

Юро сунул ему что-то в руку.

Крабат раскрыл ладонь — маленький, высушенный корешок на тройной крученой нитке.

— Возьми, надень на шею, а не то заплатишься головой за свои сны!

ДОГАДКА



Мастер стал теперь проявлять необычайное расположение к Крабату — выделял его среди других, хвалил за все, что ни сделает, словно хотел показать, что не таит зла.

Как-то вечером, когда все остальные ужинали, будто ненароком столкнулся с ним в сенях.

— Хорошо, что я тебя встретил! Иногда, знаешь ли, под горячую руку не сдержишься и наговоришь глупостей. Помнишь тот разговор в моей комнате? Это был глупый, ненужный разговор! Ведь правда? — Не дожидаясь ответа, он торопливо продолжал: — Жаль, если ты принял все за чистую монету! Я знаю, ты славный парень! И давно уже лучший мой ученик, верный мне, как никто другой!

Крабату стало не по себе. Чего хочет от него Мастер?

— Короче, я тебе докажу, как я к тебе отношусь. Сделаю то, чего никогда не делал для других! В следующее воскресенье освобождаю тебя от работы. Можешь идти куда хочешь. В Маукендорф, Шварцкольт или Зайденвинкель — мне все равно. А вернешься в понедельник утром.

— А зачем мне туда идти? — удивился Крабат. — Что я там забыл?

— Да ведь там трактиры, шинки. Есть девушки! Можно погулять, потанцевать. Хочешь?

— Нет! У меня и в мыслях этого нет! Чем я лучше других?

— Хочу наградить тебя за прилежание, за успехи в тайной науке. Ты это заслужил!

В воскресенье утром, когда парни собрались на работу, Крабат пошел было с ними. Однако Ханцо отвел его в сторону.

— Уж не знаю, в чем дело, но Мастер тебя отпускает. До завтрашнего утра и видеть тебя не желает. Тебе, говорит, все известно.

— Ну да, — буркнул Крабат.

Надев праздничную одежду, он вышел из дому. Парни работали как обычно, несмотря на воскресенье.

За сараем Крабат сел на траву. Надо подумать. Мастер расставил ему ловушку. Это понятно. Не попасться бы в нее! Ясно одно: идти куда угодно, но не в Шварцкольм. Лучше всего бы, конечно, остаться здесь, поваляться на солнышке. Но тогда он догадается, что его замысел разгадан. Нет, надо идти! Идти в Маукендорф. А Шварцкольм обходить стороной. Да нет, так себя выдашь. Конечно, надо идти через Шварцкольм. Это ведь самый короткий путь.

Понятно, что с Певуньей встречаться нельзя.

Произнеся заклинание, он мысленно обратился к девушке: «Певунья, это я, Крабат. Я прошу тебя, очень прошу — что бы ни случилось, не выходи сегодня из дому! И в окне не показывайся. Ни за что!»

Крабату верилось, что Певунья выполнит его просьбу.

Он хотел было уже отправиться в путь, но тут из-за сарая вышел Юро с пустой корзиной в руках.

— А! Крабат! Вижу, ты не торопишься! Я посижу тут с тобой на травке, ладно? — Он вытащил из кармана какую-то палочку, как и тогда, после их неудачной торговли, и, очертив ею круг, нарисовал на нем какие-то знаки. — Думаешь, от комаров да мух?

— Нет! Я ведь и тогда уже сомневался. Это ты, чтобы Мастер нас не увидел и не услышал ни вблизи, ни издали. Верно?

— Да нет! Он мог бы увидеть нас и услышать, но не станет этого делать: он про нас забыл. Вот для чего этот круг. Пока мы в нем, Мастер думает о чем угодно, только не о тебе и не обо мне.

— Не глупо! Совсем не глупо! — И вдруг у Крабата блеснула догадка. Пораженный ею, он глядел на Юро. — Так это ты послал крестьянам снег? Так это ты наслал на Лышко злых псов? Ты вовсе не глупый, как все мы думаем... Ты просто притворяешься!

— Ну, а если и так? Не буду спорить. Я не так глуп, как все вы считаете. А вот ты, Крабат... Только не сердись! Ты куда глупее, чем думаешь.

— Я?

— Ведь ты до сих пор не понял, что происходит на этой проклятой мельнице! А то б ты умерил свой пыл! Или хоть сделал вид! Тебе что ж, не ясно, в какой ты опасности?

— Догадываюсь...

— Не совсем! — Юро сорвал травинку, размял ее пальцами. — Хочу тебя предостеречь. Я вот уже много лет самый глупый из всех, а ты?.. Если и дальше так пойдет, будешь следующим. Михал, и Тонда, и все остальные, зарытые на Пустоши, сделали ту же ошибку. Они слишком многому научились в школе черно-книжия, и Мастер это заметил. Ты ведь знаешь, что в каждую новогоднюю ночь один из нас должен умереть вместо Мастера.

— Вместо Мастера?

— Вместо него! У него договор с этим... Незнакомцем. Каждый год он должен принести в жертву одного из своих учеников или погибнет сам.

— Откуда ты знаешь?

— Ну, у меня есть глаза. Тут найдешь, над чем призадуматься. А кроме того, я прочитал про это в Коракторе.

— Ты?

— Я ведь глуп, как ты знаешь. Так думает Мастер и все остальные. Никто не принимает меня всерьез. Вот я и выполняю работу по дому. У меня какие заботы? Прибраться, вымыть пол, вытереть пыль... То же и в Черной комнате, где лежит на цепи Корактор, недоступный для тех, кто мог бы его прочесть. Мастер не зря об этом печется, держит его взаперти — ведь там написано, как ему навредить.

— А ты? Ты... можешь его читать?

— Да! Ты — первый, и единственный, кому я это сказал. Существует только один путь положить конец всему. Один-единственный! Если есть девушка, которая тебя любит, и если она попросит Мастера тебя отпустить и сможет выдержать испытание...

— Испытание?

— Ну, об этом в другой раз! Когда будет время. Пока что помни одно: остерегайся! Мастер не должен знать, кто эта девушка. Иначе все будет, как с Тондой.

— Ты про Воршулу?

— Да. Мастер слишком рано узнал ее имя. Он измучил ее с нами так, что она с отчаянья бросилась в реку. — Юро опять сорвал травинку, размял ее. — Тонда нашел ее утром. Принес в родительский дом, положил на порог... С того дня и поседел. Конец ты знаешь.

Крабат опустил голову. Он думал о Воршуле и о Певунье...

— Что ты мне посоветуешь?

— Что посоветую? — Юро сорвал еще травинку. — Иди в Маукендорф или еще куда. И постарайся обмануть Мастера!



Проходя по Шварцкольту, Крабат не смотрел по сторонам. Певунья не показывалась. Наверное, что-нибудь уж да придумала для домашних, чтобы не удивлялись, почему сидит дома.

Крабат передохнул в трактире, съел кусок хлеба с ветчиной. Отправился дальше. В Маукендорфе зашел в корчму, заказал пива. Вечером танцевал с девушками, плел им какую-то чепуху, заставлял ссору с местными парнями. Когда те хотели его вышвырнуть, щелкнул пальцами и пригвоздил их к месту.

Потом крикнул:

— Эй вы, бараны, чем меня колотить, давайте-ка отлупцуйте друг друга!

Поднялась такая суматоха, какой в Маукендорфе еще не видывали. Летели жбаны, ломались стулья, парни дрались как одержимые, колошматили друг друга почему зря.

Хозяин заклинал их опомниться, девушки визжали, музыканты удирали через окно.

— А ну смелей!..— подзадоривал Крабат.— Что, каши мало ели? А ну давай! Вот так! Вот так! Вот так!

ТЯГОСТНЫЙ ТРУД



Мастер пожелал узнать, как Крабат провел воскресенье, доволен ли прогулкой?

— Да ну!— Крабат пожал плечами.— Ничего особенного!

Рассказал про поход в Маукендорф, про танцы, про ссору с парнями. Ну да, было весело. Но ведь было бы куда веселей, если б он пошел туда не один, а с кем-нибудь из своих, со Сташко, с Андрушем или еще с кем из подмастерьев!

— Например, с Лышко?

— Нет!— Крабат не побоялся гнева Мастера.

— Почему же?

— Я его не выношу!

— И ты тоже?— Мастер рассмеялся.— Ну в этом мы с тобой сошлись! Что? Удивляешься?

— Да! Не ожидал.

Мастер оглядел Крабата с головы до ног. Благосклонно, но с усмешкой.

— Мне нравится, Крабат, что ты такой честный, всегда открыто говоришь, что думаешь!

Крабат не глядел на Мастера. Как понимать его слова? Не таится ли в них угроза? Он обрадовался, когда мельник переменял тему.

— А насчет того, о чем мы с тобой сейчас говорили, запомни: ты сам, если хочешь, можешь уходить хоть каждое воскресенье. Это привилегия лучшего ученика. И на том — точка!

Крабату не терпелось встретиться потихоньку с Юро. Тот же, напротив, после разговора за сараем, избегал его. Хорошо бы, конечно, мысленно обратиться к нему, чтобы он услышал, ответил, но среди своих волшебство не действовало.

Когда они, наконец, оказались одни на кухне, Юро дал ему понять, чтобы он набрался терпения.

— Я не забыл про тебя. Ты ведь дал мне нож наточить. Когда будет готов, принесу.

— Хорошо! — Крабат догадался, что имел в виду Юро. Вскоре Мастер должен куда-то уехать. Дня на два, как он говорил.

Прошло еще несколько дней. И вот Юро разбудил ночью Крабата.

— Пошли на кухню! Там поговорим.

— А они? — Крабат показал на подмастерьев.

— Спят, их и гром не разбудит! Я позаботился.

На кухне Юро очертил круг вокруг стола, зажег свечку, поставил ее между собой и Крабатом.

— Тебе пришлось долго ждать. Но так было надо, из осторожности, понимаешь? Никто не должен догадываться, что мы потихоньку встречаемся. Я много чего тебе доверил в прошлое воскресенье. Наверно, ты думал об этом?

— Да! Ты хотел указать мне путь к спасению. Такой путь, чтобы я отомстил за Тонду и Михала, верно?

— Да, это так! Если тебя любит девушка, она может обратиться под Новый год к Мастеру. Попросить, чтобы он тебя отпустил. Если она выдержит испытание, он погибнет.

— А испытание тяжелое?

— Девушка должна доказать, что знает тебя, отыскать среди других и сказать: это — он!

— А потом?

— Это все, что написано в Коракторе. Может быть, тебе это кажется легче легкого? Детской забавой?

Да, Крабату так и казалось. Но, наверное, в этих словах есть какой-нибудь тайный смысл? Надо знать текст точно!

— Текст там прямой и ясный. Но Мастер толкует его по-своему. — Юро подправил фитилек свечи. — Когда я только еще появился на мельнице, здесь был подмастерье Янко. Его девушка пришла точно — в последний вечер старого года — и попросила мельника отпустить ее парня. «Хорошо! — ответил тот. — Оты-

щешь Янко, он — свободен!» Привел ее в Черную комнату, где мы, все двенадцать, сидели на жерди, превратившись в воронов. Он еще раньше заставил нас всех спрятать клюв под левое крыло. Так мы и ждали. «Ну? — говорит Мастер. — Где он? Первый справа? Посередине? Подумай! Ты же знаешь, что ждет вас обоих!» Она-то знала! Поколебавшись, ткнула наугад в одного из нас. Это был Кито.

— Ну?

— Они не пережили эту ночь. Ни Янко, ни его девушка.

— А потом?

— Только Тонда еще решил попытаться. С помощью Воршулы. Ну, это ты знаешь!

Свечка опять нагорела. Юро еще раз подправил фитиль.

— Одного я не понимаю! — прервал Крабат долгое молчание. — Почему больше никто не пытался?

— Мало кто знает этот путь. А кто и знает, надеется из года в год, что уж как-нибудь пронесет. Нас ведь двенадцать, а погибает один. Да! Вот еще что тебе надо знать. Если девушка выдержит испытание, Мастер побежден. С его смертью чары рассеются, мы станем обычными подмастерьями, и только! С колдовством — все!

— А если бы Мастер погиб как-нибудь еще?..

— Тогда колдовство бы не пропало. Некоторые еще и поэтому не пытаются. А он каждый год покупает себе жизнь ценой гибели кого-нибудь из подмастерьев.

— А ты? Почему же ты не попробовал?

— Не осмеливаюсь. Да и девушки у меня нет.

Он сосредоточенно двигал подсвечник по столу — туда-сюда, будто в этом занятии был какой-то скрытый смысл.

— Ты вот что, Крабат, пока не решай окончательно. Но попробуем сделать, что в наших силах, чтобы облегчить испытание девушке. А начать можно уже сейчас.

— Да я ведь могу мысленно внушить ей все, что надо! Этому нас учили!

— Не получится!

— Почему?

— Мастер в силах этому помешать. Так он проделал с Янко, проделает и с тобой. Не сомневайся!

— Как же быть?

— Тебе надо за лето и осень научиться противостоять воле Мастера. Когда мы сядем на жердь, обернувшись воронами, и он прикажет спрятать клюв под левое крыло, ты один должен слушаться и спрятать под правое. Понимаешь? Ты должен чем-то отличаться от нас, чтобы девушка знала, на кого ей указать.

— А что для этого надо делать?

— Упражнять волю!

— Всего-то!

— Это много! Сейчас поймешь. Начали?..

Крабат кивнул.

— Тогда давай так. Я — Мастер. Я отдаю приказ, а ты пытайся делать наоборот. Например, я приказываю передвинуть что-то справа налево, а ты двигаешь слева направо. Приказываю встать — оставайся сидеть. Требую смотреть на меня — смотри в сторону. Понял?

— Понял!

— Начнем! — Юро указал на подсвечник. — Возьми его и придвинь к себе!

Крабат протянул руку с твердым намерением отодвинуть подсвечник к Юро. Но почувствовал сопротивление. Неведомая сила сковала его волю, парализовала желание.

Началась молчаливая борьба. Юро приказывает — Крабат стоит насмерть: «Отодвинуть! От себя! От себя! Отодвинуть!» Но мало-помалу Юро стал брать верх, сковывая его волю.

— Как ты хочешь! — услышал Крабат свой голос.

И покорно пододвинул к себе подсвечник.

Он чувствовал себя опустошенным. Если бы кто-нибудь сказал, что его уже нет, поверил бы.

— Не отчаивайся! — донесся издали голос Юро.

Крабат ощутил на своем плече его руку и уже отчетливо услышал:

— Это ведь первая попытка!

С тех пор они все ночи проводили на кухне, конечно, когда Мастер был в отъезде. С помощью Юро Крабат учился противостоять чужой воле — тягостный, изнурительный труд для обоих! Крабат доходил до полного отчаяния.

— Ведь если у меня не получится и я должен буду умереть, — говорил он Юро, — то погублю и девушку! Не хочу я быть виновником ее смерти! Понимаешь?

— Понимаю! Но ведь девушка еще не посвящена в нашу тайну. Поэтому пока не думай об этом. После решишь, как быть. А сейчас важнее всего двигаться вперед. Не отчаивайся, не сдавайся. И увидишь, чего мы добьемся к концу года. Поверь мне!



очувствовал ли Мастер опасность? Нанал ли на след с помощью Лышко? Заподозрил ли сам Крабата и Юро?

Как-то в начале сентября он пригласил вечером подмастерьев в свою комнату, усадил за большой стол, приказал наполнить кружки вином и вдруг неожиданно провозгласил тост за дружбу! Крабат и Юро озадаченно переглянулись.

— До дна! До дна! — кричал Мастер. Велел Лобону налить всем снова, потом сказал: — Прошлым летом я рассказывал вам о моем лучшем друге Ирко. И не скрыл, что погубил его. Как это случилось, доскажу сейчас... Было это в годы турецкой войны. Нам с Ирко пришлось покинуть Верхние и Нижние Лужицы и на время расстаться. Я завербовался в войска кайзера и служил мушкетером. А Ирко — кто бы мог подумать! — нанялся к турецкому султану советником-чародеем. Я этого, конечно, не знал. Верховный главнокомандующий кайзера, маршал Саксонии, повел наше войско далеко в глубь Венгрии. Мы окопались, закрепились. А напротив нас окопались турки. Несколько недель длилась настороженная, угрожающая тишина. Она нарушалась лишь короткими перестрелками да изредка пушечным залпом. Войны, можно сказать, пока и не чувствовалось. Но вот как-то утром вдруг стало известно, что исчез маршал Саксонии. Видимо, ночью турки его похитили. И, уж конечно, не без помощи колдовства. Парламентер с той стороны подтвердил: да, он в руках султана! Его отпустят из плена, если в течение шести дней наши войска будут выведены из Венгрии. В противном случае на седьмой день утром его повесят. Все были в замешательстве. И тут я предложил свои услуги — взялся выволить маршала из плена. Ведь я не знал, что Ирко в турецком лагере!

Мастер осушил кружку залпом, кивнул Лобону, чтобы тот ее наполнил, и продолжал:

— Наш капитан посчитал меня сумасшедшим, но все же доложил полковнику. Тот повел меня к генералу, и уже с ним мы предстали перед герцогом Лихтенбергом, заменившим маршала на посту главнокомандующего. Поначалу он мне тоже не поверил. Но я превратил на его глазах штабных офицеров в попугаев, а своего спутника генерала — в золотого фазана. Этого оказалось достаточно. Герцог попросил вернуть подчиненным прежний вид и пообещал мне вознаграждение — тысячу дукатов! Затем он приказал привести своих верховых лошадей, чтобы я выбрал любую.

Мастер вновь осушил свою кружку, велел Лобошу налить. Помолчал...

— Я мог бы быстро закончить мой рассказ, но подумал, что будет интереснее, если конец вы переживете сами. Ты, Крабат, станешь мною, мушкетером, взявшимся освободить маршала. А вот за Ирко будет у нас...

Он оглядел парней одного за другим: Ханцо, Андруша, Сташко. Взгляд его остановился на Юро.

— Может, ты?.. Ты будешь Ирко!

— Ладно, — равнодушно отозвался Юро, — кому-то ведь надо!

Крабата не обманула его глуповатая ухмылка, обоим стало ясно: Мастер хочет их проверить. Как бы себя не выдать!

Мастер покрошил над пламенем свечи горстку сушеных трав. Тяжелый, дурмящий дух наполнил комнату, у всех отяжелели веки.

— Закройте глаза! — приказал Мастер. — Вы увидите, что произошло в Венгрии. А Крабат и Юро должны поступать так, как Ирко и я, тогда, во время турецкой войны...

Крабат чувствует, как его одолевает усталость, свинцовая тяжесть разливается по телу, он засыпает. Издалека доносится монотонный голос Мастера:

— Юро — чародей султана в лагере турков. Он присягнул на полумесяце... А Крабат, мушкетер Крабат, в белых гамашах, в голубом мундире, стоит по правую руку герцога Лихтенберга, выбирает коня...

...Крабат, мушкетер, в белых гамашах и голубом мундире, стоит по правую руку герцога Лихтенберга и выбирает коня. Ему приглянулся вороной с белым пятнышком на лбу, похожим на магический знак.

— Вот этот!

Герцог приказывает оседлать коня. Крабат заряжает мушкет, вскакивает на коня и легкой рысью оббегает площадь. И вдруг, прищипнув вороного, бешеным галопом устремляется на герцога и его свиту, будто хочет их растоптать. Господа в ужасе разбегаются, Крабат же, ко всеобщему изумлению, взмывает вверх и пронесется над напудренными париками. Конь и всадник летят по воздуху, ввысь, уменьшаясь прямо на глазах! И вот уже их не видит в свою мощную подзорную трубу даже командующий артиллерией граф Галлас.

Крабат мчится с головокружительной быстротой высоко над землей, словно по ровному полю. Вот он уже над какой-то разрушенной деревенькой. На краю ее видит с высоты первых турков, пестрые чалмы переливаются на солнце. А вот и замаскированные пушки, и патруль, оббегаящий укрепления.

Сам же он и его конь для турков невидимы. Однако лошади под турками раздувают от страха ноздри, а собаки начинают скулить, поджав хвосты.

Над турецким лагерем развевается на ветру зеленое знамя. Крабат направляет вороного вниз, осторожно приземляется. Неподалеку от роскошного шатра султана замечает небольшую палатку, охраняемую вооруженными до зубов янычарами. Ведя вороного под уздцы, Крабат входит в палатку. На походном стульчике, обхватив голову руками, сидит непобедимый герой из Саксонии, знаменитый покоритель турок. Крабат принимает свой зримый облик. Откашлявшись, подходит к маршалу и... пугается.

У полководца на левом глазу черная кожаная нашивка.

— Что надо? — произносит тот хриплым, каркающим голосом... — Ты кто? Турецкий прислужник? Как ты очутился в моей палатке?

— Ваше превосходительство, разрешите доложить! У меня приказ выволить вас отсюда. Мой конь стоит наготове!

Теперь и конь становится видимым.

— Если Ваше превосходительство не возражает... — Крабат вскакивает на коня, указывает маршалу место сады. Мгновение... и они вырвались из палатки.

Янычары так ошарашены, что не могут и пальцем шевельнуть. С криком «Разойдись!» Крабат несется по лагерю. У него за спиной освобожденный маршал. При виде их даже отчаянная кубийская гвардия султана опускает пики и сабли.

Крабат прищипривает коня

— Держитесь крепче. Ваше превосходительство!

Никто не осмелился преградить им путь. Лишь когда они, миновав лагерь, вырвались в чисто поле и поднялись в воздух, турки пришли в себя и принялись палить из всех ружей. Но пули не причиняют им вреда, только свистят в воздухе.

— Если эти молодцы хотят в нас попасть, они должны стрелять золотом, — успокаивает Крабат удивленного маршала — Свинец и железо для нас — пустяки, и стрелы тоже!

Но вот ураганный огонь прекращается, выстрелы стихают. Вдали возникает какой-то неясный шум и шорох, он все ближе и ближе. Крабату нельзя обернуться, чтобы посмотреть назад, он просит об этом своего спутника. Маршал тут же докладывает, что их настигает огромный черный орел, он падает с высоты, заслонив солнце!

Крабат пробормотал заклинание, и вот уже между ними и орлом огромная туча, серая и плотная. Тучи, тучи... Они громоздятся одна над другой... Орел прорывается сквозь тучи.

— Он падает на нас! — кричит маршал.

Крбат давно уже понял, что это за орел, его не удивляет, когда тот кричит:

— Возвращайтесь! Иначе смерть!

Голос показался Крбату знакомым. Откуда? Но раздумывать нет времени! По знаку Крбата разразилась буря, она должна смести орла с неба, как легкое перышко. Нет! Орлу султана любая буря ничем!

— Поворачивайте! Пока не поздно!

«Голос...» — думает Крбат. И тут же его узнает. Это голос Юро. Голос его друга! Когда-то, давным-давно, они оба были подмастерьями на мельнице в Козельбрухе...

— Орел нагоняет нас! — кричит маршал. Крбат узнает и его голос. — Стреляй, мушкетер! Почему не стреляешь?

— Нечем! У меня нет ничего золотого! — Крбат рад, что нашелся! И к тому же это правда.

Маршал Саксонии, сидящий зади, или кто он там есть на самом деле, отрывает золотую пуговицу от своего мундира.

— Заряжай и стреляй!

Юро, орел Юро, на расстоянии всего лишь нескольких взмахов крыльев. Крбат и мысли не допускает его убить. Даже во сне! Делает вид, что заряжает мушкет золотой пуговицей, на самом же деле выпускает ее из рук.

— Стреляй же! Стреляй!

Не повернув головы, Крбат вскидывает мушкет. Он уверен — мушкет заряжен лишь порохом. Гремит выстрел! И вдруг... пронзительный предсмертный крик:

— Краба-а-ат! Краба-а-ат!

Крбат вздрогнул, выпустил мушкет. Он плачет, закрыв лицо руками.

— Краба-ат! Краба-а-ат!

Крбат очнулся. Как оказался он здесь за столом с Андрушем, Петаром, Мертеном... Бледные, испуганные, они уставились на него. Каждый из них, встретившись с ним взглядом, тут же опускает глаза.

Мастер сидит на своем месте молча, застыв, словно к чему-то прислушивается.

Юро тоже неподвижен. Он упал грудью на стол, лицом вниз, руки раскинуты. Только что они были крыльями, трепетными, шумящими крыльями. Рядом с Юро опрокинута кружка, темно-красное пятно на столе. Вино или кровь?..

С плачем бросается к нему Лобош.

— Крбат, Крбат, ты его погубил!

У Крбата ком застрял в горле. Он рванул ворот рубахи. И вдруг видит — рука Юро шевельнулась!.. К нему возвращается

жизнь. Опираясь руками о стол, он приподнимает голову. На лбу, точно посередине, красное пятно.

— Юро! — Маленький Лобош трогает его за плечо. — Ты жив, Юро? Жив?

— А ты как думал? Мы ведь играли! Только вот голова гудит от выстрела Крабата. В следующий раз пусть кто-нибудь другой играет этого Ирко. С меня хватит! Я пошел спать.

Парни вздыхают с облегчением, смеются, а Андруш говорит то, что у всех на уме:

— Иди, иди спать, братец! Главное, ты выдержал!

Крабат сидит, словно окаменев. Выстрел, крик, неожиданная радость, веселье! Как это все связать воедино?

— Прекратить! — заорал вдруг Мастер. — Прекратить! А ну-ка сядьте и замолчите! — Он вскочил и, обхватив рукой свою кружку, сжал ее так, словно хотел раздавить. — То, что вы видели, всего лишь сон, кошмар, который прошел... А я пережил это наяву. Тогда, в Венгрии, я убил его! Убил моего друга! Должен был убить! Как это сделал Крабат, как это сделал бы каждый на моем месте! Каждый!

Он так трахнул кулаком по столу, что подскочили кружки. Схватил жбан, стал жадно пить, потом отшвырнул его. Опять закричал:

— Убирайтесь! Убирайтесь вон! Хочу быть один! Один!

Крабату тоже хотелось побыть одному, он незаметно выскользнул из дому.

Была безлунная звездная ночь. По мокрому лугу Крабат добрался до пруда. Поглядев на отражающиеся в черной воде звезды, решил искупаться. Скинул одежду, вошел в воду. Отплыв немного от берега, нырнул. Еще и еще раз. Холодная вода освежала, в голове прояснилось. Надо обдумать все, что случилось сегодня вечером. Стуча зубами, он выбрался на берег.

На берегу с одеялом в руках стоял Юро.

— Простудишься, Крабат! Давай скорее сюда! — Юро накинул на него одеяло. Хотел было обтереть, но Крабат отстранился.

— Я не понимаю, Юро! Не понимаю! Как я мог в тебя выстрелить!

— Ты и не стрелял, Крабат! Не стрелял золотой пуговицей!

— Ты это точно знаешь?

— Я видел! А потом... Я знаю тебя! — Юро дружески ткнул его в бок. — Предсмертный крик, конечно, ужасен, но, право же, он ничего мне не стоил.

— А пятно на лбу?

— А-а-а, пятно! Не забывай, что я немного смыслю в тайной науке. Уж на это моих знаний хватило!



несколько раз за лето Крабат воспользовался своим правом уйти в воскресенье с мельницы. И не ради собственного удовольствия, а чтобы не возбудить подозрений Мастера. Он все никак не мог отделаться от мысли, что тот расставил ему сети.

После выстрела в Юро прошел почти месяц. Мастер за это время и двух слов не сказал с Крабатом. Но вот как-то вечером он заметил словно бы между прочим:

— В следующее воскресенье ты, наверно, пойдешь в Шварцкольм?

— А зачем?

— Там ярмарка, гулянье. А это, я думаю, подходящая причина!

— Посмотрю! Ты же знаешь, мне не очень-то по душе толкаться в толпе одному.

Улучив момент, Крабат посоветовался с Юро.

— Иди! Чего там! — решительно сказал Юро. — По-другому нельзя!

— Не так-то тут все просто!..

— Слишком многое от этого зависит! Да, может, еще представится случай перекинуться словечком с девушкой!

— Так ты знаешь, что она из Шварцкольма? — поразился Крабат.

— Еще с той пасхи, когда мы с тобой у костра сидели. Догадаться было нетрудно.

— Значит, ты и ее знаешь?

— Нет! И не хочу знать: чего не знаю, того из меня и клещами не вытянешь!

— Ну, а как же Мастер? Он ведь пронюхает, что мы встретились! От него не скроешь.

— Ты же видел, как обвести себя кругом! — Порывшись в кармане, он протянул ему деревяшку. — На, возьми! Встретишься с девушкой, поговори!

В субботу Крабат лег рано. Хотелось побыть одному, хорошенько поразмыслить. Встретаться ли ему с Певуньей, или еще не пришло время? Теперь ему все чаще удавалось противостоять приказаниям Юро. Иногда Юро сдавался первым, но предостерегал: с Мастером будет потруднее.

И все же уверенность Крабата росла с каждым разом. Ведь одолел же Мастера Пумпхут! А у него все-таки есть помощни-

ки — Юро и Певунья. Одно вызывало сомнение: смеет ли он впутывать во все это девушку? Имеет ли право ставить на карту ее жизнь?

Крабат сомневался. Вроде Юро прав — когда еще им представится возможность встретиться? Но как он может поведать ей то, в чем и сам-то не до конца разобрался? А что, если рассказать почти все, только умолчать о дне испытания? У нее будет время подумать, сам же он пока будет стараться изо всех сил, а там уж посмотрит, как пойдет дело. Тогда и решит.

Парни немножко позавидовали Крабату, когда он рассказал про ярмарку и гулянье.

— Вот здорово! — восторженно воскликнул Лобош. — Так и вижу горы пирожков и сластей! Принеси мне чего-нибудь!

«Конечно, принесу!» — хотел было пообещать Крабат, да тут влез Лышко, съехидничал:

— Что ж, у Крабата, думаешь, в Шварцколье другой заботы нет, кроме твоих пирожков! Он найдет кое-что и получше!

— Лучше пирожков ничего не бывает! — упорствовал Лобош.

Все расхохотались. Крабат попросил у Юро платок, в который заворачивали хлеб, когда работали в лесу или на торфянике. Аккуратно сложив его, сунул под шапку.

— Вот погоди, Лобош, увидишь, что я тебе принесу!..

Так, значит, в путь!

Крабат не спеша вышел из дому, прошел Козельбрух, свернул на полевую тропинку. Там, где они в прошлый раз разговаривали с Певуньей, остановился. Сел, обвел себя кругом.

Было тепло и солнечно, погода как на заказ. Крабат смотрел в сторону деревни.

Деревья в садах уже сбросили плоды, лишь редкие забытые яблоки отсвечивали красным и желтым золотом в увядшей листве. Мысли Крабата устремились к Певунье: «Певунья, Крабат сидит здесь на траве, он хочет с тобой поговорить. Освободись на минутку, он тебя не задержит. Никто не должен знать, куда ты идешь, с кем встретишься. Он ждет тебя и надеется, что ты ему не откажешь!»

Оставалось ждать. Крабат лег на спину, закинув руки за голову, и стал думать, что же сказать Певунье. Над ним высокое ясное небо, такое голубое и глубокое, какое бывает только осенью. Глядишь не наглядишься!

Он и сам не заметил, как уснул.

Проснувшись, Крабат увидел Певунью. Она сидела подле него на траве и терпеливо ждала. Поначалу он даже не мог понять, как она тут очутилась...

Ах, какая она! В праздничной юбке в складку, на плечах цветастый шелковый платок, волосы убраны под белый чепчик с кружевами.

— Певунья! Ты давно здесь? Почему не разбудила?

— Я не спешу. А еще я подумала, что лучше, если ты сам проснешься.

Крабат приподнялся, оперся на локоть.

— Как давно мы не виделись!

— Давно, давно... — Певунья задумчиво теребила платок. — Но иногда ты приходил ко мне во сне. Мы шли лесом под высокими деревьями. Помнишь?

Крабат улыбнулся.

— Да, лесом, под деревьями. Летом. Тепло было. И ты была в светлом платье... Так ясно помню, словно это было вчера.

— И мне кажется, что вчера... — кивнула Певунья и повернулась к нему лицом. — О чем ты хотел со мной поговорить?

— Да... чуть не забыл. Ты можешь спасти мне жизнь, если, конечно, захочешь.

— Спасти жизнь?

— Да.

— А как?

Крабат рассказал о грозящей ему опасности, о том, что есть только один-единственный путь — отыскать его среди воронов.

— Наверное, это не трудно. С твоей помощью, — решила девушка.

— Не трудно? Ты можешь заплатить жизнью, если не выдержишь испытания!

Певунья молчала лишь мгновение.

— Моя жизнь мне не дороже твоей. Когда мне прийти к мельнику?

— Этого я тебе пока не скажу. Дам знать сам или pošлю друга.

Тут он попросил ее описать свой дом — как его найти. Потом Певунья спросила, нет ли у него с собой ножа. Крабат вынул нож Тонды. Лезвие его было черным, как и все последнее время. Но, очутившись в руках Певуньи, оно вдруг посветлело. Певунья развязала чепчик, отрезала прядку волос, скрутила ее в тонкое колечко.

— Это знак. Если его принесет твой друг, значит, то, что он передаст, — твоя просьба

— Спасибо тебе! — Крабат спрятал колечко в верхний карман куртки. — Теперь возвращайся. А я приду в деревню немного погодя. Но не забудь: там мы не знакомы!

— Значит, мы не будем танцевать?

— Будем! Но не все время. Понимаешь?

— Да, я понимаю.

Певунья встала, расправила складки на юбке и пошла по тропинке в Шварцкольм. Оттуда уже доносилась музыка.

Вокруг деревенской площади стояли накрытые столы со скамейками, а посередине отплясывала молодежь. Те, кто постарше, с достойным видом сидели за столами, поглядывая на танцующих. Худощавые мужчины в коричневых и синих воскресных костюмах покуривали трубку, попивали пиво. Их жены, похожие в своих праздничных нарядах на пестрых клуш, угощаясь праздничной стряпней, перемывали косточки парням и девушкам.

Музыканты играли без передышки на помосте, сооруженном на пустых бочках из ворот амбара. Староста старался не зря: скрипки и кларнеты пели, контрабас гудел: брум, брум, брум! А если скрипачи опускали скрипку, чтобы проглотить свою законную кружку пива, им уже кричали со всех сторон:

— Эй вы, там наверху! Вы что, играть сюда пришли или пиво дуть?

Крабат тут же затесался в толпу танцующих. Приглашал то одну, то другую девушку, особо не раздумывая. Иногда танцевал и с Певуньей. И хотя ему было потом нелегко уступать ее другим парням — не подавал виду. Впрочем, даже женщины за столом, среди которых он вдруг обнаружил слепую на левый глаз старуху, не обратили на них особого внимания. Они вели себя так же, как все танцующие, — шутили, болтали чепуху, и только глаза Певуньи серьезно глядели на Крабата. Но это видел лишь он один и избегал ее взгляда из-за одноглазой старухи. Из-за нее придется, пожалуй, и вообще не приглашать больше на танец Певунью.

Вот и вечер. Крестьяне с женами разошлись по домам, молодые же, никак не желавшие расставаться с праздником, отправились танцевать в сарай.

Крабат не пошел за ними, разумнее было сейчас же вернуться в Козельбрух. А Певунья его, конечно, поймет и не обидится. Он приподнял на прощанье шапку и тут почувствовал на голове что-то мягкое и теплое. Платок! Лобош!

Связав концы платка, набрал на столах полный узел пирогов, пирожков, сладостей. Теперь можно и в путь!

НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ем ближе была зима, тем медленнее тянулось время. Крабату казалось даже, что оно остановилось.

Когда никого не было поблизости, он проверял, на месте ли колечко. И как только нащупывал его в верхнем кармане куртки, чувствовал: все будет хорошо.

Все будет хорошо!

В последнее время Мастер отлучался все реже. Неужто он почувал опасность и остерегается?

В редкие ночи, когда Мастер отсутствовал, Крабат и Юро без усталости упражнялись.

Все чаще Крабат противостоял Юро.

Как-то, сидя за кухонным столом напротив Юро, он ненароком вынул колечко, повертел, примерил на мизинец левой руки. Первому же приказу Юро он оказал сопротивление легко и быстро, как никогда раньше.

— Ого! — удивился Юро. — Как это тебе удалось? Твоя сила словно бы вдруг удвоилась.

— Не знаю! Может, случайно?

— Давай подумаем. — Юро испытующе поглядел на друга. — Мне кажется, тебе что-то неожиданно помогло.

— Но что? — недоумевал Крабат. — Не кольцо же?

— Какое еще кольцо?

— Колечко из волос. Мне его девушка в воскресенье подарила. Я его сейчас на палец надел! Но не могло же оно увеличить мою силу.

— Не скажи! Давай-ка попробуем!

Как только Крабат надевал колечко, он играючи побеждал. Без него все было, как прежде.

— Дело ясное! — заключил Юро. — Колечко поможет тебе одолеть Мастера.

— Странно, — никак не мог успокоиться Крабат, — выходит, она тоже может колдовать?

— Только иначе, чем мы. Есть волшебство, которому обучаются по книге, с трудом запоминая заклинание за заклинанием. А есть другое, которое идет из глубины сердца. Из глубины любящего сердца, когда оно печалится о дорогом человеке. Поверь мне, Крабат! Трудно, конечно, поверить, но это так!

Утром, когда подмастерья пошли умываться к колодцу, они увидели, что весь мир побелел, — ночью выпал снег. Со снегом пришло беспокойство.

Теперь уж и Крабат знал, что на них надвигается. Только Лобош — он хоть и мало подрос за этот год, но все же превратился на вид из четырнадцатилетнего подростка в семнадцатилетнего парня, — только он один ни о чем не догадывался.

Как-то раз, когда он в шутку швырнул снежком в Андруша и тот хотел было ему хорошенько всыпать, а Крабат вмешался и рózнял их, Лобош стал допытываться, что случилось с ребятами.

— Боятся они, вот что...

— Чего боятся?

— Радуйся, что не знаешь. Скоро тебе все станет ясно.

— А ты, Крабат? Ты не боишься?

— Больше, чем ты думаешь! И не только за себя.

Незадолго до Нового года на мельнице появился Незнакомец с петушиным пером. Подмастерья бросились разгружать мешки. Незнакомец не остался, как обычно, сидеть на козлах — прихрамывая, он вошел вслед за Мастером в дом. Пока он там был, в окне мелькало и трепетало его петушиное перо. Казалось, там полыхает пламя.

Ханцо велел принести факелы. При свете их парни разгрузили повозку, потащили мешки к мертвому жернову.

Все перемололи, ссыпали в мешки, вновь загрузили повозку.

Чуть забрезжил рассвет, Незнакомец вышел, взобрался наверх, однако не укатил тут же, а обратился к подмастерьям:

— Кто из вас Крабат?

В голосе — бушующий огонь и трескучий мороз.

— Я, — еле вымолвил Крабат, чувствуя ком в горле. Он вышел вперед.

Незнакомец оглядел его с ног до головы, кивнул:

— Ладно!

Взмах кнута — и повозки как не бывало!

Три ночи, три дня Мастер скрывался в Черной комнате. На четвертый день — за неделю до новогодней ночи — он позвал к себе под вечер Крабата.

— Хочу поговорить с тобой. Думаю, ты не удивишься. Пока еще в твоей воле, на что ты решишься, — будешь ли со мной или против меня.

Крабат прикинулся, что не понял.

— Не знаю, о чем ты говоришь.

Однако Мастер не дал сбить себя с толку.

— Не забывай, что я знаю тебя лучше, чем тебе бы хотелось. Кое-кто из вас уже пытался пойти против меня. Тонда, например, и Михал. Безмозглое дурачье! Мечтатели! Ты, Крабат, их умнее.

ты из другого теста. Хочешь быть моим преемником на мельнице?

— Ты уходишь? — удивился Крабат.

— Сыт по горло! Хочу быть свободным! За два-три года обучишься и станешь Мастером, будешь учить чернокнижному искусству, у тебя талант. Если согласен — все здесь твое, и Корактор тоже.

— А ты?

— Отправлюсь ко двору, стану министром, маршалом или канцлером при польской короне — что больше понравится. Придворные будут меня бояться, дамы — обхаживать, потому что я богат и влиятелен. Все двери передо мной открыты, все станут просить моего совета и покровительства. А кто осмелится возражать, от того избавлюсь — мое волшебство ведь останется при мне. Уж поверь, своей властью я сумею распорядиться! — Мастер распаялся все больше и больше: глаз сверкал, кровь прилила к лицу. — Ты тоже можешь так сделать. Лет через двенадцать — пятнадцать найдешь себе замену среди подмастерьев, передашь ему весь этот скарб и живи в свое удовольствие! В богатстве и почете!

Крабат еле сдерживался. Разве забыл он Тонду и Михала? Разве не поклялся отомстить за них и за тех других, что лежат на Пустоши? И за Воршулу, и за беднягу Мертена...

— Тонды нет и Михала нет. Кто знает, не буду ли я следующим?

— Обещаю тебе! — Мельник протянул ему левую руку. — Мое слово и слово моего Господина, который мне это поручил, твердо и нерушимо!

Крабат словно и не заметил протянутой руки.

— Если не я, значит, кто-нибудь другой?

— Кто-нибудь обязательно! — Мастер сделал вид, будто стирает что-то рукой со стола. — Но мы ведь можем решить это вдвоем. Пусть это будет тот, кого не жалко. Лышко, к примеру.

— Я, конечно, терпеть его не могу, но тут, на мельнице, он мой товарищ. Не хочу быть виновником его смерти. И соучастником не хочу — это одно и то же. И ты меня не заставишь, мельник! — Крабат больше не сдерживал свое отвращение. Он вскочил и крикнул: — Делай своим преемником кого хочешь, только не меня! Я ухожу!

Мастер оставался спокоен.

— Уйдешь ты или не уйдешь — решаю я. А ну-ка сядь и выслушай до конца!

Крабату нелегко было подчиниться. Может, прямо сейчас помериться силой с мельником? Но он овладел собой.

— Понимаю! Ты взволнован моим предложением. Даю тебе время обдумать.

— К чему? Все равно откажусь.

— Жаль! — Мастер глядел на Крабата, качая головой. — Раз тебя не устраивает мое предложение, значит — смерть! В сарае уже стоит гроб.

— Для кого? Это мы еще посмотрим!

Мастер и бровью не повел.

— Ты, похоже, на что-то надеешься? А тебе известно, что будет потом?

— Да! Колдовать я больше не буду.

— И ты готов пойти на это? — Мастер немного помолчал, откинулся в кресле, задумался. — Ладно! Даю восемь дней. Уж я позабочусь, чтобы ты почувствовал, что значит — жить без волшебства. Все, чему ты здесь у меня научился, ты забудешь сию же минуту. А в предпоследний вечер этого года я спрошу тебя еще раз. Посмотрим, что ты ответишь!

ПОД НОВЫЙ ГОД



то была невыносимо тяжелая неделя. — Крабат вспомнил первые дни на мельнице. Каждый мешок весил пять пудов, как ему и полагалось, а его надо было тащить из амбара на мельницу, с мельницы в амбар. Крабат валился с ног, а добравшись до постели, никак не мог заснуть. Кто владеет волшебством, может закрыть глаза, пробормотать заклинание — и спи себе сколько влезет, глубоко и спокойно!

Наверное, это измучит меня больше всего, думал Крабат.

Когда же он в конце концов засыпал, налетали мучительные сны — не трудно догадаться, откуда.

Крабат в разорванной одежде тянет за веревку повозку с камнями. Передвигается через силу, каждый шаг дается с трудом. Стоит одуряющая жара. Хочется пить, горло пересохло от жажды. Ни колодца, ни деревца, ни тени. Проклятая повозка! Он должен доставить ее в Каменец, торговцу скотом. За нищенскую плату. С тех пор как случилась беда — правая рука угодила в дробилку. — он рад любой работе, какую ему дают. Жить ведь на что-то надо! Вот он и тащится с тележкой, полной камней, и слышит знакомый хриплый голос: «Ну что? Хорошо быть калекой, Крабат? Не лучше ли было б послушать меня и стать моим

преемником в Козельбрухе? А сейчас ты сказал бы «нет»? Что это, слова Мастера или его собственные мысли? Ах вот оно что: он думает голосом и словами Мастера...

Каждую ночь Крабату снилась его страшная судьба. То он стар и болен, то, невинный, сидит в темнице, в глубоком подземелье, то лежит в поле смертельно раненный, истекая кровью. И каждый раз он себя спрашивал голосом Мастера: «Ты и сейчас сказал бы «нет», Крабат?»

Сам Мастер явился во сне всего лишь раз, в последнюю ночь.

Крабат превратился в коня, чтобы облегчить участь Юро. Мастер в одежде польского пана заплатил за него на рынке в Витихенау сто гульденов, купил вместе с седлом и уздечкой. Безжалостно гонит Мастер вороного коня напрямик через изгороди и канавы, по полям и холмам, через заросли и болота.

«Помни, что я — Мастер!»

Бьет куда попало кнутом, вонзает шпоры.

«Я тебе покажу!»

«В залоп! Налезо! Направо!»

Незнакомая деревня. Мастер рванул удила. Остановились у кузницы.

«Эй, кузнец, где ты, черт подери!»

Выбежал кузнец.

Вытирая руки о фартук, спрашивает, чего желает господин.

Мастер соскочил с седла.

— Подковать рысака! Раскаленным железом!

Кузнец не поверил своим ушам.

— Раскаленным?..

-- Тебе что, дважды повторять? Пусть шибче бегаёт!

-- Эй, Бартек! — позвал кузнец своего ученика. — Подержи-ка коня его милости!

Веснучатый мальчуган мог бы быть братом Лобоша, так похож!

— Возьми кусок железа потяжелей! — приказывает Мастер. — Покажи-ка, что у тебя там есть!

Кузнец повел Мастера в кузницу, парнишка тем временем сдерживает коня, шепча ему по-сорбски:

-- Спокойнее, лошадка, спокойнее. Ты вся дрожишь!

Крабат потерся о плечо мальчика. Если бы тот снял уздечку, можно было бы попытаться...

Парнишка заметил кровь на его ухе -- натер ремень узды.

-- Обожди-ка, я ослаблю!

Он ослабляет ремень, сдвигает уздечку с уха коня.

Крабат, освободившись от уздечки, тут же превратился в ворона. Каркая, поднялся в небо, полетел в Шварцкольт. Над деревней сияет солнышко, внизу, у колодца, стоит Певунья с корзинкой в руках — кормит

кур. Вдруг — тень! Крик ястреба! «Мастер!» Камнем бросился Крабат в колодец, обернулся рыбой.

Спасен?

Слишком поздно он понял, что отсюда нет выхода! Напряг все силы, чтобы внушить девушке: «Певунья, помоги мне выбраться из колодца!» Девушка опустила руку в воду. Крабат вынырнул на поверхность золотым колечком на ее пальце.

У колодца, откуда ни возьмись, одноглазый барин в красном польском костюме для верховой езды. Серебряная шнуровка, черный позумент.

— Скажи-ка, девушка, откуда у тебя такое чудесное кольцо? Ну-ка, покажи!

Он уже протягивает руку.

Крабат скользнул с пальца Певуньи в корзинку, обернулся ячменным зернышком. Она сыплет курам зерно. Бросила горсть — и он на земле, у ее ног.

Польский пан исчез. Черный, как смоль, одноглазый петух поспешно клюет зерно. Но Крабат его быстрее. Обернувшись лисой, кидается на петуха, перегрызает горло. Солома хрустит у него на зубах, сухая солома, труха.

Крабат проснулся весь в поту, долго не мог успокоиться. То, что во сне он одолел Мастера, было как счастливый знак. Теперь ему стало ясно: дни Мастера сочтены, и это он, Крабат, положит конец его козням, победит злую силу.

Вечером Крабат пришел в комнату Мастера.

— Я отказываюсь. Делай кого хочешь своим преемником. Мастер выслушал его, казалось, спокойно.

— Иди в сарай за киркой и лопатой. Вырой себе могилу на Пустоши. Это твоя последняя работа!

Не проронив ни слова, Крабат повернулся, направился к двери.

Когда подходил к сараю, кто-то вышел из тени ему навстречу. Юро!

— Я ждал тебя, Крабат. Можно теперь дать знать девушке? Крабат объяснил Юро, как найти дом Певуньи.

— Скажи ей, что она может завтра, в последний вечер этого года, прийти к мельнику. — Он вынул колечко. — Покажешь колечко, чтоб она знала, что ты от меня. И не забудь ей напомнить, что она не обязана это делать. Придет в Козельбрух — хорошо, нет — тоже хорошо. Тогда мне все равно, что со мной будет. — Он обнял Юро. — Ты обещаешь мне, что не станешь уговаривать Певунью делать то, чего бы ей не хотелось?

— Обещаю!

Черный ворон с колечком в клюве полетел в Шварцкольм.



Крабат вошел в сарай. Что там в углу — гроб? Вскинул на плечо кирку и лопату. Пробираясь по глубокому снегу, побрел к Пустоши.

Где копать? А, вот тут темный квадрат посреди белого раздолья. Кому он предназначен?

— Завтра в это время все уже будет решено!

Он взялся за лопату.

На другое утро Юро после завтрака отвел Крабата в сторону, вернул колечко. Он поговорил с девушкой.

Под вечер, лишь начало смеркаться, у ворот мельницы показалась Певунья. В праздничной одежде, с белой лентой в волосах. Ее встретил Ханцо, спросил, что ей угодно.

— Поговорить с мельником

— Я — мельник. — Отстранив онемевших парней, Мастер вышел вперед — в черном плаще, в треуголке, бледный как мел.

— Чего тебе надо?

Певунья глядела на него без страха

— Отдай мне моего парня!

— Твоего парня? — Мастер расхохотался. Однако смех прозвучал как бляение. — Я его не знаю!

— Это Крабат. Я люблю его!

— Крабат? — Мастер попытался ее запугать — Да знаешь ли ты его? Сможешь ли отыскать среди других?

— Я его знаю!

— Так может сказать любая!

Мельник повернулся к подмастерьям

— Отправляйтесь в Черную комнату, встаньте в ряд и не двигайтесь с места!

Крабат стоял между Андрушем и Сташко. Он ждал, что сейчас они все обернутся воронами

— Стойте и молчите! И ты, Крабат, тоже, один звук, и она умрет!

Мастер вынул из кармана черный платок и, завязав глаза Певунье, ввел ее в комнату.

— Узнаешь своего парня — уведешь с собой.

Крабат испугался — такого он никак не ожидал. Как же помочь? Тут и кольцо бесполезно!

Певунья прошла вдоль ряда раз, другой... Крабат еле стоял на ногах. Он поплатится жизнью и жизнью Певуньи! Никогда еще он не испытывал такого страха: «Я один виноват в ее смерти! Один только я...»

И тут свершилось!

Певунья, пройдя вдоль ряда в третий раз, протянула руку к Крабату.

— Это — он!

— Уверена?

— Да! — Сорвав с глаз платок, она приблизилась к Крабату. — Ты свободен!

Мастер отшатнулся.

Парни стояли как громом пораженные.

Первым очнулся Юро.

— Берите вещи и идите в Шварцкольм! Там можно переночевать на сеновале.

Подмастерья молча вышли из комнаты.

Они знали: Мастер не доживет до утра, погибнет в полночь, а мельница рухнет в пламени.

Мертен пожал руку Крабату.

— Наконец-то Михал и Тонда отомщены. И другие тоже! Крабат не мог слова вымолвить. Он будто окаменел.

Певунья обняла его за плечи, укутала своей шалью, теплой, мягкой.

— Идем, Крабат! — И повела его прочь с мельницы. Прошли Козельбрух, пошли к полю.

— Как же тебе удалось? — спросил он, завидев сквозь редкие деревья огни Шварцкольма. — Как ты нашла меня среди всех парней?

— Я почувствовала твой страх... Страх за меня!

Как только они подошли к деревне, посыпал мелкий снег, легкий, мягкий, словно мука из огромного решета.





ДЖЕЙМС
КРЮС

Мой прадедушка,
Герои и я



Учение о героизме,
со стихами
и разными историями.







*Краткое учение
о героях и героизме
со стихами и разными
историями,
придуманными на чердаке
моим прадедушкой и мною,
переписанное на чистовик
для развлечения
и поучения детей
и их родителей
Джеймсом Крюсом...*

*Сокращенный перевод с немецкого
А. ИСАЕВОЙ*

*Стихи в переводе
Е. ГУЛЫГА*



Понедельник.

в который я, хромя, перебираюсь к моему прадедушке. Речь здесь пойдет о порядке, столь любимом домашними хозяйками, и о творческом беспорядке, столь необходимом поэтам, о том, как даже трусливый Ян Янсен проявил однажды мужество, и о том, что сотня трупов не свидетельствует еще о героизме, доказательством чему может служить пример некоего рыцаря. А также о том, как могут пригодиться обои, если, размотав рулон, использовать их обратную сторону. Итак,

ПОНЕДЕЛЬНИК



Когда мне исполнилось четырнадцать лет, прадедушке моему было уже восемьдесят девять. Но он был еще крепок и бодр. Летом он каждое утро спускался к причалу и беседовал с рыбаками, возвращавшимися на остров с уловом. А зимой чинил сети и вырезывал поплавки к веревкам, на которых опускают садки для ловли омаров.

Но вскоре после того дня рождения, когда ему стукнуло восемьдесят девять (было это в октябре), с ним случился удар — так ударяет молния в большое старое дерево. Удар не убил прадедушку — он был еще достаточно крепок, — но ему пришлось меся-

ца два пролежать в постели. Когда же доктор разрешил ему встать, оказалось, что ноги его не слушаются. И ему купили кресло на колесах.

Сперва прадедуська проклинал эту дурацкую каталку, но по-немногу стал к ней привыкать, а потом она и вовсе ему полюби-лась. И вскоре он принялся колесить в своем кресле по всей квар-тире.

Это пришлось совсем не по вкусу моей бабушке, у которой он жил. И тогда она призвала на помощь меня — в качестве «успо-коительного средства для этого околеселого деда». Дело в том, что я был, во-первых, любимцем моего прадедуськи, а во-вторых, его учеником по части сочинения стихов и рассказов. Кроме того, я как раз незадолго до этого натер себе пятку, и на ней получился нарыв (и все из чистого тщеславия: ботинки мне жали, а я мол-чал). Поэтому я пока не ходил в школу и мог целиком посвятить себя прадедуське.

Бабушка, к которой я перебирался, жила в верхней скали-стой части нашего острова Гельгоганда. И потому мы прозвали ее Верховной бабушкой (другую бабушку, жившую у подножия ска-лы, в низинной части острова, мы, разумеется, называли Низин-ной бабушкой).

Дня за два до моего переселения — дело было зимой, в декабре, — Верховная бабушка пришла к нам и заявила моей ма-тери, что Старый со своим креслом на колесах перевернул ей весь дом вверх дном. Если так будет продолжаться, придется раз-весить по всей квартире дорожные знаки.

— Пошлем-ка к нему Малого, — сказала она. — Пускай их вместе сочинительствуют. Может быть, в доме наступит наконец покой. (Старый был не кто иной, как мой прадедуська, а Ма-лый — я. Дело в том, что и его и меня — каждого в свое вре-мя — прозвали Малышом. А потом, чтобы отличить друг от друга, стали звать Старый Малыш и Малый Малыш. А потом, для крат-кости, просто Старый и Малый.)

Так вот, в одно ясное морозное воскресенье я, хромая из-за нарыва на пятке, приковылял к Старому на Трафальгарштрассе, и он, здороваясь, подмигнул мне:

— Женщины постановили, чтобы мы с тобой опять посочи-няли вместе стихи, — сказал он. — Ну как, доставим им такое удо-вольствие?

— Еще бы! — ответил я.

— А ты помнишь, Малый, когда мы с тобой занимались этим в последний раз?

— Да ведь мы этим делом часто занимаемся.

— Нет, Малый, я спрашиваю, когда мы с тобой в последний раз всерьёз рифмоплетствовали?

— Четыре года назад, прадедушка. Когда Аннекен и Иоганнекен корью болели.

— А, верно, верно!

Прадедушка поудобнее устроился в кресле на колесах и обратился к своей дочери — моей Верховной бабушке:

— Протопи-ка завтра с утра обе каморки на чердаке. Тогда мы будем сочинять стихи, а не вертеться тут у тебя под ногами.

— Топить чуланы? — ужаснулась Верховная бабушка. — А ты знаешь, сколько на это угля уйдет? Ты что думаешь, мы — миллионеры?

— Ну что ж, — сказал прадедушка, — тогда придется нам писать стихи здесь, внизу. Тут хоть тепло.

— Здесь внизу?! — возмутилась Верховная бабушка. — Ни в коем случае! От этих стихов все хозяйство летит кувырком. У меня есть кой-какой жизненный опыт! Можете стихоплетствовать в спальне, на втором этаже. Никто вам не мешает.

— В постели душат любую светлую мысль, — сказал мой прадедушка. — Но спальни душат любую светлую мысль. Сочинять стихи на втором этаже — это не пойдет.

— Не пойдет, — повторил и я.

— Все мужчины одинаковы! — проворчала Верховная бабушка. — Завтра вытоплю чердак.

Для нас, поэтов, это была полная победа. Упоенные ею, мы отправились на второй этаж — спать. Впрочем, на следующее утро — в понедельник — нечего было и думать о переселении на чердак. Верховная бабушка с помощью четырех соседок превратила великолепный беспорядок, царивший в чуланах, в отчаянно скучный порядок, или, как говорят домашние хозяйки, в уют. Уборка продолжалась до самого обеда. Сперва замелькали веники, тряпки и щётки для натирки пола, потом метелочки для смахивания пыли, потом на чердак поплыли гардины — метр за метром укладывались они в сплошные сборки, — и, наконец, вознеслись целые горы подушек.

Мы, поэты, сидели, забившись в угол столовой, в обед без всякого аппетита похлебали наспех приготовленный суп и вздохнули свободно только тогда, когда (около трех часов) Верховная бабушка наконец объявила:

— Можете перебираться наверх. Кресло на колесах принесет дядя Яспер.

Хромая и ковыляя, вскарабкались мы, Старый и Малый, по крутой лестнице на чердак, под самую крышу. Когда дядя Яспер тащил наверх кресло, пришлось и нам приложить немало уси-

лий — оно еле-еле пролезло между перилами. Но в конце концов и этот Пегас¹ на колесах оказался на чердаке, и прадедушка тут же объехал на нем наши новые владения.

Чердак изменился до неузнаваемости. Там, где раньше висело белье и сушилась рыба, на полу лежала слегка выцветшая красная дорожка. Она растянулась от самой двери моей каморки с окном на север до самой двери прадедушкиной каморки с окном на юг.

— Ага,— сказал Старый,— наконец-то поэтов признали. Их путь устан коврами. Боюсь только, наши комнаты непригодны для поэзии. Придется уж нам самим навести творческий беспорядок, столь необходимый поэтам.

Прадедушка, как всегда, оказался прав. Обе каморки имели такой вид, словно в них устроили выставку мебели. На столах и комодах лежали вязаные салфеточки, окошки были занавешены гардинами с пышными сборками, заслонившими от нас белый свет, на диванах и креслах громоздились подушки, словно в каком-нибудь гареме, да еще каждой подушке был придан легким шлепком вид ушастого зайца. Только одно свидетельствовало об уважении к поэзии и поэтам — выпуски «Морского календаря», сложенные невыносимо ровненькими стопочками. При виде такой комнатки могла пропасть всякая охота писать стихи.

— Где торжествуют домашние хозяйки, там гибнут поэты,— вздохнул мой прадедушка. Он приколесил ко мне в своем кресле, подталкивая колеса руками. Гудящая железная печурка уже обогрела комнату.

— Писать мы будем на обоях, Малый,— продолжал прадедушка.— На оборотной стороне. Я только что нашел тут на чердаке целый склад обоев. В углу, за твоей дверью.

— Да ведь этими обоями Верховная бабушка собиралась оклеить столовую к рождеству!

— На стене видна только лицевая сторона обоев, Малый. И вообще, должен тебе сказать, в жизни не часто увидишь оборотную сторону.

Что я мог возразить на такое разумное замечание? Я послушно принес рулон обоев, запер, осторожности ради, дверь и сказал:

— Ну, можно начинать.

— Вздор! — буркнул прадедушка. И вытащил из заднего кармана своих синих рыбацких штанов два толстых карандаша.— Вздор это — начинать вот так сразу,— повторил он.— Я хочу покурить — это раз. Убери-ка, брат, да поскорее, все подушечки и

¹ Пегас — в греческой мифологии волшебный крылатый конь; кто его оседлает, становится поэтом.

гардины — это два. А в-третьих, я не умею писать стихи по расписанию. И, в-четвертых, мне нужна идея.

Долой гардины и подушки! Да здравствует табак и идеи!

Я закинул гардины на карниз, пошвырял все подушки на диван, проковылял по красной дорожке в прадедушкину комнату за трубкой, табаком и зажигалкой, вернулся обратно, запер за собой дверь, улегся на гору подушек и выпятил нижнюю губу.

Я и теперь, как когда-то мой прадедушка, выпячиваю нижнюю губу, если мне в голову приходит идея. Наоборот, к сожалению, обычно не получается — как ни выпячивай нижнюю губу, идеи в голову не приходят.

Так было и тогда, в каморке на чердаке. Пока прадедушка дымил трубкой, катаясь в своем кресле взад и вперед по комнате, я лежал на горе подушек, глазел через маленькое окошко на соседние крыши, и в голове у меня не было никакой даже самой плохонькой идейки.

У прадедушки, судя по всему, дела обстояли лучше. Я вдруг увидел, как его нижняя губа стала медленно выпячиваться. Наконец он решительно поджал ее и, затаившись, сказал:

— Есть, Малый!

— Что есть? — растерянно спросил я.

— Идея! Пожалуй, даже хорошая идея. Помнишь, как мы с тобой четыре года назад сочиняли разные забавные стихи и истории?

Я кивнул.

— Ну вот. А теперь, когда мы научились сочинять, давай придумывать всякие истории не просто так, а про серьезные вещи — про жизнь, про людей.

— А что можно придумать про людей, прадедушка? У всех людей один нос, два глаза, два уха, один рот и четыре прадедушки.

— Но не все люди герои, — сказал мой прадедушка.

— Герои, по-моему, все скучные, — поморщился я. — Не нравятся мне эти подвиги Зигфрида¹ — как он там всех убивал своим мечом...

— Мне тоже не нравятся, — усмехнулся прадедушка. — Я и вообще не считаю Зигфрида героем.

Тут я заинтересовался.

— Как так? — спросил я. — Разве Зигфрид не герой?

¹ З и г ф р и д — герой древнегерманского народного эпоса и эпической поэмы XII века «Песнь о Нибелунгах». По преданию, Зигфрид добыл «сокровище Нибелунгов», убив дракона Фафнира. Выкупавшись в крови дракона, Зигфрид стал неуязвимым, а съев его сердце, начал понимать язык зверей.

— Видишь ли, Малый, есть разные мнения насчет того, что такое герой. Вот мне и пришла идея: давай писать стихи и рассказы про героев. И попробуем разобраться, что это значит — быть героем. Я, например, думаю, что героем можно стать, попав в особенное положение, — нельзя быть героем всю жизнь, с колыбели до гроба. Вот, по-моему, даже Ян Янсен однажды, ну не то чтобы стал героем, но, во всяком случае, проявил настоящее мужество.

Услышав это, я рассмеялся — про трусость Яна Янсена на нашем острове ходили легенды.

— Это длинная история, Малый! Наберешься терпения? — спросил прадедушка.

— Еще бы!

— Ну тогда слушай.

Прадедушка откинулся на спинку кресла, пододвинул поближе пепельницу, затянулся поглубже и начал свой рассказ.

РАССКАЗ ПРО ЯНА ЯНСЕНА И ПРЕКРАСНУЮ ЛЕДИ ВАЙОЛЕТ



Ян Янсен был в свое время, в конце прошлого века, предсказателем погоды на острове Гельголанде. Он предсказывал все штормы, предрекал все засухи. Ему были ведомы законы неба и моря, понятны их настроения. Моряки, прежде чем отправиться в плавание, всегда обращались к нему за советом. Рыбаки спрашивали его совета, когда косяки сельдей обходили остров или омары по непонятной причине покидали рифы, на которых селились десятилетиями.

А был Ян Янсен человеком маленького роста, и боязливость его вошла в поговорку. Если кому-нибудь не хватало мужества что-нибудь совершить, обычно говорили: «Не веди себя, как Ян Янсен!»

Маленький Ян боялся и собак, и кошек, и мышей; он робел перед английским наместником, управлявшим островом, и опасался аптекаря, который не пропускал случая над ним подшутить. Он страшился темноты, а уж если ему случалось выйти с рыбаками в море, когда крепчал ветер, он просто дрожал, как заяц.

Зато прекрасная леди Вайолет из Лондона, сестра английского наместника, жившая на острове у своего брата, обладала тем, чего не хватало Яну: смелостью, граничившей с бешеной отвагой. Личико у нее было ангельское, а сердце — львиное.

Однажды Ян Янсен увидел с высокого скалистого берега, что леди Вайолет отправилась на лодке в открытое море, хотя на мачте, укрепленной на причале, был поднят черный шар — сигнал надвигающегося шторма. Для самого Яна Янсена этот сигнал был излишним: и на небе, и на море он давно уже видел множество знаков, предвещавших шторм. И потому он озабоченно покачал головой, глядя вслед удаляющейся лодке. Он даже поднял вверх руки, в надежде, что леди поймет его предостережение. Но она не заметила маленького Яна. Резкими ударами вёсел она гнала лодку вперед — все дальше и дальше.

«Не будь она так чертовски ловка, я не дал бы за ее жизнь ни полушки, — пробормотал Ян. — Добром это не кончится!» Он глухо вздохнул и пошел к себе домой попить чаю.

Но не прошло и часа, как он снова вышел на берег посмотреть, что случилось с лодкой, потому что очень волновался. Теперь можно было разглядеть вдали на воде только черную точку, а шторм — уж это-то Ян знал наверняка — неминуемо надвигался. Правда, ему удалось разглядеть в бинокль, что леди уже повернула лодку назад и гребёт к острову.

«Да что толку? — рассуждал сам с собой маленький Ян. — Шторм уже так близко, а лодка еще так далеко!»

Не успел он пробормотать это вслух, как с моря налетели первые порывы ветра. Ян знал, что сейчас разразится шторм небывалой силы — жители острова вряд ли такой и припомнят. Он поспешил домой, натянул резиновые сапоги и брезентовую робу, нахлобучил зюйдвестку, затянул покрепче ремешок под подбородком и торопливо зашагал к причалу.

Спускаясь по лестнице, ведущей со скалы в измененную часть острова, он то и дело хватался за перила — ветер сбивал его с ног. Дождь хлестал все сильнее, над морем засверкали первые молнии.

Когда маленький Ян добрался наконец до причала, он увидел, что там уже спускают спасательную лодку, а рыбаки кидают монетку, чтобы решить жребием, кому отправляться в море.

«Это безумие, — подумал Ян, — шестеро людей рискуют жизнью из-за глупого каприза женщины, у которой к тому же и лодка-то гораздо лучше!» Трусость, вошедшая в поговорку, чуть было не удержала его от того, чтобы высказать это вслух. Но тут вдруг его охватил гнев. Он подошел к рыбакам и громко сказал:

— Ехать бессмысленно, ребята! Шторм будет такой, какой бывает раз в сто лет. Та лодка еще может спастись, а ваш тяжелый баркас наверняка пойдет ко дну. Чистое безумие выходить в море!

— Мы должны сделать все возможное, Ян,— ответил один из рыбаков.— Наш долг — хотя бы попытаться ее спасти!

Другой рыбак попросту оттолкнул Яна:

— С дороги, коротышка! Мы отчаливаем!

Яна Янсена в эту минуту нельзя было узнать. Он ухватил рыбака за робу и сказал спокойно, хотя стал белым как полотно:

— Погляди на море! А ведь это только начало! Если вы перевернетесь, будет шесть утопленников!..

Он выпустил из рук его робу и пошел, шатаясь от ветра, под дождем вдоль причала.

Рыбаки переглянулись. Таким они никогда не видели Яна Янсена. Вот уж теперь-то каждому стало ясно, какой он трус. И все-таки что-то в его поведении заставило их задуматься.

Когда спасательная лодка отчалила — на пристани тем временем собралась толпа,— море уже разбушевалось вовсю. Валы перекатывали через причал. Небо и море слились. Только чудом спасательной лодке удалось отойти от берега. Еще один раз она показалась вдали, на гребне высоченной волны, и исчезла.

Островитяне, собравшиеся на пристани, испытывали страх за гребцов и гордились их мужеством. На Яна Янсена все глядели с презрением.

Шторм набирал силу, буря бушевала все неистовей. Толпе пришлось разойтись, потому что море вздымалось все выше и вода уже начала заливать ближние подвалы. Теперь все население острова пришло в движение. С высокого берега многие наблюдали за морем в подзорную трубу. Но густая сетка дождя заслоняла все. Иногда то одному, то другому чудилось, будто он различает вдали лодку. Но всякий раз оказывалось, что это только тень водяного вала.

Вскоре спустилась тьма. Зажгли газовые фонари и керосиновые лампы. Стоявшие у причала притихли.

И вдруг все закричали в один голос:

— Вон они!

Лодка вынырнула совсем близко от берега. Она поднялась на волне, потом опустилась вниз и исчезла.

— Они не могут пристать! Надо бросить спасательные круги! — крикнул кто-то.

В то же мгновение на гребне волны вновь показалась лодка, ее было плохо видно, но все ее заметили. Казалось, до нее рукой подать... И вдруг ее стремительно понесло вместе с пеной прямо на затопленный берег. И раньше, чем отхлынувшая волна успела затянуть лодку обратно в море, все увидели какую-то одинокую фигуру, перепрыгнувшую через борт.

Двое рыбаков отважились броситься в воду; но не успели они приблизиться к человеку, борющемуся с волнами, как огромный вал вновь подхватил его и повлек в море. Новая волна опять потащила его за собой к берегу, и на этот раз рыбакам удалось его схватить, прежде чем отхлынувший вал затянул его в свой водоворот. Это оказалась леди Вайолет.

Шестерых рыбаков, отправившихся ее спасать, напрасно ждали до самого утра. Только через несколько дней в разных местах побережья вынесло волной их трупы.

Неделю спустя всех шестерых хоронили на маленьком кладбище острова. Леди Вайолет от имени своего брата-наместника, находившегося в это время в Лондоне, произнесла надгробную речь.

— Вы вышли в море из-за меня,— обратилась она к лежащим в могиле.— Я, играя своей жизнью, не подумала о том, что подвергаю смертельной опасности и вас. Поздно просить прощения. А вам, живые, я скажу,— обернулась она к плачущей толпе,— что это было не геройство, а безумие — выходить в море. В такую бурю, на такой лодке никто не мог бы вернуться назад. Только один из вас — маленький Ян Янсен нашел в себе мужество воспротивиться этому безумию. Он знал обе лодки. Он знал и гребцов. Он считал, что у меня больше шансов на спасение, чем у шестерых спасателей. Шесть жизней за одну — слишком дорогая плата. Он был прав: храбрость должна быть не слепой, а разумной. Давайте же никогда не забывать об этом!

Пока прадедушка рассказывал, на чердаке стало темно. Теперь я повернул выключатель, и мы оба зажмурились от яркого света.

— Ну,— спросил Старый,— а ты как думаешь насчет Яна Янсена, Малый?

— Я думаю, прадедушка, что шестеро рыбаков в спасательной лодке все равно были героями. Они сами понимали, на какую опасность идут. И все-таки вышли в море, чтобы спасти человека.

— Может быть, Малый, они понимали это не так хорошо, как Ян Янсен. Если бы они знали наверняка, что у них нет ни малейшей возможности спастись, и все же вышли в море, я назвал бы это отчаянным безрассудством. А безрассудство — это еще не героизм.

Я хотел было что-то ему возразить, но в это время послышались шаги на чердачной лестнице. Прадедушка тоже повернул голову и прислушался. А потом сказал:

— Запихни-ка поскорее обои под диван, Малый! И отопри потихоньку дверь. Да, и спусти гардины!

Как мне удалось исполнить сразу все его указания, я и сам не знаю. И все же мне это удалось. Когда Верховная бабушка переступила порог чулана, мы встретили ее невинными улыбками. Гардины красовались на окне, рулона словно и не бывало.

Верховная бабушка принесла нам наверх ужин — бутерброды с колбасой и сыром, редиску и чай.

— Хватит вам сочинительствовать,— сказала она и оглянулась, словно ища чего-то.

— У вас что же, и бумаги нет?— недоверчиво спросила она.— Может, вы опять пишете на досках, как тогда, четыре года назад?

— Мы пишем в воздухе, Маргарита,— улыбнулся прадедушка.— Рассказываем друг другу всякие истории. А если нам понадобится их записать, уж что-нибудь нам да подвернется.

Верховная бабушка хотела, видно, ответить что-то очень колкое, но тут вдруг заметила, что я сижу сразу на всех подушках.

— Пять женщин проветривали эти подушки, выбивали и клали как можно красивее!— сказала она.— А вы за пять минут что из них сделали?

— Лежбище поэтов!— рассмеялся прадедушка.— А что, разве не красиво? Не удобно?

— У меня другие представления о красоте и удобстве,— возразила Верховная бабушка, язвительно поджав губы. Вслед за этим она удалилась вместе с карманным фонариком, без которого теперь, когда стемнело, нечего было и думать к нам соваться — на чердаке не было лампочки.

За ужином мы с прадедушкой продолжали говорить про Яна Янсена. Я согласился, что маленький Ян, трусливый от природы, на одно мгновение проявил мужество почти героическое: не побоявшись презрения целого острова, удерживал рыбаков от бессмысленной гибели.

— Чтобы одержать победу над собой, всегда требуется большое мужество,— сказал прадедушка.— Вот это-то мне и нравится в греческом герое и полубоге Геракле¹. Он, правда, чересчур любил похвастать своей силой и многие подвиги совершил просто из послушания Зевсу², но ведь это он избавил людей от стольких страшных бедствий — от Немейского льва, который опустошал все окрестности, от Лернейской гидры, уничтожавшей целые ста-

¹ Г е р а к л — самый популярный герой греческих мифов, совершивший двадцать подвигов.

² З е в с — в греческой мифологии царь и отец богов.

да, от Стимфалийских птиц, нападавших на людей и животных и разрывавших их медными клювами...

— А Зевс что, давал ему такое задание — совершить подвиг, да, прадедушка?

— Нет, хуже, Малый. Он приказал ему служить боязливому и слабому царю Еврисфею¹. И этот жалкий трус придумывал для Геракла опаснейшие поручения, иной раз совершенно бессмысленные.

— И Геракл их всегда выполнял?

— Да, Малый, всегда! Я даже когда-то описал все его подвиги в шуточных стихах. Кое-что я, правда, шутки ради в них изменил, но в основном держался легенды. А тетрадка эта хранится здесь на чердаке в сундуке, слева за дверью. Достань-ка ее, пожалуйста. Она в черной клеенчатой обложке. Только не забудь захватить фонарик.

Я не забыл захватить фонарик, нашел тетрадь, принес Старому, и он тут же начал ее перелистывать.

— Ну вот, хотя бы про Цербера², адского пса, — сказал он немного погодя. — Пришлось Гераклу спуститься в подземное царство. Для полубога, который привык жить на земле, на свету, приключение не из приятных. Тут надо преодолеть неохоту, да что там неохоту — полное отвращение. Но Еврисфеей приказал Гераклу привести адского пса, и тот бесстрашно отправился в царство Аида. Хочешь послушать?

— Конечно, хочу, прадедушка.

— Ну, так вот! — Старый надел на нос очки, поднял тетрадь к лампе и начал читать:

Баллада про Геракла в подземном царстве

Геракл был смел и полон сил
И, как гласит преданье,
Геройский подвиг совершил,
Великое деянье.

Царь Еврисфеей сказал: «Добудь
Мне Цербера из ада!»
И вот Геракл пустился в путь —
«Раз надо, значит, надо».

¹ Еврисфей — в греческой мифологии царь Тиринфа и Микен, которому служил Геракл.

² Цербер — в греческой мифологии свирепый трёхглавый пес, охраняющий выход из подземного царства. Подземное царство Аида в греческой мифологии царство мёртвых.

А жил пес Цербер под землей,
На том ужасном свете,
Где все покрыто черной мглой
И фонари не светят.

И здесь услышал страшный рев
Герой наш в львиной шкуре —
Как будто били в сто тазов! —
И пес предстал в натуре:

Взвился его змеиный хвост,
На нем мелькнуло жало
И, словно десять тысяч ос,
Героя искусало.

Но тот, преодолая боль,
За хвост схватил зверюгу —
Перевязал, как бандероль,
Он пса крест-накрест туго.

Аид, с тоской взглянув на пса,
Сказал, вздохнув: «Ну что же!
Корми собаку по часам,
Не раньше и не позже!»

«А как же!» — отвечал герой
С почтительным поклоном
И, пса взвалив, как куль с мукой,
Пошел с ним за Хароном¹.

Минуя села, города,
Он пса волок к столице,
Людей встречал он иногда,
Но все спешили скрыться.

Царь Еврисфей, взглянув в окно,
Пробормотал невнятно:
«Какой прелестный пёсик... Но
Тащи его обратно!»

¹ Харóн — в греческой мифологии перевозчик в подземном царстве.

Пора ему вернуться в ад,
А то еще укусит!»
И пса Геракл повёл назад,
Смеясь: «А царь-то трусит!»

Так завершил он подвиг свой,
И вот любой сказитель
О нём поет, что он герой —
Собачий укротитель.

Тетрадь в клеенчатой обложке закрылась, и прадедушка сказал:

— Конечно, Малый, эта ловля пса была совершенно бессмысленной затеей. Еврисфей придумал ее, чтобы проучить Геракла. Не знаю, геройство ли — выполнять задание, понимая, что это сушая бессмыслица. Я хотел тебе только показать, как этот светлый полубог, победив себя, спустился во тьму царства мертвых. А одержать победу над собой — не так уж мало.

— С этого часто начинают герои, — закончил я.

— Ого, Малый, — рассмеялся прадедушка, — ты начинаешь читать мои мысли! Но я вижу, ты выпячиваешь губу. Что же пришло тебе в голову?

— Я вот думаю, прадедушка: наверно, забавно было бы сочинить какие-нибудь стихи про лжегероев. Когда как следует поймешь, что это не герои, тогда и распознаешь потом настоящих героев.

— Мудрое соображение, Малый!

Старый пододвинул ко мне свою тарелку, на которой еще лежало два бутерброда, и продолжал:

— Давай-ка напишем стихи про мнимых героев — все их считают героями, а они вовсе и не герои. Но сперва съешь-ка мои бутерброды, я ведь знаю твой аппетит. И расстели обои на столе.

Уничтожив все, что оставалось на тарелке, я поставил посуду на комод, разложил на столе обои, оборотной стороной кверху, и попросил у прадедушки карандаш. Теперь стол представлял собою прекрасную бумажную гладь. Мы решили начать писать с середины, а стопку «Морских календарей» положить на стол вместо перегородки, чтобы не мешать друг другу.

— Про героев, — предупредил меня прадедушка, — обычно сочиняют баллады. Давай уж и мы с тобой держаться этого правила. Я собираюсь написать балладу про наёмного солдата — ландскнехта!

— А я тогда напишу про рыцаря!

Вскоре мы оба уже сидели с выпяченной нижней губой и поспешно покрывали каракулями обои.

Когда я не знал, что писать дальше, я подсыпал угля в печку, некоторое время глядел в огонь, и вот уже мысли мои текли снова.

Мы закончили баллады почти одновременно и стали тянуть жребий, кому читать первым. Вытянул я.

И начал читать, глядя на обои:

Баллада о рыцаре Зеленжуге

А ну, скажите, дети,
Слыхал ли кто-нибудь,
Что рыцарь жил на свете
По кличке Зеленжуг?

Кто на него вполглаза
Осмелился взглянуть,
На землю падал сразу:
«Как жуток Зеленжуг!»

И всех смятенье брало.
И всех кидало в страх:
Пылал и сквозь забрало
Огонь в его очах.

С куриными мозгами,
Зато силен как бык.
Победой над врагами
Он хвастаться привык.

Во власти этой страсти
Искал он вечно драк,
Но быстротечно счастье
Задир и забияк.

И раз под синим небом
Он пал, пронзенный в грудь.
Ах, был он или не был,
Тот рыцарь Зеленжуг?

— Bravo, Малый! — воскликнул прадедущка и даже захлопал в ладоши. — Ты здорово докопался до сути. Рыцари такого рода

были профессиональными убийцами. И они отлично владели своим ремеслом. Но даже сотня трупов — это еще не доказательство героизма. А теперь послушай-ка мои стихи.

Старый водрузил на нос очки и стал читать, заглядывая в другую половину развёрнутого рулона:

Баллада о ландскнехте во Фландрии

Жил когда-то ландскнехт во Фландрии.
Он — ать-два! — обошел всю страну,
Всё шагал и шагал по Фландрии,
Всё искал и искал войну.

Ландскнехт — известное дело:
Сражайся и побеждай!
«Раз я продал душу и тело,
Ты, война, мне денег подай!»

Но войны не видать, и все тут!
«Как прожить без войны? Как быть?»
Он одну лишь и знал работу —
Стрелять, колоть и рубить!

Может, в Генте война? Может, в Брюгге?
Он — ать-два! — обошел всю страну,
И на севере и на юге
Все искал и искал войну.

И, голодный, в злую минуту
Он роптал: «Всемогущий бог,
Что мне мир! Все одеты, обуты,
Только я один без сапог!»

А потом наступила осень,
А зимой полетел белый пух,
В бороде проступила проседь,
Он поблек, полинял, пожух.

И пришла война через годы,
И король своё войско скликал,
Но ландскнехту сказали: «Негоден!»
Он — ать-два! — еле ноги таскал.

«Мне довольствия и продовольствия
Больше войны не принесут.
Что ж от жизни ждать удовольствия?»
Он сказал... и пропал в лесу.

Прадедущка снял очки, а я сказал:

— Бедный ландскнехт!

— Глупый ландскнехт! — возразил мой прадедущка. — Надо уж быть совсем дураком, чтобы в мирное время надеяться на войну, потому что хочешь остаться солдатом. Мечтать о сражениях — это еще не героизм.

Мы так увлеклись, что даже не услышали шагов на лестнице. И теперь вдруг увидели дядю Гарри — он стоял на пороге, озадаченный, с недоумением уставившись на обои, разложенные на столе.

— Что же это вы здесь делаете? — спросил он.

— Сочиняем, — ответил я истинную правду.

— А что, трудно это, Малыш? Я хочу сказать — быстро это делается или все же требует порядочно времени?

— Смотря по настроению, Гарри, — объяснил ему прадедущка. — Вот сейчас мы, например, в настроении. В комнате тут тепло, а на улице мороз. Трубка дымит. Вполне можно сочинять. Не хочешь ли поглядеть, как мы это делаем?

— Нет, нет, — чуть ли не с испугом отказался дядя Гарри, — мне велели только собрать посуду и сказать, чтобы вы не засиживались слишком поздно. И потом, нам ведь завтра рано вставать. Катер опять отправляется в Гамбург.

— А все-таки мне хотелось бы что-нибудь сочинить для тебя, Гарри. Садись-ка вот сюда на диван. Подушек здесь хватает, садись, садись!

Наконец дядя Гарри уступил настойчивым приглашениям прадедущки и бухнулся на гору подушек.

— Так, — удовлетворенно сказал прадедущка, — теперь мы с Малышом напишем по одному маленькому стихотворению. Для моряка надо, конечно, сочинить что-нибудь про море.

— Только с настоящими или ложными героями, — добавил я. — Уж такая у нас сегодня тема.

— Баллада — это слишком длинно для дяди Гарри, — возразил прадедущка. — А вот что! Напишем-ка просто про глупость и про мудрость. Ведь иногда так называемые геройские дела на поверку оказываются просто глупостью. Ну, скажем, рыбка плавает под носом у чайки. Она не умнее кошки, прыгающей в воду.

— Вот у нас уже два стихотворения! — обрадовался я. — Одно про чайку, а другое про кошку. Чур, я пишу про кошку!

— Ничего, быстро Малыш соображает, а, Гарри? — рассмеялся прадедущка.

Дядя Гарри кивнул молча и немного растерянно, а мы, поэты, тем временем, наострив карандаши, уже углубились в сочинение.

Сперва нам было как-то не по себе из-за дяди Гарри, сидевшего на диване и проявлявшего некоторое нетерпение. Но как только первые строчки были написаны, стихи полились сами собой, и когда нетерпеливый дядя напомнил нам, что Верховная бабушка ждет посуду, прадедушка уже закончил свое стихотворение. А тут же вслед за ним и я.

Мы сразу же прочли их дяде Гарри. Первым — прадедушка. Он, как всегда, повертел в руках очки и начал:

Песня о чайках

Видят дети — чайка мчится.
Машут дети белой птице.
А рыбешки — кто куда!
Лишь бурлит-кипит вода.

Чайки, чайки, вы какие —
Добрые вы или злые?
Нам вы, чайки, никогда
Не приносите вреда.

«Чайки, чайки прилетели!»
Но макрели и форели
Избегают с вами встреч,
Чтобы жизнь свою сберечь!

Дядя Гарри, слушавший с чуть приоткрытым ртом, заметил: — Макрели правы! Очень хорошее стихотворение. И со смыслом.

— Спасибо за венок, Гарри! — рассмеялся прадедушка. — Послушаем-ка, что настрочил Малый.

И тогда я прочел мое стихотворение:

Песня о коте и сардине

Коту сказала как-то раз сардина,
Когда тот кот стоял на берегу:
«Подумаешь, мурлыкать у камина,
Гонять мышей небось и я могу!

Послушай, кот, давай с тобой меняться!
Ты в нашей стайке плавай и резвись,
А мне наверх хотелось бы подняться,
Жить по команде «кис-кис-кис!» и «брысь!»),

Но кот сардину смерил строгим взглядом
И не прореагировал никак:
Он молча повернулся к рыбке задом
И прочь пошел. Тот кот был не дурак!

Дядя Гарри встал и, покачав головой, сказал:

— Какие все умности! Просто невероятно! Да еще при таком темпе! Ну ладно, надо мне все-таки отнести вниз посуду. Спокойной ночи!

Он составил посуду на поднос и с карманным фонариком в одной руке, а подносом в другой вышел из чулана. В дверях он остановился и, подмигнув, прошептал:

— Про обои я ни гугу!

За окном совсем стемнело. Свет фонаря падал на соседнюю крышу, выхватывая из темноты несколько черепиц.

— По-моему, надо нам последовать совету Верховной бабушки и отправиться спать, Малый, — сказал прадедушка. — Для первого дня мы внесли немалый вклад в героеведение. Мы знаем, что безрассудная смелость — это еще не героизм и что сотня трупов не доказательство героизма. Но зато мы знаем, что требуется большое мужество, а иногда и героизм, чтобы одержать победу над самим собой. Посмотрим, что нам удастся выяснить завтра. А теперь пора на боковую.

По правде говоря, мне еще совсем не хотелось спать; но я заметил, что Старого утомило стихотворство. Поэтому я позвал дядю Яспера, и он помог прадедушке спуститься на второй этаж. Вскоре я уже лежал в постели и читал в «Морских календарях» разные баллады, чтобы прийти в балладное настроение и понять, как они пишутся. Когда дядя Гарри, спавший со мной в одной комнате, заснул, я даже сочинил одну балладу и нацарапал ее мелким-мелким почерком на задней обложке «Морского календаря». И, довольный, спокойно уснул.





Вторник.

в который мы с прадедушкой переселяемся в южную каморку чердака. Речь здесь пойдёт о гражданском мужестве и о хитрости, а одна и та же история будет, не без причины, рассказана дважды; именно здесь становится ясным, что опасности надо глядеть в глаза, а также происходит знакомство с первым истинным героем. Две бабушки, которых я нечаянно подслушал, читают здесь вслух, с выражением, одну знаменитую балладу, и все заканчивается немного грустно. Итак,

ВТОРНИК



а следующий день мороз усилился. Окно засверкало ледяными цветами. Я умылся в холодной спальне, вернее, слегка поводил по лицу мокрыми пальцами. Катер на Гамбург отходил рано утром, и наши моряки ушли из дому еще до того, как я встал. Наверно, Верховная бабушка опять дала им с собой столько провизии, что ее хватило бы до Южной Африки. Она всегда утверждала, что кто хочет быть здоровым, должен много есть (сама она ела очень мало). Вот и завтрак, который она подала в это утро нам, больным поэтам, был так обилен, что мы еле справились с половиной (а ведь тогда, в четырнадцать лет, я мог без труда умять зараз штук шесть жареных камбал да еще целую гору картофельного салата).

И вот, отдохнув за ночь от трудов и наевшись до отвала, мы снова отправились на чердак. Сегодня Верховная бабушка протопила, экономии ради, только прадедушкину каморку, из окна которой было видно море. Здесь стояла оттоманка — не то удлиненное кресло, не то укороченный диван, — на ней можно было прилечь полусидя, полулежа. Этой штукой я тут же завладел — она была точно создана для моей больной ноги. Прадедушка расположился по другую сторону стола в кресле на колесах. От печки тянуло приятным теплом. Как-то само собой возникало балладное настроение.

Я перевернул «Морской календарь», на котором записал вчерашнее стихотворение, задней обложкой вверх и сказал прадедушке:

— Погляди-ка, что я придумал ночью!

Прадедушка, поднося огонь к трубке, ответил:

— Небось думаешь, ты один не спишь по ночам, Малый? Погоди-ка минутку! — Раскурив трубку, он неторопливо достал из заднего кармана пустой бумажный кулек, исписанный с двух сторон. — И я не с пустыми руками. Сочинители стихов, видно, вроде светляков. Давай-ка поглядим, не померкнули ли наши рифмы при свете дня! Ну как, начнем с тебя?

— Хорошо, — ответил я и прочел ему свою балладу с обложки «Морского календаря»:

Баллада про Генри и про его двадцать тёток

Бедный Генри, бедный Генри,
Двадцать тёток у него.
Согласитесь, многовато
Для ребенка одного.
«Генри!» — с двадцати сторон
Раз по двадцать слышит он.

Вот шагает Генри в школу.
Двадцать теток — как конвой.
Забивает гол в футболе —
В двадцать глоток визг и вой.
Мяч ударит головой —
Двадцать теток крикнут: «Ой!»

Тётки были так богаты!
Целых двадцать у него
Паровозов. Многовато
Для ребёнка одного.
Согласитесь, ни к чему
Целых двадцать одному!

И покинул двадцать тёток
Бедный Генри в двадцать лет.
И кричали в двадцать глоток
Двадцать теток: «Генри нет!»
Слёзы их текли журча
В двадцать раз по три ручья.

«Как же нам теперь не плакать? —
Все вздыхали сообща. —
Он ушел в такую слякоть
Без галош и без плаща.
Завтра он придет домой,
Гриппом вирусным больной!»

Но, чихая, по дорогам
Брел наш Генри без гроша,
Воскликая: «Слава богу!
Ах, поет моя душа!
Как я счастлив, что... апчих!..
Я избави... я избави...
Я избавился от них!»

Только я кончил читать, как послышалось — да нет, нам это не показалось! — какое-то покашливание. И тут же дверь отворилась и вошла Верховная бабушка.

— Я не хотела мешать, вы читали стихи, — сказала она, — пришлось мне выслушать это дерзкое стихотворение за дверь. Если это камешек в мой огород и, по-вашему, хорошо смеяться над тем, что я стираю, штопаю, убираю, готовлю, стелю вам постели и...

— Маргарита, — с упрёком перебил ее прадедушка, — ну как можно сравнивать твою заботу о нас со слепой любовью этих двадцати теток! Тетки висели гирей на ногах у Генри. А ты хлопочешь день-деньской, чтобы у нас, так сказать, выростали крылья.

— Крылья... — буркнула Верховная бабушка. — Смех, да и только!

Насыпая уголь в печку, она спросила через плечо:

— А в чем, интересно, смысл этого стихотворения?

— Мы беседуем про героев, Маргарита.

— Ах вот как! Про героев? И небось считаете этого Генри героем? А у него просто ветер в голове!

— Избалованный Генри навсегда отказался от богатой и легкой жизни, — заметил прадедушка. — Что ожидает его впереди? Скорее всего, голод и нищета — во всяком случае, на первых порах. Такая решимость, Маргарита, кое о чем говорит. Сжечь свои

корабли, пойти непроторенным путем — поступок, достойный героя.

— У меня иные представления о героизме, — сказала Верховная бабушка, хлопнув дверцей печки. — Семья — это семья! Из семьи не убегают!

С этими словами она нас покинула.

— Женщины всегда стоят обеими ногами на земле, когда мы витаем в облаках... — со вздохом сказал мой прадедушка. — И все же хорошо, что они есть на свете.

— Уж хотя бы из-за жареной камбалы, — поддержал его я (я ее так любил, а Верховная бабушка ее так вкусно готовила). — Теперь твоя очередь, прадедушка, ты ведь хотел прочесть стихотворение — то, что на кулке.

— Успеется! — отмахнулся прадедушка. — У меня вот все вертится в голове одна история. Я вспомнил ее, когда ты читал балладу про Генри. Рассказал мне ее один знакомый капитан. По-моему, она нам подходит. Даже наверняка. Только герой этой истории не герой.

— Что-что?

— Я говорю. Малый, что герой, о котором пойдет речь, не герой этой истории.

— Все равно я ничего не понял, прадедушка.

— Ладно, потом объясню. А сперва расскажу.

Прадедушка пыхнул трубкой, набрал полный рот дыма и начал свой рассказ, выпуская дым тоненькой струйкой.

РАССКАЗ ПРО МЕДВЕДЯ НА ПИНГВИНЬЕМ ПИРУ



Белый медведь, по имени Балдун, сидел на льдине рядом с тюленем Рикардо и рычал:

— На Южном полюсе так р-редко бывают пр-раздники! Хор-рошо, хоть пингвины р-решили устр-роить пир-р!

— На пир без фраков не пускают! — пролаял тюлень. — У тебя есть фрак?

— Нет у меня фр-рака! — заревел белый медведь.

— Вот тебя и не пустят!

Но Балдун не сдался. Он потопал к своему двоюродному брату Роберту, который держал дамский салон и завивал белых медведиц. Роберт всегда все знал.

— Добудь мне фр-рак! — прорычал Балдун. — На пингвиний пир-р без фр-раков не пускают!

— Увы, мой дорогой кузен! — ответил Роберт (как и все дамские парикмахеры, он выражался изящно). — Фрак для медведя? К сожалению, это исключено!

И пришлось Балдуну топтать к Моржихе — даме, широкоизвестной в узких кругах Южного полюса.

— Нужен фр-рак! Посодействуй! — попросил он ее. — На пингвиний пир-р без фр-раков не пускают!

— Эх ты, Балдунчик, Балдунчик! — протянула Моржиха, ласково пошлепав медведя своим ластом. — Ну как ты себе это представляешь — медведь во фраке!..

— Кто хочет, тот добьется! — прорычал медведь. — А я хочу попасть на пингвиний пир-р. На Южном полюсе так р-редко бывают пр-раздники!

— Послушай, фрак наверняка есть у лосося господина Людвиг. Он на днях приплыл с визитом в наши воды. Не знаю, как насчет фрака, а уж дельный совет он тебе даст непременно. Это такая рыба голова!

И Балдун потопал дальше — искать лосося господина Людвиг. Он перепрыгивал с льдины на льдину и все совал морду в воду, высматривая, нет ли где в глубине океана господина Людвиг. Но сколько ни искал, нигде его так и не нашёл.

Лишь на следующий день Балдун разнюхал в салоне для белых медведиц, где сейчас плавает лосось. (В дамской парикмахерской можно узнать про всё на свете.)

Однако объяснить с господином Людвигом оказалось для Балдуна делом нелегким. Лосось с трудом понимал язык Южного полюса. И всё же он дал Балдуну дельный совет:

— У вас тут на Южный полюс проводит свой... э... каникулы Большой Каракатица. Он располагает... э... значительным запасом чернил. Он мог бы покрасить ваш... э... белый мех в чёрный фрак.

— Гр-рандиозно! — взревел от восторга белый медведь. — Где она, эта Кар-ракатица?

— Он обычно спит... э... подводный отель «Тихая гавань». Это надо плыть на юг... э... за третий Тюлений остров.

Балдун плюхнулся в воду и поплыл на юг, за третий Тюлений остров. Нырнув вниз головой, он и вправду увидел большую Каракатицу, спавшую в подводной пещере. Балдун растолкал ее и поманил лапой, приглашая всплыть на поверхность для важного разговора.

Сгорая от любопытства, Каракатица забурлила всеми своими десятью ногами и вмиг поднялась наверх.

— Эй ты, медведь! — высунув голову возле льдины, крикнула она Балдуну, сидевшему на корточках над водой. — Давай! Какой там у тебя важный лазговор?

— Пингвины устр-раивают пир-р! — заревел Балдун. — А без фр-раков никого не пускают! А у меня нет фр-рака! А на Южном полюсе так р-редко бывают пр-раздники!

— А я пли чѐм? — удивилась Каракатица (каракатицы не выговаривают букву «р»). — Нет у меня никаких флаков!

— Так покр-рась меня своими чер-рнилами! Нар-рисуй на мне фр-рак, Кар-рактица!

— Дело нелегкое! — вздохнула Каракатица. — Вплочем, эта затея мне по нутлу. А ну-ка, ложись плямо на льдину. Спелва я выклашу тебе один бок, потом спину, а потом уж длугой!

И Каракатица принялась красить медведя. Она очень старалась и извела на него почти весь запас чернил из своего чернильного мешка. Наконец Балдун был выкрашен — издали и впрямь могло показаться, будто он надел фрак.

— Гр-рандиозно, дор-рогая Кар-рактица! — взревел от восторга Балдун. — Уж теперь-то я отпр-равлюсь на пир-р!

— Только не прыгай в воду, а то полиняешь, — предупредила Каракатица, — мои челнила не водостойкие!

— Хор-рошо! — радостно рявкнул медведь и, осторожно перешагивая с льдины на льдину, направился в парикмахерскую к кузену Роберту, чтобы тот научил его, как вести себя на пингвине пиру.

А вечером состоялся пир. Пингвины нарочно велели всем явиться во фраках — чтобы в их общество не затесались всякие там медведи да тюлени.

Пингвины и пингвинихи, стоя небольшими группками, болтали на разные темы и поклевывали рыбный салат из небольших ледяных вазочек, расставленных прямо на льдине, но обдуманно и со вкусом. И вдруг, ко всеобщему изумлению, среди них появился белый медведь в безукоризненно сидящем фраке.

Отказать ему было невозможно, поскольку он был одет согласно предписанию, но водиться с ним никому не хотелось — ведь медведь и во фраке медведь. Оставалось одно — не замечать его.

Когда Балдун подходил к какой-нибудь группке пингвинов и произносил, как велел ему Роберт: «Добр-рый вечер-р, милые пингвинихи! Добр-рый вечер-р, уважаемые пингвины!» — группка немедленно рассеивалась и все пингвины тут же присоединялись к другим кружкам.

Так Балдун оказался в полном одиночестве. Огромный, угрюмый, стоял он посреди пингвиньего острова, а пингвины и пингвинихи вокруг него все тараторили, тараторили, тараторили...

И тут Балдун рассвирепел.

— Хор-роши пор-рядки! — рявкнул он на первого попавшегося пингвина. — Как тут обр-ращаются с гостями?! Не отвечают на пр-риветствия! А еще во фр-раках!

— Лично я не имел чести быть удостоенным вашего приветствия, — ответил пингвин. — Но готов поздороваться с вами первым. Добрый вечер!

— Добр-рый вечер-р! — буркнул опешивший медведь.

Пингвин учтиво поклонился и тут же примкнул к небольшому кружку пингвинов, о чем-то оживленно беседовавших.

А Балдун, потеряв всякую надежду повеселиться на пингвиньем пиру, побрел прочь, бухнулся в воду — вода в то же мгновение стала черной, как чернила, — и поплыл, одинокий, без фрака, медведь медведем, к своей родной льдине.

Когда Моржиха на следующее утро спросила его, как он провел время на пингвиньем пиру, он только пробурчал:

— Медведь — не пингвин!..

— А ты как думал? — ухмыльнулась Моржиха. — Ведь медведь и во фраке медведь.

Затем она поплыла в дамскую парикмахерскую, чтобы посплетничать всласть, как белый медведь вздумал повеселиться на пингвиньем пиру.

А Балдун пошёл ловить рыбу.

Прадедушка поднес огонь к потухшей трубке, потом сказал:

— Капитан, рассказавший мне эту историю, сам видел с корабля эту льдину, а на ней пингвинов и медведя. Ну, теперь понял, Малый, почему герой этой истории — не герой?

— Герой этой истории просто медведь, прадедушка. И нельзя сказать, чтобы он держался героем. Хотя он и упорно добивается своей цели.

— В том-то и дело, Малый. Не медведь тут держался героем, а кое-кто еще. А кто — ты узнаешь, если я расскажу тебе эту историю сначала.

— Еще раз ту же самую историю, прадедушка?

— Ну да, Малый, только совсем по-другому. Вот слушай! Он сделал одну затяжку из трубки и начал свой рассказ.

РАССКАЗ ПРО ПИНГВИНА И МЕДВЕДЯ



ингвин Педро, как всегда в безукоризненно сидящем фраке, стоял на льдине рядом с пингвинихой Эсмеральдой.

— Приемы стали таким редким событием у нас на Южном полюсе, — заметил он как бы между прочим. — То ли дело раньше! Да, светская жизнь...

— Уж кому-кому, а мне-то вы можете этого не объяснять, дон Педро, — жеманно ответила Эсмеральда. — Уж кому-кому, а мне понятно, в чем тут тайна.

— А нельзя ли узнать, в чём тут тайна, донья Эсмеральда?

(Пингвины любят тайны Мадридского двора и церемонно называют друг друга на испанский манер.)

— Когда мы, пингвины, устраиваем прием, дорогой дон Педро, на него заявляется всякий сброд. Ведь мы, пингвины, так вежливы! Никогда нельзя знать, не пожалует ли к нам на льдину морж, тюлень, чайка или даже белый медведь. Вот во что превращаются наши приёмы! Скоро нашей колонии, видно, придется совсем отказаться от праздников. (Под колонией донья Эсмеральда подразумевала всё ту же льдину, считая, что она-то и есть центр вселенной.)

— Неужели нельзя устроить прием для одних пингвинов? — возмутился дон Педро.

— Это было бы крайне невежливо и бесцеремонно, дорогой дон Педро.

— Тогда надо объявить, что все должны явиться на приём во фраках. Вот и все, дорогая донья. И вежливость соблюдена, и никто, кроме нас, пингвинов, не посмеет прийти. Ведь одни только мы и носим фраки.

Эсмеральда взглянула на Педро, восхищенно приоткрыв клюв, и прошептала:

— Гениальная мысль. «Всем явиться во фраках». Воистину гениальная мысль, дорогой дон Педро! Сейчас же побегу и поставлю в известность всех наших пингвинов и пингвиних!

Вперевалку заковыляла она, то и дело вспархивая, или, если хотите, запорхала, приковыливая вперевалку, навстречу своим знакомым дамам-пингвинихам, радостно крича на ходу:

— Мы устраиваем прием! Всем явиться во фраках. Ну, что вы на это скажете?

Потом она подпорхнула к знакомым господам пингвинам и заявила им, многозначительно подмигивая:

— На следующий прием всем явиться во фраках! Ну, разве не гениально?

Дон Педро и оглянуться не успел, как вся колония была уже в восхищении от его гениального плана. И план этот был тут же воплощен в жизнь. Все жители Южного полюса получили приглашение на приём. В пригластельных билетах любезно указывалось, что явка во фраках обязательна.

Таким образом, всем обитателям Южного полюса, кроме пингвинов, было очень вежливо отказано в приеме.

Праздник, к которому долго и тщательно готовились, уже с самого начала обещал быть успешным. Дон Педро, подавший столь счастливую идею, оказался героем дня.

Но вдруг на льдине, ко всеобщему ужасу, появился белый медведь Балдун. И, как это ни невероятно, во фраке.

— Неслыханно! — шипели пингвинихи.

— Невиданно! — шипели пингвины.

Только один дон Педро сохранял присутствие духа.

— Разбиться на группки! — приказал он. — Усиленно беседовать друг с другом! Медведя не замечать! Передайте дальше!

Его распоряжение было выполнено: стоило где-нибудь появиться медведю, как пингвины, разделившись на маленькие группки, тут же начинали тараторить еще громче, не обращая на него никакого внимания. О том, как у многих из них при этом колотилось сердце под фраком, медведь и не догадывался.

И вдруг Балдун, заглушая их болтовню, взревел:

— Хор-роши пор-рядки!

Онемев от страха, пингвины искоса поглядывали на это чудовище, рычащее на дона Педро.

— Как тут обр-ращаются с гостями?! Не отвечают на пр-приветствия! А еще во фр-раках!

У пингвинов в зобу дыхание спёрло.

Только один дон Педро сохранял присутствие духа.

— Лично я не имел чести быть удостоенным вашего приветствия, — вежливо ответил он. — Но готов поздороваться с вами первым. Добрый вечер!

Опешивший медведь растерянно буркнул «Добрый вечер!», а дон Педро, учтиво поклонившись, примкнул к небольшому кружку пингвинов и зашептал:

— Продолжайте! Продолжайте!

И тут вдруг пингвины, ободренные твердостью дона Педро, почувствовали себя хозяевами льдины. Заметив, что медведь растерялся, они тараторили вовсю, не закрывая клювов, то и дело покатываясь со смеху, и даже не удивились, когда увидели, что Балдун, озверев, подошел к краю льдины и бухнулся в воду.

— О, дон Педро был на высоте! — восклицали восхищённые пингвинихи.

А пингвины с этого дня стали величать дона Педро «кабальеро», что в пингвиньих кругах считается особо почетным званием.

Но прославленный пингвин небрежным взмахом крыла отклонял все почести.

— С такими типами надо уметь обращаться, — замечал он с тонкой усмешкой. — В трудном положении главное — не растеряться!

Прадедушкина трубка еще дымилась, когда он закончил свой рассказ.

— Ну, теперь понятно, кто был героем на пингвиньем пире? — спросил он.

— Да уж, конечно, дон Педро, прадедушка. Как станешь на точку зрения пингвинов, это ясно как день. Только мне почему-то не особенно нравится такое геройство.

— А ты представь себе на минутку маленького дона Педро рядом с огромным медведем! И все-таки, Малый, мне тоже не так уж нравится его героизм. Потому что дон Педро — это герой своей льдины! Он делит весь мир на тех, кто во фраках, и на прочих. А потом ошарашивает этих прочих своим культурным обхождением. И те, кто во фраках, провозглашают его героем. Не слишком ли много высокомерия и предрассудков в таком героизме? Чтобы воспротивиться предрассудкам, по-моему, требуется еще больше мужества. А ну-ка подбрось угля в печку, Малый!

Я соскользнул с оттоманки на пол, прохромал к печке и стал насыпать в нее уголь. И всё не переставал удивляться, как это Старому удалось рассказать дважды одну и ту же историю так весело и забавно. Прямо фокус какой-то! Мне захотелось тоже чем-нибудь его удивить. Поэтому я как можно дольше возился с печкой, а сам тем временем все придумывал одно стихотворение, подходящее к случаю. А потом прочёл его прадедушке:

Тот, кто себя и всех своих
Считает лучше всех других,
А всех других и все другое
Вообще считает за дурное,
Находит скучным и безвкусным,
Нелепым, глупым, мелким, гнусным,
Пусть сам избавится от шор
И свой расширит кругозор!

— Bravo, Малый, — рассмеялся прадедушка, — ты чем старше становишься, тем умнее! Случай редкий, но отрадный.

— Спасибо за венок! — ответил я. — А теперь ты прочтёшь мне свою балладу, прадедушка?

— Баллада — это, пожалуй, преувеличение, — с некоторым сомнением заметил Старый. — Назовем-ка ее лучше балладкой.

Он вынул из заднего кармана пустой бумажный кулек, испсанный с двух сторон, и, когда я снова улегся на оттоманку, начал читать:

Балладка о мышах

«Мышки, мышки, мышки, мышки,—
Так стучат часы в углу,—
Муррдибурр-котище рыщет
Перед норкой на полу!»

Из-за черствой черной корки
Тут мышонок Удалец
Носик высунул из норки.
Все! Теперь ему конец.

Кошке, кошке, кошке
Попадаться на обед
Из-за черствой черной крошки,
Нет, геройства в этом нет!

Прадедушка спрятал в карман исписанный кулек, а я сказал:
— Славная балладка, прадедушка! Только ведь в ней говорится о том, в чем нет геройства.

— Потому-то, Малый, из нее и становится ясным, в чем героичество. Герой, например, должен уметь взвесить опасность, которой он себя подвергает. Слепо бросаться в опасность, как этот мышонок Удалец,— еще не героичество. Вот мне как раз вспомнилась одна история — про короля и блоху. Я хотел бы ее...

Но тут его перебила Верховная бабушка, крикнувшая нам с первого этажа:

— К вам гости! А через полчаса — обед!

— Ну, значит, я расскажу тебе эту историю после обеда,— вздохнул прадедушка.— Интересно, кто же это к нам пришел?

В дверь уже стучали, и вошла, запыхавшись от крутой лестницы, Низинная бабушка — в меховой шапке, с меховой муфтой, в ботинках, отороченных мехом.

— Привет, Малыши! Ну и жара тут у вас! — воскликнула она, еле переводя дыхание. Потом положила все свои меха на комод (конечно, кроме ботинок) и, опустившись в кресло, сказала: — Я как раз была тут неподалеку, у вас на горе! Пой Пфлауме продает по дешевке шерстяные носки. Вот и думаю, дай-ка загляну к хромым поэтам!

— Мы очень польщены оказанной нам честью, Анна! — с легким поклоном заявил прадедушка.

— Мы приветствуем нашу старую Музу! — добавил я.

— Я вижу, вы надо мной потешаетесь! — Низинная бабушка смешно надула губы и стала опять такой, какой мы с прадедушкой больше всего ее любим. — Со мной вы всегда только шутки шутите, а вот Верховной бабушке вы читаете стихи!

— Заблуждаешься, Анна! Мы не читали ей стихотворения про Генри и его двадцать теток! Она подслушивала под дверью.

— Подслушивала? Как нехорошо! — Низинная бабушка, казалось, была очень возмущена.

Но мы-то хорошо знали, что она и сама иной раз не прочь подслушать под дверью.

Теперь она оглядывалась по сторонам, словно ища что-то, а потом спросила:

— Ну и где же оно, это стихотворение? Вы мне его прочтете?

Я хотел было ответить: «Ну, конечно!» — но тут вспомнил, что стихотворение записано на обложке «Морского календаря» и ей никак нельзя его показывать — ведь она немедленно сообщит об этом Верховной бабушке.

Прадедушка, видно, размышлял о том же. Он поспешно сказал:

— Стихотворение про Генри как-то больше подходит для Верховной бабушки, Анна. Ты как-то тоньше! (Низинная бабушка, надо сказать, весила не меньше двух центнеров.) Тебе надо прочитать какие-нибудь более тонкие стихи. Вот, например, про мышку — как она высказала своё мнение прямо в лицо коту.

— А ведь и я этого не слышал! — удивился я.

— Ну да, Малый. Вот я и прочту вам обоим. Ну, слушайте! — Старый закрыл глаза, с минутку подумал и стал читать наизусть:

Баллада о мышке, прогнавшей кота

Вот мышка на съеденье
Назначена котом.
Застыла без движенья,
Не шевельнёт хвостом.

А кот мяукнул: «Крошка,
Не хочешь ли сплясать,
Встряхнуться хоть немножко
Да лапки поразмять?»

Тут мышка осмелела
И, сделав шаг вперед,
От гнева покраснела
Да вдруг как заорет:

«Плясать?.. Перед котами?
Как вы могли посметь?!
Пусть дрыгают хвостами
Трусихи! Лучше смерть!»

И так она кричала,
Что бедному коту
От этих воплей стало
Совсем невмоготу.

И он, заткнувши уши,
Пустился наутек.
А всем, кто это слушал,
И всем мышам — урок!

— Ай да Малыш! — с восторгом воскликнула Низинная бабушка (так она величала прадедушку) и захлопала в ладоши. — У вас еще много таких в запасе?

— Хорошенького понемножку, Анна, — сказал прадедушка. — Это относится и к конфетам и к стихам. Но, может быть, Малыш (тут прадедушка кивнул на меня) прочтет тебе стишок про медведя и белку. Я написал его несколько лет назад. Ты его еще помнишь, Малыш?

Я подумал, наспех повторил про себя начало и сказал, что да, помню, могу прочесть. И правда прочел:

Медведь и белка

Медведь, сильнейший зверь лесной,
Топтыгин-Косолапый,
На лапку белочке одной
Ступил тяжелой лапой.

И, не сказавши: «Ой, прости!» —
Потопал обалдело
В лес, без дороги, без пути
(Медведи — знамо дело!).

Но закричала белка вслед:
«Эй ты, пузатый дядя!
В лесу таких порядков нет,
Чтоб всех давить не глядя!»

Медведь услышал чей-то писк
И зашагал потише:
«Мне предъявляет кто-то иск?
Чего, чего? Не слышу!»

Но белка прыг, но белка скок —
И с ветки вниз как птица:
«Вы отдавили мне носок,
Извольте извиниться!»

Да как подскочит на сучок
И сжала кулачишки.
Вот-вот даст по носу щелчок
Опешившему мишке!

И, изо всех медвежьих сил
Взревев от изумленья,
Медведь и вправду попросил
У белки извиненья.

«Ну, так и быть! — она в ответ. —
Но помни, Косолапый,
В лесу таких законов нет,
Чтоб наступать на лапы!»

Медведь сказал: «Учту я впредь!»
(Что белке было лестно.)
Кто смел, с тем вежлив и медведь,
Да будет вам известно.

Низинная бабушка сперва помолчала, потом тихонько спросила:

— Ведь вы настоящие великие поэты? Да, Малыши?

— Как бы тебе объяснить, Анна, — отвечал ей прадедушка. — То, что мы хотим сказать, мы можем выразить в стихах. И сделаем это, разумеется, получше, чем Паульхен Пинк, сочиняющий поздравления к свадьбам. Но опять же, разумеется, мы не такие уж великие поэты, как, скажем, Гёльдерлин¹, о котором ты, впрочем, ничего не слыхала.

— Это не тот ли господин Гёльдерлин, что часто приезжает к нам на остров туристом, а, Малыши? Такой длинный, черный? Еще в теннис всегда играет!

¹ Гёльдерлин Фридрих — немецкий поэт-романтик конца XVIII — начала XIX века.

— Да нет, Анна,— рассмеялся прадедушка.— Поэт Гёльдерлин давным-давно умер. И великим поэтам приходится умирать.

Низинная бабушка тяжело вздохнула (впрочем, она частенько вздыхала), но тут Верховная бабушка крикнула нам снизу, что пора обедать.

Пропустив Низинную бабушку вперёд, мы, нагруженные ее мехами, заковыляли вслед за ней вниз по лестнице на первый этаж. По дороге прадедушка негромко спросил меня:

— Ты понимаешь, какого рода героизм описан в обоих этих стихотворениях, а, Малый?

— Кажется, это называется «не склонять головы перед сильными мира сего», да, прадедушка?

— Да, Малый. Это и так называют. Но есть и название покороче: гражданское мужество. Иногда оно требуется даже в разговорах с твоей Верховной бабушкой.

Не успел он прошептать эти слова, как Верховная бабушка уже указала нам наши места за столом. Мы ели солянку из вяленой рыбы, картошки, лука и соленых огурцов. Это блюдо всегда готовили у нас в те дни, когда наш катер отходил в Гамбург.

После обеда прадедушка прилег на часок отдохнуть, а я снова взобрался на чердак, решив, что и мне бы неплохо сочинить стихотворение про гражданское мужество. Получалось довольно сносно (солянка — пицца не слишком тяжелая), и я записывал строчку за строчкой, как всегда, на обоях.

Прадедушка поднялся на чердак уже под вечер.

— Обои повысились в цене,— сообщил я ему.— Тут на оборотной стороне появилась новая баллада — про короля и блоху. Хочешь послушать?

— Нет, Малый, сперва уж ты послушай сказочку про короля и блоху, которую я пришел тебе рассказать.

И, даже не раскурив трубки, он без всякого вступления начал рассказывать, откинувшись на спинку своей каталки:

СКАЗКА ПРО КОРОЛЯ И БЛОХУ



ил когда-то на свете один король, и не было для него ничего ненавистнее клопов и блох. Но в те далекие времена не продавали еще ни порошков, ни жидкости от насекомых и даже самих королей кусали клопы и блохи. Только одного этого короля они почти никогда не кусали. Потому что каждый вечер перед сном он залезал в ванну прямо в мантии и короне. Если какая-нибудь блоха или какой-нибудь клоп заблудились днем в королевских одеждах, то они вмиг выпрыгивали на поверхность воды,

и тут-то их и ловил с необычайной ловкостью придворный клопомор. После этого Его Величество мог спокойно идти спать, не боясь ни клопиных, ни блошинных укусов.

Молва о короле, которого еще почти ни разу не укусило ни одно насекомое, распространилась среди людей и среди насекомых.

И тогда-то одна блоха приняла твёрдое решение искусать этого короля. Решение, можно сказать, героическое, если учесть ловкость придворного клопомора. Ведь для блохи шла речь о жизни и смерти.

И все же блоха приступила к делу, а вернее сказать, прискакала и села. Прямо королю на голову. А волосы у короля были густые-прегустые.

Целый день сидела блоха у короля на голове без всякого движения. Один раз ее даже чуть было не придавило тяжелой короной, но в последний момент ей кое-как удалось перескочить в королевский чуб.

А вечером король, как всегда, залез в ванну в мантии и короне. Вот уж блоха натерпелась страху! «А вдруг, — думала она, вся дрожа, — король окунется с головой?!» Но, к счастью, этого не случилось, и блоха, как говорится, вышла сухой из воды.

Не успело Его Величество отпустить придворного клопомора и произнести вечернюю молитву, как блоха, проголодавшаяся за день, выпрыгнула из королевского чуба, поскакала вниз по затылку и, забравшись под королевскую ночную рубашку, досыта напилась королевской крови.

Почувствовав укус, король взревел от боли, а придворный клопомор, услышав его рев, бросился в королевскую спальню и в срочном порядке подверг королевскую ночную рубашку тщательной проверке.

Но все было напрасно. Блоха уже вновь сидела в надежном укрытии и даже успела заснуть. Никому и в голову не приходило искать блоху в чубе Его Величества.

Целую неделю хитроумная блоха оставалась неуловимой для короля, клопомора и всех специалистов по насекомым, которых король созвал на охоту. А на восьмую ночь она до того расхрабрилась, что поскакала не своим обычным путем, по затылку, а прямо по королевскому носу. На этот раз Его Величество самолично заметил блоху — увидел ее собственными глазами на кончике носа — и, схватив себя за нос, собственноручно поймал нарушительницу.

— Ага, попалась, голубушка! — воскликнул король. — Ну теперь тебе несдобровать!

Но тут ему пришло в голову, что блоха как бы в некотором роде уже стала особой королевской крови. А закон, как известно, гласит, что любая особа королевской крови имеет право на жительство и пропитание при дворе.

— Закон есть закон! — вздохнул король.

Он вызвал звонком придворного клопомора и, с гордостью показав ему пойманную блоху, удручённо сказал:

— К сожалению, эта блоха — особа королевской крови. Берегите ее. Пусть придворный кузнец выкует ей малюсенькую золотую корону и золотую клетку. Раз в день я буду собственноручно кормить блоху, сунув в клетку мой королевский палец. Выполняйте, что велено!

Придворный клопомор, которому отныне было торжественно поручено попечение о блохе, поместил ее временно (пока не будет готова золотая корона и золотая клетка) в спичечную коробку с дырочками для воздуха.

С тех пор коронованная блоха так и живет в королевском дворце, к удивлению и зависти всех насекомых, и проклинает с утра до вечера свой героический подвиг, сделавший ее узницей золотой клетки. Ее демонстрируют всем туристам, а король собственноручно кормит ее раз в день королевской кровью...

Прадедушка снова занялся своей трубкой.

— Я ищу слово, — пробормотал он, — точное слово, которым можно охарактеризовать подвиг этой блохи. Но оно вылетело у меня из головы. От какого-то старинного названия кавалериста...

— Может быть, ты имеешь в виду «гусарство»? — неуверенно заметил я.

— Да, Малый, — обрадовался Старый, — именно это слово! Ведь то, что сделала эта блоха, как раз и было гусарством. Для него требуются отвага, смелая выдумка, присутствие духа...

— Значит, кто гусарит, тот и герой, прадедушка?

— Гм, Малый... — Трубка снова мирно дымила. Тот, кто ведет себя по-гусарски, конечно, кое в чем похож на героя. Он не слепо бросается в опасность. Он оценивает ее, прежде чем ринуться очертя голову. Но ведь эта блоха отважилась на гусарскую выходку, Малый, только чтобы себя потешить. А искать опасности ради самой опасности... Никому от этого никакого толку.

— Тогда, может быть, пастух в моей балладе настоящий герой? Хотя и его поступок тоже можно назвать гусарством! — сказал я. — Прочсть?

— Ну-ка, ну-ка, прочти!

И я стал читать по обоям:

Баллада про короля и пастуха

Раз король жестокий Петер,
Повелитель всей страны,
Молвил грозно: «Все на свете
Поклоняться мне должны!
Потому что я один
Полновластный властелин!»

Но про те слова прослышал
Некий юноша, пастух,
И, хоть был беднее мыши,
Он при всех поклялся вслух:
«Вот, ей-богу, не шучу,
Короля я прочучу!»

Разузнав сперва в лакейской
И на кухне при дворце,
Что король (прием злодейский!)
Носит маску на лице,
Крикнул парень: «Я не я,
Скину маску с короля!»

Изучив искусство лести
(Погоди кричать: «Позор!»),
При дворе он стал известен,
А потом затмил весь двор —
Самый преданный из слуг,
Королю он первый друг.

Говорит он как-то в шутку:
«Все ты хмуришься, король!
Ну, а хочешь на минутку
Я твою сыграю роль?
Ну-ка, дай мне свой наряд!
Славный будет маскарад!»

Их Величество застыло:
«И опасно и смешно!»
Все же ради шутки милой
Раздевается оно
И снимает под конец
Даже маску и венец.

Нарядились. Разве скажешь,
Кто король из этих двух?
«Эй, держи-ка его, стража!» —
Громко крикнул тут пастух.
Этим только прикажи!
«Эй, хватай его, вяжи!»

Злой король сидит в темнице,
А в хоромах пир горой,
Каждый пьет и веселится.
Маску вдруг сорвал герой:
«Не король я, господа,
Им и не был никогда!

Наша доблестная стража
Короля взяла в тюрьму.
Я ж пастух, не рыцарь даже,
Преподал урок ему.
А теперь пора мне в путь
На коровушек взглянуть!»

Но народ освобожденный
Закричал: «Ты наш король!
Эту маску и корону
Вместе с троном взять изволь!
Ты и добр и справедлив —
Будет наш народ счастлив!»

Тут пастух сказал им: «Люди,
Если править во дворце
Паренек крестьянский будет,
То без маски на лице!»
Закричали все: «Виват!» —
И ударили в набат.

Так король жестокий Петер
Потерял и трон и двор.
Королевством правит этим
Наш пастух и до сих пор.
Ты о нем не забывай —
Маски лживые срывай!

Прадедушка только и сказал:
— Черт возьми!

И больше ничего. Но это «черт возьми!» наполнило меня гордостью. Значит, моя баллада ему понравилась. И он нашёл, что пастух — настоящий герой.

— Чтобы срывать маски с великих мира сего, всегда требуется отвага, Малый. А когда человек проявляет еще и находчивость, вот как твой пастух, да при этом рискует жизнью не ради своих интересов, а просто возмущившись несправедливостью, тогда гусарство — уже не гусарство, а благородный поступок. Тогда это героизм.

— А герой, прадедушка, обязательно совершает благородный поступок?

— Чаще всего, Малый.

Старый подкатил к окну и стал глядеть на тёмное море и на цепь фонарей вдоль причала.

— Героические поступки, — сказал он, — как вон те огни там, внизу, — маяки в мире, полном несправедливости и произвола. Их свет вселяет мужество в других.

Я увидел лицо прадедушки на фоне окна, седые волосы, крупный нос, бороду и подумал: «Может, и Гомер, больше двух тысяч лет назад описавший деяния греческих героев, выглядел вот так же...»

— Зажги свет, Малыш.

В маленькой комнате стало светло, оконные стекла превратились в черные зеркала, а Гомер — в моего прадедушку.

— Сегодня мы уже много чего выяснили про героев, — сказал он. — Например, что сжечь свои корабли, пойти непроторённым путем — иной раз поступок героический. Ты показал это на примере Генри и его двадцати тёток. А еще мы выяснили, что гражданское мужество оказывается подчас настоящим героизмом. Правда, герои бывают разные: и такие, как твой пастух, и совсем маленькие, как мой пингвин.

— А еще, что не всякое гусарство — героический подвиг, прадедушка!

— Вот-вот, Малый! А завтра давай подумаем о том, всегда ли героический подвиг — такое уж убийственно серьёзное дело. Не бывают ли иногда героические поступки веселыми и смешными? Я, по правде сказать, не прочь подумать об этом уже сейчас. А ты иди-ка вниз и поиграй с Верховной бабушкой в лото. Она так любит эту игру, а мы с тобой должны хоть в чем-нибудь ей угодить.

— Да она ведь жулит! — возмутился я. — Она кого хочешь на острове обыграет!

— Тогда ты и ты не плошай, Малый! Только гляди в оба! Верховная бабушка приходит в бешенство, когда замечает, что другие плутуют.

Хромая и вздыхая, я спустился по лестнице на нижний этаж, чтобы сыграть в лото с Верховной бабушкой.

Но до игры так дело и не дошло. Внизу я услышал голоса, доносившиеся из столовой. Эти хорошо знакомые мне голоса читали по очереди какое-то стихотворение.

Я тихонько подкрался к двери и стал подслушивать, хотя в передней здорово дуло.

Обе мои бабки декламировали балладу Шиллера «Перчатка» с такой силой и страстью, словно отведали яичного ликера. Когда одна запинаясь, тут же подхватывала другая. Под конец Низинная бабушка торжественно возвестила:

Но холодно приняв привет ее очей,
В лицо перчатку ей
Он бросил и сказал: «Не требую награды»¹.

После этого обе они захлопали в ладоши и принялись хвалить друг друга за прекрасную память. А затем, как ни странно, стали беседовать о... героизме.

Так как с меня на сегодня было вполне достаточно рассуждений о героях, я хотел было незаметно удалиться, но тут вдруг они переменили тему.

— Боюсь, наш Старый не долго протянет,— сказала Верховная бабушка,— болезнь серьезнее, чем он думает. Малый, конечно, не должен об этом знать. Завтра придет врач. Надо, чтобы Малыш ушел из дому. Я скажу ему, что ты пригласила его на пирог, Анна!

— Что ты, Маргарита! — услышал я голос Низинной бабушки.— У него ведь нарыв на пятке!

— Да уж как-нибудь дохромает, не старик! Ничего с ним не случится!

У меня пропала всякая охота подслушивать их разговор. Я бесшумно поднялся по лестнице на второй этаж и лег в постель.

В этот вечер мне не хотелось ни читать, ни писать и я долго не мог уснуть — все думал и думал о том, что наступит день, когда у меня больше не будет прадедушки.



¹ Перевод В. Жуковского.



Среда,

в которую мы смеемся, потому что нам грустно. Речь здесь пойдет соответственно о веселых героях, а также о том, что человек, который умеет смешить других, сам нередко бывает печальным; кроме того, здесь неопровержимо доказывается, что поросенок с часами на копытце — явление хотя и редкое, но весьма примечательное. Итак,

СРЕДА



зимнем пальто и ушанке, закутанный в теплый шарф, я отправился на следующее утро к Низинной бабушке в нижнюю часть острова.

Я и виду не подал, что знаю о болезни прадедушки и о том, что должен прийти врач. Я сказал прадедушке как можно веселее:

— Низинная бабушка с некоторых пор тоже, как выяснилось, интересуется героями. Если она будет меня расспрашивать, я расскажу ей что-нибудь про смешных героев. Она ведь так любит смеяться. А мы с тобой все равно хотели сегодня вспоминать забавные подвиги.

— Верно, Малый, — сказал прадедушка. — Я тоже пока подумаю про смешных героев. Может, и получится какой-нибудь рассказик. После обеда я тебе его прочту.

— Идет, прадедушка!

Мы расстались смеясь, хотя оба знали, что осмотр врача в это утро — дело очень серьезное.

Однако по пути к Низинной бабушке (пятка моя болела, и я спустился на подъемнике, вместо того чтобы ползти по лестнице), пока я шел навстречу морозному ветру по пустынной каштановой аллее, мне, несмотря на страх за прадедушку, а может быть, как раз из-за этого страха, приходили в голову только самые смешные вещи.

Войдя в большой желтый дом под высокими каштанами (Уракс, старый-престарый сенбернар, как всегда, чуть не сбил меня с ног), я сказал Низинной бабушке:

— Я тут, по дороге, начал сочинять один стишок. Можно, я допишу его на чердаке?

— Только, надеюсь, потом ты мне его прочтешь, Малый? И дай слово, что не будешь переутомляться. Для великих мыслей твоя голова еще слишком мала!

— Честное слово, не буду, бабушка! — торжественно пообещал я. — Да у меня и нет никаких великих мыслей. Я просто развлекаюсь.

— Тогда разденься, повесь свои вещи на вешалку и марш на чердак! Уракс, пошел на место!

Старый пес поглядел на меня снизу вверх укоризненным взглядом и ретировался через открытую дверь в Птичью комнату. Там, возле стеклянной витрины с чучелами птиц, всегда лежала зимой его подстилка. Я же взобрался на чердак, с грохотом опрокинув ящик, устроился в чулане среди всякого хлама, вытащил из кармана карандаш и стал записывать стихотворение прямо на побеленной стене — у Низинной бабушки я мог позволить себе и это. Потом я еще придумал один рассказ и записал его на обороте громадного плаката, приглашавшего на парусные гонки тридцать лет тому назад, — теперь он, свернутый в трубку, валялся здесь, на продавленном диване.

Часа в два ко мне на чердак поднялась Низинная бабушка. Уракс все с тем же укоризненным взглядом плелся за ней.

— Что это с Ураксом? — спросил я. — Он все глядит на меня с таким упреком.

— Раньше ты брал его с собой на чердак сочинять, — объяснила Низинная бабушка, — а теперь он, видно, для тебя слишком стар, и это его обижает.

— Да ты что, бабушка! — изумился я. — Ведь ты сама велела ему убираться на место. И вообще я его никогда сюда не брал! Собаки мешают сочинять стихи!

— Так ты, значит, не любишь старых собак? — решила она неизвестно почему и вдруг обиделась.

— Да ты что, бабушка! — изумился я еще больше. — Уракса я люблю так же, как и раньше. И ты ведь знаешь, я часто куда охотнее играю с прадедушкой, чем с моим другом Джонни Флотером. А между прочим, Старому уже восемьдесят девять, а Джонни еще только четырнадцать.

— Верно, Малый, об этом я и не подумала. Ты ведь поэт, а это совсем другое дело. Ну, так что же ты сочинил?

— Стихи про героя, бабушка. Вон там, на стене.

Она с наигранным возмущением всплеснула руками.

— Вы, поэты, с каждым годом все больше с ума сходите! Пишет стихи на штукатурке! Вот до чего дошел! А ну-ка, прочти! Я забыла очки.

Я опустился на колени рядом с Ураксом и, поглаживая его по лохматой шерсти, чтобы он со мной помирился, стал читать:

Баллада о М^ар^тине Б^ау^ере

Он звался Мартин Бауер,
И знал о нем любой:
Любитель приключений
И сверхгерой.

Непобедим на ринге
И гонок чемпион,
И с парашютом прыгал
Отважно он.

Он, промаха не зная,
Бил в цель, лихой стрелок,
С любого расстоянья —
В мишень, в висок!

Пилот, сапер, разведчик,
Подлодки командир,
И орденами блещет
Его мундир.

Блистал он остроумьем,
Его любили все,
И женщины, и дети,
И шимпанзе.

Он был скрипач отменный
И повар-виртуоз,
Был у него лохматый
Геройский пес.

А пес тот был опасен
И дьявольски силен.
На Мартина отчасти
Похож был он.

Ах, сколько походов
И подвигов вдвоем
Свершили храбрый Мартин
С геройским псом!

И дружно все дивились
Их силе и уму.
Но их никто не видел...
Вот почему:

Создал героя автор,
И пес придуман им.
А этот недостаток
Неустраним.

Старый сенбернар Уракс, видно, остался доволен моим стихотворением — он больше не косился на меня с упреком. Зато Низинная бабушка осталась им совсем недовольна.

— Как ты смеешь очернять такого прекрасного храброго человека! Да еще утверждать, что таких вообще не бывает! — возмущалась она. — Лично я очень люблю читать книжки про таких людей. Ну-ка, вспомни отважных рыцарей! Да взять хоть благородного Зигфрида!

— А вот прадедушка говорит, что Зигфрид вообще не герой, — поспешно возразил я. — По-моему, тоже это смешно — быть героем по профессии! Я вот на этом плакате даже рассказ написал про одного смешного рыцаря. Хочешь послушать?

Низинная бабушка никогда не могла отказать себе в удовольствии послушать какую-нибудь историю. Пробормотав что-то насчет холодной картошки и остывшего морковника, она покорно уселась в сломанную качалку и вздохнула:

— Ох уж эти поэты! Из-за них в доме всегда ералаш! Ну, читай, Малый!

Я сел на огромную бухту каната, подождал, пока Уракс устроится у моих ног, и начал читать:





от, кто родился сыном рыцаря, обречен был судьбой тоже стать рыцарем. Даже если ему куда милей было петь песни и играть на арфе, он все равно был обязан участвовать в турнирах, скакать на коне и колоть копьем. А уж песни пусть поют бродячие артисты!

Родился у одного рыцаря сын, и назвали его Помелотом. Был он с раннего детства неуклюж и таким уж остался на всю жизнь. И всю жизнь он любил вкусно поесть, петь песни и сочинять стихи. К рыцарским же забавам не имел ни малейшей склонности.

Однако как сын рыцаря он должен был учиться владеть мечом, скакать на коне, стрелять из лука, колоть копьем и всяким другим рыцарским искусствам, от которых нет никакого проку. Нередко он думал: «Чем обучаться всем этим искусствам, от которых все равно никакого проку, буду лучше петь и сочинять стихи!» Но отец его был неумолим. Он посылал его на соколиную охоту, заставлял стрелять в оленей и отрабатывать удар копьем. Только по вечерам Помелоту разрешалось играть на лютне под балконом у благородных дам, толстых и глупых, и воспевать в дурацких виршах свою выдуманную любовь к ним.

Наконец Помелот достиг того возраста, когда посвящают в рыцари, но поскольку он проявлял очень мало усердия в рыцарских искусствах, а усердствовал лишь в тайном сочинении стихов, то и был из рук вон плохо подготовлен к решающему турниру.

Но был ли то счастливый случай или судьба, только однажды, как раз за несколько дней до турнира, он дал своему коню (вообще-то добродушнойшей лошадке) выпить немного сахарного сиропа в награду за усердие и был поражен, с какой жадностью тот на него накиннулся. И тут ему в голову пришла одна совсем не рыцарская мысль.

«Раз лошади так любят сироп,— подумал он,— пусть сироп сделает меня самым непобедимым рыцарем на свете!»

Чтобы осуществить этот замысел, потребовались некоторые приготовления. Во-первых, он заказал оружейнику доспехи столь устрашающие, как ни у одного другого рыцаря; во-вторых, он заказал ему копье с причудливо изогнутым острием, нагонявшее на всех ужас; в-третьих, он что-то проделал с хвостом своей лошади. Но что именно, осталось для всех тайной до самой его смерти.

В день турнира, на котором его должны были посвятить в рыцари, он произвел огромное впечатление на всех, особенно же на дам в остроконечных шляпах с вуалью.

— Правда, он малость толстоват,— шептали они друг другу на ухо, прикрывая рот рукой в перчатке,— но видно по всему, что смельчак и герой.

Рыцари глядели на Помелота с неприязнью, потому что он был какой-то совсем не такой, как они.

Борьба всадников на конях с копьями в руках всякий раз, как только появлялся Помелот, превращалась в довольно странное представление. Не успевал толстый рыцарь в устрашающих доспехах, наклонив чудовищное копьё, ринуться на врага, как конь противника, видно испугавшись, отскакивал в сторону и, пристроившись позади лошади Помелота, принимался лизать ей хвост, словно моля о пощаде.

Семерым противникам пришлось отступить перед Помелотом — они не могли удержать своих коней. В конце концов судьям турнира не оставалось ничего другого, как посвятить Помелота Непобедимого в рыцари.

И всю свою жизнь Помелот оказывался победителем любого турнира, хотя так ни разу и не свалил наземь ни одного рыцаря.

Многие рыцари заказали тому же оружейнику копьё и доспехи, в точности такие же, как у Помелота, надеясь, что их устрашающий вид испугает лошадь противника. Но не тут-то было! Противник нападал на них, как всегда, и им приходилось драться не на жизнь, а на смерть. Только на одного Помелота никто никогда не нападал, и он оставался непобедимым, целым и невредимым до конца своих дней.

На его могильном камне и теперь еще можно разобрать надпись:

Покоится здесь рыцарь Помелот,
Тот,
Который страх внушал и был так смел,
Что на турнире
Его никто и никогда не одолел.
Покойся в мире!

Мало кто знает, о том, что Помелот с тех пор, как его посвятили в рыцари, никогда больше не упражнялся в рыцарских искусствах, а бродил в одежде странствующего певца-миннезингера, распевая песни и сочиняя стихи. И всё же каждый раз, когда ему приходилось участвовать в турнире, он без всякой борьбы становился победителем.

Только одному из своих друзей, тоже миннезингеру, он доверил однажды свою тайну. От него-то и узнали ее потомки. Мудрый мирный рыцарь, знавший, что лошади обожают сироп, а лакомятся им очень редко, перед каждым турниром смачивал хвост своего коня сладчайшим сиропом.

Я поднялся с огромной бухты каната, и Уракс тоже, потянувшись, встал. Только Низинная бабушка оставалась сидеть в сложенной качалке.

— Да ведь это был вовсе не рыцарь, Малый, этот Помелот! — разочарованно сказала она. — Ну какой же это герой?

— Дорогая бабушка! — торжественно провозгласил я. — Разрешите вашему четырнадцатилетнему внуку разъяснить тебе, что на турнирах, как и в боксе, футболе, парусных гонках, всегда одерживает победу и получает награду самый тренированный, ловкий и искусный. Так же как сапожник — за лучшие сапоги, столяр — за лучший стул, пекарь — за самый вкусный хлеб, а поэт — за лучшее стихотворение. Это высокое мастерство. Но с героизмом оно не имеет ничего общего. А вот представить этот рыцарский цирк в смешном свете — это уже почти героизм! Шагать с другой ноги, когда все маршируют в ногу, — это, может быть, поступь героя.

Бедная Низинная бабушка поняла меньше половины — я видел это по её глазам.

— Вы, великие поэты, только всех с толку сбиваете своими великими мыслями... — вздохнула она. — Так я, пожалуй, еще разлюблю прекрасного и отважного Зигфрида!

— Зато уж картошку, морковник и фрикадельки никогда не разлюбишь, — ответил я не без задней мысли.

Тут моя Низинная бабушка вскочила со своей качалки, воскликнув:

— Твой дедушка давным-давно сидит на кухне и ждет обеда! Где ему догадаться, что его жена торчит здесь, на чердаке, и слушает всякие выдумки, вместо того чтобы исполнять свои обязанности! И что вы, поэты, вытворяете с нами, хозяйками! Верно говорит твоя Верховная бабушка...

Она выплыла из чулана и прошуршала вниз по лестнице.

Уракс, очевидно заметивший, что мы не во всем согласны друг с другом, остановился в нерешительности, идти ли ему за ней, и глядел на меня, ища поддержки. Тогда я сказал:

— Пусть себе женщины мечтают о прекрасных рыцарях, Уракс! Мы с тобой видим насквозь этих лжегероев, несмотря на лакировку! Пойдем-ка лучше насладимся тем, что приготовили женщины на обед!

Пес Уракс, пожилой джентльмен, преданно проводил меня почти с приветливой улыбкой на нижний этаж, где мы с ним могли сколько душе угодно расхваливать кулинарные подвиги моей Низинной бабушки и наслаждаться их результатом.



Когда, уже под вечер, я прочел прадедушке мое новое стихотворение и рассказ (стихотворение я переписал со стены, а плакат захватил с собой) и сообщил ему, что сказала обо всем этом Низинная бабушка, он рассмеялся так весело, что все мои страхи рассеялись. Я решил, что врач, осмотрев прадедушку, нашел его болезнь вполне безопасной, и еще больше уверился в этом, когда он — на этот раз в моей чердачной каморке с окном на север — прочел мне рассказ, который за это время успел написать на обоях.

— Поскольку мы решили сегодня говорить про смешных героев, — сказал он, — я сочинил рассказ про клоуна. Только вот не знаю, получился ли он таким веселым, как я его поначалу задумал. Хочешь его всё-таки послушать?

— Ну конечно, прадедушка!

В моем ответе, видно, сквозило такое любопытство, что он тут же развернул рулон и, расправив его на столе, надел очки и начал читать:

РАССКАЗ ПРО ПЕПЕ, КЛОУНА



днажды, в ветреный октябрьский день, труппа испанского цирка погрузилась на пароход, отправлявшийся из Барселоны на Канарские острова — показать там свое искусство, фокусы, яркие костюмы и дрессированных зверей. Все цирковые актеры были в самом веселом расположении духа, кроме Пепе, клоуна, который вот уже целых четыре дня оставался хмурым и молчаливым, словно старый беззубый тюлень. Никто из пассажиров (кроме циркачей, на борту было еще человек сорок) не смог бы угадать в этом низеньком сварливом старикашке профессионального весельчака.

Несмотря на сильный западный ветер, рейс проходил вполне благополучно, и для плохого настроения у Пепе не было, собственно говоря, никаких причин. Но Пепе часто бывал дурно настроен — везде, кроме как на арене. Тот, кому постоянно приходится думать, как рассмешить других, сам разучается смеяться, потому что вглядывается во всё слишком пристально. Уголки губ клоуна все четыре дня были опущены вниз.

На пятый день ветер переменялся, небо вдруг потемнело и с каждой минутой темнело все больше и больше. Море становилось бурным, приближался шторм, бортовая качка усиливалась. Корабль то вздымался на гребень волны, то словно проваливался

в пропасть, вновь вздымался, ложился набок и вдруг, потеряв управление, сдался на волю ветра и волн.

Клоуну Пепе стало душно в каюте, и он вышел на палубу. Вымокший с головы до ног, он уже добрался до рулевой рубки, цепляясь за деревянные перила трапа, как вдруг из рупора раздался крик вахтенного:

— Капитан, руль вышел из строя!

В голосе вахтенного звучало такое отчаяние, что и без того озябшего Пепе пробрала холодная дрожь. Пока он соображал, остаться ли ему здесь, или вернуться назад, рядом с ним вдруг появился капитан — он тоже пробирался в рубку, держась за перила.

— А ну, марш в рубку! — заорал он в бешенстве. — Не хватало еще, чтобы кто-нибудь свалился за борт! — И он втолкнул старого клоуна в рубку.

Пепе сразу обдало теплом, он услышал, как за ним, щелкнув, захлопнулась дверь, и вдруг вверх торманшками полетел в угол — корабль резко накренился на левый борт.

Капитан и штурман стояли к нему спиной, широко расставив ноги, и не обращали на него никакого внимания.

Пепе же наблюдал за ними очень внимательно. Он увидел, как капитан подошел к рулевому колесу и хотел было повернуть его, но вдруг отскочил и, ухватившись за задвижку иллюминатора, в ужасе уставился на руль: руль поворачивался так же легко, как колесо прялки.

— Сломан рулевой механизм! — крикнул штурман капитану, хотя тому это было и так совершенно ясно.

Капитан удрученно, медленно кивнул и сказал тихо, но так отчетливо, что Пепе смог прочесть по его губам:

— Мы ничего не можем поделать, штурман. Ничего!

Штурман, держась рукой за секстант, крикнул что-то в ответ, что — Пепе не совсем понял. Он слышал только:

— Пассажиры... паника... успокоить...

В этот момент, впервые за все последние дни, уголки губ клоуна поднялись вверх. Он кое-как выпрямился и, повиснув на поручне, за который ему удалось уцепиться, крикнул ошенившим морякам:

— Я даю представление!

— Что ещё за представление? — рявкнул капитан под грохот обрушившегося на корабль водяного вала.

— Я клоун, капитан! Сейчас я переоденусь!

Ловко перехватывая руками перекладыны трапа, он стал спускаться на палубу, и, когда дверь за ним захлопнулась, капитан и штурман переглянулись.

— Он маленько того, капитан!

— Что? Кричите громче!

— Я говорю — этот уже спятил! Теперь остаётся только один способ поддерживать порядок — револьвер!

— Нет!

Так же медленно, как он перед тем кивнул, капитан покачал головой. И сделал знак штурману следовать за ним.

С трудом выбравшись из рубки, они спустились в каюту капитана. Здесь капитан сказал:

— С кораблем без руля, да еще во время шторма, ничего не сделаешь. Остается только поручить его providению вместе с командой и пассажирами.

— Если пассажиры впадут в панику, капитан, тут и providение не спасет!

— Знаю, штурман. Потому-то и надо сделать попытку с этим клоуном. А вдруг ему удастся отвлечь людей!

— Это безумие, капитан! — Штурман продолжал кричать во все горло, хотя теперь, в запертой каюте, в этом не было никакой необходимости. — Во всей истории мореплавания панику побеждали только с помощью револьвера!

— Пока еще никакой паники нет, штурман, — спокойно возразил капитан. — Пока я принимаю предложение клоуна. Если клоун нам не поможет, револьвер всегда остается у нас в запасе. Позаботьтесь о том, чтобы пассажиры перешли в салон! Все до одного! И прикажите, чтобы машины продолжали работать. Пускай все думают, будто корабль идет по курсу.

Штурман хотел было что-то возразить, но капитан резко отвернулся. И, пробормотав: «Слушаюсь!» — штурман покинул каюту.

Приказ капитана был выполнен, несмотря на сопротивление некоторых пассажиров. Страдавшим морской болезнью вручили бумажные пакеты. Лишь немногим тяжелобольным разрешено было остаться в каютах.

В салоне зажгли все лампы, и пассажиры заняли места — кто на стульях, привинченных к полу, кто прямо на ковре, прислонившись спиной к стене. Затем в салон вошел капитан и громко объявил, что на корабле все в порядке. Придется уж как-нибудь перетерпеть шторм. С этим ничего не поделаешь! А потому решено устроить для пассажиров представление, чтобы они могли отвлечься и развлечься.

Капитан собирался было добавить еще что-то, но вдруг дверь салона за его спиной распахнулась, кто-то в пестром, подкатившись кубарем ему под ноги, обхватил руками его колени и, приподнявшись с пола, уставился, широко улыбаясь, ему в лицо. Это был Пепе, размалеванный, как и положено клоуну, в широчен-

ных штанах, развевающимся балахоне и огромных белых перчатках.

Все это произошло так неожиданно для пассажиров и даже для труппы цирка, что, заглушая рев стихии и шум машин, в салоне раздался взрыв хохота.

Когда же Пепе пощекотал своим огромным белым пальцем капитана под подбородком, а затем вдруг перекувырнулся назад через голову, все находившиеся в салоне окончательно развеселились, приободрились и стали следить за представлением с вниманием и интересом. Даже толчки, которыми пассажиры то и дело нечаянно награждали друг друга, показались им вдруг смешными.

Когда Пепе, вновь подкатившись кубарем к капитану, стал, цепляясь за него, выпрямляться и вдруг шлепнул его со всего размаху по карману кителя, так как корабль накренился набок, капитан тихо сказал:

— Продолжайте! Отвлеките их хоть на время! А я с командой займусь пока кораблем. Помогите нам!

Пепе повис у него на шее и шепнул ему на ухо:

— Сделаю все, что могу!

И тут он снова плюхнулся на ковер и попытался встать на голову, но безуспешно — салон качало из стороны в сторону.

Капитан тем временем незаметно выскользнул в коридор.

Два часа подряд не сходила улыбка с ярко-красных губ Пепе, намалеванных на набеленном лице, два часа подряд потешал он публику, как никогда раньше. Он кувыркался, прыгал, шатался, шлепался, катился кубарем, и его трюки в качающемся салоне увлекали зрителей мастерством и находчивостью. Актеры цирковой труппы, выдавшие его на арене множество раз, смеялись и хлопали вместе со всеми, будто смотрели его номер впервые.

— Так он еще ни разу не работал на манеже! — воскликнул Рамон, дрессировщик, а директор, музыкальный эксцентрик, эквилибрист и акробат подтвердили, что Пепе еще никогда не выступал с таким блеском.

Лучший свой номер — виртуозную игру на крошечной скрипочке, чуть побольше ладони, — Пепе оставил напоследок. Скрипочку он заранее спрятал в люстру, свисавшую с потолка салона.

Теперь, когда у него после двухчасового веселого кувыркания кружилась голова и пёстрый клоунский костюм прилип к мокрой от пота спине, теперь, когда у него уже не хватало дыхания, а все тело было в синяках, он решил продемонстрировать свой коронный номер со скрипкой.

Однако он не успел еще достать скрипку, как в салон опять вошел капитан. Он был явно удивлён, что пассажиры так беззаботно веселятся.

Когда Пепе, под восхищенные крики зрителей, вновь бросился на шею этому высокому широкоплечему человеку, капитан сказал ему так тихо, что никто больше его не услышал:

— В трюме вода. Матросы откачивают ее насосом. Не знаю, сколько мы еще продержимся. А вы сколько продержитесь?

Измученного и обессилевшего Пепе эта весть поразила больше, чем ожидал капитан.

— Не знаю, сколько я еще продержусь, капитан,— пробормотал Пепе, и уголки его ярко-красных губ опустились вниз.

Клоунская маска Пепе четко отразила его усталость и отчаяние. Зрители, до этой минуты веселившиеся вовсю, вдруг испугались. Пепе без слов сообщил пассажирам дурное известие.

Однако, заметив, что зрителям передалось его потрясение, он сразу нашел выход. На лице его в ту же секунду появилась плаксивая, обиженная гримаса. Уцепившись одной рукой за шею капитана и повиснув на ней, как обезьяна, он громко заревел, обращаясь к публике:

— Он меня не лю-ю-бит!

И, оторвавшись от капитана, он исполнил номер со всхлипами, который обычно проходил с не меньшим успехом, чем его коронный номер со скрипочкой. Исполняя его, он все снова запевал песенку о покинутой невесте моряка, но так ни разу и не допел ее до конца из-за душивших его рыданий и всхлипываний.

Даже сейчас, когда корабль швыряло то вверх и вниз, то из стороны в сторону, здесь, в поднимающемся и накренившемся салоне, «покинутая невеста моряка» имела полный успех. Пассажиры хохотали до слез.

Никто не замечал, что слёзы, медленно катившиеся по щекам клоуна,— это слезы усталости и отчаяния. Слезы бедной, покинутой невесты, так потешавшие публику, были солоньки и горячи, как бывают только настоящие слезы. Силы Пепе были на исходе.

Но старый клоун обладал удивительной выдержкой и хорошо знал зрителей. Он знал, что после раскатов смеха надо дать для разрядки номер с лёгкой улыбкой, что-нибудь задушевное, милое, успокаивающее. На такой номер Пепе был еще способен. Он подпрыгнул, вытащил из люстры свою скрипочку и извлёк из нее несколько высоких звуков — самое начало мелодии. Словно маленькие голуби затрепетали на ветру.

И вот он снова овладел публикой. Почти на целый час приковал он ее внимание к своей крошечной скрипке.

А за этот час — пока клоун играл на скрипке, то певуче и нежно, то бурно и страстно, пока половина экипажа, тяжело дыша, откачивала воду насосом — решилась судьба корабля: шторм постепенно начал стихать, а с острова Тенерифа подошел катер спасательной службы, услышавший сигнал бедствия, пере-



данный судовым телеграфом. Хотя море продолжало бушевать, катеру удалось пришвартоваться к правому борту корабля.

Пепе как раз дошел до самой вершины своего виртуозного номера, когда в салоне вновь появился капитан. Он хотел, видно, сделать какое-то сообщение, но, увидев, как зрители поглощены представлением и с каким вниманием слушают они клоуна, извлекающего неистовые звуки из крошечной скрипочки, остановился в дверях. Штурман, держа руку на кобуре револьвера, протиснулся было в салон вслед за капитаном, но тот отгеснил его плечом назад в коридор.

Только когда Пепе, закончив концерт звучным аккордом, поклонился публике, а пассажиры захлопали и закричали «браво!», капитан подошел к клоуну и сказал ему на ухо:

— Подошел спасательный катер!

Уголки губ Пепе поднялись вверх, ярко покрашенный рот растянулся чуть ли не до ушей... и вдруг руки его повисли как плети, скрипочка и смычок полетели на ковер, и он, потеряв сознание, рухнул на пол у ног капитана. Большой красный рот на белом лице клоуна всё ещё продолжал улыбаться.

Только теперь пассажиры заволновались. Одни закричали, другие старались подняться на ноги. Штурман с решительным видом вошел в салон, чтобы в случае надобности навести порядок с помощью строжайших мер. Но капитан заявил ему, что теперь уже нет никаких оснований для паники. Шторм стихает, спасательный катер пришвартовался.

Спокойно, почти весело, капитан обратился к пассажирам:

— Оставайтесь все на своих местах! Нашего друга Пепе спасла добрая весть!

Он поднял на руки потерявшего сознание клоуна и передал его двум матросам и продолжал:

— Наш корабль, уважаемые дамы и господа, не может при таком сильном волнении войти в гавань. Поэтому с Тенерифа прибыл катер, который всех вас переправит на берег. Прошу пассажиров от первой до пятнадцатой каюты приготовиться к первому рейсу.

Без особых волнений и приключений все пассажиры корабля, а затем и команда были доставлены на берег. На следующее утро — море было спокойно, а на небе светило солнце — буксир подтащил корабль, потерпевший аварию, в гавань. Там выяснилось, что какой-то тяжелый предмет, пригнанный волнами, — скорее всего большое бревно, — ударив в корму корабля, не только отколол лопасть гребного винта, но и перебил тяги руля.

Лишь в тот день, когда корабль был отбуксирован в гавань, пассажиры узнали, в какой опасности они находились. Они прочли об этом в той же самой газете, в которой было помещено

объявление о вечернем цирковом представлении с участием знаменитого клоуна Пепе.

Нечего и говорить о том, что цирк в этот вечер был полон народу. Все пассажиры корабля, разумеется, тоже находились среди публики, приветствовавшей Пепе громкими аплодисментами и криками «браво!». И только теперь их охватил ужас, когда Пепе, размаляванный, как и положено клоуну, в широченных штанах, развевающимся балахоне и огромных белых перчатках, появился на арене и заиграл на крошечной скрипочке... Словно маленькие голуби затрепетали на ветру и полетели под купол цирка.

Прадедуска свернул обои в рулон, а я вздохнул с облегчением, но, как видно, слишком уж громко, потому что Старый удивленно спросил:

— Ты что это так пыхтишь?

— Очень захватывающая история, прадедуска, — ответил я. — А вообще-то она совсем не веселая.

— Это я тебе сразу сказал, Малый! Я собирался написать забавную историю про профессионального весельчака, а у меня получилось чуть ли не героическое сказание.

— А чем все-таки Пепе герой, прадедуска? Я вижу, что он герой, а почему — объяснить не могу.

— По-моему, Малый, тут многое сочетается. И мужество решиться на это представление в такую минуту. И выдержка — ведь он продолжал веселить публику и тогда, когда положение казалось безнадежным. И упорство, несмотря на страшную усталость. Собственно говоря, Пепе совершил чудо — он не только удержал пассажиров от паники, которая нередко приводит к необдуманным действиям и даже к гибели, но еще и заставил их смеяться. Он был не только клоуном, Малый, но и врачом и волшебником — он спасал смехом. Он был героем под маской клоуна.

Прадедуска на минутку задумался и, улыбнувшись, добавил:

— Он даже был, если хочешь знать, героем труда.

— Как так, прадедуска?

Он так хорошо работал, что отвлек пассажиров от опасности, грозившей их жизни... Знаешь, похоже, что нас сейчас позовут ужинать... А я и проголодаться-то не успел!

Я взглянул на часы и сказал, что нам вполне еще хватит времени сочинить целых два «обойных» стихотворения — каждый по одному!

— Прекрасно, — согласился прадедуска, — приступим. Давай-ка теперь напишем о таком — как бы это сказать? — задорном мужестве при самых отчаянных обстоятельствах, или, как говорят, о юморе висельника. Ведь часто это юмор героический.

— Чур, я сочиняю про разбойника! Песню разбойника-висьельника! — поспешно сказал я.

— Только вот герой ли разбойник? Это еще вопрос, Малый. Ну что ж, попробуй, не возражаю! А я придумаю совсем другую песню.

Я отправился за новым рулоном обоев и тут сделал одно открытие: кто-то рылся в наших рулонах. Мы принялись писать — сразу с двух сторон.

Мы строчили, не отрывая карандаша от бумаги, — оба мы были сегодня в ударе. Не оттого ли, что утром к прадедуске приходил доктор и, когда он ушел, стало как-то легче на душе?

Прадедуска, к моей радости, опять уступил мне очередь, и я голосом балаганного зазывалы стал громко читать, держа в руках развернутый рулон:

Песня разбойника с петлей на шее

Сюда, сюда! Вали, народ, толпою!
Сияет солнце! Всем бесплатный вход!
Меня, неукротимого в разбое,
Сегодня поведут на эшафот.
Пред всем народом, на глазах господ
Казнят разбойника. Ну что ж, он казни ждет!

Со мною процветали по дорогам
Разбой, убийство, кража и грабеж.
На совести грехов ужасных много —
Свершился суд. От кары не уйдешь.
Пред всем народом, на глазах господ
Разбойник, в петлю лезь! Ну что ж, он петли ждет!

Иной, быть может, мною обворован.
Сочтёмся же, пришёл расплаты час.
Верёвку вы сулили мне в обнову?
Так вот она! Вкруг шеи обвилась.
Пред всем народом, на глазах господ
Отмстят разбойнику. Ну что ж, он мести ждет!

Прощай навек, разбойничья свобода,
Прощай навек, веселое житье.
В последний раз пред всем честным народом
Я покажу бесстрашие свое.
Пред всем народом, на глазах господ
Умрёт разбойник. Гордо он умрет!



Последнее четверостишие я проорал на весь чердак диким и гордым разбойничьим голосом.

— Гм... да... — заметил прадедушка. И только немного погода добавил как-то особенно тихо: — Это производит впечатление, Малый, такая бравада. И вправду кажется, будто твой разбойник умирает как герой. Но вот подумай. Кто живет разбоем, тот всегда играет со смертью. Смерть — его ставка в игре. И когда она приходит — ну что ж, игра проиграна. Он умирает как игрок, а не как герой.

— Но разве это не мужество — веселиться с петлей на шее?

— Кто ни во что не ставит чужую жизнь, Малый, тот и свою невысоко ценит. Крестьянин из моего стихотворения проявил куда больше мужества в своей строптивой висельной песне, чем твой разбойник в своей бесшабашной.

— Какой крестьянин, прадедушка?

— Крепостной крестьянин из давних времен, восставший против своих господ за право и справедливость. Он у меня поет, стоя под виселицей, с петлей на шее, песню о непокорности. Вот слушай!

Прадедушка снова надел очки — все это время он вертел их в руках — и начал читать:

Песня крестьянина с петлей на шее

Меня повесить, господа?
Я в жизни вам помехой?
Пеньковый галстук? Что ж, тогда
Мне будет смерть потехой.
Отсрочку мне дает палач.
Эй, баре! Песню слушай!
Пусть лучше песня, а не плач
Вам раздирает уши.

До нитки оберете нас,
Как липку обдерёте.
А кто из вас в свой смертный час
Споёт на эшафоте?

Смотрите ж, как на смерть идут!
Нет, смерть вам не подвластна!
Прощай навек, мой тяжкий труд,
А виселица, здравствуй!

Я так и не успел сказать прадедусшке, что, по-моему, этот крестьянин — самый что ни на есть настоящий герой, потому что прадедусшка сразу заговорил:

— В старину случалось, что бунтовщиков и миловали, если они били челом своим повелителям и молили о прощении. А моему крестьянину свобода и справедливость дороже жизни в ярме. У него ведь, наверно, оставались жена, дети. И все-таки в своей песне он не просит пощады. Это песня героя. И господам его было не до смеха. Юмор висельника горше полыни.

— Значит, это юмор без смеха, прадедусшка?

— Да нет, Малый. Только смех тут особый. Он освобождает человека от страха, разрывает его оковы. Бывают даже случаи, когда смех спасает висельника от верёвки. Моя «Баллада о Мудром Гусе» как раз об этом. Хотя в ней и виселицы-то никакой нет.

— Я ведь уже слышал эту балладу, да, прадедусшка?

— Да, года два назад я тебе ее читал. А сегодня прочту опять — уж очень она нам подходит.

Прадедусшка на минуту задумался, припоминая, а потом стал читать наизусть:

Баллада о Мудром Гусе

Как попался Гусь Лисе,
Говорит Лисица:
«Больно думать о Гусе,
Да нельзя ж поститься!» —
«Разумеется, Лиса,
Вы меня съедите.
Для бесправного Гуся
Где найдись защите?»

Что ж, попался, — значит, все!
Но скажу вам честно:
Яд смертельный есть в гусе,
Где же — неизвестно.

Иногда тот яд в хвосте,
Иногда в головке,
В лапках, в клюве, в животе
Спрятан очень ловко.

Вы, Лиса, учтите впредь:
Гусь попался — надо
Всё проверить, осмотреть,
Как там насчет яда.

Вот, к примеру, у меня
Яд запрятан в шее,
Действует к исходу дня,
Сплюньте-ка скорее!

Как проглотишь, так помрешь
В боли и мученьях,
А симптомы — в теле дрожь
И в желудке жженье.

Лапу, часом, не свело?
Есть температура?»
У Лисы от этих слов
Дыбом встала шкура.

Показалось ей сперва,
Будто ногу колет,
Закружилась голова,
Хвост взвился от боли.

«Крышка, — думает Лиса, —
Яд у гада в шее!
К черту этого Гуся,
Ещё околею!»

Вперевалку Мудрый Гусь
Удирает в стадо
И гогочет на бегу:
«Так Лисе и надо!

Хоть шиплю, да не змея,
Нету во мне яда!
Обманул лисицу я!»
Вот и вся баллада.

Я рассмеялся, но сказал, что, по-моему, этот гусь вовсе не герой. Просто он спасал свою жизнь. Вот и все.

— И все-таки это юмор висельника, Малый! — оживился прадедущка. — Всдъ страх смерти не лишил его дара речи, а сделал остроумным и находчивым. Героизм часто растет на меже между жизнью и смертью. Жив остается тот, кто сохраняет присутствие духа. Вот как поросёнок с часиками на копытце из старинной песенки.

— Из какой песенки, прадедущка? Я такой никогда не слышал!

— А ведь верно! — кивнул Старый. — Ты и не мог её слышать. Её пели, когда появились первые ручные часы. Тогда все её пели, а теперь все позабыли. Ну, а я так иногда забываю даже, что ты на семьдесят пять лет меня моложе!

— Споёшь мне эту песенку, прадедушка?

— Попробую, Малый.

Прадедушка старательно откашлялся и в самом деле запел:

Поросенок для красы,
Для красы, для красы
На ремешке носил часы
С секундной стрелкой даже.
И возле бойни всякий раз,
Всякий раз, всякий раз
Он проверял, который час,
И хрюкал очень важно.
Он думал: «Как придет пора,
Придет пора, придет пора
Мне помереть от топора,
Взгляну я напоследок,
Как растопырили часы
Свои усы, свои усы,
Свои усы, свои усы
Из серебристых стрелок».

Но вот настал тот страшный миг,
Страшный миг, страшный миг,
Когда для превращенья в шпик
Он был на бойню стащен.
Мясник сказал: «У поросят...
У поросят?.. У поросят?!
И ремешок и циферблат?!
Ты, брат, не настоящий!»

И вот, подумать только, он —
Только он! Только он! —
Был из-за часиков спасён!
И ныне жив и весел.
Он не боится мясника,
Мясника, мясника,
Пьет в день три литра молока
И прибавляет в весе.

Повторы этой песенки, которые раньше, наверно, подхватывали все хором, я пел вместе с прадедушкой, и, несмотря на его хрипловатый голос, получилось совсем неплохо. Я изо всех сил

захлопал в ладоши. И вдруг за дверью тоже кто-то захлопал. Мы с прадедушкой с удивлением обернулись.

— Эту песню я знаю,— сказала Верховная бабушка, входя в комнату.— Здорово вы ее спели! А ты, отец, оказывается, еще моложе, чем я думала.— Но тут же добавила: — Надеюсь, этот поросёнок не имеет отношения к героям?

— Да как же, Маргарита,— возмутился Старый,— конечно, имеет! В таком безнадежном положении он сохраняет юмор и присутствие духа! Даже на бойню отправляется при часах! Значит, у него храброе сердце!

Больше мы в этот вечер не говорили о героях. Хромая иковыляя, спустились мы, Старый и Малый, вслед за Верховной бабушкой на нижний этаж, и вид у нас был при этом совсем не героический. И только на последних ступеньках лестницы прадедушка, тяжело опираясь на мое плечо, проговорил, словно рассуждая сам с собой:

— В сущности, героический поступок, видно, всегда серьезен. Юмор висельника — это преодоление страха. Настоящий смех приходит потом, когда все позади. Или когда рассказывают о подвиге...

Мы сели на свои места за столом, на котором уже стояли миски с дымящимся супом.

За ужином Верховная бабушка была так внимательна к прадедушке, что я снова вспомнил об утреннем визите врача, который хотели от меня утаить.

Только позже, уже в постели, мне пришло в голову, что, наверно, прадедушка потому и читал сегодня такие веселые стихи и рассказы, что хотел скрыть от меня, как серьезно обстоит с ним дело. И я стал молиться, хотя никогда этого не делал: «Господи, пусть будет что угодно, только сохрани мне прадедушку хоть на несколько лет!»





Четверг!

в который мне оперируют пятку. Речь здесь пойдет о тиранах и об их подданных, а также о крутых яйцах и о яйцах всмятку; один и тот же герой будет показан здесь дважды, но по-разному, и еще мы увидим, что такое собачья жизнь и как муравьи могут одолеть медведя; все заканчивается прославлением Верховной бабушки, которого тут давно не хватает. Итак,

ЧЕТВЕРГ



огда я проснулся утром, в доме пахло как в кондитерской. А рано в этом году Верховная бабушка начала печь печенье к рождеству! Запах свежих анисовых коржиков щекотал мне нос, и я тут же вскочил, надеясь попробовать их уже за завтраком.

И не обманулся. Кроме какао с бутербродами, мы с прадедушкой получили ещё и коржики и теперь уплетали их, весело похрустывая.

Но долго блаженствовать нам не пришлось — наш завтрак был прерван появлением врача. Когда я его увидел, сердце у меня опять тревожно забилось. Однако на этот раз он недолго занимался прадедушкой. Как выяснилось, он пришел главным обра-

зом из-за моей пятки. Осмотрев ее, он тут же велел Верховной бабушке приготовить горячую мыльную воду.

Я подержал ногу в мыльной воде, и кожа на пятке размягчилась. После этого врач произвел на кухне небольшую операцию. Он вскрыл нарыв, сделав надрез в виде звёздочки, и выдавил из него гной. Потом густо смазал рану какой-то черной мазью и пербинтовал мне ногу.

— Так,— сказал он затем бодрым голосом,— теперь вся дрянь вышла, пусть только рана подживет. Приляг на часок, Малый.

Прадедушка, наблюдавший за этой процедурой, сидя на скамейке в углу кухни, посоветовал мне лечь на диван в столовой и полистать какой-нибудь из альбомов, привезенных нашими моряками,— в доме они лежали целыми штабелями.

— А я поплетусь потихонку наверх, Малый,— добавил он.— Когда боль пройдет, приходи и ты. А пока отдохни.

Я без возражений последовал его совету, потому что в пятке моей стучало, тянуло и дергало — казалось, всем моим телом верховодит пятка. Даже мысли мои словно засасывала боль в пятке. Я был рад, когда смог наконец улечься на диван, взгромоздив забинтованную ногу на четыре подушки.

К счастью, боль не вечна. Уже полчаса спустя мои мысли вырвались из плена и полетели в широкий мир навстречу гранитным и мраморным королям, полководцам, изобретателям и другим прославившимся людям: я рассматривал альбом, привезенный нашими моряками из последнего рейса. Он назывался «Знаменитые памятники мира». В этом альбоме было больше двухсот фотографий, и под каждой подробно объяснялось, кому поставлен памятник и почему эта личность увековечена в мраморе или в бронзе.

Среди всех этих знаменитостей больше всего мне понравилась одна маленькая девочка, которой поставили памятник на площади городка Хартестольта. Прочитав её историю, я решил даже посвятить ей балладу. И так как вокруг фотографий было много свободного места, стал записывать её тут же, на полях альбома.

Закончив балладу, я настолько воспрянул духом, что, поднявшись с дивана, стал взбираться с альбомом под мышкой — шаг за шагом, ступенька за ступенькой — по лестнице на чердак.

К счастью, Верховная бабушка услышала мои шаги, только когда я был уже почти наверху. Она крикнула мне вдогонку:

— Ты что, решил заработать новый нарыв? Не можешь послушать совета взрослых? Лежать, сказал доктор! От-ды-хать! А не лазить по крышам!

— Я там сразу лягу, Верховная бабушка! — крикнул я сверху. — Прадедушка за мной последит.

— Он и за собой-то последить не может! — раздалось снизу. — Не слушайся, не слушайся! Вот увидишь, чем это кончится!

Внизу хлопнула дверь, а другая дверь, на чердаке, открылась. Из неё выглянул прадедушка и спросил:

— Что это она там гроыхает?

— Говорит, чтобы я лежал, а не лазил по крышам.

— И совершенно права, Малый! Ну-ка ложись! А я тебе что-нибудь почитаю для развлечения.

В этот день опять была вытоплена моя каморка. Верховная бабушка, верная своим принципам, каждый день протапливала для нас, поэтов, другую комнату — то с окном на север, то с окном на юг.

В северной комнате было достаточно подушек, чтобы взгромоздить на них ногу. Вскоре я уже снова лежал, как прописал мне врач, и рассказывал прадедушке, что сочинил балладу про девочку, которой поставили памятник в Хартестольте.

— Знаешь, сколько тут ненаписанных баллад, прадедушка? — сказал я, показывая ему альбом. — Ведь здесь, наверное, множество героев!

— Вполне вероятно, Малый, — ответил прадедушка. — Может, мы и займемся завтра сочинением баллад про памятники. Это наверняка и весело, и может кое-чему научить. Только не так-то это просто — не думаю, что они сами так и посыплются из альбома. Во всяком случае, я хочу сперва немного его полистать. Припаси-ка свою балладу на завтра, а сейчас послушай еще одну балладу про Геракла. Или, может, у тебя еще сильно нога болит?

— Нет, прадедушка, только тикает, как старые часы с маятником.

— Это от мази, Малый. Хороший знак! Ну, надеюсь, Геракл отвлечет тебя от тиканья в пятке.

Говоря это, он уже перелистывал тетрадку в черной клеенчатой обложке.

— Вот он, подвиг, который я хотел тебе прочесть, — сказал он и поправил очки.

Баллада о Геракле и огнедыманиях конях

Геракл был смел и полон сил
И, как гласит преданье,
Геройский подвиг совершил,
Великое деянье.

Когда-то Фракия была
Под властью Диомеда¹.
Терпел народ немало зла,
И нищету, и беды.

В конюшне царской всем на страх
Там ржали кони грубо:
Не пена, пламя на губах,
Острее кинжалов зубы.

Царь Диомед бросал им в пасть
Прохожих и проезжих,
И мог во Фракии пропасть
Любой герой заезжий.

Геракл, узнав про тот закон,
Ужасно разозлился,
Схватил свою дубинку он
И во дворец явился.

Герой с царя корону сшиб,
А свита разбежалась —
В одну минуту ни души
В покоях не осталось.

И тут Геракл схватил царя,
Как детскую игрушку,
И, возмущением горя,
Швырнул его в кормушку.

А через несколько часов,
Придя коней проведать,
Он не увидел ни усов,
Ни палки Диомеда.

И огнедышащих коней
Как будто подменили:
Овечек сделались смирней
И головы склонили.

¹ Диомед — царь Фракии, по преданию кормивший своих коней человеческим мясом.

Когда их в сбрую запрягли
И дали им напиться,
Они послушно повезли
Геракла в колеснице.

Так доказал Геракл, храбрец,
Что поздно или рано
Тиранству настаёт конец —
Он ниспроверг тирана.

Прадедущка захлопнул тетрадь, бросил ее на комод и задумчиво сказал:

— Собственно говоря, странно, что я одобряю этот подвиг Геракла. Ведь это убийство.

— Это убийство многих спасло от смерти, — возразил я. — Убийство тирана, по-моему, всегда хорошее дело. И всегда героический подвиг.

— Под этим я подпишусь не без оговорок, Малый. Тут надо судить всякий раз по-разному. Да и тираны бывают разные.

— Чем же они отличаются друг от друга, эти кровопийцы?

— А вот, например, временем, в которое живут. Во времена Геракла тиран был просто жесток. Он заставлял убивать всех, кто был ему не по нраву. И когда его самого в один прекрасный день убивали, все считали это заслуженной карой. Тирану покорялись потому, что он обладал властью, но каждый знал, что он не прав и несправедлив. В наши дни тираны подходят к делу более тонко. Они обеспечивают себе официальное разрешение на каждое убийство.

— Не понимаю, прадедущка, — сказал я.

— Ну вот, Малый, представь себе, скажем, тирана, который не выносит людей с веснушками. Он уже не может просто так взять да и приказать всех их уничтожить, как это делали прежние тираны. Он теперь подкупает за большие деньги профессора, чтобы тот научно доказал, что у всех людей с веснушками коварный характер. Потом из этого создают учение — учение о чистой и нечистой коже. А на основе учения издают закон о защите носителей чистой кожи. И этим законом оправдывают кровавые приговоры, которые всех подданных с веснушками передают в руки палача.

— Но ведь это подло, прадедущка! По-моему, это еще хуже, чем тиранство во времена Геракла!

— Это и в самом деле хуже, Малый. Потому что неправоту переряжают в право, а произвол — в законность. И отравляют души. Мне как раз пришла на память одна история, как тиран — правда, с ограниченной властью: он был всего лишь бургомистром — старался отравить дух города и души горожан. Вот послушай!

Старый откинулся на спинку своего кресла на колесах, а я удобнее устроил ногу на горе подушек и стал слушать.



йцам живется нелегко. Их скорлупки хрупки, как счастье. Только крутые яйца могут еще кое-как противостоять ударам чайной ложки-судьбы.

Семейство Тверджелтков — эту фамилию они носили не зря — было крутым и настолько твердым, насколько могут быть твердыми крутые яйца. Они бесстрашно совершали прогулки по окрестностям, взбирались по самым крутым тропинкам и не боялись даже кататься по булыжнику в коляске без рессор, с петухом в упряжке.

Тверджелтки жили тем, что мастерили и продавали шляпы разных форм, цветов и размеров, — шляпы для куриных, утиных, голубиных и даже для страусовых яиц. Покупатели оставались обычно очень довольны. Случалось, к ним заходил даже помидор или луковица, чтобы заполучить шляпу самого модного фасона.

Город, в котором жили Тверджелтки, назывался Яйцеградом, и население его в основном состояло из сырых яиц и яиц всмятку. Всем им приходилось чрезвычайно осторожно продвигаться по жизни, чтобы не разбиться. И это сильно портило их характер.

А надо сказать, что с тех пор как некий Адольф Бякжелток, сырое куриное яйцо, пролез в бургомистры, все разговоры о крутых яйцах стали вестись в Яйцеграде в каком-то странно ядовитом тоне. Бургомистр Бякжелток, яйцо чрезвычайно ограниченное, был твердо убежден, что в скорлупке крутого яйца заключено всё зло. Как только кто-нибудь начинал, например, возмущаться высокими ценами в городе, он говорил:

— Это крутые сговорились повысить цены!

А когда кто-нибудь жаловался на безработицу, рычал:

— Это всё крутые! Хотят сами все денежки заработать!

Писарь бургомистра, пустынное воробьиное яичко, все только кивал да поддакивал своему начальнику, когда тот заводил речь о крутых (это было яичко еще более ограниченное). И вот однажды это круглое ничтожество задало своему начальнику такой вопрос:

— Что есть сердце яйца, ваше высокородие?

— Желток, — ответил Бякжелток.

— Совершенно верно, ваше высокородие! Ну, а если у кого желток твердый, разве это не значит, что сердце у него каменное? Вот эти-то каменные сердца и виновны во всех несчастьях нашего города!

— Отлично сказано, отлично доказано, мой дорогой писарь! — похвалил его бургомистр. — Запишите это, пожалуйста, на бумажке, а я велю это напечатать и распространить, чтобы у всех наших яиц открылись глаза на происки крутых!

Разумеется, всё это было полной бессмыслицей, но тем не менее пустая выдумка круглого дурака была напечатана и получила широчайшее распространение. Каждому, кто обращался за чем-нибудь в магистрат, например за бланком или за справкой с печатью, вручали одновременно специальный листочек, на котором черным по белому было написано, что во всех несчастьях города виноваты крутые.

Яйца поострее, постучав себя по скорлупке, говорили:

— У бургомистра заскок! Не всё ли равно, крутой желток или всмятку? Яйцо всегда остаётся яйцом!

Но яйца потупее поверили тому, что было написано чёрным по белому. Они шептали друг дружке:

— И правда! Ведь вышли же крутые сухими из воды!

— А видали, как они вертятся, как крутятся?!

Некоторые же просто завидовали крутым: все-таки им легче противостоять ударам чайной ложки! Зависть и ненависть, подогреваемые бургомистром, создали в городе настолько накалённую атмосферу, что яйца поострее опасались — достаточно было искры, чтобы вспыхнул пожар.

Иногородние, приехавшие в Яйцеград на экскурсию или по делам: помидоры, айва, луковицы, картофель — удивлялись этим нападкам на крутые яйца. Они казались им совсем необоснованными. «Томатная газета», орган помидоров, даже послала в Яйцеград своего специального корреспондента.

Этот корреспондент сообщал: «Общественное мнение в городе отравлено, спокойствие нарушено. Нетрудно предсказать, что подогревание самых низменных инстинктов у населяющих город яиц официальными яичными властями может привести к беспорядкам».

Семья Тверджелтков вначале не принимала всерьёз всякие толки, слухи и сплетни, но постепенно и она стала понимать, что, пожалуй, тут дело тухлое. Даже шляпы у них уже почти никто не покупал, разве что близкие друзья да иногородние. Тверджелткам грозило полное разорение, и многие соседи перестали с ними здороваться.

— Необходимо принять срочные меры, — решили Тверджелтки. И они пригласили к себе в гости все крутые яйца.

Темной ночью в доме Тверджелтков собрались все крутые — многие из них не были даже знакомы друг с другом. Советование проходило при закрытых дверях и занавешенных окнах.

Семья Скорлупкиных, занимавшаяся изготовлением ёлочных игрушек из яичных скорлупок, предлагала всем крутым покинуть город.

Семья Глазуний, работавшая на фабрике сковородок, предлагала написать в городской магистрат жалобу на Бякжелтка.

Семья Белковых, державшая магазинчик «Поваренная соль», предлагала поговорить с одним знакомым из магистрата.

Но у семьи Тверджелтков нашлись возражения против всех этих предложений. Выехать из города — значит поддержать болтунов и сплетников. Жалоба в магистрат даст толчок для новой вспышки клеветы. А если и удастся убедить и переманить на свою сторону одного члена городского магистрата, то это ещё не значит, что весь магистрат окажется на стороне крутых.

— Так что же нам делать?.. — тяжело вздохнули Скорлупкины. — Через месяц мы окончательно разоримся. А если этот Бякжелток будет продолжать в том же духе, то в один прекрасный день какие-нибудь подонки пристукнут нас нашими же собственными чайными ложками.

Только в полночь было внесено первое разумное предложение.

— Разве каждое яйцо не вправе само решать, как ему быть сваренным — всмятку или вкрутую? — спросил самый старший из Тверджелтков. — Давайте построим большую Кипятильню-Яйцеварку и уговорим всех жителей города свариться вкрутую. Кто сам сварен вкрутую, тот не станет травить крутых.

— Не забываете, — возразил ему старший из Скорлупкиных, — что быть сваренным вкрутую в настоящее время считается позором. Кто же захочет добровольно подвергать себя позору? Все яйца снова упали духом.

Наконец мать семейства Глазуний сказала:

— Это была хорошая мысль — убедить горожан свариться вкрутую. Только, друзья мои, такие дела надо делать в полной тайне. У каждого из нас остались еще кое-какие друзья в городе. Объясним им, насколько проще жить на свете, когда ты сварен вкрутую, насколько уверенней и бодрее себя чувствуешь. Убедим их свариться и понадемся на то, что и хороший пример заразителен.

Предложение это было принято, и на другой же день крутые посетили всех своих немногочисленных друзей, какие у них еще остались среди сырых яиц и яиц всмятку.

Круто пришлось крутым яйцам, когда они принялись уговаривать других свариться вкрутую. И всё же, поскольку Тверджелтки, Скорлупкины, Белковы и им подобные твёрдо обещали молчать о тайной варке вкрутую, многие яйца и в самом деле решились свариться и теперь со всей твёрдостью уговаривали своих друзей сделать то же самое. Количество горожан, сваренных вкрутую и способных твердо противостоять ударам чайной ложки, все увеличивалось.

Так постепенно все больше и больше горожан выходило из-под влияния бургомистра Бякжелтка. Он и сам уже это заме-

тил, но как был болтуном, так болтуном и остался, даже стал еще болтливее прежнего. Когда ему сообщили о тайных сборищах крутых, он повелел срочно распропагандировать в печати, что эти выродки собираются на пир и пожирают ночью своих собственных детенышей. На заседании городского магистрата, члены которого — или, по крайней мере, половина из них — были уже крутыми, Бякжелток разорвался вовсю.

— Я требую от имени всех подлинных яиц, чтобы все неистинные яйца — я имею в виду крутые! — были убраны со всех официальных должностей из всех государственных учреждений! Я требую издания закона об охране чистоты яичного желтка! Долой крутые яйца!

После этой речи впервые за всю историю города возникли разногласия в городском магистрате. Бякжелток, к своему ужасу, установил, что его поддерживает меньше половины членов совета. И тогда он решил выйти на площадь.

У бургомистра и теперь еще были в городе горячие приверженцы — тухлые яйца и яйца с пятнами, ни к чему непригодные. И они были рады свалить на других вину за свою тупость. Вот эти-то тухлые яйца и яйца с пятнами и собрались по призыву Бякжелтка в один воскресный день на главной площади города перед зданием городского магистрата. Они выкрикивали лозунги, которые написал им на бумажке Бякжелток:

КТО С ТВЁРДЫМИ ЖЕЛТКАМИ,
У ТЕХ СЕРДЦЕ — КАМЕНЬ!

КТО КРУТОЛОБ,
ТОГО В ГРОБ!

Тухлые на площади до того развоевались, что приходилось опасаться, как бы они не бросились громить крутых и не стерли их в яичный порошок.

Но тут в дело вмешался начальник полиции — очень неглупое сырое яйцо, не лишённое чувства справедливости.

Начальник полиции попросту слегка подтолкнул бургомистра, прислонившегося к перилам балкона. И Адольф Бякжелток, тоже сырое яйцо, онемев от изумления, кувырнулся через решетку балкона и, к великому ужасу расступившихся перед ним тухлых яиц и яиц с пятнами, кокнулся о булыжник мостовой. Вот тут-то всем и стало ясно, какая темная душа была у этого типа — растекшийся по мостовой желток оказался черным.

В первый момент все застыли на месте от испуга. Этот-то момент и использовал начальник полиции. Он взревел громовым голосом:

— Расходитесь! Расходитесь! Всех, кто не выполнит приказа, мои подчиненные пристукнут ложкой!

Последняя фраза была попросту враньем. Его подчиненные были так же растеряны, как и все остальные горожане. Но угроза помогла — тухлые яйца, по натуре трусливые, оставшись без вождя, раскатились кто куда. Не прошло и минуты, как площадь опустела.

Дальше события в Яйцеграде разворачивались как нельзя лучше. Начальник полиции временно принял на себя обязанности бургомистра, а затем был избран новый городской магистрат, и не кто иной, как господин Тверджелток, прошел большинством голосов в бургомистры. Неделю спустя он объявил с того же самого балкона, с которого недавно слетел Адольф Бякжелток:

— Все яйца, будь то сырые, всмятку или крутые, имеют одинаковые права и обязанности. Каждый, кто попытается столкнуть друг с другом или натолкнуть друг на друга яйца различных видов, будет наказан семью ударами большой городской ложки и изгнан из города. Этот закон принят городским магистратом единогласно.

Госпожа Тверджелток, ныне жена бургомистра, заявила в этот великий день своему мужу:

— В конце концов всегда побеждают крутые!

— Ошибаешься, дорогая, — поправил ее господин Тверджелток, — ты впадаешь в ту же ошибку, в которую впал Бякжелток. Он считал, что крутые хуже всех остальных яиц. А ты считаешь, что они лучше всех. И то и другое — тупость. Не забывай, что Бякжелтка столкнуло с балкона сырое яйцо. Не крутые побеждают, дорогая, а правда и разумная твердость.

Ну, может ли быть у истории более счастливый конец?

Пока прадедущка рассказывал, печка прогорела и в комнате стало довольно холодно. Но я не решался подбросить угля, боясь его перебить. Теперь я поднялся было с дивана, но прадедущка удержал меня:

— Лежи, Малый! Я и сам могу подкормить печку, не слезая с каталки. У меня уже есть в этом кой-какая сноровка.

Он и правда подколесил к печке, подбросил в нее угля, отряхнув руки, снова подкатил к столу и спросил:

— Ну как, Малый, встретился тебе в Яйцеграде какой-нибудь герой?

— Начальник полиции, да, прадедущка? Который столкнул бургомистра с балкона?

— Что ж, в решительный момент он действовал как надо, Малый. Но не потому ли, что понимал, что сила на стороне крутых? А вообще-то крутые держались отлично — не поддались панике, не сдались. Стойко держались. А стойкость — черта героической.

— А правильно ли это, прадедушка, что убили Бякжелтка? Яичко упало и разбилось... Но ведь на самом деле это убийство!

— Да, Малый, убийство. Но если как следует вдуматься, это была вынужденная самооборона. Если бы Бякжелтка не кокнули, погибли бы десятки, а может, и сотни яиц. Ведь тухлые уже ревели на площади: «Кто крутолоб, того в гроб!»

— А разве не могло случиться по-другому, прадедушка? Вдруг бы убийство Бякжелтка вызвало взрыв тухлых яиц и повлекло за собой разгул преступлений?

— Да, Малый, и это могло случиться. Я мог бы нарисовать тебе и такую картину. Но ведь рассказы-то мои! А я предпочитаю чуть-чуть обгонять действительность, подавать ей пример — я хоть и не скрываю, сколько на свете тупости, но в конце концов у меня всегда побеждает разумная твердость.

— И ты еще не придумал ни одной истории, в которой победила бы тупость, прадедушка?

— Что-то не припомню, Малый. Вот помню только одно стихотворение, где тупость наказывается смертью. Хочешь, прочту?

— Конечно, хочу!

Старый, как всегда, немного подумал, а потом стал читать наизусть:

Песня о бравом солдате

На свете жил солдат
С винтовкой за плечом,
В мундирчике с иголки,
С зелёным вещмешком.

«Тяжел солдатский труд —
Во Францию шагая,
Всё чищу, чищу, чищу, тру
Два черных сапога я».

Он чистил сапоги
В Гааге, в Праге, равно
Как в разных городах других,
Проворно и исправно.

По множеству дорог
(По Венгрии, Италии...)
Он шел за парюю сапог
Все далее и далее.

Нередко получал
Солдат ногой пинок,
А на ноге сиял
Начищенный сапог.

Но отвечал солдат
(И брал под козырек):
«Да-да, так точно, виноват!» —
И снова за сапог.

А девушка, его любя,
Сказала: «Сбрось мундир!
Давай-ка спрячу я тебя,
А там наступит мир!»

Но отвечал солдат:
«Я рад бы наутек,
Да как же будет лейтенант
Без чищенных сапог?»

Да, более всего
Ценил он блеск сапог,
Пока не ранила его
Шальная пуля в бок.

Тогда сказал солдат:
«Увы, мой пробил час!
И мне каюк, как говорят,
И бог меня не спас!»

Ах ты солдат, солдат,
Погиб из-за сапог!
И сам, бедняга, виноват,
А вовсе и не бог!

Выслушав «Песню о brave солдате», я спросил:
— Разве не почетно умереть за наше отечество?
— О господи, откуда такая премудрость? — удивился прадедушка. — За какое же это отечество ты хочешь умереть? А знаешь

ли ты, что наш остров долгое время принадлежал Дании? А потом больше ста лет — Англии? И только несколько десятилетий как стал немецким? Теперь я германский подданный, а рожден был английским подданным. Твои прапрапрадедушка и прапрапрабабушка были датчанами. Моя прабабушка была полькой. За какое же из этих отечеств ты хочешь почётно умереть?

— В нашей хрестоматии есть раздел про войну, прадедушка, — сказал я, немного оробев, — там, в самом начале, написано, что сладостно и почётно умереть за отечество.

— Во всяком случае, это гораздо проще, чем жить для отечества, — проворчал Старый.

Я видел, что мой прадедушка, обычно решавший все вопросы хладнокровно и спокойно, впервые вышел из себя. Я заметил даже, хотя и не придавал тогда этому особого значения, что губы у него посинели. Немного успокоившись, он добавил:

— Конечно, Малый, почетно освободить свое отечество от тирана или защитит от врага, который хочет его поработить. Тот, кто умирает ради свободы отечества, умирает с честью и славой. Но в том, что смерть сладостна, Малый, безразлично, во имя чего, в этом я позволю себе усомниться. Смерть не бывает сладостной. Какие же рассказы помещены в твоей хрестоматии под таким эпиграфом?

— Рассказы про войну, прадедушка. Мне запомнился только один, под названием «Рождественская елочка на ничейной земле».

— Что? — взволнованно воскликнул прадедушка. — Эта бледная тень рассказа до сих пор еще бродит привидением по вашим хрестоматиям? Ну-ка, ну-ка прочти-ка мне этот рассказ, Малый! Где хрестоматия?

— Она лежит там, в южной комнате. Принести ее?

— Нет, лежи, лежи! Я съезжу за ней на каталке. Погоди-ка минутку!

Старый толкнул дверь своим креслом и покатил по чердаку с оглушительным грохотом. И тут же снизу раздался голос Верховной бабушки:

— Да что это вы вытворяете там наверху?

— Запасаемся литературой, Маргарита! — крикнул в ответ Старый.

На это из глубин дома последовало какое-то замечание, которого я не разобрал. Но насколько я знаю мою Верховную бабушку, наверняка какое-то мудрое изречение насчёт грохота и литературы.

Прадедушка запасался литературой недолго — он тут же прикатил назад с хрестоматией. Ему явно не терпелось услышать рассказ про рождественскую елочку.

— Ну-ка найди-ка его поскорее,— сказал он, подавая мне книгу.

Поиск в оглавлении, я нашел страницу, на которой был напечатан рассказ, и начал читать:

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА НА НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛЕ.
ИЛИ СЛАВНЫЙ ГЕРОЙ



двадцать четвертое декабря 1917 года. Рождественская ночь опустилась на напоенные кровью равнины Франции. Но там, где лежал в окопе обер-ефрейтор Манфред Корн, рождественская ночь так и не наступила. Там не стихал ураганный огонь французских орудий калибра 8,8 см.

Манфред Корн празднично украсил маленькую елочку. Теперь, когда он смотрел на неё, перед его внутренним взором возникала убогая каморка на северной окраине большого города Берлина. Здесь сидит сейчас одинокая пожилая женщина и думает о своем сыне, воюющем в далекой Франции. Манфред Корн вспоминал под ураганным огнем свою мать и все те праздничные рождественские вечера, в которые она дарила ему из своего скудного заработка беложивейки какую-нибудь милую мелочь — пару шерстяных носков, новенький галстук или белую рубашку.

— Манфред! — вернул Манфреда к действительности его товарищ по оружию, отважный парень исполинского телосложения, уроженец Вестфалии. — Манфред! Не раскисай! По ту сторону фронта алжирцы! Они нехристи и не признают рождества. Уж сегодня они зададут нам перцу! Надо быть начеку!

— Да, друг, — ответил ему Манфред Корн, всё еще погруженный в свои мысли. — Они язычники, эти бедняги алжирцы. Они никогда не слыхали о рождественской елке. Но может быть... — Глаза Манфреда Корна вдруг загорелись. — Может быть, друг, надо принести им эту елку?

— Что ты мелешь? — удивился вестфалец. — Принести елку? Кому?

Но Манфред Корн его уже не слушал. Его словно вела какая-то внутренняя сила. Он поднялся и, держа обеими руками нарядную маленькую елочку, выпрыгнул, несмотря на грохот разрывающихся снарядов, из окопа. И вот он, с елочкой в руках, зашагал к вражеской линии обороны, невзирая на смертоносные пули, которые так и свистели вокруг его головы. Но все пули чудом пролетали мимо. Шагая с рождественской елкой, он чувствовал себя в безопасности. Не обращая внимания на пули, он храбро шел всё вперед и вперед.

Чудо рождественской ночи свершилось и на этот раз — двадцать четвертого декабря военного 1917 года. Вражеская артиллерия, обслуживаемая язычниками, вдруг смолкла. Когда Манфред Корн бережно поставил рождественскую елочку на ничейной земле и зажег на ней свечи, даже сердца язычников были согреты ее сиянием.

А в немецких окопах, из которых с удивлением и волнением следили за героическим подвигом обер-ефрейтора Манфреда Корна отважные солдаты, зазвучала песня — наша рождественская немецкая песня: «Тихая ночь, святая ночь...»

Пока я читал, прадедушка все время сидел согнувшись, словно у него болел живот. Теперь он спросил:

— Ну что, может, тебе понравилась эта история?

— Не знаю, как бы тебе сказать, прадедушка. Это вроде истории про чудо... Только тут больше сиропа, чем чуда.

Старый рассмеялся:

— Ты попал в точку, парень! В рассказе слишком много сиропа. А потому этот так называемый Манфред Корн не живой герой, а картонный. Картонная марионетка на ниточках, за которые дергает сочинитель нравоучительных историй. Вообще-то, Малый, я эту историю знал и раньше.

— Зачем же было ее читать, прадедушка?

— Чтобы ты сам почувствовал ее фальшь, Малый! А теперь я тебе расскажу, как было дело — тогда, в рождество 1917 года. Слышал я об этом от капитана одного буксира в Гамбурге. Он сам при сем присутствовал. Но эту историю сто раз потом перевертали во всяких нравоучительных рассказах, и она становилась всё слащавее и слащавее. Пришло время рассказать ее так, как было на самом деле.

Я захлопнул хрестоматию, и прадедушка, откинувшись на спинку кресла, стал рассказывать:

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА НА НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛЕ, ИЛИ НЕИСТОВЫЙ КОНДИТЕР



Было это в первую мировую войну во Франции. По одну сторону фронта лежал в окопах немецкий полк, состоявший главным образом из берлинцев, а по другую — французский, состоявший из алжирцев. 24 декабря 1917 года, в канун рождества, по обе стороны фронта молчали орудия. Это получилось как-то само собой, без всяких предварительных переговоров.

Однако алжирцы, напротив которых находился берлинский полк, были магометанами и про рождество им ничего не было

известно. А французское командование забыло их предупредить, что в этот день стрелять не положено. И алжирские артиллеристы бабахали по немецким окопам, как делали это изо дня в день. Просто по неведению.

Немецкий полк, возмущенный нарушением неписаного закона, палил в ответ.

Таким образом, хорошо налаженное уничтожение живых людей при помощи пороха, огня, металла и математики, называемое войной, продолжалось и в этот праздничный вечер.

А тем временем в одном из передовых немецких окопов берлинский кондитер Альфред Корнице готовил марципаны для своей роты. Окопчик, в котором он старательно крошил миндаль, был пока ещё довольно надежной защитой от снарядов вражеской артиллерии. Но разрывы их, то и дело сотрясавшие землю, здорово мешали кондитеру в его работе. Ступки, чтобы растолочь миндаль, у него не было, и ему приходилось крошить его остро наточенным штыком. Из-за толчка во время взрыва он порезал палец, и теперь ему приходилось орудовать с неуклюжей повязкой на руке. А тут еще графин треснул от взрыва, и вытекло больше половины розового сиропа, добытого с таким трудом! Пришлось перелить остаток в консервные банки. Но хуже всего было то, что кондитеру постоянно приходилось опасаться за примус, потому что для изготовления марципанов необходим ровный огонь.

Как раз в тот момент, когда приземистый, толстенький Корнице поставил кастрюлю на примус, чтобы, медленно помешивая сладкую массу на огне, превратить ее в марципановое тесто, волна от разрыва упавшего поблизости снаряда вышибла у него из рук повarenку, пламя, вспыхнув, погасло, а кастрюля чуть было не перевернулась, и ее содержимое непременно бы выплеснулось, если б кондитер не поймал ее на лету, пользуясь своей повязкой вместо тряпки.

— Ну, с меня хватит! — заорал он, взбешенный тем, что все его старания чуть было не пропали даром. — Эти остолопы со своими хлопушками не питают уважения даже к труду высококвалифицированного пирожника!

— Помилуй, Альфред, — принялся унимать его один из солдат, — да откуда же им знать, что у нас рождество и мы готовим марципаны! Ведь они об этом и слыхом не слыхали!

А взрывная волна в это мгновение опять чуть было не перевернула кастрюлю вместе с ее драгоценным содержимым. И снова Альфред Корнице подхватил ее на лету.

— Ах, не слыхали? — взревел он в бешенстве. — Ошибаешься, дорогой! Розовый сироп-то с Востока!

— А про рождество они ничего не знают, Альфред. В том-то и беда!

Снова чудовищный взрыв, снова толчок, снова чуть не пропали даром труды высококвалифицированного пирожника.

Корницке больше не в силах был сдерживаться.

— С меня довольно, приятели! — крикнул он в направлении вражеских окопов. — Сейчас я поставлю на этом точку! Вернее, елку!

И прежде чем друзья его сообразили, в чем дело, неистовый кондитер, который даже здесь, на фронте, куховарил в пекарском колпаке, подхватил небольшую елку с укрепленными на ней свечками и, выпрыгнув из окопа, помчался в сторону вражеских позиций по полю, которое отлично просматривалось в эту звездную ночь и могло быть обстреляно в любую минуту.

Немецкие офицеры на наблюдательных пунктах глазам своим не поверили, заметив солдата в пекарском колпаке, бегущего к вражеским позициям с елкой в руках.

Полевые телефоны зазвонили, полевые телеграфы застучали, передавая азбукой Морзе невероятное сообщение с одного командного пункта на другой. Среди солдат, поймавших обрывки разговоров, возникли самые невероятные слухи и поползли по всей разветвлённой сети окопов. Единственное, что было достоверно во всей этой сумятице сообщений, вопросов, донесений, — это приказ командира полка немедленно прекратить артиллерийский огонь.

Необычайное происшествие произвело переполох по обе стороны фронта. Алжирские стрелки и артиллеристы не знали, что делать, — солдат в пекарском колпаке, несущий в руках дерево со свечами, не был предусмотрен ни уставом, ни служебными инструкциями. Это было явление слишком странное, чтобы открыть огонь, и слишком смешное, чтобы увидеть тут угрозу. И в Альфреда Корницке просто не стали стрелять. Алжирцы глядели на него в полной растерянности до тех пор, пока наконец во французских окопах не зазвонили телефоны и не застучали телеграфные аппараты. Только теперь алжирские артиллеристы с опозданием узнали о том, что боевые действия временно прекращены по случаю наступающего праздника. И прекратили огонь.

Надо сказать, что Альфред Корницке прошел уже довольно далеко вперед. Теперь он остановился примерно на середине нейтральной полосы, примял землю носком сапога, поставил на нее елку, спокойно достал из кармана кителя спички, приготовленные для разжигания примуса, и зажег одну за другой все свечи — ночь была безветренной и морозной.

Как раз в тот момент, когда вся елка празднично засияла, вражеская артиллерия прекратила огонь. Наступила неслыханная тишина. И в этой тишине прозвучал громкий голос Альфреда Корнице:

— Ну вот, коллеги! Теперь вам ясно, что происходит? Счастливого рождества!

Потом он зашагал назад, к немецким позициям, и спрыгнул в свой окоп, где друзья встретили его смехом и рукопожатиями.

— Когда полковник услышал о твоей вылазке, он сперва хотел отдать тебя под суд, — рассказывали они, — а теперь раздумывает, не представить ли к награде.

— Пусть даст мне доделать марципаны, — сказал кондитер.

Он поспешил к своей кастрюле, разжег примус и снова принялся помешивать густую сладкую массу, рассказывая обступившим его солдатам, что наверняка займется после войны обращением язычников в христианство.

— Уж теперь-то я знаю, как это делается! — заключил он, весело подмигнув.

Елка на ничейной земле еще долго сияла огнями, что и дало прекрасный материал для рождественской проповеди фронтовым священникам.

Вот таким-то путем рассказ о рождественской елке на ничейной земле и понал во многие календари и сборники нравоучительных рассказов, а неистовый кондитер Альфред Корнице превратился в благочестивого героя Манфреда Корна, которого на самом деле никогда и на свете-то не было.

Все это прадедушка проговорил улыбаясь, и я, наверно, тоже улыбался, когда сказал:

— Этот Альфред Корнице со своими марципанами гораздо симпатичнее Манфреда Корна с его маленькой-маленькой елочкой.

— Прежде всего, Малыш, гораздо правдоподобнее, — заявил прадедушка. — У него хотя бы есть веская причина поставить елку на ничейной земле. Он хочет спокойно доделать свои марципаны. А обер-сфрейтор Корн — герой дутый, выдумка, которая превращается в дым, как только подойдешь поближе.

Старый хотел, видно, распространиться поподробнее насчет дутых героев, но в это время на лестнице явственно послышались шаги. Сомнений у нас не было — на чердак взбиралась Верховная бабушка.

Она и в самом деле уже входила в дверь с подносом, на котором стояла миска с супом и две тарелки.

— Раз дети настолько безрассудны, что скачут на одной ножке после операции, приходится хоть взрослым не терять разума, — сказала она. — Ешьте здесь, наверху, пусть Малыш не встает. Приятного аппетита!

Не сказав больше ни слова, она ушла, а мы принялись за суп с фрикадельками. Ну и вкусный же это был суп!

Я наелся, боль в пятке у меня утихла. Вот сейчас бы и посочинять стихи! Но прадедушка выглядел усталым, и у него всё ещё были синие губы.

— Знаешь что, Малыш, — сказал он, — поплетусь-ка я вниз поспать. Как-никак годы сказываются. Если хочешь заняться пока чем-нибудь полезным, поразмысли-ка насчёт собачьей жизни. Мало ли бедняг на свете ведут собачью жизнь. У них и сил-то нет с голодухи. Как же они становятся героями? Может, тебе удастся сделать это открытие! Ну, пока!

Старый выкатил из чулана, и я услышал, как он, проехав по чердаку, начал с трудом спускаться по лестнице.

Пятка у меня совсем прошла, я поднялся, достал неначатый рулон обоев, разложил его на столе и стал писать. Слова прадедушки я понял буквально и решил написать про собачью жизнь бездомного пса — биографию дворняжки.

Часа в четыре — только я успел закончить рассказ — кто-то стал взбираться по лестнице на чердак. Я быстро свернул рулон и спрятал его под диван. И напрасно! Это был прадедушка — вот он уже заколесил по чердаку в своём кресле.

— Ну как, написал? — спросил он, вкатывая в дверь.

— Задание выполнено, — ответил я. — Рассказ про собачью жизнь готов.

— Тогда прочти-ка мне его, Малыш. Интересно, что у тебя получилось.

Я вытащил рулон из-под дивана, развернул его и прочёл:

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ



ро человека нередко говорят: «Ведь не может он жить как собака!»

А как же быть бедной собаке, которой самой природой назначено вести собачью жизнь? Вот она и ведет ее. А уж как — лучше не спрашивать!

Проследим, например, историю жизни так называемой бездомной собаки. Возьмем беспородную дворняжку, увидевшую свет где-нибудь за дощатым забором новостройки. Этот достойный всяческого сожаления собачоныш кормится в течение

первого месяца своей жизни, плохо ли, хорошо ли, синеватым молочком своей матери. Предположим, что он остался в живых после того, как подошли пятеро его сестер и братьев. В какое-нибудь хмурое воскресное утро ватага ребятишек загонит его на окраину города, и потом он уже никогда не найдет дороги назад. Побродив некоторое время, он доберется до ближайшей деревеньки, где и люди-то живут не лучше собак.

Здесь крестьянин приманит его на свой двор костью, схватит за шкурку и привяжет на веревку у своего крыльца.

— Будешь охранять дом от воров,— скажет он псу.— Может случиться, ты и не поешь досыта, но с голоду не подохнешь. Как говорят, по одежке протягивай ножки, даже если это не ножки, а лапки.

Хорошо еще, если пса в первый раз привязывают на веревку летом, и ему приходится в теплую пору сносить голод, крутой нрав хозяина и проделки деревенских мальчишек.

Но однажды ночью, когда уже зима на дворе, пес, натерпевшись за день, уснет так крепко, что не услышит вора. А вор этот стащит у хозяина из погреба последний окорок. Ничего удивительного, что тот придет в бешенство и сорвет свой гнев на собаке.

А на другую ночь ударит сильный мороз. У голодного, избитого пса нет даже будки — спрятаться от ветра. И вот с яростью, порождённой отчаянием, он впервые восстаёт против этой собачьей жизни. Он перекусывает своими уже сменившимися, крепкими зубами веревку, за которую привязал его этот мучитель, и носится всю ночь по полям, по лесам, по замерзшему пруду — тоненький ледок не проваливается под тяжестью отоцавшей собаки.

Следующее утро застает пса в городе. Он блаженно спит под высоким навесом большого рынка, возле мусорной кучи. Впервые в жизни он наелся досыта.

Он просыпается после полудня, зевает и потягивается и чувствует себя сытым и сильным. Он не видит ничего удивительного в том, что барышня-пудель, с бантиком на кудряшках, относится к нему весьма благосклонно, невзирая на его грязную шерсть и лапы, и весело бегает вместе с ним, обнюхивая ближние столбики, пока не появится полная дама в меховом манто и не позовет ее в ужасе к себе, чтобы пристегнуть к ее ошейнику красный поводок с золотыми застежками и утянуть за собой.

Это, конечно, огорчает пса, но не наносит еще смертельного удара его пробудившемуся чувству собственного достоинства. Прощальный лай вдогонку юной пуделице — и вот он уже с гор-

до поднятой мордой шествует в город. Он так занят самим собой, что для опытного собачника Казимира Клапшу нет ничего проще, чем с быстротой молнии набросить ему на шею цепь и толкнуть его в крытую машину к другим пойманным собакам. Рев мотора старенького автомобильчика заглушает яростный лай пленника.

Следующие два дня пес проводит в тесном длинном бараке на окраине города. Однако Казимиру Клапшу не так-то легко с ним справиться. Пес больше не хочет ползти на брюхе и поджимать хвост. Он кусается и лает, не слушается плетки и удирает на третий день, как только собачник приоткрывает дверь барака, чтобы покормить собак.

Он снова спасся от злой судьбы, но, увы, чтобы тут же попасть в ее лапы. Поскольку он не умеет читать (эта беда у него общая со всеми другими собаками, в том числе и высокопоставленными), он не обращает внимания на объявление, которое гласит: «В собак, преследующих дичь на этом участке, будут стрелять без предупреждения».

Забежав на этот столь опасный для его жизни участок, пес видит вдруг впереди удирающего зайца. И тут у него просыпается охотничий инстинкт. Он несется за зайцем, чувствует себя наверху блаженства (хотя заяц, петляя, всякий раз оставляет его в дураках), он ощущает прилив сил, вдыхает воздух свободы, втягивает его своим чутким собачьим носом. «Вот это жизнь!» — думает он, летя вслед за зайцем по сжатому полю... Но как раз в то самое мгновение, когда пес впервые находит, что жизнь на земле прекрасна, лесничий поднимает ружье, целится, стреляет и попадает в цель.

Так заканчивается собачья жизнь — где-нибудь в поле, когда на дальней башне бьет семь и высокопоставленные собаки лениво подходят к своей миске с мясным супом.

...Дослушав рассказ, прадедушка даже захлопал в ладоши.

— Отлично, Малый, — сказал он, — ты докопался до самой сути! Понял, как тот, кто ведет собачью жизнь, обнаруживает в себе запас героизма. Стоит ему вдохнуть воздух свободы, и он напрягает все силы, чтобы разорвать путы. А ты заметил, Малый, что мы с тобой сегодня весь день говорим про тиранов и про тех бедняг, которым приходится защищать от них свою жизнь?

— Конечно, заметил, прадедушка. Это как-то само собой получается — каждый день своя тема. Вот и завтра — ведь мы хотели сочинять стихи и рассказы про памятники.

— Ну да, Малый! Значит, у нас и на завтра есть тема. Видно...

Ему не удалось договорить, потому что к нам пришел гость. Он уже стоял в дверях. Это был мой Низинный дедушка с кудрявыми черными волосами.

— Я помешал? — спросил он.

— Такой редкий гость, как ты, Якоб, не может помешать, — улыбаясь ответил прадедушка.

— Но ведь вы, если не ошибаюсь, сочиняете? Я могу посидеть внизу и через часок зайти снова. Женщины там говорят про новогодние подарки. Может, я и подам им какую-нибудь идею.

Мы принялись уверять его, что он нам ничуть не мешает и зря даже думает, что мешает. Пусть входит и садится.

— Мы уже обсудили нашу тему, Якоб, и все, что только можно было, сочинили, — сказал прадедушка.

— Какую же это тему? — спросил дедушка.

— Великие и малые мира сего, господа и рабы, тираны и их подданные.

— Жаль, я опоздал послушать, — с огорчением сказал дедушка.

Старый в раздумье тихонько покатывался в своем кресле взад и вперед.

— Н-да, — сказал он наконец, — так вот, Якоб, один стишок на эту тему у меня еще есть в запасе. Вернее, басня. Правда, я придумал ее несколько лет назад... Но могу прочесть.

— Прочти, непременно прочти, — попросил Низинный дедушка, — ты ведь знаешь, я тоже, случается, сочиняю, хотя и не такой мастер по этой части.

Этот лестный намек подстегнул Старого. Он задумался, припоминая басню, а потом прочел ее вслух:

Медведь и муравьи

Вот решил доказать толстопятый
Муравьишкам и муравьятам,
Маленьким, юрким, живучим,
Деловым, суетливым, ползучим
(Чтоб они разнесли на весь лес),
Что велик, ох, велик его вес.

И с пыхтением и сопением,
Потоптавшись над их строением,
Где они торопливо тащили,
Помогали, несли, грузили,
Он уселся, старый затейник,
Прямо задом на муравейник.

Как заскребся вдруг косолапый
И хлоп себя, хлоп себя лапой!..
Ой, как хлопотно, больно, досадно!
С ними дело иметь накладно.
Как ни странно, они сильны —
Потому что они дружны.

Разодрав себе шкуру когтями,
Он, отважными муравьями
Побеждённый в неравной борьбе,
Потащился в берлогу к себе,
Исцарапан, исколот, искусан,
И тогда намотал на ус он:

Кто весом великим кичится
И на муравейник садится,
Стремясь оказать давление
На стотысячное население,
Тот потом заревёт на весь лес:
«Ох, зачем я сюда полез?»

Выслушав басню прадедушки, Низинный дедушка сказал:

— Вы, поэты, вечно выдумываете всякие красивые и умные истории, в которых правое дело торжествует. А вот как обстоит в жизни с маленькими людьми, с угнетёнными и униженными? Не старается ли иной из них подольститься к сильным мира сего, чтобы получить от них чуть побольше, чем получил его сосед? Безразлично чего — хлеба, денег, пенсии. Всегда ли они держатся вместе? Всегда ли дружны и едины?

— Ты прав, Якоб... — вздохнув, ответил прадедушка. — Иногда и в самом деле проходили целые десятилетия, а бедные люди не оказывали насилию никакого сопротивления. Но между тем появился новый сорт героев, Якоб. Это началось с графов, ставших социалистами...

Низинный дедушка рассмеялся и сказал:

— Вот то-то и плохо у вас, поэтов, что вы умеете любые свои фантазии подкреплять примерами из жизни!

— Поэты, — рассмеялся в ответ прадедушка, — просто чуют всё заранее. И что будет с человечеством — тоже. Они угадывают завтрашних героев!..

Но тут нас позвали вниз ужинать. К нашему удивлению, вся семья была в сборе: мои родители, братья и сестры, Низинная бабушка и Низинный дедушка, Верховная бабушка, прадедушка и я.

Причину этого сборища мы, Старый и Малый, поняли только тогда, когда увидели, что в гостиной стоят цветы и повсюду лежат свертки с подарками. Тут мы вдруг вспомнили, что у Верховной бабушки незадолго до Рождества день рождения.

Никто нам об этом не сказал, потому что все думали, что мы давно уже ее поздравили. Мы устыдились, рассеянные поэты, и, улучив момент, удалились в спальню Верховной бабушки, где и сочинили совместно поздравительное стихотворение. Затем мы проковыляли назад в гостиную, и прадедушка, сев за стол, постучал ложкой по своей рюмке.

Когда все умолкли и поглядели на него с любопытством, он указал на меня и заявил:

— Сейчас Малый от имени поэтов преподнесет подарок ко дню рождения!

Я встал и прочел:

Песнь во славу Верховной бабушки

Кто вечно ворчит и брюзжит беспрестанно?
Кто рано встаёт, а ложится не рано?

Хромые поэты на чьем попеченье?
Кто топит им печь и печёт им печенье?

Чье мужество будет достойно воспето?
Верховная бабушка! Многая лета!

Кто сам той же выпечки, что и герои?
Кто в бурю стоять остаётся горою?

Кто, право же, право, не робкого нрава?
Верховная бабушка! Бабушке — слава!

Кому в этом доме поэты подвластны?
Чей гнет потерпеть они всё же согласны?

Кто их опекает от света до света?
Верховная бабушка! Многая лета!

Кто вечно ворчит и бранит их так грубо?
Кого прославляют литавры и трубы?

Кто здесь верховодит и правит по праву?
Верховная бабушка! Бабушке — слава!

Раздались дружные аплодисменты. А Верховная бабушка, приложив платок к глазам, пробормотала:

— Сперва эти негодяи вообще забывают про день рождения, а потом приводят человека в такое смущение. За что только господь бог наказал меня двумя поэтами?

— За острый язык! — рассмеялся прадедушка и тем самым дал Верховной бабушке повод спрятать платок и опять перейти на бодрый язвительный тон.

Когда я, перед тем как отправиться спать, пожелал Верховной бабушке спокойной ночи и даже, в виде исключения, поцеловал ее при этом, она сказала:

— Спокойной ночи, маленький поэт! Только смотри никогда больше не смущай меня такими стихами.

— Честное слово, не буду! — ответил я. — К следующему дню рождения подарю тебе букет чертополоха!





Пятница,

в которую моему прадедушке нездоровится, а мы с Джонни Флотером отправляемся в гости к тете Юлии. Речь здесь пойдет о памятниках всяких видов; кроме того, здесь восхваляется некий герцог Оскар, который не нуждался в героях. Здесь заговорит даже камень. Итак,

ПЯТНИЦА



ятница началась грустно, потому что врач остался недоволен здоровьем прадедушки. Он прописал ему сердечные капли и посоветовал полежать денёк в постели или хотя бы не вставать до обеда.

Старый выбрал второе и стал, лежа в постели, листать альбом памятников. Меня он послал погулять, заметив, что и поэтам не мешает иной раз размять ноги.

И вот я заковылял рядом с моим другом Джонни Флотером под ледяным ветром по возвышенной части острова. Мы рассматривали разукрашенные витрины магазинов. Уже начались рождественские каникулы, и теперь я мог спокойно выходить на улицу, не рискуя прослыть прогульщиком.

Когда лица наши покраснелись от мороза и мы, несмотря на теплые свитеры, продрогли на ветру, мы завернули в гости к тете Юлии, у которой всегда было тепло. Эту жизнерадостную пожи-

люю даму все на острове называли тетей, хотя она, собственно говоря, никому тетей не приходилась.

Возле двери ее дома висел звонок с гипсовой рукой, за которую надо было потянуть, а под ним была прибита картонка с надписью:

Зандман Овербек — звонить 1 раз.

Юлиана Овербек — звонить 17 раз.

Шарик Овербек — лаять 1 раз.

Зандман был мальчик нашего возраста, которого тетя Юлия взяла себе вместо сына. Он был найденыш. Его нашли грудным ребенком на берегу, на песке, завернутого в рыбачью робу.

А Шариком звали собачку тети Юлии, маленький длинношерстый комочек с завитушками, свисающими на глаза, — не поймешь, где зад, где перед.

Зандман, отлично справлявшийся с хозяйством в доме тети Юлии, открыл нам дверь, потому что мы позвонили только один раз. Проводив нас к тете Юлии в так называемую Голубую комнату, он тут же снова скрылся на кухне вместе с Шариком, а мы сняли свитеры и, как всегда, получили подогретого красного вина с пряниками.

— До меня дошли слухи, — сказала мне тетя Юлия, — что вы, Старый и Малый, опять сочиняете. Верно это?

Я ответил, что да, верно, но очень удивился, откуда про это знает весь остров.

— Не весь остров, — возразила тетя Юлия, — а только те, кто интересуется такими вещами. Могу поспорить, что Джонни не имеет об этом ни малейшего представления. Правда ведь, Джонни?

Джонни Флотер кивнул, но тут же добавил:

— Малый сегодня опять рассеян, словно профессор. Я сразу догадался, что они опять там чего-то сочиняют.

— А разве, когда сочиняешь, становишься рассеянным? — удивленно спросила тетя Юлия.

— Еще как! — присвистнул Джонни. — Один раз я хотел устроить с Малым бег наперегонки задом наперед, а он вдруг увидел каштан. Ну и все! Стал ни на что не годен. Только и твердит про каштан, а когда ему что-нибудь говорят, вообще ничего не слышит.

— Ага! — воскликнула тетя Юлия. — Теперь я понимаю, как это получается. Когда поэты что-нибудь выдумывают или обдумывают, они не видят и не слышат, что происходит вокруг.

В сущности, это не рассеянность, Джонни, а как раз наоборот — пристальное внимание, сосредоточенность на одном деле.

— Возможно, — пробормотал Джонни Флотер. Сложные процессы, происходящие в головах поэтов, как видно, не слишком его интересовали. Он был земным человеком, а потому и внес предложение сыграть в лото «Братец, не сердись».

Тетя Юлия охотно согласилась поиграть с нами, но то и дело вновь принималась меня расспрашивать, про что же мы с прадедушкой сочиняем. А узнав, что мы собираемся писать баллады и рассказы про памятники, почему-то пришла в полный восторг.

— Не забудьте, — сказала она, — что памятники — это не только то, что стоит на постаменте, Малый! На свете есть много всяких памятников. Например, монета или надгробие. Или дом, или герб, или просто камень, напоминающий о каком-нибудь событии. Даже созвездие может быть памятником. Не упустите это из виду, когда будете сочинять!

Это замечание тети Юлии дало толчок моим мыслям. Я играл все рассеянней и делал глупейшие ошибки. Джонни Флотер так разозлился, что под конец швырнул игральную кость на стол и крикнул:

— Я больше не играю! Малый вообще отсутствует!

Я не успел еще оправдаться, как тетя Юлия сказала:

— Малый, если я не ошибаюсь, думает о памятниках. Верно? Я кивнул и объяснил, что виной всему замечание тети Юлии про разные памятники.

— Мне это очень лестно, — улыбнулась старая дама. — Знаешь ли, Малый, каждой женщине хочется хоть раз в жизни стать Музой — вдохновить поэта на какое-нибудь стихотворение.

— Только не моей Верховной бабушке, — уточнил я. И вдруг вспомнил, что обещал не опаздывать к обеду.

Я взглянул на часы, тикавшие в углу, и увидел, что могу еще успеть в последнюю минуту. Поэтому я извинился, поспешно натянул свитер и захромал в направлении Трафальгарштрассе. Голова моя была переполнена идеями про всякого рода памятники.

Я поспеел как раз вовремя, чтобы пообедать с Верховной бабушкой. Сегодня, как и каждую пятницу, она варила на обед сушеную рыбу. Прадедушка ел в постели. Но после обеда встал и начал медленно взбираться по лестнице на чердак, чтобы вместе со мной подумать насчет памятников.

Как только мы устроились в южной комнате — Старый в каталке, я на оттоманке, — я тут же принялся объяснять прадедушке, что памятники бывают всякие. Но он, оказывается, и сам уже это сообразил, перелистывая альбом.

— Даже прядь волос может оказаться памятником,— сказал он,— и иной раз более значительным, чем бронзовая конная статуя огромной величины. Я нашёл в альбоме две любопытные надгробные надписи и списал их.

Он вытащил из кармана газету, на полях которой было что-то записано.

— Одна из этих эпитафий — из Берлина. Там в Тиргартене бесчисленное множество памятников разным знатным лицам — из камня и бронзы. И на одном из них, изображающем какое-то высокопоставленное ничтожество, берлинцы нацарапали вот этот стишок...

Старый заглянул в свою газету и прочел:

Эпитафия знатному вельможе

Сей памятник нам всем сегодня
Того вельможу заменит,
Что взят был в рай иль в преисподню,
Ничем таким не знаменит.
Да! Выпить он любил, по слухам.
Земля ему да будет пухом!

— Видно, этот вельможа не тянул на памятник,— рассмеялся я.

— А вот один каменщик, наоборот, очень даже тянул, только никто ему памятника не поставил. Послушай, какая надпись вырезана на его деревянном могильном кресте!

Он снова заглянул в газету и прочел:

Эпитафия каменщику

Под этой плитой могильной
Покоится каменщик Тик.
Любил запивать он обильно
Пивом сосиски и шпик.

Он спас благородного Фоха,
Когда тот с моста сиганул.
Тот Фох всё живет, и неплохо,
А Тик-то в реке утонул.

Тут разговор у нас перешел на то, кто заслуживает памятника, а кто нет, и говорили мы очень долго.

— Одно, во всяком случае, ясно,— сказал в заключение прадедушка,— ещё не всякий, кому воздвигают памятник, герой. И не всякому герою ставят памятник. Сегодня утром в постели я написал две баллады, они тебя в этом убедят. Но сперва мне хотелось бы послушать ту балладу, которую ты сочинил вчера. Я знаю, она записана в альбоме, но я не стал ее читать. Хочу услышать от тебя самого. Ну-ка прочти!

Я положил тяжелый альбом на колени, раскрыл нужную страницу, заложившую спичкой, и прочел:

Баллада о короле и девочке

Жил-был король на свете,
Угрюм и нелюдим,
И знали даже дети,
Что шутки плохи с ним.

Раз дал он повеленье
На рынке городка
Повесить объявление:
«Два красных узелка!»

Ищите, мол, подарки:
Завязаны в платок
Часы отличной марки —
Вот первый узелок.

Другой — того же цвета,
В нем слиток золотой.
На вид находку эту
Не отличишь от той

И что в ней — не узнаешь.
А замысел жесток:
Часы ты поднимаешь —
Взорвется городок.

Но кто поднимет слиток
В платочке красном, тот
Получит графский титул
И городок спасет.

А горожане что же?
Пустились наутек —
Им золота дороже
И жизнь, и городок!

Вот из дворцовых окон
На город Хартестольт
Король глядит в бинокль...
А город-то пустой!

И вдруг бежит вприпрыжку
Он очень удивлен! —
По улице малышка —
Волосики, как лен.

Встревоженный немножко,
Король глядит ей вслед
(А звали эту крошку
Мари-Элизабет)

И видит: вот нагнулась
И красный узелок
Взяла, и улыбнулась,
И дергает платок...

Король сидит не дышит,
Бинокль упал из рук...
Но взрыва он не слышит,
А слышит сердца стук.

Бинокль он поднимает,
Навел на городок:
Нет, слиток вынимает
Завязанный в платок,

И катит по дорожке,
Бежит вприпрыжку вслед
И хлопает в ладошки
Мари-Элизабет.

И ножкою толкает
В ручей его — плих-плюх!
Король коня седлает
И скачет во весь дух

По склону, по долине...
С коня слезает он:
«Привет тебе, графиня!» —
Отвесил ей поклон.

Та, носик задирая,
Мгновенно входит в роль
И говорит, играя:
«Привет тебе, король!»

И на коня девушку
Сажает он: «Оп-ля!»
Гляди-ка, вся в веснушках,
А учит короля!»

И вот уж в замок скачут
Они из городка.
Что эта сказка значит —
Задумайся пока!

— Очень мило, Малый! — сказал прадедушка, когда я кончил читать. — Король развлекается, ставит жестокий опыт над своими подданными. Но когда в ловушку попадает эта малышка, его самого страх берет от своей же затеи. Девочка спасает город — это тоже хорошо. Она заслуживает памятника. И все-таки она не героиня. Ведь она действовала просто по незнанию. А герои знают, что делают и на что идут.

— А у тебя в балладе герой...

— Ну уж он-то знает, что делает, Малый. Хоть он и не герой!

— Как так не герой?

— А вот послушай!

И, развернув бумажную салфетку, исписанную с обеих сторон, он прочёл:

Баллада про герцога Оскара Доброе Сердце

Стоит в Гумберштадте памятник тот —
Герцог Оскар Великий.
Его из-за мельницы помнит народ
Для тмина, перца, гвоздики.

Но в хрониках мы ничего не найдем,
Чем мог бы он похвалиться,—
Поставил лишь мельницу в крае родном
Для перца, тмина, корицы.

Какой весельчак за бутылкой он был,
Свой парень и доброе сердце!
Какую он мельницу соорудил
Для тмина, гвоздики и перца!

Без шума сражений, без долгой войны
Сумел процветанья добиться
Родной стороны, потому что нужны
Всем перец, тмин и корица.

Всеобщий любимец — хоть и не герой...
Но вот о чем эта баллада:
Народу полезней правитель порой,
С которым героев не надо.

Я захопал, потому что мне очень понравился и сам этот герцог Оскар, и стихи прадедушки.

— Чудно только! — сказал я. — Мы с тобой целые дни говорили про героев, а теперь вот радуемся: наконец-то хоть кто-то повернул дело так, что герои оказались совсем не нужны!

— Это, Малый, легко объяснить. Героизм рождается там, где есть опасность. Если бы на свете не было опасностей, героизм был бы ни к чему. Но их, увы, великое множество, а потому герои будут всегда. Обойтись без героизма можно, только всякий раз обходя опасность. Есть, конечно, люди, которые всегда умеют ловко ускользнуть от неё, увернуться, да вот хорошо ли это? И, главное, надолго ли это помогает?

Взгляд прадедушки случайно упал на тетрадку в клеёничатой обложке, и он продолжал:

— Иногда в жизни надо уметь решиться, даже если это нелегко. Почти каждый герой, прежде чем совершить подвиг, волен был решать, пойдёт он на него или нет. Вот и Гераклу пришлось однажды выбрать себе судьбу. И он, поразмыслив, выбрал судьбу героя.

— Да разве это только Геракл, прадедушка? Ведь, наверно, каждый человек должен в один прекрасный день решить, что он выбирает.

— Конечно, Малый,— ответил прадедушка.— Тем-то и хорош Геракл, что похож на каждого человека, только как бы возвышенного до полубога. Вот почему множество сказаний о героях повторяют, больше или меньше видоизменяя, его многочисленные подвиги. Не зря я так часто его вспоминаю. Уж кто-кто, а он заслужил свой памятник.

— Какой такой памятник, прадедушка?

— Созвездие, Малый! Прекраснее памятника и не придумаешь. Созвездие Геркулеса. Так называли Геракла римляне.

Но тут на лестнице раздался шаг, и мы насторожились.

Впрочем, сегодня нам нечего было прятать — ни исписанных обоев, ни «Морского календаря» у нас не было. Дверь раскрылась, и на пороге, к нашему удивлению, появилась тетя Юлия с пухлой красной записной книжечкой в руках.

— Простите, я и сама знаю, что помешала,— сказала она.— Но я тоже написала рассказ про памятник, и мне так хотелось бы услышать мнение знатоков!

— Что ж, мы вас терпеливо выслушаем, тетя Юлия,— ответил Старый.— Да вы раздевайтесь, снимайте пальто!

Тетя Юлия была так взволнована, что снять пальто оказалось для нее делом почти непосильным. Я встал и помог ей выпутаться из заплетавшихся рукавов, и она тут же, сев рядом со мной на оттоманку, принялась листать свою записную книжечку.

Так как женщина она была очень милая, мы, поэты, изобразив на лице большую заинтересованность и набравшись терпения, принялись ее слушать.

ИСТОРИЯ КАМНЯ ПРЕТКНОВЕНИЯ



одной отдаленной местности, метрах в ста двадцати от старой проселочной дороги, торчит из травы гладкий круглый горб. Это видимая часть огромного камня. Если бы камни могли говорить — а ведь наша фантазия вполне может заставить их говорить,— вот как рассказал бы нам этот камень историю своей жизни:

«Я обломок песчаника. Уже много тысяч лет я лежу на этом месте и считаю его своей родиной. И хотя я нем, скромен и неподвижен, на меня всякий раз натываются и об меня спотыкаются разные звери.

Это началось с семейства звероящеров, которое по какой-то неведомой мне причине пересекало здесь поле. Один звероящеренок в спешке не заметил меня, споткнулся и с ревом свалился в траву.

Остальные члены семьи тут же приостановили свой бег, вернулись к упавшему детенышу и, разузнав, что случилось, принялись оскорблять меня, невинный камень, в самых чудовищных выражениях. Оказалось, что их детеныш поранил о мой острый край лапу.

Прошли века — а может быть, и тысячелетия, — прежде чем дожди смыли с меня этот позор. За это время острые края мои обтесались, и я погрузился глубже в землю, что было мне очень по душе — ведь я совсем не люблю лежать у кого-либо на дороге.

Следующее огорчение я пережил из-за одного медведя, преследовавшего зайца. В пылу охоты он на бегу вдруг споткнулся об меня и даже проехался брюхом по траве.

И как только этот зверь меня не обзывал! Даже самому грубому и неотёсанному обломку скалы я не решился бы повторить эти оскорбления.

Терпеливо, как это свойственно нам, камням, выслушал я всё и даже не шелохнулся. Но хотя внешне я сохранял полное спокойствие, я был внутренне глубоко потрясен. Ещё столетия спустя я становился краснопесчаником от стыда, когда вспоминал, как обозвал меня этот медведь.

Но время лечит раны даже у камней. Вот уже более ста лет я лежу здесь, на поле, с округлившимся горбом и сглаженными краями в самом благодушном расположении духа.

По мне ползают улитки, на меня вскакивают зайцы, чтобы оглядеться по сторонам, и ложатся кошки, чтобы погреться на солнышке. Душевное равновесие вернула мне одна лошадь.

Дело было так. Более ста лет тому назад неподалеку от меня шло сражение. Я слышал крики, выстрелы, топот копыт, и вдруг несколько всадников в роскошных мундирах подскакали и остановились неподалеку от меня. Они внимательно наблюдали за ходом боя и всякий раз почтительно обращались к маленькому, полному человеку в седле, на лицо которого падала тень от большой шляпы. Его стройный конь нервно перебирал копытами. И вдруг он случайно наступил на мой горб и покачнулся. Всадник тоже покачнулся и чуть не вылетел из седла.

В этот момент пуля просвистела над головой коня. Эта пуля непременно попала бы во всадника, если бы он, покачнувшись вместе с лошадью, не отклонился в сторону.

Остальные всадники всполошились:

— Вас не ранило, сир?

Но маленький всадник, улыбнувшись, указал на меня и сказал:

— Этот камень, господа, заставил покачнуться моего коня и меня. И потому пуля пролетела мимо. Пусть этот случай вас

научит, что иногда даже немой и безвестный камень может оказать помощь и принести пользу.

Тут остальные всадники сняли шляпы и закричали:

— Да здравствует Наполеон, император Франции!

Так я узнал, чей конь случайно ступил копытом на мой горб и кто был этот человек, защитивший честь незаметного камня.

С тех пор ни один медведь не может вывести меня больше из равновесия. Я ощутил свой настоящий вес и спокойно пронесу на моем горбу все тяготы новых тысячелетий».

После этого твердокаменного признания мы с прадедушкой тайне почувствовали себя пристыженными. Ведь мы со снисходительной улыбкой согласились выслушать тетю Юлию. А теперь приходилось признать, что рассказ нам очень понравился и что это даже на редкость любопытная история памятника. Когда мы ей это сказали, она, просяив, спросила:

— А может быть, этот камень даже герой? Или нет?

— Есть герои терпения, тетя Юлия,— ответил прадедушка,— есть героические дела, которые состоят как раз в том, что не делаешь именно того, что хотелось бы сделать. Иногда героизм — удержаться от героического подвига, потому что он принесет только славу и больше ничего. Требуется мужество, чтобы не побоявшись прослыть трусом, мудро избежать бессмысленных героических действий... А не заняться ли нам сейчас сочинением стихов?

— Зандман готовит сегодня паштет!— воскликнула тетя Юлия.— Он подожжет дом с досады, если я не явлюсь к ужину!

Тетя Юлия была под башмаком у своего хозяйственного найденыша, и об этом знал весь остров.

Но у меня всегда было такое чувство, что ей и самой это нравится. На этот раз нам удалось ее успокоить — ведь у нее в доме ужинают поздно вечером, а до тех пор у нас еще много времени! В конце концов она согласилась посочинять вместе с нами, и я вытащил из-под дивана новый рулон обоев.

Однако тетя Юлия настояла на том, что лично она будет писать стихи в своей красной записной книжечке: во-первых, потому, что она так привыкла, а во-вторых, потому, что ее крошечный выдвижной карандашик вряд ли может оставить сколько-нибудь заметный след на обоях, — так, во всяком случае, она утверждала. С этим мы согласились. Пусть тетя Юлия царапает своим карандашиком в записной книжечке. Да и нам останется больше пространства на обоях!

Каждому предоставлялась полная свобода писать, что ему вздумается. Но стихи должны быть обязательно про памятник — впрочем, про какой угодно. Это было единственное условие.

Вскоре, однако, выяснилось, что не так-то просто сочинять стихи в обществе тети Юлии. Её поэтический дар был как бы сродни артистическому. Она всё время бормотала что-то себе под нос, глядела на нас, словно ища помощи и поддержки, постукивала в такт ритму по своей записной книжечке, считала на пальцах слоги и подсказывала на оттоманке, словно сидела не на чердаке, а в салоне корабля во время сильной качки. Когда я встал, чтобы подбросить угля в печку, тетя Юлия хотела было тут же затеять со мной разговор, но я, погрузившись в сочинение стихов, давал односложные ответы, и она со вздохом снова углубилась в свою красную записную книжечку.

— Первое слово, конечно, предоставим гостю, — сказал прадедушка.

И тетя Юлия, положив свой маленький выдвижной карандашик в футляр, стала читать:

Монеты с головой Нерона

Еще встречаются монеты:
На них тиран изображен
С венком, на голову надетым, —
Жестокий римлянин Нерон.

Не сотый год, не пятисотый
Ему проклятья шлёт молва:
«Летели головы без счета,
А на монете голова!»

Не объяснишь ни славой громкой,
Ни благодарностью — о нет! —
Что столько лет хранят потомки
Его портрет среди монет.

«Монета — как не прикарманить!»
Он сам виной такой судьбе:
Он сам портрет велел чеканить —
Бессмертье самому себе.

Он рассчитал, и хитро очень:
«В монетах всех переживешь!»
Его расчет и вправду точен:
Цена его бессмертью — грош!

— Отлично, тетя Юлия! — сказал прадедушка. — Просто превосходно! Ведь вы настоящая поэтесса!

— Только я еще не могу так быстро, как вы, — скромно заметила тетя Юлия.

— Да что вы, тетя Юлия! Дело ведь совсем не в быстроте! — воскликнул я. — Для поэтов быстрота не имеет значения. Сочиняй хоть полчаса, хоть полгода — это все равно. Лишь бы в конце концов получилось стоящее стихотворение.

— А ваше стихотворение, дорогая тетя Юлия, наверняка стоящее, — закончил прадедушка.

— Только вот про героев в нём ничего нет, друзья мои!

— Нет, есть, тетя Юлия! Оно показывает, что памятник во все не доказательство героизма. Верно, прадедушка?

— Да, Малый, ты прав. Теперь хорошо бы послушать твое стихотворение. А как оно называется?

— «Звонарь и полководец».

— А ну-ка прочти!

И я прочел:

Звонарь и полководец

Известный полководец занял город —
Вон памятник из бронзы над горой,
Но правда до людей дошла не скоро,
За что он был прославлен как герой.

Про этот город с сотней колоколен
Приказ гласил, как знаем мы теперь
(И полководец был собой доволен):
«Занять! И не считать людских потерь!»

Но низший чин какой-то осторожно
Сказал, два пальца к козырьку держа:
«Ворваться в данный город невозможно —
Ведь тут на колокольнях сторожа!»

Сто звонарей стоят у них на страже,
Да и к тому ж — заведено так встарь —
Оружие хранят здесь в доме каждом.
От звонарей слышал я. Сам звонарь».

«Что, что? Так здесь на каждой колокольне
Торчит, выходит, сторож день и ночь?
Ты сам звонарь? Совет подать изволь мне,
Как звонарей прогнать оттуда прочь!»

«Свой пост покинут звонари тогда лишь,—
С улыбкой хитрой отвечал звонарь,—
Когда в набатный колокол ударишь,
Им возвестив, что помер государь».

«Проклятье! Черт возьми! Так что ж, доколе
Теперь нам ждать? А вдруг он не помрет?
Построить дом мне тут прикажешь, что ли,
И засадить капустой огород?!»

«Нет, справимся мы здесь куда скорее,—
Сказал звонарь,— пошлите-ка меня,
И отвлеку на время звонарей я,
О мнимой смерти в колокол звоня.

Когда ж они за мною в честь кончины
В колокола согласно зазвонят,
Сапёры пусть во рвы кладут фашины,
И посылайте штурмовой отряд!»

Ответил полководец: «Что ж, попробуй!» —
И в город звонаря отправил он.
И вот уж колокольный звон особый
Вдали раздался. Громче, громче звон!

И город полководец взял без боя —
Ещё пылала на небе заря,—
И был он горд победой и собою...
— А что ж звонарь?
— Убили звонаря!

— Бедный звонарь! — сказала тетя Юлия, громко вздохнув. — Он был героем, а памятник поставили полководцу.

— А я вот не знаю, — задумчиво возразил прадедушка, — был ли этот звонарь героем. Он помог какому-то полководцу взять какой-то город и сам при этом погиб. И ни одна живая душа о нем не вспомнит. А что ему-то было за дело до тщеславных замыслов

этого полководца? Всё это совершенно его не касалось. В те времена знатные и богатые драли шкуру с бедных людей. Глупо, если бедняк помогал им. Умереть за неправое дело — не геройство.

Тетя Юлия с ним согласилась. Как видно, она хотела ещё поговорить о героях, но, взглянув на часы, воздержалась от этого. Теперь-то уж она непременно должна идти домой, заявила она, иначе выйдет скандал с Зандманом. А скандалов она терпеть не может.

Я проводил тетю Юлию на нижний этаж — нога моя уже не болела.

Внизу мы чуть не столкнулись с Верховной бабушкой. Неся перед собой поднос с ужином, она выходила из кухни.

— Они вам читали стихи? — спросила она тетю Юлию.

— Нет, — ответила та, — я сочиняла вместе с ними!

— Что-о?! — От удивления Верховная бабушка чуть не уронила поднос. — Вы сочиняли вместе с ними?

— Ну да, — засмеялась тетя Юлия.

— Про героев, тетя Юлия?

— Да, фрау Маргарита, про героев и про памятники.

Верховная бабушка, застывшая с подносом в руках, сама сейчас была похожа на памятник. Когда я на всякий случай взял у нее поднос, она сказала:

— Домашние хозяйки начали заражаться от поэтов. Слыханное ли дело! Жизнь — это все-таки не собрание сочинений! Жизнь — это дело серьезное!

— Но ведь и вам самой, как я слышала, приходилось сочинять стихи, — сказала тетя Юлия.

— Да, но только к празднику! — объявила Верховная бабушка. — К празднику полагаются стихи. Но будни — это будни.

— Как хорошо, что мой сын для меня готовит! — воскликнула тетя Юлия. — Я могу считать будни праздником и сочинять с поэтами! Ну, спокойной ночи!

И прежде чем возмущённая Верховная бабушка успела ей что-либо возразить, она исчезла за дверью. Поэтому бабушка набросилась на меня.

— Ну и нравы! — кричала она. — Ну и порядки! Изволь-ка сам отнести поднос на чердак! — И она поспешно удалилась на кухню.

Я с удовольствием понес на чердак наш ужин. Я очень боялся, что прадедушка не сможет сам спрятать рулон.

Но когда я вошел в каморку, обоев нигде не было видно. Только когда я сел на оттоманку и подо мной что-то зашуршало, я понял, что Старый засунул рулон под подушки. Я вынес его за

дверь, чтобы Верховной бабушке легче было его найти,— зачем лишать ее тайных радостей!

За ужином Старый сказал, что у тети Юлии несомненный поэтический дар.

— Когда меня уже не будет, Малый, упражняйся с ней в искусстве сочинения стихов.

— Да ты, прадедушка, до ста лет доживешь с твоей каталгой,— сказал я,— а до тех пор у нас еще много времени.

— Никто никогда не знает, сколько у него ещё времени, Малый. Это — скажу я тебе по секрету — и делает жизнь такой увлекательной. Ну вот я и наелся. Пора, пожалуй, на боковую. Пойдём, поддержи-ка меня немного!

Я помог прадедушке спуститься на второй этаж, и по дороге, на лестнице, он опять как бы подвел итог сегодняшнего дня:

— Про памятники мы сегодня узнали очень много, про героев мало. В мраморе и бронзе, Малый, слишком часто прославляют мнимых героев. Те, кто совершает настоящие подвиги, не заряются на славу. А памятник им — то, что люди вспоминают о них с благодарностью.

Мы дошли уже до дверей прадедушкиной спальни, и он пожелал мне спокойной ночи. И я тоже пожелал ему спокойной ночи, а потом и сам пошел спать. Я еще слышал, как кто-то прокрался на чердак, и хотя не сомневался, что это Верховная бабушка любопытствует насчет наших творений, слишком устал, чтобы подняться по лестнице и застучать ее на месте преступления.

«Я ещё ей растолкую, что мы давно уличили ее в шпионаже», — подумал я. И закрыл глаза.





Суббота.

в которую я, как мне кажется, совершаю героический подвиг, а дома тем временем царит суматоха. Речь здесь пойдет о выдержке и о многом другом. Здесь приводится рассказ, написанный Верховной бабушкой, и рассказ отшельника Гаспара Ленцера из времен завоевания Мексики, а также рассказ дяди Гарри, моряка. Итак,

СУББОТА



дивительно, что люди, которые много размышляют о героях, в конце концов начинают чувствовать непреодолимое желание перейти от размышлений к делу. Может быть, это потому, что героический подвиг (о чем говорит уже само слово) заключается в действии. Конечно, очень важно, что человек до этого думал, но еще важнее — осуществить само действие, выдержать, выстоять.

Вот и я, четырнадцатилетний «исследователь героизма», проснувшись рано утром в субботу, почувствовал непреодолимое желание совершить героический подвиг. Я решил сделать что-нибудь героическое и только потом рассказать об этом прадедушке. У меня даже был один план. Еще до завтрака я незаметно выскользнул из дому, поспешил на Виндингтрассе, где жил Джонни

Флотер, и просвистел под его окном наш старый условный сигнал — начало английской песенки: «Мой милый уплыл в океан...» (Мы очень ценили эту песенку за краткость — наших знаний английского языка как раз на нее хватало.)

По необъяснимым причинам — может быть, по случаю плохой погоды — Джонни в это утро тоже проснулся раньше обычного. Он тут же открыл створку окна и спросил:

— Ты чего? Что-нибудь случилось?

— Я хочу сегодня спуститься вниз по тросу, Джонни, — сказал я, и в горле у меня, когда я это говорил, что-то забулькало.

— Что-о-о?! В такой ветер? — крикнул Джонни.

— Вот именно из-за ветра, — храбро ответил я.

Окно захлопнулось, и через минуту Джонни, неумытый и растрепанный, стоял уже рядом со мной.

— Пошли! — сказал он. И больше ни слова. Но для меня это прозвучало так, как если бы палач сказал приговоренному: «Разрешите пригласить вас на виселицу!» Душа у меня ушла в пятки.

Между замыслом и выполнением героического подвига, как я убедился в это утро, лежит глубокая пропасть, которую необходимо преодолеть. Теперь, когда я шагал рядом с Джонни навстречу ветру, то, что я задумал, представлялось мне сущим безумием.

План мой заключался в следующем. На северной стороне острова, который в этом месте поднимался над морем метров на шестьдесят, к скале был прикреплен трос. И тот, у кого доставало на это мужества и ловкости, мог, перехватываясь, спуститься по нему на причал. Если, конечно, вообще сумеет добраться до троса. Потому что трос свисал с красной гранитной скалы метров на десять или двенадцать ниже ее вершины. Кроме того, сейчас он обледенел. Все мальчишки моего возраста мечтали о том, чтобы в самое опасное время, то есть в мороз и ветер, спуститься по тросу. Но пока ещё ни один на это не отважился.

И вот я решил первым совершить этот головокружительный спуск. Однако, когда мы с Джонни глянули со скалы вниз и я увидел, как ужасающе далеко внизу качается трос, я потерял мужество. Мне захотелось сказать, как говорил мой прадедушка: «Ставить свою жизнь на карту без всякого смысла — это ещё не героизм!» Но мне было четырнадцать лет, и меня вдохновлял героический подвиг сам по себе, даже без смысла. А кроме того, рядом со мной стоял Джонни, словно восклицательный знак в невысказанной фразе: «А вот и слабо!»

И я это сделал. Только не спрашивайте как. Я и сам теперь уже этого не знаю. Знаю только, что ни разу не отважился взглянуть вниз; что, прежде чем поставить ногу на уступ, тщательно

ощупывал его; что хватался рукой только за тот выступ, который сначала как следует проверил, и что вдруг в руках у меня очутился верхний конец троса.

Спуститься по нему оказалось делом менее трудным. Шерстяные перчатки, которые я, к счастью, надел, на морозе прилипали к железу, и мне приходилось всякий раз отрывать их силой. Но это не давало мне соскользнуть вниз и придавало какое-то ощущение уверенности. Так я спускался всё ниже и ниже, упираясь ногами в отвесную скалу, перехватывая руками обледенелый трос, пока не спрыгнул на осыпь у подножия скалы. Так называемый героический подвиг был уже позади, и я услышал, как Джонни Флотер наверху насвистывает: «Мой милый уплыл в океан...»

Я махнул ему, чтобы он тоже спускался этим путём. Но он постучал пальцем по лбу и показал с помощью рук, что мы встретимся на полпути — у лестницы, ведущей с низменной части острова на возвышенность. И я, насвистывая нашу песенку, зашагал вдоль причала, о который разбивались волны. Я испытывал невероятную гордость. Мне казалось, что я чуть ли не Геракл, волокущий за собой Цербера. И я упал с облаков на землю лишь тогда, когда Джонни, дожидавшийся меня у лестницы, сказал мне:

— На такое сумасшествие только ты один и способен! Не будь ты поэтом, наверняка бы свалился!

Это замечание совершенно меня обескуражило. Я-то считал, что из исследователя героизма, который только выдумывает героические подвиги, я теперь превратился в настоящего героя, совершающего подвиги. А этот паренек заявляет мне в лицо, что только тот, кто сочиняет небывлицы, и способен на такие дурацкие выходки. Нет, это уже верх наглости.

— А ты попробуй спустись! — только и ответил я Джонни. И, перескакивая через ступеньки, стал поспешно подниматься по лестнице — скорее, скорее наверх, на гору, на Трафальгарштрассе, рассказать обо всем прадедушке. От волнения я даже не заметил, что впервые после того, как мне вскрыли нарыв, могу бежать бегом.

В доме царила суматоха, и сразу по двум причинам, так что моё отсутствие за завтраком прошло почти незамеченным. В нижнем этаже дома суетилась Верховная бабушка. Прошел слух, что наш катер возвращается из Гамбурга. Ян Янсен утверждал, что еле заметная точка на горизонте — это и есть наш «Островитянин». Поэтому я, стараясь не попадаться на глаза бабушке, взял себе на кухне бутерброд с колбасой и поспешно удалился на чердак к прадедушке.

Но и Старый был вне себя от волнения, правда совсем по иной причине. Он размахивал рулоном обоев — нарисованные на нем лиловые розы никогда ещё так не бросались мне в глаза — и кричал:

— Мир перевернулся, Малыш! Я вообще больше ничего не понимаю! Твоя Верховная бабушка пишет рассказы на оборотной стороне обоев! Ну, что ты скажешь?

Сначала я вообще ничего не сказал, но мои собственные переживания по поводу Джонни Флотера и троса как-то поблекли. Потом я спокойно спросил:

— А почему, собственно, Верховная бабушка не может написать рассказа на обоях, прадедушка?

— Почему, Малыш? — возмущенно крикнул Старый. — Потому что это значило бы, что мир трещит по швам. Когда мы, поэты, портиим обои своими стихами, мы делаем это на свой страх и риск. Это, так сказать, наше поэтическое сумасбродство. Но Верховные бабушки, которые призваны заботиться о благопристойности и порядке, обязаны протестовать против такого использования обоев! Это их прямая обязанность, Малыш! А иначе кто же будет поддерживать порядок? Уж не мы ли, поэты? Этого ещё не хватало!

Старый с трудом перевел дух, и я сказал, стараясь его успокоить:

— Верховная бабушка ведь давно уже знает, что мы исписываем её обои, прадедушка, а все не заявляет протеста!

— Но я-то думал, Малыш, что она терпит это с крайним неодобрением. Мне и в голову не приходило, что она станет нашей соучастницей. Нет, это никуда не годится. Должен же хоть один человек в доме придерживаться каких-то правил. До чего мы докатимся, если домашние хозяйки станут подражать поэтам? Куда мы полетим?

— В бездну, прадедушка!

— Вот именно, Малыш! Случай с обоями требует разъяснения, иначе я отказываюсь понимать, что происходит.

Обои, исписанные Верховной бабушкой, настолько разволновали Старого, что я попробовал успокоить его, высказав одно предположение. Должно быть, обои, сложенные здесь, на чердаке, отвергнуты бабушкой и вовсе не предназначены для столовой, как мы думали раньше.

— Исписывать забракованные обои, — сказал я, — вовсе не противоречит правилам.

Это замечание неожиданно успокоило прадедушку. Он сказал почти весело:

— Художник Зингер (между прочим, его дочка Кармен тоже сочиняет стихи!) приносил вчера альбом с образцами обоев. А зачем может понадобиться такой альбом?

— Чтобы выбрать новые обои, прадедушка!

— Вот именно, Малый. Мне даже кажется... — Старый сказал это чуть ли не с блаженной улыбкой, — мне кажется, что ты прав и что здесь, на чердаке, лежат забракованные обои. — И с торжествующим видом он закончил: — Приличие и порядок восстановлены на Трафальгарштрассе! Так разреши же прочесть тебе рассказ, который написала твоя Верховная бабушка на забракованных обоях.

Он с удовлетворением развернул на столе рулон с фиолетовыми розами и начал читать:

РАССКАЗ ПРО ЖЕЛЕЗНОГО ЩЕЛКУНА



вечером, прежде чем пойти спать, хорошая хозяйка всегда окидывает взглядом комнату.

Дети уже лежали в постели, а отец был в гостях у соседей. Подметая, мать нашла на полу несколько закатившихся орехов и бросила их в выдвижной ящик стола. Потом она положила туда же щипцы для орехов — старого железного Щелкуна и, задвинув ящик, вышла из комнаты.

— Вот и еще один день прошел, — со вздохом облегчения сказала она, закрывая за собой дверь.

В комнате стало тихо, в ящике тоже. Старый Щелкун отдыхал от своей утомительной деятельности, орехи клевали носом. В самом дальнем углу ящика лежал крупный орех Грека, конечно грецкий. А рядом, подкатившись к нему под бок, орех поменьше, Креха. Были они с одной ветки, а значит, братья.

— Ну и вечер выдался, — пробормотал Грека, — чуть не раскололи! В последнюю минуту кое-как откатился в сторону!

— Вот меня расколоть не так-то просто! — похвастал Креха. — Я крепкий орешек! Мал да удал! Наверняка меня съедят в последнюю очередь.

Но тут они оба умолкли. Все орехи испуганно прислушались.

— Что это там за скрип? — спросил лесной орешек по имени Мышонок.

— Щелкунице скрежещет зубами, — ответил Лягушонок, его двоюродный брат с соседней ветки.

Орехи снова прислушались.

И скрип повторился. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений — Щелкун точил зубы. Он разевал железную пасть, с лязгом захлопывал ее и бормотал себе под нос:

— В полночь, если только буду жив, расщёлкаю все орехи в этом ящичке. Сотру в порошок!.. У-у-ух, как зубы чешутся!

Нетрудно себе представить, как тряслись орехи, слушая эти речи. Было уже без десяти двенадцать. Еще десять минут — и Щелкунице, это страшилище, всех их расколет!

Испуганно прислушивались они к тиканью часов, стоящих в углу. Мышонок и Лягушонок шмыгали носом.

Только орех Грека, как всегда, не поддавался панике. Он спокойно обдумывал, как спастись от Щелкуна. И вот ему пришла в голову счастливая мысль.

— Братья, родственники и друзья — лесные орехи! — проговорил он вполголоса. — У меня есть одна идея. Ну-ка, подкатывайтесь поближе! А то как бы нас не услышал железный скрипун!

Орехи покатались в тот угол, где лежал орех Грека. Каждый торопился, как мог. До двенадцати оставалось всего две минуты.

И орех Грека объяснил всем собравшимся в этом углу свой план.

— Когда пробьёт двенадцать, — сказал он, — мы все вместе с разбегу подкатимся к передней стенке ящичка, и ящик откроется!..

Орехи ликовали и подпрыгивали.

— Блестящая идея! — шуршали они на все лады.

Но орех Грека остановил их:

— Тише! Выслушайте меня сначала! Когда ящик откроется, мы все выпрыгнем на пол, раскатимся по всем уголкам и закоулкам и притаимся. Понятно?

— Да-а-а-а! — прокатилось по ящичку. И лесные, и грецкие орехи откатывались назад, чтобы взять разбег.

Щелкун ничего этого не слышал. Он был стар и туговат на ухо, как многие старики. В ожидании, когда пробьёт двенадцать, он скрежетал и время от времени щелкал зубами.

И вот до двенадцати осталось всего четыре секунды. Три секунды, две секунды, одна — и раздался бой часов, стоящих в углу.

— Так-с, — проскрипел Щелкун, — сейчас я им покажу! — И раскрыл свою железную пасть.

Но вдруг что-то с тарактеньем и грохотом покатилося, полетело кувырком, сразу со всех сторон, рядом с ним и прямо через него — он и понять не мог, что тут творится. Когда же он снова пришёл в себя и стал растерянно озираться по сторонам, то увидел, что остался совсем один в ящичке. Орехи, попрыгав на пол,

скакали по комнате, выбирая уголки и закоулки для прятков, да еще выкрикивали хором дразнилку:

Эй, Щелкун,
Железный скрипун,
Иди-ка! Ищи-ка!
А ну-ка раскуси-ка!

Наконец все орехи попрятались — кто под диван, кто под шкаф, кто в часы, кто в вазу, кто в цветочный горшок, кто в стакан, — и снова наступила тишина.

— Проклятый сброд! — проскрипел Щелкун. — И куда они все подевались? А какая темнота! Хоть глаз выколи! Постойте, уж я до вас доберусь! Уж я вас расцелкаю! Клянусь моей железной челюстью!

И, расставив свои нестигаемые железные ноги, он прыгнул вниз, на пол, и зашагал железной поступью к дивану.

Мышонок и Лягушонок, лесные орешки, притаившиеся под диваном в самом темном уголке, думали, что сердце у них вот-вот выскочит из скорлупки.

— Идет! — шепнул Мышонок.

— Слышу! — шепнул Лягушонок.

И они откатились как можно дальше.

Разъяренный Щелкун зашагал было на своих нестигаемых железных ногах вслед за ними — да разве их поймаешь!

Шагая мимо часов, стоящих в углу, он вдруг споткнулся о грецкий орех Греку, но тот тут же скакнул в деревянный домик, где жили часы.

— Попался! — рявкнул Щелкуннице и, погнавшись за Грекой, прыгнул с разбегу прямо в часы.

Зазвенело стекло. Часы от страха громко пробили два раза... Но орех Грека успел уже выкатиться из деревянного домика. Зато железному скрипуну здорово досталось от маятника! Раз-два, раз-два, раз-два — удары так и сыпались!

Завывая от злости, Щелкун то вставал, то падал, опять вставал и снова падал — удары так и сыпались! Наконец ему кое-как удалось выбраться из часов. С гудящей головой он еле-еле доплелся до ковра и, упав на него, растянулся без сил.

Вот уж обрадовались орехи! Вот уж хохотали и тархтели! И даже снова запели хором свою дразнилку:

Эй, Щелкун
Голова-чугун,
Поди-ка найди-ка!
А ну-ка раскуси-ка!

И тут железного Щелкуна охватило такое бешенство, что он начал кидаться из стороны в сторону: то под шкаф, то под стол, то на швейную машину, то на окно, — везде ему чудилось перекачивание и похихатывание.

Но, погнавшись за Грекой по подоконнику открытого окна, он вдруг оступился, подпрыгнул и кувырнулся вниз головой прямо в сад.

— Падаю! — только и успел он еще крикнуть, неизвестно зачем. И исчез.

Орехи от радости так и заскакали по комнате! Но тут часы пробили один раз. Час, когда все вещи оживают, прошел. Катающаяся взад и вперед по комнате веселая компания снова превратилась в орехи, разбросанные по полу.

Как раз в эту минуту отец возвратился домой от соседей.

— Вот как? — удивился он, остановившись на пороге. — Ящик открыт, орехи на полу?

И, собрав орехи, бросил их в ящик — он был большой любитель порядка. Но тут он увидел дыру в стеклянной дверце часов и, пробормотав что-то насчет озорников, которым давно пора надрать уши, зевнул и вышел из комнаты.

Орехи опять собрались все вместе в темном ящике стола. Они медленно раскатывались по своим углам, позевывая и желая друг другу спокойной ночи. И наконец притихли и уснули.

Только старый Щелкун не мог уснуть в эту ночь. Он лежал в саду на холодной земле и скрипел:

— В такой сырости навернякахватишь ржавматизм! Вот в левой ноге уже начинается! Эх, лежал бы я лучше спокойно в темном ящике!

Потом началась гроза — дождь хлестал и барабанил по крыше, ветер выл и свистел. Через несколько дней Щелкун совсем заржавел, зубы его притупились, и когда отец нашёл его под окном, ему пришлось выбросить ржавого скрипуна в помойку. Он и теперь ещё там лежит и скрипит с утра до вечера, что ржавматизм совсем его замучил.

Прадедушка свернул в трубку обои с лиловыми розами, а я сказал:

— Вот так герои у Верховной бабушки — орехи, одурачившие старого Щелкуна! Тогда уж я герой из героев!

— Ты? — удивился Старый. — Как так? Какие же героические подвиги ты совершил?

Наконец-то я мог рассказать ему о моем героическом подвиге! Я описывал, как спускался вниз со скалы по обледенелому

тросу, но почему-то уже не с тем вдохновением и подъемом, который чувствовал там, на берегу моря, а, скорее, деловито; и все-таки так, что мой рассказ, как мне казалось, должен был произвести впечатление.

Но я ошибся. Выслушав его до конца, прадедушка чуть ли не разозлился.

— Может быть, Малый, — сказал он, — благодаря этому ка-
рабканью ты и приобрел кой-какой жизненный опыт. По край-
ней мере, на собственной шкуре испытал, как велика пропасть
между благим намерением и самим делом. Но, — и теперь он ска-
зал как раз то, чего я ждал все время, — но ставить свою жизнь на
 карту без всякого смысла — это ещё не значит быть героем! Верь
не верь, Малый, а орех Грека куда больше похож на героя, чем
ты! Скольким орехам продлил он короткий век своей смелой вы-
думкой и присутствием духа!

Я вздохнул и признался, что Джонни Флотер тоже не счита-
ет мой подвиг геройством. Говорит, что это просто поэтическое
сумасбродство.

С этим прадедушка тут же согласился.

— Не такой уж мудрец твой Джонни Флотер, — сказал он, —
но, когда дойдет до дела, он, может, еще окажется куда нужнее,
чем мы оба, вместе взятые. Вот как оно бывает с мужеством и ге-
ройством!

Я недолго предавался унынию — на чердаке, к нашему уди-
влению, вдруг появился сам Джонни Флотер.

— Ваш катер подходит, — сказал он. — Можно, я разнесу на-
кладные? Вы ведь небось сочинять будете?

Я великодушно разрешил ему это, хотя и знал, что теряю не-
мало.

Он хотел было тут же броситься к двери, но прадедушка
окликнул его:

— Скажи-ка, Джонни, почему ты все-таки не удержал Мало-
го? А если бы он сорвался, разбился...

Джонни побледнел и пробормотал, запинаясь:

— Я... я... я и сам не верил, что Малый станет спускаться.
Я, наверно, сам ещё больше его передрейфил. Когда он спрыгнул
на землю, у меня гора с плечей свалилась.

— С плеч, Джонни, — поправил Старый.

— Чего?

— Надо говорить «с плеч свалилась», Джонни, а не «с пле-
чей»!

— А-а-а! Извиняюсь! Ну ладно, я пошел!

Явно смущенный, Джонни снова направился к двери, и, ко-
гда дверь за ним затворилась, прадедушка сказал:

Когда мы прибыли в Чолулу, старейшины города встретили нас со всевозможными почестями и, по велению верховного жреца, разместили в храме и его подсобных помещениях, окружающих большой мощеный двор. Многие жители города покинули его пределы. Мы знали по опыту, что это плохой знак. Но никаких точных сведений о коварных планах населения у нас не было. Это было мне достоверно известно потому, что один из приближенных Кортеса, пользовавшихся его доверием, был моим другом. Он рассказал мне, что слухи о тайном нападении, якобы замышляемом индейцами, не подтвердил ни один из наших разведчиков.

Поэтому я был очень удивлен, когда на следующий день у нас в лагере был отдан приказ проверить оружие: копья, мечи, аркебузы — и находиться в полной боевой готовности.

По счастливому случаю я остался наблюдателем и не стал участником страшной резни. Мне было приказано держаться поблизости от генерала Кортеса и выполнять обязанности связного. Кортес стоял на крыше храма и смотрел вниз во двор, где собралась огромная толпа местных жителей в ожидании его приказа. По свидетельству самого Кортеса, их было две тысячи. Почтенный летописец Лас Касас говорит, однако, о пяти-шести тысячах, и я более склонен верить ему. Ибо когда я глянул вниз, то увидел необозримое море голов: люди с мешками за спиной, в которых находился скудный запас провизии, стояли или сидели на земле, скрестив ноги, и, ничего не подозревая, беседовали друг с другом.

Очевидно предполагая, что их позвали сюда для переноса каких-то тяжестей, они пришли без всякого оружия, некоторые даже полуголые. Это было мирное зрелище, а отсюда, с крыши, тем более мирное, потому что, переводя взгляд с толпы на город, я видел его прекрасные строения и многочисленные башни, а дальше, за ними, кукурузные поля и бесконечные вишневые сады, залитые солнцем.

Меня бросило в дрожь, когда внезапно раздался пушечный выстрел и наши солдаты начали стрелять с крыши в толпу индейцев, собравшихся перед храмом. Сотни из них умирали с открытым ртом, словно не в силах поверить в то, что произошло. Уцелевшие стали кричать, молить о пощаде. Я в ужасе смотрел на Кортеса, стоявшего на краю крыши и глядевшего вниз, во двор, с таким выражением, будто он наблюдает за игрой в шахматы.

Но самое худшее было впереди. Когда замолчали аркебузы, наши солдаты ворвались во двор с ножами и мечами и принялись колоть и рубить безоружных индейцев, оставшихся в живых.

— Смешной народ люди, Малый! И все-таки ничего нет на свете интереснее людей.

Потом мы с ним решили разобраться в том, какую роль в героическом подвиге играют выдержка и упорство. И написать об этом.

— Гляди-ка, Малый,— сказал прадедушка,— мы с тобой перебрали немало всяких качеств, которые отличают героев; но только на примере клоуна Пепе поняли, сколько выдержки и терпения требует настоящий героический поступок. А легко ли было маленьким орешкам час битый увертываться от Щелкуна, гонявшегося за ними с раскрытой пастью! Или, уж так и быть, возьмем хоть этот твой дурацкий трос. Как долго пришлось тебе спускаться вниз, с трудом перехватывая его руками! Если уж это поступок героический, то главное в нем — выдержка. Понятно?

— Конечно, понятно,— не без гордости ответил я.— Ведь это я сам выдержал.

— Скажи, пожалуйста, этот пострел еще и задается! — вздохнул прадедушка. Потом задумался и сказал: — Я помню одну историю про выдержку, Малый. Действие происходит в давние времена в Мексике. Ты знаешь что-нибудь о завоевании Мексики?

— Знаю, что оно продолжалось с 1519 по 1521 год, прадедушка, и что это была одна из самых кровавых войн во всей мировой истории.

— Верно, Малый. А один из самых кровавых дней в этой войне — резня при Чолуле. Описал ее некий Гаспар Ленцера, ставший потом отшельником. Я буду рассказывать тебе все так, будто я сам и есть этот отшельник и диктую мой рассказ, а кто-то его записывает. Ну, слушай!

Медленно и задумчиво, осторожно подбирая слова, прадедушка начал свое повествование:

РАССКАЗ ГАСПАРА ЛЕНЦЕРО



овут меня Гаспар Ленцера. Я живу отшельником в самой дикой и пустынной части Мексики, где растут только кактусы. Плоды оунии — моя единственная пища. Жилищем мне служит пенцера. Я хочу моей жизнью искупить хотя бы малую часть того зла, которое причинили индейцам мои земляки, пришедшие сюда под предводительством полководца Кортеса¹. Я хочу повесть о том, что произошло в городе Чолуле, чтобы весть об этом дошла до потомков.

¹ Кортес Эрнан (Фернандо) — испанский конкистадор, завоеватель Мексики. Испанские завоеватели во главе с Кортесом истребляли и грабили коренное индейское население.

Зрелище это было настолько страшным, что я отвел глаза и снова уставился на Кортеса.

Широкое лицо его с низким лбом потемнело, ноздри раздувались, губы были плотно сжаты, кожаный жилет расстегнут — ему не хватало воздуха.

Там, внизу, по его приказу убивали и убивали людей. Испанцы, не зная пощады, орудовали во дворе, залитом кровью. Стоило раненому индейцу выбраться из-под горы трупов, как он тут же погибал от удара ножа. Предсмертные крики и стоны оглашали воздух.

Вдруг в пустых глазах Кортеса блеснуло любопытство. Я невольно последовал за его взглядом и увидел, что один из наших солдат, молодой парень из Кастилии, по имени Энрико де Кастильо Бетанкор, бросив свой меч, крепко обхватил обеими руками молодого индейца, как бы стараясь его защитить. И в ту же минуту я услышал, как он крикнул, обращаясь к полководцу:

— Он спас мне жизнь! Пощадите его!

Оба юноши, не отрывая взгляда, смотрели вверх, на крышу, а наши солдаты, как это ни странно, словно сговорившись, обходили их стороной, то ли оробев перед такой силой сопротивления, то ли поверив, что Кортес на этот раз дарует индейцу жизнь.

Кортес и глазом не моргнул, услышав крик кастильца. Он только спросил сквозь зубы:

— Как его зовут?

Я поторопился назвать имя молодого солдата и подтвердить, что этот индеец действительно спас ему жизнь. Я довольно хорошо знал их обоих. Энрико де Кастильо Бетанкор, худой, стройный юноша с кудрявыми каштановыми волосами, не раз заводил со мной разговор о религии и высказывал чудовищную мысль, что надо отказаться от бога и вообще от всех божеств, потому что в истории человечества бесконечная цепь кровавых преступлений совершалась во имя богов. Я снова и снова старался объяснить ему, что бог не повинен в мерзостях, творимых во имя него людьми. Но мне ни разу не удалось убедить его в этом. Я знал также, что он вел подобные разговоры и с молодым индейцем, которого сейчас прикрывал своим телом, стараясь спасти от смерти. Мне казалось даже, что я вижу на лицах обоих юношей, стоящих там, внизу, свет убежденности в своей правоте — словно чудовищное кровопролитие перед храмом лишь подтверждало их кощунственные мысли.

Кортес, выслушав мое объяснение, не проронил ни слова. Он опять уже внимательно следил за резней во дворе, негромко напевая, и не обращал никакого внимания на молодого испанца и его подзащитного.

Я же не мог теперь отвести от них взгляда. Я заметил, что несколько индейцев незаметно пытаются пробраться к ним поближе, словно эти двое — маяк во время бури, но, не успев приблизиться, погибают от удара меча или ножа. Каждую секунду я ждал, что кудрявый Энрико де Кастильо упадет, сраженный, на землю, увлекая за собой молодого индейца с миндалевидными глазами; но оба они продолжали стоять прямо, а смерть вокруг них косила и косила все, что попадалось ей на пути. Небольшой мешок на спине индейца подымался и опускался в такт его тяжелому дыханию.

Один раз — у меня захватило дух, когда я это увидел, — наш офицер попробовал оттащить Энрико от индейца и нанести тому удар кинжалом. Но Энрико крикнул:

— Кортес!

Это прозвучало почти как приказ.

Услышав крик, генерал нахмурился и бросил быстрый взгляд на молодого испанца.

Офицер, заметив это, опустил руку с занесенным кинжалом.

Меня прошиб холодный пот. В эту минуту я дал обет, что стану отшельником, чтобы искупить вину моих земляков, если господь бог защитит этих юношей. Меня бросило в дрожь, когда я заметил, что больше ни одного индейца не осталось в живых. Я молил бога, чтобы он явил свое милосердие и пощадил этих молодых людей, на которых он, может быть, и имел причину гневаться. В это мгновение вооруженный испанец приблизился к ним вплотную, но вдруг отшатнулся и обошел их стороной. Я не мог понять, как у Энрико хватает выдержки.

Наконец, когда вся земля перед храмом была устлана трупами индейцев, кое-кто из наших солдат стал кричать Энрико, что если он не отойдет сейчас в сторону, то заплатит жизнью.

Энрико достаточно было отступить на полшага, чтобы оказаться вне смертельной опасности — вокруг него собиралось с угрозами все больше и больше испанцев. Но он не отступал. Как только кто-нибудь направлял нож против индейца, он заслонял его своим телом. К недоумению испанцев, он стоял один против всех, и его сосредоточенное лицо выражало решимость скорее погибнуть от руки своих, чем предать своего спасителя.

И тут Кортес подал небрежный знак, чтобы обоих доставили к нему на крышу.

Я немало пережил и повидал за годы завоевания Мексики. Мне хорошо известно, какое зло может причинить человек человеку. Я был свидетелем того, как испанцев приносили в жертву языческим богам. Я знаю, какие преступления свершались во имя христианского бога. И я понимаю, что человек, видевший это

кровапролитие, мог проклясть богов. Но мне до конца дней моих не забыть этого солнечного летнего дня на крыше храма в Чолуле. Не забыть, как привели к Кортесу этих двоих людей, оставшихся в живых. Не забыть его страшного допроса.

Оба они были забрызганы кровью убитых и тяжело дышали. Они стояли рядом, примерно одного роста, один кудрявый, другой с высоко подвязанными черными волосами. Молодой кастилец говорил за двоих, потому что индеец не знал испанского. Он точно и подробно отвечал Кортесу на все его вопросы — о происхождении, имени, жизненном пути, иногда обмениваясь со своим товарищем короткими репликами на его языке. Ни одного горького слова не сорвалось с его уст. Я заметил, что его спокойствие вызывает невольное уважение даже у приближенных Кортеса.

Однако чем спокойнее он отвечал, тем больше его ответы раздражали генерала.

— Что заставило вас, испанца и христианина, спасти жизнь этому человеку? — резко спросил он.

— Чувство благодарности, господин генерал! Когда меня собирались убить за то, что я христианин, когда у меня, живого, хотели вырвать сердце из груди, этот парень крикнул, что я отказался от христианского бога и поклоняюсь богам Мексики. Это была ложь, господин генерал, но она спасла мне жизнь. Я не отрицал ее.

— Так вот оно что! — вскрикнул Кортес, словно уличив молодого человека в смертном грехе. — Значит, вы отреклись от господ бога, чтобы спасти свою жалкую жизнь, Энрико де Кастильо Бетанкор?

— Что же это за бог, если он допускает такое? — отвечал кастилец, указывая рукой на двор перед храмом, где несколько испанских солдат, стоя, как палачи, среди окровавленных трупов, с любопытством прислушивались к тому, что происходит на крыше.

Приближенные Кортеса переглянулись. Вопрос молодого человека, произнесенный спокойным голосом, звучал неслыханным обвинением против самого Кортеса. Мертвые, на которых указывал рукой Энрико, были словно молчаливыми свидетелями его правоты.

Но Кортес сделал вид, что не понял обвинения. Он произнес сквозь зубы:

— Спросите индейца, почему он разрешил вам, христианину, спасти его.

Кастилец перевел вопрос, а затем ответ индейца. Ответ был прост:

— Потому что мне дорога жизнь.

— Кто ценит свою жизнь выше, чем господа бога, — воскликнул Кортес, — во имя чего он жаждет жить? Во имя какого бога? Во имя какой жизни?

— Во имя жизни без богов — человеческой жизни, господин генерал.

— И ваш спаситель тоже согласен с этим безумием, кастилец?

— Конечно, господин генерал.

И молодой испанец невольно взял индейца за руку.

— Ну вот, — сказал Кортес и вдруг рассмеялся, — теперь вы попались в ловушку, богохульники! Убирайтесь отсюда и не надейтесь на мою защиту. Живите без богов. Я объявляю вас вне закона. Никто вас не защитит. Ни один испанец, ни один индеец. С этой минуты вы добыча для тех и для других. Попробуйте выживите, если сумеете!

Тогда испанец сказал что-то по-индейски своему другу, и оба они, сопровождаемые смехом Кортеса, стали спускаться с крыши. Никто не тронул их, объявленных вне закона. Известно, что им удалось выбраться из Чолулы. Но больше о них никто никогда ничего не слышал.

Я же, памятуя о моем обете, подал генералу Кортесу прошение об отставке, которую он мне тут же и дал, не допытываясь о причинах.

Рассказ прадедушки захватил меня и очень взволновал. Перед глазами у меня стояла картина: молодой испанец и молодой индеец идут все дальше и дальше по кукурузным полям, по разрушенной войной стране, бездомные, нигде не находя пристанища. Я боялся услышать развязку этой истории.

Но Старый, словно догадавшись об этом, ничего больше не сказал. Только позднее, когда мы уже спустились вниз, потому что вернулись из плавания наши моряки, только после того, как дядя Яспер рассказал про шторм, а Верховная бабушка, то ужасаясь, то восхищаясь, выслушала, как ловко они справлялись с катером в бурном море, — прадедушка шепнул мне:

— Пусть их, гордятся своими подвигами. Мы знаем иных героев. Тех презирали. И все равно это были подлинные герои.

Как ни странно, ни торжественный обед, ни рассказы дяди Гарри и дяди Яспера не могли отвлечь мои мысли от мексиканской трагедии. Только когда Джонни Флотер снова зашел к нам за накладными, мне удалось ненадолго забыть о ней, и я даже согла-

силса прогуляться с ним по берегу до причала — все равно прадедушка собирался прилечь на часок-другой.

Джонни упрекал меня за то, что я рассказал прадедушке про трос.

— О таких делах, — сказал он мне, — взрослым знать нечего, Малый. Они все понимают наоборот.

— Да ведь прадедушка точно так же, как ты, считает это просто сумасбродством. У вас с ним одно мнение.

— Ну да, твой прадедушка!.. — Джонни пожал плечами, показывая, что отводит Старому какое-то особое место среди взрослых, и это сразу расположило меня в его пользу.

Спускаясь по лестнице, я рассказал ему мексиканскую историю, и, к моему удивлению, она ему необычайно понравилась. Он даже сознался, что сам никогда бы не смог пойти на то, на что отважился этот испанец.

— Знаешь, — сказал он, — смелости у меня на это, может, и хватило бы, но как-то чересчур уж чудно мне показалось бы защищать этого мексиканца. Представляешь, ты сам испанский солдат — и вдруг ты один против всех испанцев. Человек как-то приывает знать, с кем он и откуда...

Это замечание Джонни помогло мне увидеть подвиг Энрико де Кастильо Бетанкора в новом свете. Я вдруг понял, что, спасая жизнь мексиканцу, этот юноша расставался со всем, что составляло его собственный мир, — с богом и с людьми. И я задумался о героях, которым хватает мужества противопоставить себя толпе, стать изгнанниками. Мысли так и роились у меня в голове, и на причале Джонни опять стал жаловаться, что он говорит, говорит, а я ничего не слышу.

Но тут мы, к счастью, повстречали Низинную бабушку и Низинного дедушку, которые прогуливались по причалу, как всегда в субботу после обеда. Они стали расспрашивать меня, как чувствует себя прадедушка, и я сказал им, что он держится молодцом. Потом они пригласили нас с Джонни к себе пить кофе с пирогами.

Теперь я иногда удивляюсь, как это я тогда на нашем острове выпивал столько кофе и поедая столько пирогов да и разных других сладостей и не растолстел, как бочка. Может быть, этому помешал соленый воздух или то, что летом я раз по десять на день прыгал в море. Во всяком случае, тогда, в четырнадцать лет, я был худой как щепка.

Вечная проблема — как отделаться от Джонни и пойти сочинять стихи — на этот раз решила сама собой: Джонни был приглашен к кому-то на день рождения, где, как видно, надеялся отвесить не менее вкусного пирога. Поэтому я, поблагодарив ба-

бушку с дедушкой, тут же поднялся по лестнице на верхнюю часть острова и, не теряя времени, отправился на чердак, в каморку прадедушки. Он уже сидел здесь в своей каталке и, развернув очередной рулон обоев, что-то писал на его оборотной стороне.

— Что ты сочиняешь? — спросил я.

— Конечно, балладу, Малый. Только сейчас начал. Может, присоединишься?

— Какая, значит, у нас сегодня тема, прадедушка?

— Выстоять, Малый, выдержать, сжав зубы. Я сейчас перелагаю на стихи еще одно приключение Геракла — в черной тетрадке его нет. Может, и ты напишешь балладу о выдержке?

— Попробую, прадедушка.

Я снял свитер — в нем было слишком жарко в натопленной каморке. — взял приготовленный на столе карандаш и написал на самой середине развернутого рулона: «ГЕНРИХ-ДЕРЖИСЬ! БАЛЛАДА». У меня еще не было ни малейшего представления о том, кто такой этот «Генрих-Держись», но, написав его имя, я с каждой минутой представлял себе его все отчетливей, а потом и в самом деле стал сочинять балладу и закончил ее даже раньше, чем прадедушка свою.

Когда и Старый кончил писать, он спросил:

— Ты ведь сперва придумал название, а уж потом написал балладу, правда?

Я кивнул.

— Говорят, это обычный прием многих сочинителей. А ну-ка, прочти! Посмотрим, как ты справился с задачей, которую сам себе задал.

И я прочел:

Генрих-Держись!

Баллада

Слышал я когда-то:
У речки ребята
Возились с коварным песком.
Копали, пыхтели,
И вглубь по туннелю
Они пробирались ползком.

Последним, десятым,
Вполз Генрих — ребятам
Вообще-то не нравился он:

Не первый, не главный,
Худой и забавный,
Был Генрих довольно смешон.

И только он скрылся,
Песок заструился,
Но Генрих его удержал:
— Обвал надо мною!
Держу я спиною!
Обратно, ребята! Обвал!

Они рассмеялись,
Они не боялись,
Подумали: «Шутит, трепло!»
— Ну, что же вы, черти!
Спасайтесь от смерти!
Скорее! Держать тяжело!

И вот, от испуга
Толкая друг друга,
Ползут, отгребая песок...
— Давайте, давайте!
Вот тут пролезайте!
Вот тут — у меня между ног!

Выходят ребята —
Четвертый и пятый —
Из мрака — вот солнце и жизнь!
А те, что в туннеле,
Дыша еле-еле,
Все просят: — Эй, Генрих, держись!

Но после восьмого
Обрушился снова
Песчаного свода кусок.
И кончились силы,
И с ног его сбило,
И рухнул над ними песок.

Копали, копали,
Песок разгребали
Поспешно товарищи их
Лопатой, доскою
И просто рукою...
Пока не отрыли двоих.

И Генрих в постели
Почти три недели
Лежал с переломом ноги,
И все ребятишки
Несли ему книжки,
А мамы пекли пироги.

В бинтах он и в гипсе...
Но ты бы ошибся,
Подумав: «Пропащая жизнь!»
Ведь он поправлялся,
И он улыбался,
Теперь он был Генрих-Держись!

Прадедушка, выслушав балладу, сперва помолчал. Потом он сказал:

— Что ж, ты справился, Малый. Вот у нас и еще один герой. И этот юный герой совершил куда более серьезный подвиг, чем ты на своем тресе. Никакого героического замысла у него не было, но он проявил исключительную выдержку и спас жизнь своим друзьям. Это хорошая баллада, Малый.

— Спасибо, прадедушка. А теперь ты прочтешь мне про подвиг Геракла?

— Да, Малый.

Он, как всегда, повертел в руках очки, как всегда, откашлялся и начал читать:

Баллада про Геракла и лань

Геракл был смел и полон сил
И, как гласит преданье,
Геройский подвиг совершил,
Великое деянье.

Пришлось Гераклу как-то раз
По царскому желанью
Гоняться за... (таков приказ!)
Дианиною ланью¹.

¹ Диана — в римской мифологии богиня охоты, покровительница диких зверей. Ее священным животным считалась лань.

Герой вначале не учел
Все трудности задачи:
Ведь ланям горы нипочем,
Ведь лани быстро скачут.

Он просто взял да поднажал,
Не испросив совета,
Бежал, бежал, бежал, бежал —
И обежал полсвета.

Не давши отдыха ногам,
Он с гор спускался в доли,
Бежал по лесу, по лугам
Зеленым и веселым.

«Эй, лань!» — кричал он на бегу,
А лань все уходила.
Но ночью раз на берегу
Вдруг сном ее сморило.

И тут Геракл ее словил,
Без выстрела, без боя,
И в край, где Еврисфей царил,
Повел ее с собою.

Он был настойчив, терпелив
И дал пример бесспорный,
Что побеждают, проявив
Характер сверхунорный.

Когда прадедушка кончил читать, я сказал:

— Выходит, прадедушка, нет такой героической черты, какую нельзя было бы найти у Геракла. Похоже, он и в самом деле был первый во всем. Но разве его последователи менее доблестные герои? Неистовый кондитер, клоун Пепе и Энрико из Мексики мне даже как-то ближе.

— Мне тоже, Малый, — улыбнулся прадедушка. — Даже твой Генрих-Держись мне куда ближе, чем Геракл. Но ведь так и должно быть, Малый! Герой, которому воздвигли памятник из звезд, навсегда останется таким же простым, великим и далеким, как звезды. Это образец. Другие — люди.

Но тут я рассмеялся, потому что и на этот раз, как только мы заговорили о Геракле, нас прервали — пришел дядя Яспер звать нас вниз, ужинать.

Когда слишком много жуешь, можно и устать. А в те дни, когда приходил наш катер, у Верховной бабушки жевали целый день. Вот почему в этот субботний вечер мы все довольно рано расстались друг с другом и разошлись по своим комнатам. Даже дядя Гарри, обычно ложившийся за полночь, поднялся сегодня вместе со мной в нашу с ним спальню. Правда, мне пришлось еще рассказать ему со всеми подробностями, о чем мы сегодня сочиняли с прадедушкой.

Это до того его заинтересовало, что он под конец даже спросил меня, очень ли я устал и могу ли выслушать перед сном еще одну историю. Историю про выдержку и силу воли, свидетелем которой был он сам.

— Ну, хочешь ее послушать, Малый?

Конечно, я хотел — ведь он еще ни разу в жизни не рассказал мне ни одной истории. Мне даже показалось, что я совсем не так уж устал.

И, устроившись поудобнее в теплой постели, я стал слушать.

РАССКАЗ ДЯДИ ГАРРИ, МОРЯКА



от, кто в мои времена, году этак в 1910, хотел наняться матросом на корабль, оказывался в затруднительном положении: на эту работу находилось больше желающих, чем было нужно. Кроме того, владельцы судов охотнее брали на службу в судовую команду сразу нескольких моряков, хорошо сработавшихся друг с другом. Трое матросов, явившись вместе, скорее могли получить работу, чем один.

Поэтому я тогда сговорился с Карстеном Хайкенсом и Бартом Ользеном наняться на один корабль. Нам уже удалось найти в Гамбурге пароходство, где готовы были нас взять. И вот завтра утром, в восемь часов, все мы должны были явиться в контору.

Но накануне вечером Барт, никогда не отличавшийся хорошим здоровьем, вдруг, как нарочно, заболел гриппом, да с такой высокой температурой, что мы даже за него испугались. Доктор, которого мы к нему привели, сказал, что Барту придется пролежать в постели по крайней мере недели две.

Это расстроило все наши планы, потому что пароходству требовались именно три матроса, хорошо сработавшихся друг с другом. Без Барта Ользена и идти было нечего. Поэтому мы испробовали все виды лечения, и Барту пришлось глотать лошадиные дозы всяких лекарств, чтобы завтра хоть как-нибудь держаться на ногах. Но на следующее утро в семь часов, когда мы должны бы-

ли отправиться в контору, оказалось, что температура у Барта ничуть не ниже, чем вчера, а чувствует он себя еще хуже.

— Тогда придется нам отказаться от этой затеи, — сказал Карстен Хайкенс. — Может, найдем потом какой-нибудь корабль еще получше этого.

Я поддержал его, хотя не имел ни малейшего представления, как мы расплатимся за комнату в гостинице, пока будем ждать этого счастливого случая, — ни у кого из нас не было ни гроша. А еще надо ведь было есть, чтобы оставаться в форме.

Барт, лежа в постели с высокой температурой, как видно, раздумывал примерно о том же. Потому что он вдруг встал, шпатаясь и обливаясь потом, и сказал:

— Пошли! Разотрите меня как следует полотенцем. В конторе я уж как-нибудь разыграю здорового. А пароход отчаливает только еще послезавтра. До тех пор я наверняка встану на ноги.

Положение наше было так безнадежно, что мы, двое здоровых, несмотря на укоры совести, приняли его предложение. Мы растерли Барта махровым полотенцем, напоили его чаем с ромом и отправились все троим в гавань — в контору пароходной компании.

Уже по пути в гавань Барт чуть не падал с ног. Нам пришлось взять его с двух сторон под руки и поддерживать всю дорогу. Перед дверью конторы мы увидели, что пот катится с него градом, а лицо такое бледное, что, пожалуй, в таком виде его и показывать-то не стоит.

Тогда Барту пришла в голову идея, чтобы мы выдали его за пьяного. Ведь пьющий матрос скорее подойдет пароходству, чем больной.

Карстен Хайкенс вытер Барту лицо носовым платком и растер ему щеки, чтобы они хоть немного покраснели. Потом мы вошли, с двух сторон поддерживая Барта, в контору, где сидел сам старый скупердяй Раймерс, владелец пароходства. Первый же его вопрос был:

— Что это с ним? Больные мне не нужны.

— Я... я... я хватил немного лиш... лиш... — Барт изображал пьяного очень убедительно.

— Часто это с ним? — спросил нас старый Раймерс.

— Да можно сказать, что никогда, — ответил я чистую правду, Барт и в самом деле был непьющий, — потому на него так и подействовало. Он и выпил-то совсем немного. У его сестры вчера была свадьба, господин Раймерс.

— Ну да... Герда... — промямлил Барт. У него и сестры-то никакой не было.

Упоминание о свадьбе как будто немного смягчило судовладельца. Он достал анкеты из ящика письменного стола и начал старательно их заполнять, задавая нам обычные вопросы. Он даже не предложил нам сесть.

Так мы и простояли почти целый час перед его письменным столом, а Барту становилось все хуже и хуже. Когда мы заметили, что он борется с собой, чтобы не потерять сознание, мы встряхнули его и стали как можно громче и веселее подтрунивать над «пьяным». Барт отвечал нам слабым голосом, но все еще продолжая разыгрывать пьяного. Мы все время боялись, что он вот-вот упадет, а этого нельзя было допустить, потому что в то время существовал неписанный закон: от пьяного моряка требовалось, чтобы он держался молодцом, не то его вышвыривали со службы.

Уж и не помню, как мы выбрались тогда из конторы. Мне и самому чуть не стало дурно — всё это время я поддерживал его и следил, чтобы с ним ничего не случилось. Помню только, что старый Раймерс заполнил по всей форме наши анкеты и принял нас в судовую команду и что Барт, как только за нами захлопнулась дверь, канул на дно, как утлый челн.

Знакомый врач из клиники тропических болезней ругательно ругал нас, узнав, как мы обошлись с Бартом Ользеном. Но этот же врач, человек решительный и смелый, кое-как подлечил нашего «пьяницу». Два дня спустя он смог вместе с нами подняться на корабль.

В море мы старались делать за Барта всю работу и стояли за него на вахте. Когда мы причалили к Мальме в Швеции, он был уже здоров — даже сошел вечером с нами на берег и выпил стакан грога.

Мы никогда не забывали, какую он проявил выдержку в тот раз, у Раймерса, чтобы не посадить нас на мель. Для Барта Ользена я и теперь, если понадобится, украду паруса с любого корабля, как говорят у нас, моряков.

На этом дядя Гарри закончил свой рассказ, и я снова удивился тому, что, казалось бы, совсем не героические люди при определенных обстоятельствах как бы перерастают вдруг самих себя и проявляют героические качества. У Барта Ользена теперь свой домик, жена, солидный животик, три дочери и много свободного времени, чтобы чесать языком.

Когда дядя Гарри спросил меня, понравилась ли мне эта история о выдержке, я горячо ответил, что да, очень понравилась, и еще добавил, что он очень хорошо и увлекательно ее рассказал.

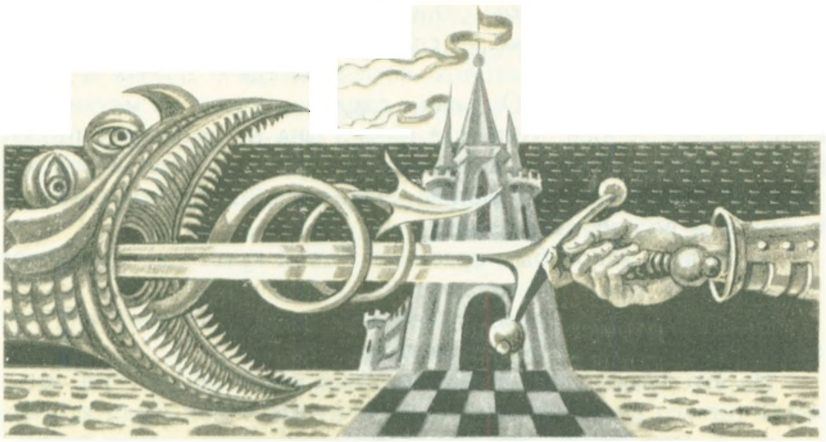
— В этом доме рассказчики растут как грибы,— сказал я. Но дядя Гарри возразил, что дело тут совсем в другом:

— На маленьком острове, где, так сказать, всегда стоишь на приколе, надо как-нибудь коротать время. Тут волей-неволей начнешь рассказывать истории... Ну ладно, давай гасить свет. Спокойной ночи, Малый!

— Спокойной ночи, дядя Гарри!

Свет погас, и я уснул так быстро, что даже не успел заметить, как устал за этот день, полный всяких историй.





Воскресенье,

в которое мы завтракаем по-королевски и беседуем за столом о Зигфриде. Здесь описывается последний подвиг Геракла и излагается история жизни Прадедушки-Краба. Кроме того, мы знакомимся здесь с любимым героем Старого. А кончается все довольно неожиданно. Итак,

ВОСКРЕСЕНЬЕ



автрак на следующее утро был чудовищно обильный и по случаю воскресенья, и потому, что наши моряки возвратились домой.

Надежды их не были обмануты — стол, как говорится, ломился от яств.

Тут были блюда на все вкусы: и соленые, и кислые, и жареная селедка, и маринованная, и копченый окорок, и острые сыры, а поскольку сегодня было воскресенье, то и сладкое — и булочки с изюмом, и повидло всех сортов, и коржики с корицей, и сдобное печенье.

На улице стоял сильный мороз. Холодный ветер сметал редкий снег в невысокие сугробы. Но здесь было хорошо натоплено.

Это было последнее воскресенье перед рождеством. На всем острове стоял запах анисовых пряников и коржиков с корицей.

Все мы были в самом отличном расположении духа, и Верховная бабушка, опять же по случаю воскресенья, ничего не имела против того, что за столом велась беседа о поэтах и героях, о балладах и рассказах. Она даже сделала несколько метких замечаний насчет героев. Только в одном она не допускала никаких возражений, она считала величайшим героем во всей мировой истории непобедимого Зигфрида, владельца знаменитой шапки-невидимки и волшебного меча.

— И ведь какой был красавец! Какой красавец! — мечтательно повторяла она.

Верховная бабушка явно придерживалась мнения, что герои обязательно должны быть красавцами.

На это прадедушка с благодушной улыбкой заметил, что он лично ничего не имеет против того, чтобы герои были красавцами, но, к сожалению, красота и героизм никак между собой не связаны.

— Если и есть какая-то связь между мужественным сердцем и прекрасной внешностью, — добавил он, — то она не так-то проста, и лучше уж нам не браться ее разьяснять. Что же касается Зигфрида, дорогая Маргарита, то он был, без сомнения, очень красивым юношей и прекрасно умел сражаться и скакать верхом на коне. Но героем, по-моему, Зигфрид не был.

— Что-о-о?! — воскликнула Верховная бабушка. — Зигфрид не был героем? Уж не хочешь ли ты быть умнее наших знаменитых поэтов? Разве ты не знаешь прекрасного стихотворения, в котором он воспет?

— Смутно припоминаю, — не без затаенного лукавства ответил прадедушка. — А может, ты помнишь его наизусть?

— Конечно, помню!

Когда речь шла об идеалах, Верховная бабушка была готова на все, даже на декламацию вслух.

И вот мы услышали из ее уст всем нам хорошо известное по хрестоматиям стихотворение Людвиг Уланда, знаменитого поэта прошлого века:

Меч Зигфрида

Покинул Зигфрид на заре
Отцовский замок на горе.

Ему не много было лет,
Но посмотреть решил он свет.



На встречах рыцарей глядит —
У каждого и меч и щит,

И только Зигфрид, только он,
Дубинкою вооружен.

Вот Зигфрид в темный лес свернул
И слышит дальний звон и гул.

Подходит к кузнице лесной:
Здесь лязг, и блеск, и жар, и зной,

И танец радостный огня...
«Возьми в работники меня!

Меня искусству обучи,
Как острые ковать мечи!»

Взмахнул он молотом разок
И наковальню вбил в песок.

Он плющил сталь, железо гнул,
И шел по лесу звон и гул...

И меч огромный, наконец,
Сковал наш Зигфрид, удалец.

«Теперь я рыцарь, я с мечом,
И великан мне нипочем!

Эй, трепещи, дракон, в лесу,
Тебе я голову снесу!»

Последняя строка в исполнении Верховной бабушки прозвучала как раскат грома. И теперь она с торжеством и вызовом смотрела на прадедушку.

Но Старый сказал с улыбкой:

— Это стихотворение, дорогая Маргарита, как раз подтверждает то, что я хочу сказать. А именно, что Зигфрид — не герой. Он просто очень хорошо владел своим ремеслом.

— Ремеслом? — переспросила Верховная бабушка, нахмурившись.

— Да, ремеслом воина. Вот и все. Если хотите, я могу подтвердить это одним стихотворением.

— Кто его сочинил? — язвительно спросила Верховная бабушка. — Какой-нибудь знаменитый поэт или ты сам?

— Я сам, — скромно ответил прадедушка. — Может быть, не смотря на это, ты его все-таки слушаешь, Маргарита?

— Больше мне ничего не остается, — вздохнула она.

И тогда прадедушка — негромко и просто, совсем не так, как Верховная бабушка, — прочел стихотворение:

Юный Зигфрид

Идет о Зигфриде рассказ
С великим множеством прикрас,

И сомневаюсь я порой:
А впрямь ли Зигфрид был герой?

Имел как баловень судьбы
Он все условия для борьбы:

Он приобрел волшебный меч,
Обучен был рубить и сечь.

Он понимал язык зверей:
Его гонцом был воробей,

А также заяц, и олень,
И волк, и всяк, кому не лень.

И шапкой-невидимкой он
На всякий случай был снабжен.

В непробиваемой броне
На самом быстром скакуне

Скакал он смело на врага.
Но так ли смелость дорога,

Когда от всех напастей он
Был столь надежно защищен?

Геройством занят был герой,
Как шахматист своей игрой,

И заменяло мастерство
Геройский подвиг у него.

Тут в заблуждены целый свет...
А был героем Зигфрид? Нет.

Верховный дедушка, дядя Яспер и дядя Гарри усиленно жевали, склонившись над тарелками. Я заметил, что они не хотят ничего говорить, пока не сказала своего слова Верховная бабушка. И она не замедлила его сказать, причем неслыханно кротким голосом.

— Знаменитый поэт,— сказала она,— называет Зигфрида героем и доказывает это не так сложно, как ты. Не кажется ли тебе это забавным?

— Нет, Маргарита,— не менее кротко возразил ей прадедушка,— мне кажется это вполне естественным. Тот, кто что-нибудь утверждает, ну, скажем, что Зигфрид — герой, может высказать это коротко и ясно, без подробных объяснений. Вот, например, как Уланд в своем стихотворении. А тот, кто хочет это опровергнуть — и не просто так, что нет, мол, все совсем не так, а как раз наоборот,— тому приходится обстоятельно доказывать, что утверждение было неверным.

Прадедушка оперся о стол, с трудом выпрямился и, расхаживая медленным шагом от стола до двери и обратно, закончил свою мысль:

— Утверждать что-либо может всякий дурак — я не хочу, конечно, этим сказать, что поэт Людвиг Уланд был дураком,— но опровергнуть утверждение — это уже требует кое-какой смекалки. Нам с Малым приходится здорово шевелить мозгами, чтобы опровергать одно за другим все нелепые и бездумные утверждения о героях.

Вдруг прадедушка остановился, с удивлением посмотрел на нас и спросил:

— Что это с вами? Почему вы все на меня так уставились?

— Потому что ты ходишь, прадедушка! — сказал я.

— Батюшки! — Старый хлопнул себя по лбу. — Я и позабыл, что собирался утаить это от вас. Уж так мне пришлось по нраву моя каталка — никто к тебе не пристаёт...

— А сам ты пугаешь других сколько хочешь,— ядовито заметила Верховная бабушка.

Старый, тяжело опустившись на стул, ответил:

— Только не преувеличивай, Маргарита! Никогда я тебя ничем не пугал. Просто радовался, что могу спокойно посидеть в кресле, предоставленный своим мыслям. Правда ведь, Малый?

Я кивнул, но не мог удержаться от вопроса, с каких же пор он снова начал ходить.

— Собственно, только с позавчерашнего дня,— ответил Старый.— Но я понемножку упражнялся каждый день. В мои годы нельзя чересчур доверяться покою, а то еще закоснеешь.

— Кто заботится о своем здоровье, тот не закоснеет,— набросилась на него Верховная бабушка.— А кто в твоём возрасте развится, как молодой жеребчик, с тем — смотри, отец! — как бы не случилось того же, что случилось со старым богатырем в балладе.

— Что ж такое с ним случилось, Маргарита?
Тут Верховная бабушка продекларировала:

Еще раз встал, собрав остаток силы,
Наш старый богатырь, в последний раз.
И рухнул вновь. Безмолвие могилы.
Выносят хладный труп. То пробил час.

Прадедушка весело расхохотался.

— Ты всегда все рисуешь в черном свете,— упрекнул он дочь.— Потому что ты обо всех о нас беспокоишься, Маргарита. Это я понимаю.

Несмотря на бурные пререкания, это был мирный, веселый завтрак в зимнее солнечное утро. Верховный дедушка, справившись с селедкой и отведав окорока, с явным удовольствием слушал этот спор, а уж дяде Гарри с дядей Яспером он никак не испортил аппетита. Да и я с интересом следил за этой добродушной перебранкой.

Но конец баллады о старом великане, который еще раз подымается, прежде чем рухнуть, снова пробудил во мне смутную тревогу за прадедушку. Словно где-то вдали ударили в набат.

После завтрака мы отправились вдвоем на чердак, и Старый стал взбираться по лестнице тяжелым, но уверенным шагом.

И все же в голове моей засела мысль, что прадедушка ради меня незадолго до конца своей жизни еще раз собрался с силой, чтобы пройти со мной вместе по галерее истинных и ложных героев. Мне представилось вдруг, что он жертвует собой ради меня.

Эта мысль захватывала меня все больше и больше, и когда мы, добравшись до южной каморки, занялись сочинением, у меня получился целый рассказ.

Прадедушка высказал опасение, что теперь, раз мы оба снова научились ходить, меня, пожалуй, поспешат отослать домой, к родителям. Значит, пора нам, так сказать, подвести итог нашему исследованию героизма.

— Я предлагаю,— сказал он,— чтобы каждый изобразил в рассказе своего самого любимого героя.

С этим я согласился.

И, поглядывая через окошко каморки на серое море, стал писать на оборотной стороне обоев рассказ о Прадедушке-Крабе. А прадедушка в это время, положив гладильную доску на ручки кресла-каталки, тоже писал рассказ о своем любимом герое.

Писали мы долго. Даже после обеда мы все еще продолжали исписывать свои рулоны. И все же закончили раньше, чем пришлось зажечь свет.

С нетерпением ожидал я прадедушкиного приговора и хотел было, как всегда, тут же начать читать, но Старый сказал:

— Давай-ка уж закончим наше исследование героизма, Малыш, по всем правилам. Я не раз читал тебе про подвиги Геракла, чтобы привести пример героизма и напомнить образ героя древних времен. Давай-ка я и сегодня поведаю тебе о последнем его знаменитом деянии, а потом уж мы познакомим друг друга с нашими новыми героями. Согласен?

— Согласен! — ответил я.

И вот снова раскрылась тетрадь в черной клеенчатой обложке, и прадедушка прочел:

Баллада про Геракла и три райских яблока

Геракл был смел и полон сил,
И, как гласит преданье,
Геройский подвиг совершил,
Великое деянье.

Царь Еврисфей приказ отдал,
Чтоб дар принес он редкий:
Три райских яблока сорвал
В раю с высокой ветки.

Но только смертным — вот беда —
Путь в райский сад неведом.
Поговорить решил тогда
Геракл с Нереем-дедом¹.

Но тот, увертливей змеи,
Забыв свое величье,
Вдруг начал принимать свои
Различные обличья.

¹ Н е р е й — в греческой мифологии морское божество, старец.

То встанет огненной грядой —
Герою не до смеха! —
То разливается водой —
Опять в борьбе помеха.

«Ну, справлюсь я со стариком —
Сглотну его как воду!»
А тот уж красным языком
Взвился, сменив природу.

Геракл, однако, победил:
От ярости зверея,
Рассек он, дунув что есть сил,
Напополам Нерея.

И снова старец перед ним.
Пристыженный немного,
Он тут же, цел и невредим,
Стал объяснять дорогу.

И вот край света, где как раз,
Пыхтя, вздыхая тяжко,
Держал громадина Атлас
Небесный свод, бедняжка.

Атлас сказал: «Три яблока
Нужны вам до зарезу?
На, поддержи-ка свод, пока
Я в райский сад залезу!»

Геракл ответил: «Я готов!» —
И свод на плечи вскинул.
И так он несколько часов
Стоял, согнувши спину.

Когда ж Атлас, проведав рай,
Вернулся в упоенье,
«Ну, держишь небо? Продолжай!» —
Он крикнул без стеснения.

«Да, дело дрянь, куда ни кинь! —
Геракл стряхнул усталость. —
Ты только небо мне подвинь
На серединку малость!»

Но не успел Атлас поднять
Небесный свод немного,
Как наш герой — чего там ждать? —
Пустился в путь-дорогу.

Подняв три яблока с земли,
Он их понес скорее
На тот, другой конец земли,
Где царство Еврисфея.

Вот наконец его дворец.
Царь вышел за ворота:
«Принес?» — «Принес!» — «Ну, молодец!
Возьми их за работу!»

Все! Ты свободен!» — «Хорошо!» —
Успел Геракл ответить
И тут же снова в рай пошел:
«Отдам им фрукты эти!»

И вот — напрасны все труды! —
Он их вернул обратно.
Но первым райские плоды
Добыл Геракл. Понятно?

В последний раз захлопнулась черная клеенчатая тетрадь, в которой, как мне казалось, уместилась вся жизнь Геракла, все его подвиги и страдания.

Прадедушка отложил тетрадь на комод, где лежали «Морские календари», и спросил:

— Ну, что ты скажешь об этом приключении?

— Веселое, только очень уж длинное, прадедушка.

— Ну, — улыбнулся Старый, — это я еще здорово его сократил.

— Почему, прадедушка?

— Потому что вокруг этого приключения Геракла обвились, словно лианы, бесчисленные мифы, предания и легенды. Я их отсек. И осталась только история про райские яблоки.

— А зачем вся эта история, прадедушка? Столько трудов и усилий, а зачем? Все равно потом пришлось возвращать яблоки обратно!

— Так ведь самому Гераклу, Малый, эти яблоки были ни к чему. Он их добыл по поручению Еврисфея.

— Да и тому-то они тоже были не нужны! — с недоумением возразил я.

— Вот именно, Малый. В том-то и дело. В сущности, эти яблоки были вообще никому не нужны. Героический подвиг совершался подчас во имя самого героического подвига и вызывал восхищение. Даже если не имел смысла и не приносил никакой пользы. Он восхищал своей красотой. Как ваза. Как картина. Как статуя.

— Но ведь героический подвиг без смысла — это просто глупость, прадедушка.

— Я тоже так считаю, Малый! Но древние греки, высоко ценившие красоту, так не считали. И все же они тоже, как видно, заметили, что с этим идеалом героя что-то не так. Вот последние подвиги Геракла — правда, в моей тетради их нет, — они совсем другие, Малый. Он якобы служил лидийской царице Омфале и прятал ей шерсть, а она тем временем разгуливала в его львиной шкуре. А потом он погиб в муках от яда, которым натерла его плащ ревнивая жена, и под грохот грома, в блеске молний взлетел на небо, где стал полубогом.

— Так что же, прадедушка, был он все-таки героем, Геракл, или нет?

— На этот вопрос мне придется дать тебе три разных ответа, Малый. Как человек, он, в сущности, был вроде Зигфрида, профессиональным героем, — это было его ремесло. В глазах древних греков Геракл, отважившийся спуститься даже в мрачное царство мертвых, нередко бывал героем. Как миф, он ни то, ни другое — он словно солнце, то прекрасное, то злое.

Вслушав этот сложный ответ прадедушки, я некоторое время сидел задумавшись на оттоманке. Потом сосчитал вслух на пальцах:

— Геракл — человек, Геракл — образец, Геракл — миф. Может, прадедушка, ты мне еще разок это растолкуешь?

— Нет, Малый, не хочу, а может, и не могу. Я просто хотел показать тебе древний образ героя таким, как он сохранился, с выбоинами и трещинами. Но вообще-то мы ведь с тобой собирались поговорить про людей. А среди людей нет героев от рождения и героев по профессии. Человек невольно попадает в положение, которое требует от него героических качеств. Поведет ли он себя при этом как герой, зависит от него самого. Мне кажется, мой рассказ показывает это довольно ясно.

— И мой, мне кажется, тоже, прадедушка.

— Тогда читай ты первый, Малый. Но сперва подбрось-ка угля в печку и зажги свет.

Я сделал то, что он просил, а потом развернул на столе рулон и стал читать:



еподалеку от одного островка жил на подводном камне старый-престарый краб по имени Крапп. Благодаря своему возрасту и мудрости он пользовался большим авторитетом среди других крабов, и они даже почтительно называли его «господин Крапп». Ну и мы будем его так называть.

К сожалению, камень, на котором жил господин Крапп, был опасным местом для крабов. Рыбаки с ближнего острова каждое лето спускали рядом с ним в море садки для ловли крабов, а в садки эти клали для приманки самый лакомый корм. И крабы сбегались сюда целыми стаями. Многим из них пришлось здесь проститься с жизнью, потому что они совсем потеряли голову от вкусного запаха.

Ни одному крабу, попавшему в эту ловушку, еще ни разу не удалось выбраться из нее на свободу. На следующее утро садок вместе со всеми заползшими в него крабами подымали наверх, и, когда он оказывался над водой, краб, схваченный за покрытую панцирем спинку заскорузлой рукой рыбака, летел на берег в ведро. А потом его продавали, варили и, когда он становился ярко-красным, поедали под майонезом.

Только господин Крапп, старый мудрец, знал, что случается с теми крабами, которые попадают в садок. Он неустанно предостерегал своих младших сородичей от опасности и, пуская в ход все свое красноречие, уговаривал их не идти на приманку.

Но его предупреждения были напрасны.

Голод и неведение делали свое дело, и многие сотни крабов каждое лето попадали в садки, а затем в котелки и кастрюли.

Господин Крапп всякий раз подводил юных и старых крабов к садкам и показывал им через сеть на пленников, которые, наевшись досыта, до отвала, стонали и вопили, напрасно умоляя выпустить их отсюда. Но тот, кто сюда попал, был обречен.

Как это ни печально, предупреждения господина Краппа не избавляли крабов ни от голода, ни от неведения. По правде сказать, он бросал слова на ветер, а выражаясь точнее, в воду: вкусный запах продолжал привлекать в садки все новые и новые полчища крабов. «Да что он может знать о жизни там, наверху, господин Крапп, — уговаривали они себя, — не исключено, что там нам будет даже очень неплохо!»

Но у господина Краппа был правнук, неглупый крабенок по имени Краппи. Этот крабенок был единственным крабом, слушавшим советы прадедушки, — он старательно обходил все ловушки.

Однако в то лето, о котором идет рассказ, с кормом обстояло особенно плохо, и Краппи был не в силах противостоять соблазнительному запаху из садка, щекотавшему его нюх.

— Погляди-ка, прадедушка, — сказал он господину Краппу, — вон сколько крабов забралось в садок; они наедаются досыта, и никто их не трогает. Может, ты заблуждаешься и с ними не случится ничего плохого?

— А ты подожди, — со вздохом отвечал господин Крапп, — пока они отвалятся от еды и начнут искать выход на волю. Тогда и станешь поумнее!

Но юному Краппи в этот день так хотелось есть, а на пустой желудок так трудно быть рассудительным. Впервые он усомнился в словах прадедушки и твердо решил залезть в садок, чтобы наестся досыта.

Когда господин Крапп заметил, что его предостережения больше не помогают, он очень огорчился и сказал:

— Прежде чем ты полезешь в садок, дорогой Краппи, я сам залезу в эту адскую ловушку, чтобы мой пример послужил тебе предупреждением.

Господин Крапп втайне надеялся, что слова его испугают Краппи и тот возьмется за ум.

Но какой уж тут ум, когда в брюхе пусто! И голодный Краппи сказал:

— Полезай, прадедушка, в садок с кормом. Вот увидишь, совсем это не опасно. Скоро ты и меня позовешь!

И добрый старый краб, с тяжелым сердцем, с трудом переваливаясь, пополз прямо в садок, упал, согласно хитроумным расчетам людей, на самое дно и оказался в ловушке.

— Ну, прадедушка, — крикнул ему через сетку Краппи, — разве это опасно? Почему ты не набрасываешься на корм?

— Корм мне больше не нужен... — вздохнул старый краб. — Вскоре, может быть даже завтра утром, меня не станет. А тот, кто стоит на пороге смерти, не чувствует голода.

Теперь молодому крабу стало ясно, что господин Крапп предупреждал его не зря. Он вдруг так испугался за прадедушку, что крикнул:

— Не говори так! Скорей вылезай! Я тебе помогу!

— Слишком поздно, — ответил из садка господин Крапп. — Мне уже никогда отсюда не вылезти, даже с твоей помощью, Краппи. Но не печалься. Я стар и все равно прожил бы недолго. Прощай! Впредь придется тебе предупреждать крабов о коварстве людей.

Краппи хотел было ему что-то ответить, даже длинные клешни его задрожали от волнения... Но в это мгновение садок поднялся вверх, и прадедушка исчез навсегда из его поля зрения и из его жизни.

С тех пор Краппи стал, как раньше его прадедушка, предупреждать крабов об опасности. Он становится у них на пути, когда они, подгоняемые голодом, спешат к садкам. Кое-кого ему удается спасти. Но большинство попадает в ловушку, а потом в котел, а потом под майонез. И все-таки это хорошо, что среди крабов опять есть один такой, каким был старый господин Крапп. Значит, он погиб не зря — Краппи все понял.

Когда я кончил читать, прадедушка поглядел на меня, склонив голову набок. Потом он сказал:

— Старый краб, который жертвует собой ради других, конечно, герой, Малый. Без сомнения. Но если это имеет какое-нибудь отношение к нам с тобой и ты думаешь, что я каким-то образом жертвую собой ради тебя, то ты заблуждаешься. Я не герой. Жизнь ни разу не потребовала от меня подвига.

Я поспешил заверить Старого, что, сочиняя этот рассказ, думал больше о самом рассказе, чем о нас с ним. Я и сам только сейчас заметил, что рассказ этот подсказали мне мои опасения за прадедушку и что он все-таки как-то касается нас обоих.

Старый поверил мне и, как добросовестный исследователь героизма, признал господина Краппа истинным героем. Даже образцом героизма:

— Невольно, а вернее, против своей воли, Малый, он стал героем. Но, раз приняв решение, пошел на подвиг спокойно, пожертвовал собой и выдержал все, что приходится выдержать тому, кого бросают живьем в кипяток. Мой герой, Малый...

Но в это мгновение снизу донесся голос Верховной бабушки. Она звала нас пить кофе, и прадедушка не успел сказать мне ничего о своем герое. Пришлось нам снова спуститься с высот на землю, где правят домашние хозяйки. Но мы проделали это не без удовольствия. Ибо исследователи и поэты так же любят хрустящее домашнее печенье, как и моряки.

Как и предвидел прадедушка, Верховная бабушка уже подумывала о том, что пора отправить меня домой, к родителям. Не то чтобы она сказала нам это прямо в лицо, но то и дело намекала, что оба мы уже встали на ноги, и что топить каждый день чердак — слишком большая роскошь, и что жизнь, в конце концов, состоит не из одной поэзии.

Моряки улыбались и подмигивали нам при каждом таком замечании — Верховная бабушка высказывала их по одному, на приличном расстоянии одно от другого, пока все чинно сидели за столом, попивая кофе. Казалось, и прадедушку они забавляли. Но меня как-то тревожила эта их вера в выздоровление прадедушки. У меня ее не было. Я был уверен, что он только притворяется здоровым и что на самом деле состояние его хуже, чем когда-либо раньше. Я видел, как дрожит его рука, когда он подымает чашку с кофе. Лучше уж ему не читать мне сегодня своего рассказа, а лечь в постель и вызвать врача. Но никто, кроме меня, казалось, ничего не заметил.

Выйдя из-за стола, Старый сам взобрался по лестнице на чердак в самом веселом настроении и, спеша представить мне своего героя, с удовольствием плюхнулся в кресло, словно никакой болезни не было и в помине.

— То, о чем я хочу тебе прочесть,— сказал он,— происходит в давние времена в Черногории. Я и сам когда-то там побывал. Народ там был очень воинственный. Там я и встретил настоящего героя... Может, подбросим угля в печку?

— Не надо, прадедушка. Пока ты будешь читать, еще и этот не прогорит!

— Ну хорошо, тогда слушай.

И, не снимая рулона с гладильной доски, прадедушка начал читать:

РАССКАЗ ПРО МАЛЬЧИКА



Черногории, стране Черных гор, жил когда-то Блаже Брайович — мальчик с большими черными глазами. Из всех своих сверстников он один умел читать и писать — этому искусству обучил его по его просьбе местный священник.

Другие мальчики его возраста мечтали поскорее отрастить усы и получить ружье в руки. А у Блаже было только одно желание — побольше узнать.

Отец Блаже, Раде, — человек исполинского роста, плечистый и плотный, — которому пистолет и ружье были так же дороги, как курильщику трубка, называл своего сына ягненком. И частенько задавал себе вопрос: «Что же с ним будет, когда придут волки?»

Волками он называл не турок, против которых жители Черных гор вели партизанскую войну, а таких же черногорцев, как и он, — мужчин из рода, с которым его собственный род находился в постоянной вражде. Мужчины одного рода убивали мужчин

другого рода из мести, за убийства, совершенные раньше. Мстить женщинам и детям считалось позором — только убийство мужчины давало право считать, что убитый отмщен. И мужчины гибли один за другим. Мать Блаже и две его старшие сестры испуганно умолкали и прерывали работу, услышав выстрел в горах, — могло случиться, что пуля попала не в медведя, не в зайца, а в Раде, мужа и отца.

Когда Блаже был еще маленьким, он тоже пугливо вздрагивал, услышав эхо выстрела, долетевшее из скалистых ущелий. Но когда он стал постарше и уже научился писать и читать, то перестал так бояться за отца. Он понял, что отец его не только яростен и неистов в бою, как бык, но еще и хитер, как лиса. Судьба отца теперь не так его тревожила. Зато с каждым годом он все чаще и чаще задумывался над тем, что мужчины, вооруженные до зубов и занятые мстью, целыми днями пропадают в горах, преследуя своих кровных врагов, а вся работа по хозяйству, возделыванию земли и воспитанию детей возложена на плечи женщин. Часто он лежал в своем белом суконном гуне¹ с черной каймой под гранатовым деревом и читал книгу. А когда поднимал глаза и глядел вверх на листву и на медленно краснеющие плоды, ему вспоминался веселый дядя Петар, брат его матери. В то солнечное утро здесь, под этим деревом, он кричал и шатался, как пьяный. Прижимая руки к груди, он упал на траву, крикнув: «Отмстите за меня! Это были...»

Голос его оборвался, прежде чем он успел назвать убийц, и когда женщины выбежали из дому, он был уже мертв.

Тогда Блаже охватил священный гнев. Он знал, кто убийцы, хотя дядя Петар и не смог произнести их имен. Они могли быть только из рода Джурановичей, с которым род Блаже находился в кровной вражде.

И над трупом дяди Блаже поклялся, что потом, когда у него будет ружье, он оплатит кровью за кровь дяди Петара.

Но убийцу еще раньше настигла кара, и дядя Петар был отмщен. Отмстил отец Блаже, Раде, он заколол убийцу ножом, встретив его в горах на лесной тропинке. Тогда Джурановичи убили младшего брата отца, молодого красавца дядю Леку.

Теперь нужно было мстить уже не за дядю Петара, а за дядю Леку. Распря продолжалась, и не было никакой надежды, что она когда-нибудь кончится.

И Блаже с ужасом думал о том, что, наверно, наступит день, когда ему придется убить ножом или застрелить из ружья маленького Иво, с которым раньше они часто ловили вместе в ручье

¹ Гунь — крестьянская одежда в Черногории.

форелей. Тогда Блаже еще не знал, что Иво из рода Джурановичей, с которыми его род в кровной вражде.

Блаже не находил больше никакого смысла в этой кровавой игре. Он не хотел в ней участвовать. Эта карусель мести его не привлекала.

И потому никто не был так счастлив, как он, когда отец в один прекрасный день объявил, что в следующую пятницу Джурановичи и Брайовичи соберутся на лугу для переговоров о прекращении распри.

— Как же это случилось, отец? — спросил Блаже, покраснев от радости и волнения.

— Кто-то из Джурановичей застрелил твоего двоюродного дедушку, Марко. Я мог бы отомстить за него еще в тот же день...

— Но ты этого не сделал? — перебил отца Блаже.

— Нет, я этого не сделал. Брат трижды проклятого убийцы попросил у меня прощения. Он сказал, что пора нам заключить мир.

— И ты заключил мир? — радостно крикнул Блаже.

— Нет, сын мой, я этого не сделал. Как же я могу один заключить мир за весь наш род? Я только посчитал, сколько мужчин еще осталось у нас и сколько у Джурановичей. И понял, что, если не прекратится кровавая распря, оба наши рода скоро вымрут. Поэтому нам нужно отказаться от мести и заключить мир, хотим мы этого или не хотим. В пятницу мы все соберемся для переговоров. Ты поведешь моего коня.

— Хорошо, отец, — ответил Блаже и опять покраснел от радости.

Переговоры велись на лугу под крутой скалой. Был полдень.

Солнце стояло высоко. Воздух был сух и горяч. Согласно обычаю, сюда явились все: женщины — в черном, дети — в белом, мужчины — в ярких костюмах и красных жилетах; у некоторых за цветной пояс было заткнуто по два пистолета.

Каждая семья соблюдала порядок, предписанный обычаем: глава семьи ехал верхом, старший сын вел коня под уздцы, остальные члены семьи шли пешком вслед за конем.

Без особой охоты, чуть ли не самым последним, явился сюда исполин Раде со своей семьей. Он сидел в высоком седле на черном жеребце, которого вел под уздцы Блаже. Подъехав к Брайовичам, расположившимся на левой стороне луга, он остановил коня. Теперь он был старшим в роде Брайовичей.

Ловко спрыгнув с коня, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, Раде сел на большой камень, с которого молча встал при его приближении какой-то молодой человек. Даже теперь он казался выше всех Брайовичей.

Поздоровавшись кивком со своими, он бросил быстрый взгляд в сторону Джурановичей, сидевших на другой стороне луга, и пробормотал:

— Провались они все в преисподнюю!

— Тогда и мы провалимся вместе с ними, Раде, — негромко возразил ему пожилой пастух.

— Да, — отвечал ему Раде, — и все мы провалимся в преисподнюю, если не покончим с распрей. Для того-то мы здесь и собрались. И податься нам некуда.

Когда начались переговоры, в которых имел право участвовать каждый глава семьи, первым стал говорить Раде. Вскоре он уже оказался на середине луга и от имени своего рода повел переговоры с Джурановичами.

Как раз в тот момент, когда отец вышел на середину, Блаже заметил на том краю луга среди Джурановичей Иво, своего бывшего товарища по играм, и кивнул ему головой. Иво широко раскрыл глаза от удивления — он или не сразу узнал Блаже или был поражен тем, что с ним здоровается кто-то из враждебного рода. Но потом кивнул ему в ответ. Так мальчики заключили мир задолго до того, как взрослые закончили переговоры.

Время для перемирия было неблагоприятным — оба рода еще оплакивали убитых: убийству Марко, дяди Раде, предшествовало убийство одного из Джурановичей. Слишком свежа была еще боль и печаль, а переговоры требовали благоразумия и выдержки. С трудом подавляемая ненависть против убийц могла вспыхнуть каждую секунду.

Но Раде, отец Блаже, поборов свой собственный гнев, держал в узде и других. Когда стенания об убитых отцах, мужьях и братьях начали становиться громче, когда оба рода стали обвинять убийц и перечислять погибших, он поднял вверх руку и, дав замолчать и тем и другим, крикнул:

— Мы собрались здесь не для того, чтобы считать мертвых и распалать свой гнев! Мы собрались, чтобы оба наши рода не зачахли, как трава в засуху. Оглянитесь вокруг! Сколько здесь жен без мужей! Сколько детей без отцов! И у вас и у нас хватит оружия и найдутся еще храбрецы, у которых не дрогнет рука, чтобы и всех остальных женщин сделать вдовами, а детей — сиротами. Мы хотим заключить мир не из страха и не из слабости, а по здравому размышлению. Если прошлое одержит здесь над нами победу и мы заговорим друг с другом не словами, а свинцом, не видать нашим родам будущего! Ни Джурановичам, ни Брайовичам! Наши семьи вымрут, и от каждого рода останутся лишь горькие вдовы, проклинаящие своих мужей!

Блаже не сводил глаз с отца. Он никогда еще не слышал, чтобы тот так говорил. Ему казалось, будто отец, удар за ударом,

разбивает тяжелую цепь, которой все они скованы. Ему хотелось вскочить и обнять отца. Но здесь это вызвало бы только смех.

Впрочем, многие из собравшихся были благодарны Раде за его речь. И когда он, широко разведя руками, обратился и к тому и к другому роду с призывом: «Кто за мир, встаньте!» — они тут же вскочили на ноги, а за ними поднялись и все остальные. Так стояли рядом Джурановичи и Брайовичи — словно несжатое поле раскинулось под скалой.

— Да будет мир! — провозгласил Раде, подняв руки. Но не успел он еще их опустить, как старая Анджа из рода Джурановичей, мать последнего убитого, крикнула:

— Нет! Не будет мира, пока не отмщен мой сын!

— Но ведь он уже отмщен, мать, — сказал ее младший сын, стоявший с ней рядом. Сама она все еще продолжала сидеть на земле.

— Как же отмщен, когда его убийца жив! — пронзительно взвизгнула старуха. — Я знаю его убийцу. Вот он стоит!

И, встав во весь рост, она указала рукой на молодого человека из рода Брайовичей. Затем она снова опустилась на землю и с усмешкой, исказившей ее морщинистое лицо, крикнула своему сыну:

— Только трус не мстит за своего брата! Только подлец боится смерти больше, чем позора!

Все стояли еще, словно застыв после этого выкрика, когда сын Анджи выхватил пистолет из-за пояса и, почти не целясь, спустил курок.

На звук выстрела скала ответила эхом. Но рев толпы заглушил его. Мужчины схватились за револьверы, дети заплакали, женщины ловили руки мужей, пытаясь помешать им стрелять. Еще мгновение, и завоеванный с таким трудом мир снова превратился бы в кровавую распрю, если бы Раде, подняв руки вверх, не прокричал, обращаясь к своим:

— Кого ранило?

Его вопрос был услышан — он заглушил нарастающий шум. И вдруг наступила тишина — все ждали ответа.

Но никто не отвечал. Стало так тихо, что можно было слышать доносившееся издалека блеяние козы.

Тогда Раде обратился к Джурановичам:

— Если бы пуля попала в кого-нибудь из наших, ты лишилась бы и младшего сына, Анджа. Ты хочешь, чтоб это продолжалось и тебе никогда не пришлось бы петь песен над колыбелью внука? Ты хочешь помереть, не оставив потомства, быть трухлявым деревом, на котором уже не распустится ни один листок? Твой сын не трус. Мы все это знаем. Ты велела ему продолжать

войну, и он выстрелил. Теперь прикажи ему заключить мир. Вставай!

Женщина медленно поднялась с земли. Лицо ее было замкнуто, губы плотно сжаты, глаза с недоверием шарили по примолкшей толпе. Она не проронила ни слова. Но она встала. Самая последняя.

И тогда Раде опять повторил, обращаясь ко всем:

— Да будет мир!

Мир был заключен. Многие снова сели на землю, другие все еще стояли, продолжая разговаривать. Некоторые даже, отделившись от своих, медленно двинулись в сторону недавних противников.

Старая Анджа первая покинула луг, не сказав ни слова своему сыну. Вскоре за ней последовали и другие, чтобы еще раз обсудить за бутылкой вина события этого дня.

Семьи, в которых еще были живы отцы, согласно обычаю, уходили с луга целой процессией: впереди глава семьи верхом на коне, которого ведет под уздцы старший сын, следом за ними, пешком, все домочадцы.

В таком же порядке собирался тронуться в путь со своей семьей и Раде. Он велел своему сыну Блаже взять под уздцы коня, но тот ответил:

— Я не могу, отец. Придется тебе посадить меня в седло.

— Что-о? — поразился Раде.

И только теперь он взглянул на сына, сидевшего на траве. Тот был очень бледен и, как-то странно согнувшись, наклонился вперед.

— Что с тобой? Тебе дурно? — нетерпеливо спросил отец.

Этот крепкий, здоровый человек никогда не болел сам и не признавал никаких болезней у других. Но мальчик и в самом деле выглядел плохо. В лице его не было ни кровинки, глаза блеснули.

— Что с тобой? — повторил Раде уже не так резко. Он даже нагнулся и положил сыну руку на лоб. Лоб его горел. Блаже лихорадило.

Теперь Раде забеспокоился.

— Что случилось? — спросил он в третий раз.

Тогда его сын приподнял немного край белого гуня, и Раде увидел, что мальчик зажимает рукой рану. Его пальцы и рубашка были в крови.

Раде выпрямился и, с изумлением глядя на сына, спросил:

— Ты ранен?

— Да, — ответил Блаже. — В меня попало. — И, опустив край гуня, добавил: — Но никто не заметил. И никому не говори. Ув-

зи меня отсюда. Военный врач из Подгорицы быстро меня вылечит.

Отец в растерянности смотрел на сына, сгорбившегося в траве. У него было смутное чувство, что этот мальчик — герой. Но героев, которые страдают и молчат, он никогда еще не видел. Он чувствовал, что в нем поднимается гнев против этого молчаливого страдальца. И гнев против того, кто в него стрелял, — сына старой Анджи. И гнев против Джурановичей. И гнев против только что заключенного мира, который мешал ему теперь поднять ружье и отомстить за сына.

— Почему ты не сказал об этом раньше? — сурово спросил он.

— Тогда бы не было мира, отец.

— Мир, купленный ценою крови ребенка... Какой же это мир, Блаже?

— Военный врач меня вылечит. Вот увидишь, отец. А зато сколько людей будет спасено...

Раде вдруг заметил, что мальчик тяжело дышит и вот-вот потеряет сознание от боли. И он понял, что врач сейчас важнее, чем честь, гнев, месть и все долгие разговоры. Не говоря ни слова, он поднял Блаже, посадил его на своего коня и спросил:

— Ты можешь держаться одной рукой?

Блаже кивнул.

Тогда Раде позвал женщин, разговаривавших неподалеку от них с соседками, и сказал им:

— Пошли! Последите за мальчиком. Ему срочно нужен врач.

И прежде чем женщины успели задать ему хоть один вопрос, он взял коня под уздцы и повел его через луг к дороге. Все, кто еще не успел разойтись, с удивлением смотрели на невиданную картину: глава семьи, человек огромного роста, воинственный и гордый, вел под уздцы коня, на котором сидел верхом его сын, безусый мальчишка.

Какой-то шутник из рода Джурановичей крикнул им вслед:

— Ты что думаешь, Раде, раз мир, так ягнята впереди стада идут?

Не останавливаясь и не поворачивая головы, Раде ответил:

— Этот ягненок заплатил за ваш мир своей кровью, Джуранович! Сын Анджи ранил его, а он и не пикнул, чтобы не нарушить этот чертов мир!

Теперь, узнав, что случилось, мать и сестры Блаже громко заплакали. Мужчины, стоявшие вокруг, с изумлением и уважением смотрели на мальчика в седле. И когда старый пастух снял перед ним шапку, все последовали его примеру.

Когда прадедушка дочитал свой рассказ и обои сами собой свернулись у него в руках в трубку, мне и самому захотелось снять шапку — только у меня на голове ее не было.

Как непохож был мой «героический подвиг» на подвиг мальчика из Черногории, который готов был отдать свою жизнь, чтобы удержать взрослых от бесконечных убийств. И как одинок он был со своей раной, со своей болью и с мыслью о том, что, может быть, сделал что-то не так!

Именно этим, как видно, и восхищал Блаже Брайович моего прадедушку.

— Маленький Блаже, — сказал он, — не умел обращаться с оружием и был робок даже в речах. Это был герой, не похожий на все обычные в его кругу представления о героях. Но те, кто на лугу сняли перед ним шапки, сами того не ведая, признали его героем.

Прадедушка прикрыл ладонью глаза — видно, чтение его утомило — и закончил:

— Любовь к людям хоть и выглядит часто внешне беспомощно и совсем не героически, в конце концов всегда побеждает. Ненависть может быть хороша и целительна. Тот, кто любит людей, должен ненавидеть тиранов. Но человеколюбие, просто любовь, больше, величественнее и прекраснее ненависти, Малый!.. А теперь я немного вздремну, пока Верховная бабушка опять не позвала нас к столу.

Старый устроился поудобнее в своей каталке и откинулся на спинку с таким видом, словно он сказал все и не ждет больше ни вопросов, ни возражений. Поэтому я спустился по лестнице на нижний этаж.

Но когда я, стоя на последней ступеньке, хотел было уже войти в гостиную, я услышал голоса моих родителей и других наших родственников. Разговор шел опять про нас, поэтов. Я остановился и стал подслушивать.

Я услышал, как мама сказала, что она тоже не прочь почитать наши стихи и рассказы, а Верховная бабушка ответила:

— Вот как Малый переберется к вам, приходи, все посмотришь. Они писали на обоях, на тех, забракованных, что я на чердак вынесла. На оборотной стороне. А баллады про Геракла — в черной тетрадке.

Я решил не мешать им беседовать про нас, поэтов, и, поднявшись на цыпочках на полэтажа выше, вошел, сам не знаю почему, в спальню прадедушки. Может быть, я надеялся найти там какие-нибудь еще неизвестные мне стихи или рассказы? Теперь я уже этого не помню. Но я и вправду нашел там одно стихотворение, которого еще не читал, и оно привело меня в ужас.

В одном из номеров «Морского календаря» между страницами был заложен кусочек картона, серый и ничем не примечатель-

ный, скорее всего просто закладка. Сам не знаю, по какой причине я вытащил эту картонку и увидел, что на ней хорошо знакомым мне почерком написано стихотворение. Это было, как оказалось, что-то вроде завещания мне. Я читал со все возрастающим удивлением и испугом:

Что ж, Малыш, прощай и подумай о том,
Что, каждый в свой час, мы из жизни уйдем.
А после рассудят, кто трус, кто герой,
Что было всерьез, а что было игрой.
А после ответят на сложный вопрос —
Где правда, где шутка, где шутка всерьез.
Но шуткам конец. Есть у жизни предел.
Я вот что сказать тебе, Малыш, хотел:
Покуда ты в самом начале пути,
Шути, но всерьез, веселее шути.
Я сам так шутил. Но пусть каждый из нас
Спокойно уходит, уходит в свой час.
Я не был в герои назначен судьбой,
Я просто всегда оставался собой.
И ты оставайся собою, мой внук,
Всегда и во всем!

Твой Старый друг.

Не помню уже, что я сделал, прочитав это стихотворение. Помню только, что у меня было такое ощущение, будто сердце мое остановилось и я не могу двинуть ни рукой, ни ногой.

«Так, значит, он знает совершенно точно, что скоро пробьет его час... — думал я. — Он просто разыгрывает передо мной сильного и здорового, а на самом деле...»

И вдруг у меня появилось чувство, что прадедушка уснул там, наверху, в каталке, навсегда. Последним вечным сном, из которого нет пробуждения.

Сжимая в руке картонку, я бросился вверх по лестнице на чердак и, задыхаясь, с шумом распахнул дверь. В южной камерке все еще горел свет.

Прадедушка глядел на меня широко открытыми глазами. Его, должно быть, напугал мой испуганный вид.

Но, заметив в моей руке картонку, он улыбнулся — лицо его прямо озарилось от этой улыбки.

— Герои, Малыш, — сказал он, — привыкают постоянно жить с мыслью о смерти. И сохранять спокойствие. Но, в сущности, все мы должны этому научиться. И ведь мы с тобой, не будем уж притворяться, тоже жили эту неделю с мыслью о смерти.

О моей смерти, Малый. Только я куда живучее, чем думает доктор.

Какая-то особенная светлая улыбка теперь уже не сходила больше с лица прадедушки. Она, так сказать, нашла себе здесь пристанище.

— Собственно говоря,— продолжал он,— я проживу еще довольно долго после моей смерти. Не обязательно в этих рыбацких штанах и шерстяных носках и в этих черных ботинках. Скорее как образ. В тебе. И в книгах.

— В каких книгах, прадедушка? — удивленно спросил я.

— В твоих книгах, Малый!

Улыбка его становилась все шире, словно лампа, которая разгорается все светлее.

— Ты подаришь мне что-то вроде бессмертия. И продлишь мне жизнь,— продолжал он.— Я построил себе памятник в твоей памяти. И сделал это не без умысла, Малыш. Умру я теперь в один прекрасный день или нет, это не так уж важно. Лет через двадцать или тридцать ты поймешь это.

Лицо его почти светилось, когда он закончил:

— Возвращайся домой, к родителям. Я опять уже могу ходить. Каталку, в которой так легко думается, придется поставить в угол. А умру ли я и когда я умру, Малый, это совершенно все равно. Немного мудрости — все, что я скопил,— я хорошо пристроил. Ты никогда уже не будешь восхвалять мнимых героев.

Я стоял растерянный и смущенный и в замешательстве глядел на прадедушку. Только двадцать с лишним лет спустя я понял, что он имел в виду.

Надеюсь, моя книжка это доказывает.





СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| <i>А. Исаева. О сиротке Марысе, Крабате, о героях без труб и фанфар</i> | 5 |
|---|---|

Мария КОНОПНИЦКАЯ

| | |
|---|----|
| <i>О гномах и сиротке Марысе. Повесть-сказка. Перевод Н. Подольской</i> | 23 |
|---|----|

Отфрид ПРОЙСЛЕР

| | |
|---|-----|
| <i>Крабат. Легенды старой мельницы. Пересказ А. Исаевой и Э. Ивановой</i> | 161 |
|---|-----|

Джеймс КРЮС

| | |
|--|-----|
| <i>Мой прадедушка, герои и я. Перевод А. Исаевой</i> | 281 |
|--|-----|





Конопницкая М., Пройслер О., Крюс Дж.

К 64 О гномах и сиротке Марысе. Крабат. Мой прадедущка, герои и я: Пер. с польск. и нем./ Вступ. ст. А. Исаевой; Ил. С. Крестовского.— М.: Правда, 1988.— 432 с., ил.

В сборник вошли: сказочная повесть «О гномах и сиротке Марысе» известной польской писательницы Марии Конопницкой, «Крабат», фантастическая повесть, созданная по мотивам народной легенды современным немецким писателем Отфридом Пройслером, и повесть прогрессивного немецкого писателя Джеймса Крюса «Мой прадедущка, герои и я».

К $\frac{4703000000-1730}{080(02)-88}$ 1730—88

84.4



Мария КОНОПНИЦКАЯ
О ГНОМАХ И СИРОТКЕ МАРЫСЕ

Отфрид ПРОЙСЛЕР
КРАБАТ

Джеймс КРЮС
МОЙ ПРАДЕДУШКА, ГЕРОИ И Я

Редактор Г. Ф. Фролова

Оформление Е. Т. Яковлева

Художественный редактор Н. Н. Каминская

Технический редактор Т. Б. Слизун



ИБ 1730

Сдано в набор 29.12.87. Подписано к печати 06.05.88. Формат 60 × 90^{1/16}.
Бумага типографская № 1. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,00. Усл. кр.-отт. 54,50. Уч.-изд. л. 27,23.
Тираж 600 000 экз. (2-й завод: 100 001 – 200 000).
Зак. А 115. Цена 2 р. 90 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства Татарского обкома КПСС, 420066. Казань-66,
ул. Декабристов, 2.
OCR Давид Тигиевский, май 2020 г., Хайфа





2 р. 90 к.

